

Александр
ДЮМА

—♦♦1♦♦—
МОГИКАНЕ
ПАРИЖА



18

The image shows a decorative book cover with a dark olive-green background. A white grid pattern of thin lines covers most of the surface. The grid is bordered by a decorative edge consisting of small, dark, four-pointed star or diamond shapes. In the center of the grid is a large, stylized monogram in a black, calligraphic font. The monogram consists of a large 'A' on top and a 'Z' below it, both with elaborate, swirling flourishes. The 'A' has a long, sweeping tail that curves to the left, and the 'Z' has a similar flourish on its right side. The overall design is elegant and classic.

A



Dumas

Александр ɔ
ДЮМА

—◆◆◆—
МОГИКАНЕ
ПАРИЖА
1
6

Кишинев
«Concordia◆Vesta»
1992

Тот, кто полюбил в свое время знаменитых «Трех мушкетеров» А Дюма, не останется равнодушным и к приключениям трех главных героев его увлекательного, остросюжетного романа «Могикане Парижа», — поэта Жана Робера, врача Людовика и художника Петрюса. Разные устремления ведут их по жизни, но их, как д'Артаньяна и его друзей, объединяют верность друг другу, готовность прийти на помощь попавшему в беду.

Вместе с тремя героями читатель проходит через все слои французского общества, начиная с убогих кварталов, где ютятся нищета, и кончая высшим светом, где внешняя благопристойность нередко прикрывает самые низменные интересы. Перед его взором проходят последние дни жизни Наполеона Бонапарта на острове Святой Елены, мучения его царственного сына, герцога Рейхштадтского, который вырос, не зная, в сущности, ни дел, ни мыслей своего отца, заговор бонапартистов с целью возвести его на престол Франции, сцены из быта каторжников, беспринципные и аморальные методы работы тайной полиции. И, наконец, писатель, чьи романы не обходятся без любви, показывает нам разные ее проявления, — верность и преданность, преодолевающие на пути к счастью все преграды, бесхарактерность и эгоизм, рождающие трагедию, ослепляющую, не поддающуюся осмыслению страсть, ведущую к преступлению...

Рассказывающий о событиях, далеких от наших дней, роман «Могикане Парижа», как и все произведения высокой литературы, нисколько не потерял своей актуальности. Он неопровержимо свидетельствует, что истинные человеческие ценности всегда сохраняют свое значение.

Д 96 А. Дюма. МОГИКАНЕ ПАРИЖА в 2-х томах.
т. 1. — Роман. — «Concordia» — «Vesta», — Кишинев,
1992. 400 стр.

ISBN 5—86—968—011—5

Печатается по изданию: А. Дюма. Могикане Парижа.
С.-Петербург, 1884.

$\frac{4703000000-011}{754(10)-92}$ (без объявл.)

ISBN 5—86—968—011—5

© Оформление АО «Concordia»—«Vesta», 1992.

© Ассоциация «Concordia»—А. Т., 1992.

© Переиздание. Изд.-полигр. предприятие «Уральский рабочий», оформление, 1992.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

АВТОР ПОДНИМАЕТ ЗАНАВЕС НАД СЦЕНОЙ, НА КОТОРОЙ БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ДЕЙСТВИЕ

Если читатель захочет возвратиться вместе со мной во времена моей молодости, ровно на двадцать пять лет тому назад, то мы окажемся с ним в 1827 году, и он сможет узнать, что представлял собой Париж физически и нравственно в последние годы Реставрации.

Начнем с наружного вида современного Вавилона.

С востока, юга и запада город выглядел в 1827 году так же, как и теперь. Его левобережная часть была тоже неизменна и скорее вымирала, чем заселялась, так как вопреки путям цивилизации, направляющейся с востока на запад, Париж возрастает с юга на север,— Монтруж поглощает Монмартр. Капитальные строительные работы, проведенные с 1827 по 1854 г. на левом берегу, были не столь значительны: площадь и фонтан Кювье, улица Гюи-Лабросс, улица Жюссье, улица Политехнической школы, улица Бонапарта, вокзал Орлеанской железной дороги, вокзал Менской заставы и, наконец, церковь Св. Клотильды, высящаяся на площади Бель Шасс, дворец Государственного совета на набережной Орсе и здание министерства иностранных дел на набережной Инвалидов.

Совершенно иначе шло дело на правом берегу, т. е. в пространстве между Аустерлицким и Иенским мостами, у подножия Монмартра. В 1827 году Париж простирался, собственно говоря, только до Бастилии, так что всего бульвара Бомарше еще не существовало; на севере он доходил до улиц Тур д'Овернь и Тур-де-Дам, а на западе — до бойни Руль и аллеи де-Вев.

Но о квартале Сент-Антуанского предместья, идущего от площади Бастилии до заставы Трона, о квартале

Попенкур, идущем от Сент-Антуанского предместья до улицы Мениль-Монтан, о предместье Сен-Мартен, о кварталах Лафайет, Бреда, Тиволи, Европейской площади, Божон, об улицах Милан, Мадрид, Шанталь, Бурсо, Лаваль, Лондон, Амстердам, Константинополь, Берлин и т. д., и т. д.— не было тогда еще и помину. Волшебный жезл богини, называемой Индустрией, точно из-под земли, вызывал улицы, кварталы, скверы, предместья, которые обратились как бы в почетную свиту князей торговли, называемых железными дорогами: Лионской, Брюссельской, Страсбургской и Гаврской.

Окинув взором тогдашний Париж с его физической стороны, взглянем теперь на нравственную.

На престоле уже два года сидел Карл X. В совете уже пять лет председательствовал де Виллель; Делаво уже три года как сменил Англе, сильно скомпрометированного в деле Мобрелль.

Король Карл X был человек добрый, религиозный, со слабым сердцем и честный. Вокруг него спокойно развивались две партии, которым предстояло, желая поддержать, довести его до падения. То были партия ультра и партия-претр.

Де Виллель был скорее человеком коммерческим, чем политическим, и прекрасно распоряжался только общественными капиталами и ничем больше. Но сам по себе он был безукоризненно честен и, несколько лет имея дело с миллиардами, вышел в отставку таким же бедняком, каким и поступил на свое важное место.

Делаво был человек ничтожный, вполне преданный не самому королю, но партиям, которые вокруг него волновались. От подчиненных своих он требовал больше всего какой-то внешней набожности и даже в мушары при нем нельзя было поступить, не представив свидетельства о том, что был на исповеди, по крайней мере, недели за две перед тем.

Двор был печален, и единственным источником веселости являлись в нем молодость, утонченные вкусы и потребность в развлечениях герцогини Беррийской.

Аристократия делилась на партии и жила тревожно. Одна часть ее держалась умеренно-либеральных воззрений Людовика XVII и была того мнения, что вся прочность и спокойствие будущего должны основываться на разделении власти между тремя главными силами страны: между королем, палатой пэров и палатой народных представителей. Другая же часть сильно отодвигала

надзор и силилась связать 1827 год с 1788-м, отрицала революцию, отрицала Наполеона и находила, что не нуждается ни в каких иных опорах, кроме тех, которыми пользовались ее предок Людовик IX и его потомок Людовик XIV, т. е. правами милостью Божьей.

Буржуазия была тем же, чем она бывает всегда. Она любила порядок и мир, желала перемен и в то же время боялась, что они произойдут, выступала против национальной гвардии и тягости этой повинности, а в 1828 году, когда она была уничтожена, пришла от этого в бешенство. Вообще, она следовала за генералом Фуа, брала сторону и Григория, и Мануила, подписывалась под изданиями Туке и миллионами раскупала табакерки с хартней.

Народ составлял явную оппозицию, хотя и не зная несомненно, что лучше — бонапартизм или республиканство. Он знал только, что Бурбоны, возвратясь во Францию, заполонили ее англичанами, австрийцами и казаками. Ненавидя англичан, австрийцев и казаков, он, естественно, ненавидел и Бурбонов и только выжидал удобного случая от них отделаться. Каждый новый заговор он встречал с восторгом и криками одобрения. Дидье, Бертон, Карре были, по его мнению, мучениками, а четыре Рошельских сержанта — богами.

После краткого обозрения трех ступеней общественной лестницы — аристократии, буржуазии и народа, — заглянем теперь на дно общества, едва освещенного тусклыми фонарями улицы Иерусалима.

Стоял вторник масленицы 1827 года.

Маскарадов не бывало уже два года. Все экипажи, в два ряда тянувшиеся вдоль бульваров и нагруженные участниками карнавала в костюмах базарных торговков и шутов, которые приостанавливались и перекликались при каждой встрече, принадлежали частным лицам.

Некоторые из этих потешных колесниц составляли собственность премилого молодого человека, по фамилии Лобаттио, которому года через два-три предстояло ехать умирать от чахотки в Пизе. Но в 1827 году он был в Париже и делал все на свете, чтобы толпа знала и помнила, что этот огромный маскарад с трубачами, всадниками и экипажами принадлежит именно ему. Но толпа и на этот раз была толпой, — не хотела знать его имени и упорно продолжала думать, что обязана всей этой веселой забавой лорду Сеймуру.

Самыми модными кабаками в то время были Ла-

Куртиль, Денуайе, залы Флоры и Тоннелье у заставы Мен.

Танцевальных залов было тоже не мало. Больше всего отличался Шомьер, содержавшийся Лагиром. В нем танцевали два ныне уже исчезнувших типа — студенты и гризетки. Заменявшие их артуры и лоретки были в то время еще неизвестны. За Шомьер следовали зал Прадо, сиявший своими огнями против Пале-де-Жостис, Колизей, весело шумевший позади Шато д'О, Порт-Сен-Мартен и Франкони, в которых наравне с Оперой бывали маскарады.

Разумеется, что об Опере мы упоминаем лишь для памяти, так как в Опере не танцевали, а дамы в домино и кавалеры в черном только прохаживались и вели между собой более или менее интересные разговоры.

В залах же Денуайе, Флоры, Соваж, Тоннелье, Шомьер, Прадо, Колизея, Порт-Сен-Мартен и Франкони, хотя тоже не танцевали, но шахютировали.

Этот «шахю» представлял безобразную пляску, бывшую по сравнению с канканом тем же, что махорка по сравнению с гаванской сигарой.

Еще ниже всех этих перечисленных мест, объединивших в себе все степени увеселения, начиная с театра и кончая кабаком, были заведения, называвшиеся в то время в Париже «тапи-франками».

Их существовало семь: в Ситэ на улице Старых Занавесок находилась «Черная кошка», против гимназии — «Белый кролик», на улице Бонди — «Семь бильярдов», на улице Сент-Оноре, против Сиветт, — «Отель д'Англетер», на Железной улице — «Поль Нике», на той же улице — «Баратт». Наконец, на углу улиц Обри-де-Буше и Сен-Дени размещался «Бордые».

Два из них имели свои особенности.

В «Черной кошке» собирались замочники, а в «Белом кролике» — извозчики.

Не станем утомлять читателя выражениями, созданными обитателями Биссетра и Консьержери, и поспешим объяснить те из них, которые были употреблены нами в силу необходимости.

Постараемся с самого начала отделаться от этих выражений и дадим им самые обстоятельные объяснения.

«Замочниками» называются воры, работающие с помощью подбираемых ключей.

«Карманники» вытаскивают из карманов кошельки и носовые платки.

«Меняльщики» входят в лавки менял под видом нумизматов и под тем предлогом, что отыскивают монеты с изображением известных государей, чеканки такого-то года, искусно запихивают себе за обшлага еще штук пятьдесят.

«Давильщиками» назывались те воры, которые набрасывали на шею своей жертвы платок или веревочную петлю, придавливали ее и поддерживали на своих плечах, пока практиковавшие вместе с ними «очищатели» обыскивали ее карманы.

Наконец, «потемщики» воровали по ночам, залезая в окна с помощью веревочных лестниц.

Остальные пять «тапи-франков» были просто притонами воров всех сортов и специальностей.

Для надзора за всеми этими каторжниками, мошенниками, ворами и девками существовало только шесть инспекторов и один офицер на каждый округ; современные же постовые полицейские были заведены там только Бельвейлем в 1828 году.

Все задержанные этим полицейским персоналом отводились в зал Сен-Мартен и там, получив комнату, платили по шестнадцать су за первую ночь, а за остальные — всего лишь по десяти.

Отсюда по истечении законного срока мужчин препровождали в Ла-Форс или в Биссетр, девиц сомнительного поведения — в Маделонетт на улице Тампль, а воровок — в Сен-Лазар, в предместье Сен-Дени.

Казни производились на Гревской площади.

«Мосье де-Пари» жил на улице Маре, дом № 43.

Само собой разумеется, что теперь читатель вправе спросить:

— Если полиция так хорошо знала, где жили и пьянствовали воры и мошенники, то почему же она не хватала их?

Но полиция может арестовать преступников только с поличным. Закон высказывается в этом отношении очень ясно, и все воры отлично знают это.

Если бы полиции дано было право действовать иначе, то есть хватать мошенников и не на самом месте преступления, и без неопровержимых улик, так как она обыкновенно знает их всех наперечет, то, вероятно, в несколько дней совершенно очистила бы от них город или, по крайней мере, их осталось бы так мало, что обыватели почти не страдали бы от их зловредной деятельности.

В настоящее время этих «тапи-франков» больше у же

не существует. Одни из них исчезли во время сноса домов при реконструкции Парижа, другие закрылись и угасли сами собою.

«Бордые» существовал дольше всех остальных; тапифранк преобразился в красивую бакалейную лавку, в которой продают сушеные фрукты, варенье, ликеры и где нет и помину о той омерзительной грязи, в которую нам предстоит ввести читателя, перенося его в 1827 год.

II

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ РЫНКА

Мы уже упоминали о том, что первые страницы нашего рассказа относятся ко вторнику масленицы 1827 года.

Этот день народного веселья клонился уже к самому концу, наступала полночь.

Трое молодых людей, держась под руки, шли вниз по улице Сен-Дени. Двое из них напевали самые популярные места из кадрили, которую только что слышали в Колизее, где провели начало ночи, а третий задумчиво грыз золотой набалдашник своей трости.

Двое распевавших были костюмированы в одежды шутов.

Третий, который не пел, был старше, серьезнее и на целую голову выше своих товарищей и кутался в плащ-накидку с бархатным воротником.

Он возвращался с артистического вечера, который проходил на улице Сент-Апполен.

Под плащом на нем были короткие и узкие панталоны, плотно обтягивавшие стройные и тонкие ноги, ажурные шелковые чулки и глянцевитые башмаки. Фрак его был застегнут по-военному, на все пуговицы, так что только через верхний и нижний разрезы виднелся белый пикейный жилет. На шее у него был свободный чёрный шелковый галстук, а на голове, кудрявой от природы — низенькая шляпа, которую, входя в зал, клали подмышку, а выходя на улицу, натягивали до самых ушей.

Если бы кто-нибудь из редких прохожих на улице Сен-Дени мог бы приподнять плащ молодого человека, то он тотчас же признал бы, что эти узкие панталоны, так плотно облегающие ноги, красивый фрак и жилет из английского пике с золотыми резными пуговицами из

мастерской одного из известнейших портных на бульваре Ган и были заказаны одним из тех щеголей, которых тогда называли «дэнди», а теперь обозначают несколько устаревшим названием «львы».

Тем не менее, человек, одетый с таким изяществом, видимо, нимало не претендовал на прозвание «щеголя». И действительно, с одного внимательного взгляда на него можно было убедиться, что он не принадлежал к разряду людей светских. В движениях его было слишком много свободы в сравнении с манерами манекенов, которые держатся в вечном рабстве у складок своего галстука или все повороты головы приурочивают к крою своего воротничка. Только что выйдя из бального зала, он поспешил снять перчатки, которые надоели ему, и при этом на указательном пальце его руки блеснул большой перстень, какие в старину употребляли вместо печати, для чего вырезали на них какой-нибудь девиз, соответствующий личному вкусу, или герб своей фамилии.

Два других молодых человека составляли с этой байроновской фигурой резкую противоположность. На них были куртки из белого плюша с малиновыми воротниками, полосатые, белые с синим панталоны, белые шелковые чулки с золотыми стрелками и башмаки с бриллиантовыми пряжками. На плечах развевались плащи: на одном из желтого, на другом из красного кашемира, а вокруг косматых войлочных шляп вились гирлянды из белых и розовых камелий, из которых каждая в такое время года стоила у тогдашних молодых цветочниц, мадам Байон или мадам Прево, по крайней мере, по одному золотому экю. Со свежим румянцем молодости, с веселым блеском глаз и беззаботностью они казались олицетворениями истинно французского веселья.

Но что же свело этих троих, столь разных между собой людей, и куда шли они в такой поздний час по одной из пятидесяти грязных улиц, прорезавших Париж от бульвара Сен-Дени до Гревской набережной?

Этот вопрос объяснялся очень просто. Двое покинувших маскарад не нашли экипажа у подъезда Колизея, а с молодым человеком в темном плаще случилось то же самое на улице Сент-Апполен.

Два участника маскарада, уже достаточно разгоряченные пуншем и бишофом, решились зайти поужинать устрицами.

Молодой человек в темном плаще, удержавшийся

в пределах благоразумия, благодаря нескольким стаканам оршада и смородинового сиропа, шел домой на Университетскую улицу.

Случайно они столкнулись на углу улиц Сент-Апполен и Сен-Дени. Молодые модники тотчас же узнали друга, который, вероятно, никак не узнал бы их в таких костюмах.

— Жан Робер! — крикнули они в один голос.

— Людовик! Петрюс! — ответил им молодой человек в темном плаще.

В 1827 году не говорили Луи или Пьер, а непременно Людовик или Петрюс.

Все трое радостно пожали руки, расспрашивая друг друга, что свело их на брусчатой мостовой в такой неурочный час.

Обе стороны обменялись объяснениями.

После этого художник Петрюс и медик Людовик стали так усердно настаивать, что убедили поэта Жана Робера идти с ними к Бордье есть устрицы.

Все трое шагали так быстро и твердо, что, казалось, не было ни малейшего сомнения в том, что решение было принято бесповоротно, однако, не доходя шагов двадцати до Батавского двора, Жан Робер остановился.

— Так решено? — спросил он. — Мы будем ужинать... А у кого?

— У Бордье.

— Ну, хорошо... хоть у Бордье.

— Разумеется, решено! — в один голос подхватили Людовик и Петрюс. — Что за вопрос?

— Вопрос очень основательный! — возразил Жан Робер. — Когда человек задумал сделать глупость, то для него всегда есть время остановиться.

— Глупость? Да какая же тут глупость?

— А такая, что вместо того, чтобы идти спокойно поужинать у братьев-провансальцев или Вери, или у Филиппа, вы придумали провести ночь в грязном кабаке, где нам дадут сандаловой настойки вместо бордоского и жареную кошку вместо кролика.

— Да что у тебя сегодня за ненависть к сандалу и кошкам, поэт? — спросил Людовик.

— Дело в том, мой милый, что Жан Робер только что имел большой успех во французском театре, — сказал Петрюс. — Он получает теперь по пятьсот франков каждый день, все его карманы набиты золотом, и он становится теперь аристократом.

— Уж не скажете ли вы, что собрались идти в кабаки из экономии?

— Нет,— ответил Людовик,— а просто потому, что человеку следует знать и испытать всего понемножку.

— Пха! Какое мудрое изречение! — вскричал Жан Робер.

— Объявляю, что оделся в этот дурацкий костюм, в котором я точно мельник, только затем, чтобы поужинать сегодня вечером на рынке! — сказал Людовик.— Теперь я в ста шагах от моей цели и буду ужинать здесь или нигде.

— А! — вскричал Петрюс.— Ты говоришь теперь как истинный живоде́р! Больница и анатомический театр приучили тебя к самым ужасным зрелищам. Ты материалист и философ и закален против всяких неожиданностей. А я художник, и мне не всегда доводилось пить сандаловую настойку и есть жареных кошек. Я посещал больных обоого пола, которые были совершенные трупы, а если и отличались от них, то только тем, что еще имели души. Я входил в клетки львов и спускался в берлоги к медведям, когда у меня не было трех франков, чтобы заставить подняться к себе отца Сатурнина или мадемуазель Родину Белокурую,— я, слава Богу, не взыскателен! Но вот этот чувствительный поэт, этот наследник Байрона и продолжатель Гёте, этот юноша по имени Жан Робер, какой вид будет он иметь среди ужасов, в которые мы его ведем? Разве со своими маленькими ручками, ножками и со своим прелестным креольским акцентом он может иметь хотя бы малейшее представление о том, как следует вести себя в обществе, которому мы собираемся его представить? Разве он, никогда не умевший во время своей службы в национальной гвардии ступить левой ногой вперед, разве он какой-нибудь тапи-франк? Разве нежные уши его, привыкшие к благородным звукам «Молодого больного» Мильвуа и «Молодой узницы» Андре Шенье, способны слушать свободные остроты, которыми обмениваются джентльмены ночи, посещающие такие заведения? Нет! Разумеется, нет! В таком случае, что же станет он делать среди нас? Мы не знаем его! Что это за незнакомец, который станет принимать участие в наших пирушках? *Vade retro*, Жан Робер!

— Милейший Петрюс,— ответил молодой человек, ставший предметом спора, тон и красноречие которого, бывшие в ходу у тогдашней молодежи, мы постарались

сохранить,— ты пьян только наполовину, но гасконец — до мозга костей!

— А! Отлично! Я родом из Сен-Ло! Значит, если в Сен-Ло есть гасконцы, то нормандцы есть в Тарбе!

— Хорошо, пусть и ты будешь гасконцем из Сен-Ло! Ведь ты хвастаешься пороками, которых в тебе нет, чтобы скрыть добродетели, которые у тебя есть. Ты представляешься кутилой, чтобы не казаться наивным; ты прикидываешься повесой и бездельником потому, что тебе стыдно быть добродетельным. Ты никогда не входил в клетку ко львам и никогда не лазал в берлоги к медведям, как не бывал и в кабаках на рынке; точно так же, как и Людовик, и я, и все уважающие себя молодые люди, и даже все ремесленники, серьезно и честно занимающиеся своим делом.

— Аминь! — закончил Петрюс, зевая.

— Зевай, насмехайся, сколько тебе угодно, изображай всевозможные пороки, чтобы поразить сограждан, так как ты слышал, что все великие люди имели свои пороки, что Андреа дель Сарто был вор, а Рембрандт — обжора; ломай из себя буржуа, потому что ломаться и позировать в твоей натуре; но перед нами, людьми, которые тебя знают и знают как человека хорошего, да передо мною, который любит тебя как брата младшего, — оставайся тем, что ты есть на самом деле, — оставайся добрым, наивным, откровенным и увлекающимся Петрюсом. Слушай, милый, если когда-нибудь позволительно отуманивать себя развратом, — хотя, по-моему, это никогда не позволительно, то для этого надо быть изгнанным, как Данте, непризнанным, как Макиавелли, или отверженным, как Байрон. А был ли ты, юноша, хотя бы в одном из этих положений? Вправе ли ты смотреть на жизнь мрачно? Таяли ли в твоих руках миллионы, оставляя после себя единственным следом людскую наблюдательность и разочарование? Ты молод, картины твои покупаются, твоя любовница тебя любит, правительство заказало тебе «Смерть Сократа», — не подлежит сомнению, что я буду позировать в роли Алкивиада, а Людовик в роли Федона... Какого же черта хочешь ты еще?.. Поужинать в тапи-франке? Поужинаем, мой милый! Это будет, по крайней мере, дело с результатом, — эти кабаки покажутся тебе до того отвратительными, что ты на всю жизнь не захочешь больше заглядывать в них.

— Кончил ты проповедь, человек в черном одеянии? — спросил Петрюс.

— Да, почти кончил.

— Ну, так пойдем дальше.

Юноша быстро зашагал вперед, напевая полувакхическую, полуциничную песню и, видимо, стараясь убедить самого себя, что дружеский урок, который преподнес ему Жан Робер, не произвел на него ни малейшего впечатления.

Когда он допевал последний куплет, они были уже среди рынка. На башне церкви св. Евстахия пробило полночь.

— А! — вскричал Людовик, который вообще мало принимал участия в разговорах друзей и покорно шел туда, куда его вели, держась того мнения, что куда бы ни попал человек, он всюду найдет материал для наблюдения и размышления. — Теперь нужно выбрать! Куда мы пойдем: к Полю Нике, к Барату или к Бордые?

— Мне рекомендовали Бордые! Пойдем к Бордые! — сказал Петрюс.

— Хорошо! К Бордые так к Бордые! — согласился Жан Робер.

— Но, может быть, тебя тянет в какое-нибудь другое место, добродетельный питомец муз?

— О, для меня это решительно все равно. Ведь ты знаешь, что я даже не бывал никогда во всем этом квартале. Покормят нас здесь повсюду скверно, так не все ли мне равно, где именно.

— Ну, так вот мы и у пристани! Что, как тебе кажется, достаточно ли подслеповат этот кабак?

— Не то что подслеповат, а даже и совсем слепой.

— Тем лучше! Итак, идем.

Петрюс ловко нахлобучил свою шутовскую шапку на ухо и вошел в кабак с развязностью почтенного завсегдатая.

Друзья молча переступили за ним порог.

III

ТАПИ-ФРАНК

Кабак был буквально битком набит народом.

Нижний этаж, который едва ли можно было бы узнать, глядя на красивый магазин, заменивший его ныне, — состоял из низкого, закопченного зала, наполненного запахом сырости, водки и плохой кухни. Здесь собиралось несколько сотен мужчин и женщин в самых разнообразных костюмах, среди которых преобладали ко-

стюмы шутов и базарных торговков. Некоторые из женщин, и при том, надо заметить, самые хорошенькие и кокетливые,— одетые торговками, были декольтированы почти до поясов, рукава были у них засучены до плеч, но хрипlostью голосов и множеством ругательств они превосходили даже пределы, допустимые их шелковыми и кружевными костюмами. Это означало, что они перерядились не только в отношении общественного положения, но и в отношении пола. Но по странной фантазии карнавала, толпа мужчин, составляющих добрую треть всего сборища, именно их-то и окружала своим исключительным вниманием.

Все это сидело, стояло, лежало, хохотало, болтало, пело и кричало самыми резкими голосами, и составляло какую-то пеструю, и до того компактную массу, что разобрать что-нибудь в этом шуме и гаме не представляло никакой возможности.

В непроходимой толкотне, казалось, что мускулистые руки мужчин принадлежат женщинам, а свободно расставленные ноги женщин принадлежат мужчинам. Бородатая голова точно высилась над белоснежной шеей, а мускулистая грудь оказывалась под худенькой головкой пятнадцатилетней евреечки. Даже сам Петрюс, расставив все головы на принадлежащие им торсы, не мог бы разгадать, кому принадлежат все эти ноги, руки, локти, пальцы.

Тем не менее, и среди хаоса человеческих тел была одна группа, обращавшая на себя особое внимание. Она состояла из шута, который, казалось, спал, прислонясь к стене, и маленькой шутихи, которая, сидя у него на плече, прикрывала его голову своей коленкоровой юбкой, так что он казался гигантом с непомерно маленькой головкой. Мальчик, одетый обезьяной, в костюме, введенном в моду Мазюрье, то прыгал с одного стула на другой, то, перебегая от одного кружка к другому, заставлял богинь и богов карнавала издавать самые резкие и невеселые возгласы.

Троих друзей при их входе в залу встретили громopodobным «ура».

Шут, скрывавший голову под юбкой шутихи, выглянул оттуда и доказал этим, что он не гигант, а обыкновенный смертный.

Турок вздумал было поднять обе ноги сразу. Это кончилось тем, что сам он мгновенно полетел и изломал стол, на который упал.

Полишинель перестал кататься колесом и остановился, как звезда, готовящаяся пристать к комете.

Обезьяна одним прыжком очутилась на плечах Петрюса и при хохоте всей компании принялась отдывать украшения его шляпы.

— Сделай милость, уйдем отсюда! Меня просто тошнит,— сказал Жан Робер Петрюсу.

— Вот еще странная фантазия! Уходить, когда только что успели войти! — ответил художник.— Ведь они вообразят, что мы их боимся, и примутся гоняться за нами по улицам, как его величество король Карл X гоняется за кабанами в Компьенском лесу.

— А ты что думаешь? — спросил Жан Робер у Людовика.

— Думаю, что раз мы уже здесь, то нам следует идти до конца,— ответил тот.

— Однако послушай...

— На нас смотрят! — перебил Петрюс.— Ты ведь сам театрал и должен знать, что все зависит от дебюта.

Сказав это, он, все еще не сбрасывая со своих плеч обезьяны, подошел к роду кратера, образовавшегося от падения турка, который все еще лежал ногами кверху, и продолжил:

— Господин мусульманин, известно ли вам великое изречение патрона вашего Магомета бен Абдаллаха, племянника великого Абу Талеба, князя Меккского?

— Нет, неизвестно! — глухо ответил голос из глубины проломленного стола.

— Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе.

С этими словами Петрюс взял мальчугана, все еще сидевшего у него на плече, за шиворот, как щенка, и хотя тот отбивался и визжал от боли, спокойно приподнял его над своей головой, как шляпу, и, кланяясь, проговорил:

— Привет тебе, почтенный мусульманин!

Он снова опустил обезьяну себе на плечо, но мальчик поспешно соскользнул на землю и со слезливой гримасой забился в уголок, в который не проникал свет трех или четырех ламп, освещавших зал.

Это доказательство веселости, остроумия и силы вызвало гром рукоплесканий.

Что касается турка, то тот ответил на привет, видимо, совершенно машинально, но зато довольно крепко вцепился в руку, которую протянул ему Петрюс, а художник одним взмахом выдернул его из проломленного стола

и поставил на ноги, хотя они и представляли в эту минуту пьедестал слишком ничтожный для так сильно расшатанного монумента.

— Здесь действительно очень тесно,— заметил Петрюс, освобождаясь от турка.— Пойдем-ка наверх.

— Как хочешь,— согласился Людовик.— Хотя, по моему, и здесь довольно интересно.

Гарсон, следивший за ними все это время в ожидании, что они попросят себе ужин, ловко подскочил к ним в ту же минуту.

— Вам угодно наверх? — спросил он.

— Да, не мешало бы.

— Так вот-с лестница,— показал он на узкую винтовую лесенку, при одном взгляде на которую невольно приходил на память подъем Матюрена Ренье в «Mauvais giste» — ступени были круты, и подъем очень труден.

Трое друзей не смутились от предстоящих трудностей и стали взбираться на лестницу под крик и хохот толпы, которая кричала и хохотала, сама не зная чему, а просто потому, что крики часто воодушевляют людей еще не пьяных и доводят до безобразия тех, кто только навеселе.

На втором этаже была такая же давка, как и внизу, такой же закопченный зал с продранными обоями и такие же красные занавеси с желтыми и зелеными разводами.

Но общество было здесь, по-видимому, еще ниже, чем в первом зале.

— Ого! — проговорил Жан Робер, который взобрался на лестницу первый и открыл дверь.— Кажется, ад у Бордые устроен наоборот, чем у Данте: чем выше поднимаешься, тем ниже падаешь.

— Ну, что ты на это скажешь? — спросил Петрюс.

— Скажу, что сначала это было просто отвратительно, а теперь становится даже интересно.

— Так пойдем выше! — решил Петрюс.

— Пойдем,— поддержал его Людовик.

И все трое стали взбираться на следующую лестницу, которая становилась все уже и круче.

На третьем этаже оказалось такое же сборище, почти такая же обстановка, и только потолок был несколько ниже, да воздух еще удушливее и зловоннее.

— Ну, что? — спросил Людовик.

— Что ты скажешь, Жан Робер? — обратился Петрюс к поэту.

— Ползем еще выше! — ответил тот.

На следующем этаже оказалось еще хуже, чем на двух предыдущих.

На столах и скамьях и под столами и скамьями валялось штук пять-десять человек, если создания, павшие до уровня животных, еще заслуживают названия человека. Тут были и мужчины, и женщины, и дети, уснувшие среди разбитых тарелок и недопитых бутылок.

Все мрачное пространство закоптелого зала освещалось единственной стеной лампой.

Можно было бы подумать, что стоишь в каком-то подземном склепе среди мертвых тел, если бы громкий храп не свидетельствовал о том, что эти мертвецы еще живы.

Жану Роберу делалось почти дурно; но он был человек с характером, и воля его не уступила бы даже и тогда, если бы разорвалось его собственное сердце.

Петрюс и Людовик переглянулись: оба были готовы поскорей уйти отсюда.

Но Жан Робер заметил, что отсюда лестница поднималась уже не винтом, а лепилась прямо вдоль стен, как это устраивается на мельницах. Он превозмог свое отвращение и стал взбираться по ней, приговаривая:

— Ну, пойдёмте, пойдёмте выше, господа, вы сами этого желали.

На пятом этаже он тоже первый открыл дверь.

Здесь декорация была та же, но сцена иная.

Вокруг стола сидело только пять человек. Перед ними лежали колбасные объедки и стояло около десятка бутылок.

Одеты эти люди были по-городски.

Употребляя это выражение, мы хотим сказать только, что они были не в карнавальных костюмах, а в своих ежедневных блузах и куртках.

Трое друзей остановились у двери. Гарсон, сопровождавший их по всем этажам, вошел вслед за ними.

Жан Робер огляделся и кивнул головой, как бы говоря:

— Вот это-то нам и нужно.

Жест этот вышел у него так выразительно, что Петрюс тотчас же подхватил его.

— Черт возьми, да мы расположимся здесь, как цари!

— Совершенно верно,— согласился Людовик.— Здесь у нас будет все, кроме воздуха для дыхания.

— Можно добыть и его, стбит только отпереть окно! — нашелся Петрюс.

— Где прикажете накрыть-с? — спросил гарсон.

— Вон там! — ответил Жан Робер, указывая на конец зала, противоположный тому, в котором сидело пятеро собутыльников.

Потолок был здесь так низок, что, входя, поневоле приходилось снимать шляпы, но Жан Робер, даже и снявши свою, все-таки касался головой штукатурки.

— Чего прикажете подать? — спросил гарсон.

— Шесть дюжин устриц, шесть бараньих котлет и омлет, — распорядился Петрюс.

— А бутылку сколько прикажете?

— Три шабли первого сорта и сельтерской воды, если таковая у вас водится.

При этих словах, звучавших здесь особенно аристократически, один из пятерых, ужинавших у другого стола, оглянулся.

— Ого! — проговорил он. — Шабли первого сорта и сельтерской воды! Должно быть, какие-нибудь фертики!

— Наверно, сынки богачей-аристократов! — подхватил другой.

— Или сами лапы-загробалы! — добавил третий.

Все пятеро громко расхохотались.

В те времена еще не существовало современных нам романов, вроде «Воспоминаний Видока», посвящавших людей порядочного общества в выражения воровского жаргона, а потому трое приятелей вовсе не догадались, что соседи приняли их за воров, и не обратили внимания на хохот, вызванный этим оскорблением.

Жан Робер снял плащ и положил его на один из стульев.

Гарсон, видя, что услуги его в зале больше не нужны, хотел было идти за ужином, как вдруг тот из пятерых, который заговорил первым, схватил его полу камзола.

— Ну, что? — спросил он.

— Как, ну, что? — удивился тот.

— Разве у тебя не спрашивали карт?

— Спрашивали, но их в такие часы не выдают, и вы это хорошо знаете.

— Это почему?

— Спросите у господина Делаво.

— Это кто ж такой?

— Господин префект полиции.

— А мне что до него за дело?

— Вам-то, может быть, до него дела и нет, а вот нам есть.

- Да что ж он может вам сделать?
- Велит закрыть заведение, а нам было бы горько не видеть таких гостей, как вы.
- А если здесь нельзя играть, так что же нам у вас делать?
- Мы вас и не задерживаем.
- Вот как! А знаешь, парень, ты, я вижу, не из вежливых. Я твоему хозяину скажу.
- Да говорите хоть самому папе, если вам нравится.
- И ты думаешь, что этим от нас и отделаешься?
- Да уж надо думать, что так оно и будет.
- А если нам это не понравится?
- Ну, тогда знаете, что вы сделаете? — ответил гарсон с издевательским хохотом, которым простолоудины всегда сопровождают свои шутки.
- Нет, не знаем. Что же?
- Вы возьмете карты...
- Ах, черт тебя возьми! Да, никак ты надо мной шутить вздумал? — загремел пьяница, вскакивая со своего места и ударяя по столу кулаком так сильно, что тарелки и бутылки подпрыгнули дюймов на шесть.
- Но гарсон был уже на половине лестницы, и пьяница тяжело опустился снова на скамью, очевидно, обдумывая, на ком бы сорвать свою досаду.
- Кажется, этот болван забыл, что меня зовут Жаном Быком,— ворчал он,— забыл, что я одним кулаком убиваю быка. Надо ему об этом напомнить.
- Он схватил со стола наполовину отпитую бутылку, приставил горлышко ко рту и в один прием опорожнил ее до дна.
- Ну, расходился наш Бык,— прошептал один из его собутыльников на ухо другому,— наперед знаю, что кому-нибудь да несдобровать!
- Да уж, наверно, достанется ни кому другому, как этим франтикам! — ответил тот.

IV

ЖАН БЫК

Человек, сам прозвавший себя Быком, что, впрочем, вполне соответствовало всей его фигуре, был действительно сильно не в духе и только выжидал случая излить свою досаду.

Случай этот скоро представился.

Читатель, вероятно, не забыл, что, войдя в залу, Людовик сделал замечание насчет бывшего там воздуха.

И действительно, пар от кушаний, запах вина, табачный дым, испарина пьяниц решительно не давали дышать. Можно было смело держать пари, что окна здесь не открывались с последней осени. Само собою разумеется, что друзья прежде всего направились к окнам, чтобы отпереть их.

Петрюс подошел первый, поднял за ремень нижнюю часть рамы и пристегнул ее к верхней.

Это дало Быку повод, которого он искал.

Он встал на стол и, обращаясь ко всем трем молодым людям, а к Петрюсу в особенности, громко проговорил:

— Кажется, вы открываете там окна, господа?

— Да, мой друг, как видишь,— ответил Петрюс.

— Я вам не друг! А окно вы закройте.

— Господин Жан Бык,— ответил Петрюс с насмешливой любезностью,— вот друг мой Людовик, считающийся отличным медиком, в две минуты поделится с вами сведениями о составе воздуха, которым можно дышать.

— Что он там о каких-то составах болтает?

— Он говорит, господин Жан Бык,— подхватил Людовик тоном той же вежливости,— что для того, чтобы атмосферный воздух не был вреден при вдыхании в человеческие легкие, он должен состоять из шестидесяти или семидесяти пяти частей азота, двадцати двух или трех кислорода...

— Да никак они с тобой по латыни разговаривают, Жан? — вмешался один из пятерки блузников.

— Хорошо же! Так я поговорю с ними по-французски!

— А коли они тебя не поймут?

— Чего не поймут, то вколотить можно.

И Жан Бык показал два кулака величиной с голову ребенка.

Несколько секунд он молча и грозно смотрел на своих противников, потом голосом, который навел бы страху на каждого простолюдина, повелительно крикнул:

— Ну, говорят же вам, закройте окошко, да поскорее!

— Может быть, вам этого, господин Жан Бык, и хочется, но я этого вовсе не желаю! — возразил Петрюс, спокойно скрещивая на груди руки, но не отходя от окна.

— Что? Ты этого не желаешь? Да разве ж ты можешь желать чего-нибудь?

— Отчего же? Каждый человек может иметь свои желания, если даже каждая скотина себе это нынче позволяет.

— Слышишь, Крючконогий,— проговорил Жан Бык, мрачно хмуря брови и обращаясь к своему товарищу, в котором можно было узнать тряпичника,— кажется, этот несчастный франтик назвал меня скотиной?

— Мне это тоже послышалось,— ответил тот.

— Ну, и что же мне остается после этого делать?

— Прежде всего запереть окно, потому что ты этого хотел, а потом поколотить его.

— Решено. Умные речи приятно и слышать.

Бык важно повернулся к приятелям и опять крикнул:

— Ну же! Запереть окно, вам говорят! Гром и молния!

— Грома и молнии нет, а окно запираТЬ не следует! — спокойно ответил Петрюс, не изменяя положения.

Жан Бык так сильно и шумно потянул в себя воздух, казавшийся приятелям таким отвратительным, что действительно был в эту минуту похож на мычащего быка.

Робер видел, что затевается ссора, и хотел вступить, хотя и понимал, что прекратить ее теперь уже поздно. Однако, если кто и мог это сделать, то единственно он со своим неизменным хладнокровием.

Он очень спокойно подошел к Жану Быку и сказал:

— Послушайте, милостивый государь, мы только что пришли, а когда сюда войдешь с чистого воздуха, то действительно можно задохнуться.

— Еще бы! — подхватил Людовик,— здесь вместо воздуха остается только углекислота.

— Так позвольте же нам отпереть окно для того, чтобы освежить воздух, а потом мы можем и запереть его.

— Да, а зачем вы отперли его, не спросив у меня?

— Ну, так что же? — спросил Петрюс.

— А то, что следовало спросить, так вам, может быть, и позволили бы.

— Однако, довольно! — вскричал Петрюс.— Я отпер окно потому, что мне это так понравилось, и запру его, когда мне вздумается.

— Молчи, Петрюс! — перебил его Жан Робер.

— Ну, уж нет! Молчать я не стану! Неужели ты думаешь, что я позволю учить себя таким чудакам?

При этих словах товарищи Жана тоже вскочили со

своих мест и подошли ближе, видимо, готовясь ответить на оскорбление.

Судя по их физиономиям, они были заодно с Жаном Быком и не прочь закончить свою последнюю карнавальную ночь хорошей потасовкой.

По костюмам их нетрудно было разгадать и их профессии.

Тот, которого Жан Бык назвал Крючконогим, был, собственно говоря, не настоящий тряпичник, а только принадлежал к числу одной из разновидностей этого ремесла, называвшейся «грабителями» и состоявшей в том, что они рылись в городских клоаках своими крючьями и иногда находили там вещи довольно ценные.

Промысел этот прекратился лет сорок тому назад, отчасти постановлением полиции, отчасти вследствие замены деревянных тротуаров каменными. Прежде же эти грабители находили в уличных канавах кольца, серьги, драгоценные камни и тому подобные драгоценные предметы, попадавшие туда часто даже при встряхивании ковров и скатертей через окна.

Третьего пьяницу товарищи обыкновенно называли Известковым мешком, а пятна извести, испещрявшие не только платье, но и лицо, и руки его, явно свидетельствовали о его ремесле каменщика.

К числу первых, т. е. ближайших друзей его, принадлежал и Жан Бык. Случай, при котором они познакомились, настолько характерен и так ярко очерчивает силу человека, которому предстоит играть довольно видную роль в нашем рассказе, что мы находим уместным рассказать и его.

В Ситэ загорелся один дом. Лестница уже обвалилась. Наверху, у окна второго этажа, стояли мужчина, женщина и ребенок и громко, в отчаянии кричали:

— Помогите! Спасите! Помогите!

Мужчина оказался каменщиком и молил только, чтобы ему дали веревочную лестницу или хоть просто веревку, с помощью которой он мог бы спасти жену и ребенка.

Но окружающие потеряли головы и приносили то лестницы, которые были слишком коротки, то слишком тонкие веревки.

Огонь разгорался, дым черными клубами валил из окон.

В это время мимо проходил Жан Бык.

Он остановился.

— Да что ж это? — крикнул он. — Неужто у вас не найдется ни лестницы, ни веревки? Разве вы не видите, что те, там, наверху, сейчас сгорят.

Опасность была, действительно, очевидна.

Жан Бык пристально осмотрелся и, не найдя ничего подходящего, прямо подошел к окну.

— Эй, слышишь ты, Мешок с известкой, кидай ребенка сюда!

Каменщик, к которому обратились с этим прозвищем в первый раз в жизни, не успел даже рассердиться. Он схватил ребенка, поцеловал его два раза, поднял и бросил вниз.

Вокруг раздался крик ужаса.

Жан Бык ловко подхватил несчастное создание на лету и, тотчас же передав его окружающим, опять обернулся к окну.

— Теперь кидай и жену! — крикнул он.

Каменщик взял жену на руки и, несмотря на ее крики и сопротивление, бросил Жану и ее.

Бык молча принял эту новую ношу, но на этот раз пошатнулся и отступил на один шаг назад.

— Ну, вот и эта здесь, — проговорил он, спокойно ставя полумертвую от страха женщину на землю, при громких восторженных криках толпы.

— Теперь скачи сам! — крикнул он каменщику, снова возвращаясь к окну и сильно расставляя свои могучие ноги. — Вали!

Каменщик влез на подоконник, перекрестился, закрыл глаза и бросился вниз.

— В руки твои, Господи, передаю дух мой! — прошептал он.

На этот раз удар был ужасен! Под Жаном подогнулись ноги, он сделал три шага назад, но все-таки не упал.

Толпа застонала.

Все бросились к герою минуты, каждому хотелось поближе взглянуть на человека, проявившего такое чудо силы: но Жан, поставив каменщика на землю, широко взмахнул руками и упал навзничь. Из рта у него хлынула кровь с пеной.

Ни на ребенке, ни на женщине, ни на самом каменщике не оказалось ни единой царапины.

У Жана лопнула жила в одном из легких.

Его отвели в Отель Дие, откуда он, впрочем, вышел на другой же день.

Третий из собутыльников был так же черен, как Мешок был бел, и, очевидно, принадлежал к почтенному цеху трубочистов. Звали его Туссеном, а Жан Бык, не лишенный природного остроумия и, вероятно, от архитекторов слышавший о гениальном негре, чуть не сделавшем в Сан-Доминго революцию, прозвал его Туссеном-Дыркою.

Четвертому было лет под пятьдесят. Это был человек с чрезвычайно живыми глазами, быстрыми движениями и сильнейшим запахом валерьяны. Одет он был в бархатную куртку, такие же штаны и котиковый жилет и шапку. Хорошие знакомые называли его дядей Жибеллоттом.

Человек этот поставлял во все кабаки и трактиры низшего разряда кроликов именно того сорта, которых так опасался съесть Жан Робер, и пахло от него так сильно валерианой потому, что этим запахом он приманивал к себе свои несчастные жертвы, которых потом убивал, мясо продавал кабатчикам по десяти су, а шкурки — меховщикам по шести су за штуку.

Промысел этот был выгодный, но опасный, и я сам читал в 1834 или 1835 году процесс одного из собратьев дяди Жибеллотта, которого, несмотря на красноречие защитника, доказывавшего несомненное превосходство кошачьего мяса над кроличьим, все-таки приговорили к тюремному заключению на год и к штрафу в пятьсот франков.

Наконец, пятым был сам Жан Бык, о котором было уже сказано столько, что можно было бы не прибавлять ничего больше, если бы мы не собирались подробнейшим физическим описанием дополнить изображение самого странного характера, который когда-либо доводилось встретить в жизни.

Жан Бык был пяти футов и шести дюймов роста, прям и статен, как дубовые балки, которые он обтесывал, так как был по ремеслу плотник. Это было нечто вроде Геркулеса Фарнезского, высеченного из одной скалы, и сам он был скалой, способной тремя взмахами одного пальца насмерть уложить троих молодых людей, имевших неосторожность рассердить его.

Лет ему было тридцать пять или сорок, лицо его было обрамлено черными, густыми баками, а богатырская шея вполне оправдывала его могучее прозвище.

Одет он был в рубаху, штаны, жилет и зеленую бархатную шапочку, лихо заломленную набекрень.

Из кармана у него торчал конец рубанка и небольшого плотничьего ватерпаса.

Таковы были пятеро противников, с которыми предстояло иметь дело троим — доктору Людовику, живописцу Петрюсу и поэту Жану Роберу.

V

ДРАКА

Петрюс стоял у открытого окна, спокойно скрестив руки и презрительно поглядывая на своих противников.

Людовик рассматривал Жана Быка с любопытством истинного ученого и был в таком восторге от этого великоколепного экземпляра, что наполовину забыл опасность собственного положения. Он с радостью дал бы сто франков, лишь бы овладеть его трупом после его смерти.

Очень может быть, что вдумайся он посерьезнее, то согласился бы дать даже и двести, потому что видеть Жана Быка на анатомическом столе было неизмеримо безопаснее, чем стоять с ним лицом к лицу во враждебных отношениях.

Жан Робер вышел на середину зала отчасти затем, чтобы попытаться уладить дело миром, а отчасти затем, чтобы, в случае неудачи, принять первые удары на себя.

Несмотря на свою молодость, Жан Робер прочитал уже очень много и, в особенности, заняла его книга маршала Сакса о влиянии нравственной силы на физическую, а потому он и знал те моменты, в которые можно покорить одну другую.

Кроме того, он долго брал уроки бокса и борьбы. В то время искусство это было еще совершенно новое и лишь впоследствии доставило своему изобретателю громкое имя. Но Жан Робер познавал его из первых рук, и, будь перед ним не такой страшный противник, как Жан Бык, он мог бы и не опасаться исхода борьбы.

Но сначала он хотел употребить меры примирительные до тех пор, пока они не обратились бы в трусливое отступление.

С этой целью он заговорил первым.

— Позвольте, господа,— сказал он.— Прежде чем драться, лучше объясниться. Что вам угодно?

— Да это вы в насмешку, что ли, называете нас господами? — спросил тряпичник.— Мы не господа, слышите вы?

— Совершенно верно! — подхватил Петрюс. — Вы не господя, а сиволапые!

— Слышите, братцы, он назвал нас сиволапами, — заворчал охотник на кошек.

— А вот мы им сиволапых-то и покажем! — вскричал каменщик.

— Да, вот только пропустите меня вперед! — проговорил угольщик.

— Молчите все! Это не ваше, а мое дело! — загремел Жан. — Жибелотт, на место!

— Да отчего же это именно твое дело?

— Во-первых, потому, что пятеро на троих не выходят, а особенно когда и одного достаточно! Жибелотт, Крючконогий, по местам!

Оба приятеля, хотя и с недовольным ворчаньем, но все-таки возвратились на прежние места и снова сели за стол.

— Вот так-то лучше! — заметил, оглядываясь в их сторону, Жан Бык. — А теперь, мои амурчики, — продолжал он, обращаясь к трем друзьям, — начнем песню сызнава и притом с самого начала. Запрете вы окно?

— Нет, — в один голос ответили все трое молодых людей, которые, несмотря на всю громоподобность его голоса, не могли не расхохотаться над его интонацией и своеобразной вежливостью.

— Да неужто же вы в самом деле хотите, чтобы я вас в порошок стер? — удивился великан, поднимая свои огромные кулачищи настолько, насколько позволял низкий потолок.

— Попробуйте, — холодно ответил Жан Робер, делая шаг вперед.

Петрюс рванулся вперед и в один прыжок очутился лицом к лицу с гигантом и заслонил собой Робера.

— Спровадь или держи в стороне тех двух, а с этим я сам справлюсь, — проговорил Робер, отстраняя художника рукою.

Он подошел к Жану еще ближе и дотронулся до его груди пальцем.

— Кажется, вы обо мне говорить изволите, ваше сиятельство? — шутливо спросил колосс.

— О тебе.

— А за что это вы изволили выбрать именно меня?

— Я мог бы сказать тебе на это, что ты самый дерзкий, так тебя больше тех и проучить следует, да на этот раз дело не в том.

— Так в чем же?

— А в том, что мы с тобой тезки: ты Жан Бык, а я Жан Робер. Ну, так нам и посчитаться промеж себя следует.

— Что меня зовут Жаном Быком, это правда,— сказал гигант,— а вот про себя так ты солгал. Зовут тебя совсем не Жан Робер, а Жан-Ф...

Но молодой человек в черном фраке не дал ему говорить. До сих пор руки его были скрещены на груди, но в это мгновение одна из них вытянулась, как стальная пружина, и кулак ударил в висок великана.

Жан Бык, который не дрогнул, приняв на руки женщину, летевшую со значительной высоты, от этого удара зашатался, отпрянул на несколько шагов назад и упал навзничь на стол, у которого от его тяжести отскочили две ножки.

Почти то же самое происходило в это время и между другими борцами. Петрюс был мастер драться на палках; но так как на этот раз таковых не оказалось, он схватил каменщика и повалил его рядом с Жаном Быком. Людовик рассчитал свое дело по-научному и ударил доставшегося на его долю угольщика под седьмое ребро, прямо в печень, так что тот побледнел, несмотря на слой черной сажи, покрывавшей его лицо.

Жан Бык и каменщик снова встали на ноги.

Туссен, который удержался на ногах, едва переводя дух, добрался до скамейки и сел на нее, прислонясь к стене спиной.

Но молодые люди понимали, что все это было не больше, как только прелюдией настоящего боя, и потому все трое стояли наготове.

Тем не менее все действующие лица были и сами удивлены не менее зрителей.

Увидя поражение своих товарищей, тряпичник и Жибелотт опять встали со своих мест и подошли к ним.

Каменщик скоро сообразил, что получил удар неопасный, и поднялся со своей скамейки совсем сконфуженный.

Что касается Жана Быка, то ему казалось, что его ударил по голове камень, выброшенный какой-то адской катапультой.

Несколько секунд он был как бы в оцепенении, в ушах шумело, перед глазами носилось какое-то кроваво-красное облако.

Когда Жан Робер ударил его кулаком в висок, то

задел и по лбу, на котором и образовалась раночка. Потекшая из нее кровь застлала великану один глаз.

— Ах, черт возьми! — вскричал Жан, подходя к противникам еще не совсем верными шагами.— Вот что значит, когда нападают невзначай. Малый ребенок, и тот может сшибить тебя с ног.

— Ну, хорошо, так соберись же на этот раз с силами, Жан Бык, да держись за землю крепче! — насмешливо посоветовал ему Жан Робер.— Смотри, не оплошай, потому что я намерен послать тебя доламывать остальные две ножки у стола.

Жан Бык бросился вперед с поднятыми кулаками, чем тотчас же и сделал громадную ошибку, потому что открыл себя всего противнику. Все искусство бокса и основывается именно на том простом соображении, что для того, чтобы описать в воздухе кривую, кулаку нужно гораздо больше времени, чем для нанесения прямого удара.

Однако на этот раз Жан Робер использовал систему не нападения, а защиты. Правой рукой он только принял страшный удар, который наносил ему Жан, но зато в тот момент, когда кулак великана уже опустился, Робер быстро повернулся и нанес как раз в середину груди страшный удар ногой, тайной которого в то время обладал только один Лекур.

Этим приемом Жан Робер исполнил обещание, которое дал плотнику: Жан задом попятился на свое прежнее место и, если не упал, то только потому, что опустился снова на тот же стол.

Он не вскрикнул и даже не проговорил ни слова: у него пропал от удара голос.

Между тем Петрюс и Людовик тоже делали свое дело.

Петрюс со свойственной ему подвижностью, заметив, что тряпичник направляется на него, схватил табурет и швырнул ему в голову, а пока тот, ругаясь, барахтался на полу, он, как истинный бретонец, ударом головы в живот повалил и каменщика.

Но Людовик, вместо того, чтобы воспользоваться этим преимуществом и придавить врага коленом, задумался, почему от этого человека так сильно пахнет валерианой.

Он еще размышлял над этой трудной задачей, когда тряпичник и каменщик, видя поражение всех своих сторонников, принялись кричать:

— Берись за ножи, ребята! За ножи!

В это время в зал вошел гарсон с устрицами.

Он с первого взгляда понял, в чем тут дело, быстро поставил посуду на стол и побежал по лестнице, очевидно, затем, чтобы предупредить кого следует.

Но сами участники сцены не обратили на его появление почти никакого внимания.

Они были слишком заняты собою, да и следом прихода гарсона остались только одни устрицы.

Гораздо действеннее оказалось появление гарсона на четвертом этаже.

При шуме, которое произвело падение Жана Быка, при треске изломанного стола, при криках: «За ножи, за ножи, ребята!», спавшие пьяницы проснулись. Те, которые были несколько трезвее, стали прислушиваться; один, шатаясь, добрался до двери и отпер ее, а те, которые были еще в состоянии видеть, видели, как пробежал встревоженный гарсон.

Как люди, не раз бывавшие в подобных обстоятельствах, они тотчас догадались, в чем дело, и через несколько минут на лестнице раздались стук поспешных шагов, крик, ругательства и вой, точно от стада сорвавшихся с цепи животных.

То поднималась самая настоящая пена рынка, и скоро в зал стали один за другим входить пьяные, полусонные, одурелые и взбешенные субъекты, готовые мстить за то, что их разбудили.

— Э! Да здесь драка! Настоящая поножовщина! — кричали двадцать хриплых голосов.

При виде этой толпы по телу Жана Робера, который был впечатлительнее своих товарищей, пробежала холодная дрожь, охватывающая каждого человека при приближении пресмыкающегося. Он оглянулся на Петрюса, и у него невольно вырвалось восклицание:

— Ох, Петрюс, куда ты нас завел!

Но Петрюс уже избрал совершенно новый план защиты.

Каменщик и Туссен пришли в себя и тоже кричали:

— В ножи их, в ножи!

— На баррикады! — ответил им Петрюс возгласом, который получил в Париже историческое значение.

— На баррикады! — кричал Петрюс, помогая встать Людовику и вместе с ним увлекая и Жан Робера в угол зала, который они тотчас же и отгородили столами и скамьями.

Несмотря на всю краткость затишья, вызванного его

победой над тряпичником и каменщиком, он успел тогда же овладеть палкой, которая поддерживала занавеску на окне. Жан Робер захватил свою трость, а Людовик остался при том оружии, которым его наградила сама мать-природа.

Таким образом друзья очутились под защитой некоторого рода крепости.

— А! Вот это очень кстати! — вскричал Петрюс, указывая друзьям на кучу сброшенных в углу пустых бутылок, битых тарелок, изломанных ножей и вилок. — Это отлично! Значит, и за снарядами у нас дело не станет.

— Да, это хорошо, — согласился Жан Робер. — А как-во у нас насчет ран и увечий? Что касается меня, то я только угощал ими, а сам ничего не получил.

— Я тоже цел и невредим, — объявил Петрюс.

— А ты, Людовик?

— Мне, кажется, попало кулаком в скулу. Да меня не это занимает!

— А что же? — спросил Робер.

— Мне ужасно хочется знать, почему от последнего субъекта, с которым я имел дело, так сильно пахнет валерианой?

В это время рев и ругательства пьяной толпы достигли таких пределов, что троем друзьям поневоле пришлось прекратить дальнейший разговор.

VI

ГОСПОДИН САЛЬВАТОР

Вид толпы произвел на простолюдинов совсем иное впечатление, чем на светских молодых людей.

Плотник Жан Бык и его товарищи поняли, что к ним подошла помощь.

Жан Робер и его друзья видели во вновь пришедших пьяницах только новых врагов.

Свой своему поневоле брат.

Толпа, злобно поглядывая на баррикаду, устроенную друзьями, окружила Жана Быка и его товарищей, спрашивая, в чем дело.

Рассказать это правдиво было довольно трудно, так как во всех неприятностях был виноват сам Бык.

Во-первых, он сам вызвал раздражение молодых людей, требуя, чтобы они заперли окно. Во-вторых, — и по мнению слушателей, эта вина была гораздо важнее

первой — он допустил, чтобы его ударили до крови в лицо и до потери голоса в грудь.

Он принялся рассказывать все это по-своему, но как ни хитрил, а скрыть правды все-таки не сумел.

— Я хотел запереть окно, а оно осталось открытым. Я хотел побить за это, а меня побили самого,— объявил он, наконец, коротко и ясно.

Толпа, как истинная толпа, все-таки несла в себе чувство справедливости и, услышав признание Быка, принялась хохотать над ним, несмотря на всю свою ненависть к черным фракам.

Это еще больше взбесило плотника.

Он был зол и раньше, но этот хохот довел его до ярости.

Бык оглянулся на врагов и, видя, что они загордились в своем углу, а четверо его товарищей уже начали осаждать их, громко крикнул им:

— Эй, вы, стой! Оставьте их! Дайте я сам сотру этого фрачника в порошок.

Но тряпичник, угольщик, кошачий охотник и каменщик так увлеклись своей осадой, что не обратили на его окрик ни малейшего внимания.

Положение их было незавидное.

Людовик так ловко бросил в лицо тряпичнику осколок разбитой бутылки, что глубоко рассек ему щеку.

Жан Робер швырнул в Туссена табуретом и расшиб ему голову.

Наконец Петрюс сквозь отверстие в баррикаде весьма чувствительно ткнул своей палкой кошачьего охотника в грудь, а каменщика — в бедро.

Все четверо ревели от боли и злости:

— Убить их! Убить!

Драка, действительно, начинала переходить в смертельный бой.

Окончательно разъяренный и хохотом окружающих, и видом крови на одежде товарищей и на своей собственной, Жан Бык выхватил свой ватерпас и, занеся его над головой, один ринулся на баррикаду.

Петрюс и Людовик схватили по бутылке и бросились навстречу, собираясь размозжить ему голову. Но Жан Робер, видя, что это единственный серьезный противник и что от него нужно, наконец, так или иначе отделаться, оттолкнул их назад, прошиб в баррикаде отверстие и, продев в него свою тонкую трость, громко крикнул Быку:

— Послушай, да ты никак с ума сошел!? Разве тебе еще мало?

Толпа хохотала и аплодировала.

— Нет, не достаточно! — рявкнул Бык в ответ.— Я до тех пор не успокоюсь, пока не загоню тебе ватерпас в брюхо!

— Это значит, Жан Бык, ты понимаешь, что ты не сильнее меня, и хочешь быть злее. Ты не можешь победить меня, так собираешься убить.

— Я хочу отплатить тебе, гром и молния! — кричал Жан, распаяясь даже от звуков собственного голоса.

— Берегись, Жан Бык,— спокойно возразил молодой человек.— Даю тебе мое честное слово, что ты еще не бывал в такой опасности, как теперь.

— Вы ведь мужчины,— продолжал он, обращаясь к толпе,— уговорите этого человека. Ведь вы видите, что я спокоен, а он совсем с ума сошел.

Четыре или пять человек вышли из толпы и встали между Быком и баррикадой.

Но это вмешательство не только не успокоило Жана, а вызвало еще большее его раздражение.

Он взмахнул рукой, и все пятеро отлетели в сторону.

— А! Так я никогда не бывал в такой опасности, как теперь? — кричал он.— Уж не этой ли щепкой собираешься ты напугать меня? Ну-ка!

Он взмахнул над головою ватерпасом и двинулся вперед.

— Вот в том-то и дело, что ты ошибаешься! — проговорил Жан Робер.— Моя трость вовсе не щепка, как ты думаешь, а нечто совсем иное.

Он несколько раз повернул набалдашник и вынул из трости тонкую стальную рапиру. Трехгранный клинок превосходнойковки зловеще сверкнул в воздухе.

Толпа завывала от удовольствия и страха.

Эпизод развивался по всем правилам драматического искусства: подробности становились чем далее, тем интереснее.

— Ага! — вскричал Бык, видимо, радуясь освобождению от упрека совести.— Значит, и ты не с голыми руками! Мне только этого и надо было!

Он опустил голову, поднял вооруженную руку и бросился на Жана Робера. Прием этот был в высшей степени наивен, потому что им Бык открывал противнику всю свою грудь.

Но вдруг чья-то сильная рука так схватила его за

кулак, что он выронил ватерпас и с ругательством оглянулся.

— Ах! Это вы, господин Сальватор! Это дело, разумеется, другое!...— проговорил он, мгновенно смиряясь.

— Господин Сальватор! Господин Сальватор! — загудела толпа.— Хорошо, что вы пришли! Тут без беды не обошлось бы!

— Господин Сальватор? — проговорил Жан Робер.— Это еще кто такой?

— Имя у этого молодца многообещающее! — заметил Петрюс.— Посмотрим, оправдает ли он эти обещания...

Человеку, который явился с неожиданностью древнего божества, чтобы дать кровавому делу благое окончание, было на вид лет тридцать. В этом возрасте красота достигает полного своего развития и возмужалости, и в тот момент, когда этот человек с кротким лицом стоял и смотрел на толпу своим повелительным взглядом, он был действительно хорош.

Но через секунду было бы уже трудно определить его возраст.

Когда он смотрел вокруг с участием и любопытством, лоб его был гладок и чист, как у юноши; но если зрелище не нравилось ему, черные брови его хмурились, лицо покрывалось глубокими морщинами.

Заставив Быка одним пожатием кулака выпустить ватерпас, он оглянулся вокруг. Молодые люди хорошего общества, видимо, случайно попавшие в этот вертеп, стояли за кучей беспорядочно нагроможденной мебели. Тряпичник с рассеченным лицом припал к столу; все платье каменщика было залито кровью; лицо угольщика мертвецки бледно, а кошачий охотник, держась за бок, кричал, что он убит. При виде этой картины лицо Сальватора приняло такое строгое и жесткое выражение, что самые буйные опустили головы, а те, которые еще не совсем протрезвились, побледнели.

Сальватору предстоит играть главную роль в нашем рассказе, а потому необходимо дать возможно более точное описание его личности.

Как уже было сказано, на вид ему было лет тридцать. Черные, мягкие волосы его вились от природы, отчего они казались гораздо короче, чем были на самом деле. Глаза у него были кроткие, голубые и светлые, как вода в озере во время затишья, когда в него смотрится небо. При этом они поражали такой выразительностью, благодаря которой в них отражалась каждая его мысль.

Овал лица отличался рафаэлевской чистотой, ни одна линия не нарушала его гармоничности.

Нос был прям, тверд, неширок; рот невелик и с прекрасными белыми и ровными зубами, а губы прятались под красивыми черными усами.

Все лицо, скорее матовое, чем бледное, обрамлялось черной бородой, к которой, видимо, никогда не прикасались ни ножницы, ни бритва. Эта девственная, мягкая и блестящая борода скорее смягчала общее выражение лица, чем придавала ему резкость.

Но что особенно поражало во всем существе его, так это удивительная белизна его кожи. То не была ни желтоватая бледность ученого, ни белая отечность кутилы, ни мертвенность преступника. Цвет этого лица вернее всего было бы сравнить с грустным светом луны, играющим на белом лотосе или на девственных снегах Гималаев.

Одет он был в нечто вроде черного бархатного пальто, которое стоило только несколько стянуть у кушака, чтобы оно стало совершенно подобием казакинов пятнадцатого века. Жилет и панталоны на нем были тоже черные, бархатные.

На голове небрежно и красиво сидела черная бархатная шапочка, так напоминая своей формой ток*, что каждый невольно взглядывал на нее пристальнее, отыскивая традиционное страусовое или соколиное перо.

Особенно аристократический вид придавало этому костюму среди толпы то обстоятельство, что он был не из манчестера, который носили и все рабочие, а из настоящего шелкового бархата, как платье какой-нибудь герцогини или актрисы, а ярко-красный галстук, небрежно повязанный вокруг шеи, красиво выделялся на мягком черном фоне.

Изыщество и оригинальность этого костюма поразили и Жана Робера, и Людовика, но в особенности Петрюса. После своего замечания:

— Имя у этого молодца многообещающее! Посмотрим, оправдает ли он эти обещания, — он тотчас же прибавил: — Вот так чудеснейшая модель для моего «Рафаэля у Форнарины». Я с радостью дал бы ему шесть франков вместо четырех за час, если бы он согласился позировать.

Что касается Жана Робера, то его, как драматичес-

* Ток — высокий прямой, без полей, женский головной убор

кого автора, особенно, ценившего театральные эффекты, больше всего поразила та почтительность, с которой встретила толпа оборванцев этого человека и которая напомнила ему Нептуна, умиряющего своим божественным трезубцем бурные морские волны.

VII

ЖАН БЫК ОТСТУПАЕТ, А ТОЛПА СЛЕДУЕТ ЗА НИМ

Как только тридцать человек, находившиеся в зале, заметили приход странного незнакомца, в нем воцарилась такая тишина, что слышалось только шумное дыхание людей, утомленных борьбою.

Жан Бык сначала растерялся и принял это молчание за выражение общего неодобрения; однако, несколько придя в себя, заговорил как можно мягче:

— Господин Сальватор, позвольте мне объяснить вам...

— Во всяком случае, ты виноват! — возразил молодой человек тоном судьи, произносящего приговор.

— А все-таки я хотел сказать вам...

— Ты виноват! — настойчиво повторил молодой человек.

— Да как же вы можете это знать, когда вас тут вовсе и не было, господин Сальватор?

— Разве мне нужно было быть здесь, чтобы знать, что тут у вас было?

— Черт возьми! Но мне думается...

Сальватор протянул руку по направлению к Жану Роберу и его двум друзьям, которые стояли теперь рядом.

— Посмотри-ка сюда, — сказал он.

— Ну, что ж? И смотрию! — ответил Жан Бык. — Что из этого?

— И что ты видишь?

— Вижу трех фертиков, которым обещал дать добрую встрепку, и задам ее непременно.

— Вот и врешь! Ты видишь трех порядочных молодых людей, которые виноваты только тем, что зашли в такой вертеп. Но из-за этого тебе еще не следовало ссориться с ними.

— Да разве я начал ссориться с ними?

— Уж не станешь ли ты рассказывать мне, что это они затеяли ссору и начали драться с тобой и с твоими товарищами?

— Однако ж они и при вас собирались защищаться.

— Оно и понятно! За них была и их ловкость, и их правда! Ты ведь воображаешь, что все дело в силе, и даже переименовал свое настоящее имя Варфоломея Лелона на прозвище Жана Быка... Ну, вот теперь и уверяй, что это не так! Дай Бог, чтобы этот урок остался у тебя в памяти!

— Да говорю же вам, что они сами называли нас чудаками, разбойниками, сиволапыми...

— А за что они вас так называли?

— Они говорили, что мы пьяные.

— Нет, я тебя спрашиваю, за что они вас так называли?

— За то, что мы хотели запереть окно.

— А почему тебе так мешало, что оно отворено?

— Да потому что... потому что...

— Ну, ну, почему? Говори же!...

— Потому что я не люблю сквозняка,— с видимым усилием выговорил Жан Бык.

— Потому что ты пьяный бываешь зол, любишь ссориться и ухватился за первый попавшийся случай; потому что ты и перед этим с кем-нибудь поссорился и хотел на ком-нибудь сорвать злость за капризы и неверности мадемуазель...

— Молчите, господин, эта злодейка меня в могилу загонит!

— Ага! Видишь, значит, я попал метко!

Сальватор с минуту помолчал и нахмурился.

— Эти господа поступили хорошо, что отперли окошко,— продолжал он,— воздух здесь отвратительный! А так как на сорок человек одного отпертого окна мало, то сейчас же ступай и отпри еще одно.

— Я? — переспросил плотник и бессознательно крепче расставил ноги.— Чтобы я пошел отпирать второе окно, когда сам требовал, чтобы заперли первое?! Ведь я все еще Варфоломей Лелон, сын моего отца.

— Ты, Варфоломей Лелон-пьяница и задира, который позорит имя своего отца и который сделал хорошо, что принял вместо этого имени кличку. А я говорю тебе, что в наказание за то, что ты рассердил этих господ, ты пойдешь и откроешь второе окно.

— Пусть разразит меня гром небесный, если я тебя послушаюсь! — вскричал Бык, поднимая кулаки к потолку.

— Хорошо! В таком случае я тебя не знаю ни под

именем, ни под кличкой. Ты для меня не больше как мужик-грубиян, и я стану прогонять тебя отовсюду, где мы встретимся.

Сальватор повелительно указал рукой на дверь.

— Ступай отсюда,— проговорил он.

— Не пойду! — отрезал плотник с пеной у рта.

— Именем твоего отца, которого ты сейчас помянул, приказываю тебе: ступай отсюда!

— Нет же, нет,— гром и молния,— не пойду! — повторил Бык, садясь верхом на скамейку и хватаясь за нее руками, точно рассчитывая в случае надобности защищаться ею.

— Так, значит, ты хочешь довести меня до крайности? — спросил Сальватор так спокойно, что никому не пришло бы и в голову, что в словах этих заключалась серьезная угроза.

Говоря это, он медленно подходил к плотнику.

— Не подходите, не подходите, господин Сальватор! — вскричал тот, быстро отодвигаясь на всю длину скамейки.— Не подходите ко мне!

— Уйдешь ты отсюда? — спросил Сальватор, делая еще шаг вперед.

Жан Бык вскочил и поднял скамейку, точно собираясь ударить ею молодого человека.

Но вдруг отвернулся и бросил ее в сторону.

— Ведь вы знаете, что можете меня заставить сделать все, что захотите,— сказал он.— Лучше я сам отрежу себе руки, чем ударю вас. Но по доброй воле я отсюда все-таки не уйду!

— Ах ты, упрямый негодяй! — вскричал Сальватор, хватая его одновременно за галстук и за кушак.

Жан Бык захрипел от ярости:

— Унесите меня, коли хотите, я вам не препятствую, а по доброй воле все-таки не пойду! — сказал он.

— Ну, так пусть же будет по-твоему! — проговорил Сальватор.

Он сильно встряхнул великана, точно вырвал с корнем дуб из земли, сшиб его с ног, поднял, донес до лестницы и раскачал над нею.

— Как ты хочешь: сойти с лестницы по ступенькам или слететь с нее одним махом?— спросил он.

— Я ведь в ваших руках, делайте со мною, что хотите, а по доброй воле я все-таки не уйду.

— Ну, так ступай по моей!— ответил Сальватор и, как тюк, бросил его с четвертого этажа на третий.

Вслед за тем послышался стук, с которым тело Быка скатывалось с последних ступенек.

Толпа не вскрикнула и даже не произнесла ни слова: она была довольна; она восторгалась.

Но трое молодых врагов несчастного Быка были глубоко взволнованы. Вечно веселый Петрюс был мрачен. У флегматичного Людовика сильно билось сердце. И только один впечатлительный поэт Жан Робер был, по-видимому, спокоен.

Когда Сальватор вернулся в зал уже без плотника, Жан положил рапиру в ее оригинальные ножны и вытер платком пот со лба.

— Благодарю вас, милостивый государь, что вы избавили меня и моих друзей от этого осатанелого пьяницы,— сказал он, протягивая Сальватору руку,— но боюсь, не повредило бы ему это падение?

— О, не беспокойтесь!— вскричал Сальватор, пожимая своей белой, аристократической рукой, только что показавшей такое чудо силы, протянутую ему руку.— Он пролежит всего каких-нибудь две-три недели, и за это время успеет горько оплакать то, что теперь наделал.

— Неужели вы думаете, что это чудовище способно плакать?!— с удивлением спросил Жан Робер.

— Говорю вам, что он будет плакать горячими, кровавыми слезами... Это самый честный человек с прекраснейшим сердцем, которое я когда либо знал. Следовательно, беспокойтесь не о нем, а о себе.

— Почему же обо мне?

— Да, о вас... Позвольте мне дать вам один дружеский совет.

— Сделайте одолжение!

— В таком случае,— проговорил Сальватор так тихо, что его мог слышать только один его собеседник,— не ходите сюда никогда, мосье Жан Робер.

— Как?! Разве вы меня знаете?

— Знаю, как знают и все,— ответил Сальватор с безукоризненной вежливостью,— ведь вы один из наших знаменитейших поэтов.

Жан Робер покраснел до корней волос.

— А теперь,— продолжал Сальватор, обращаясь к толпе и мгновенно изменяя тон,— надеюсь, вы довольны и получили за свои деньги все, чего могли желать? Сделайте же одолжение, уберитесь отсюда поскорее. Воздуху здесь достаточно только на четверых; это значит, что я хочу остаться с этими господами один.

Толпа повиновалась ему, как стая школьников учителю, и, кланяясь молодому человеку, лицо которого было так же спокойно после предшествующей бурной сцены, как небо после грозы, стала молча спускаться с лестницы.

Четверо собутыльников Жана Быка прошли мимо него с опущенными головами и раскланялись перед ним так почтительно, как солдаты перед своим начальником.

Когда все они ушли, в дверях появился гарсон.

— Прикажете подать ужин, господа?— спросил он.

— Прикажем, и еще скорее, чем прежде,— ответил Жан Робер...— Надеюсь, вы будете так любезны отужинать с нами, мосье Сальватор?— прибавил он, обращаясь к молодому незнакомцу.

— Очень охотно,— ответил тот,— но не заказывайте для меня ничего лишнего. Я уже заказал себе ужин внизу, но услышал шум и пришел сюда.

— Слышите? Ужин господина Сальватора подать сюда,— сказал Жан Робер гарсону.

— Слушаю-с!— ответил тот и убежал.

Спустя несколько минут, четверо молодых людей сидели за ужином.

Выпили сначала за победителей, потом за побежденных и, наконец, за того, кто подоспел так вовремя, чтобы предотвратить еще большее кровопролитие.

— А вы, кажется, отлично знаете и бокс, и борьбу, и фехтование,— заметил Сальватор, с улыбкой обращаясь к Жану Роберу.— Вы дали бедняжке Жану ловкого туза в висок, превосходно лягнули его в грудь и собирались угостить премилым уколом рапиры, но я вошел и помешал вам... Ну, да это все равно!.. Стояли вы превосходно, и, будь я на месте мосье Петрюса, непременно нарисовал бы вас в этой позе.

— Как!? Вы знаете и меня?— вскричал Петрюс.

— Да, знаю,— с легким вздохом ответил Сальватор, точно это воспоминание навеяло на него облако грусти.— Прежде, чем завести мастерскую на улице Уэст, вы жили на улице дю-Регар, и там-то я и имел удовольствие видеть вас два или три раза.

Людовик все время молчал и сидел, задумавшись, точно сосредоточенно разрешал какую-то трудную задачу.

— Что это с вами, мосье Людовик?— спросил, обращаясь к нему, Сальватор.— Вы, кажется, чем-то озабочены? Так задумываться можно разве только перед экзаменами, а ведь у вас это дело, слава Богу, окончено уже три месяца тому назад.

Жан Робер взглянул на Сальватора с удивлением. Петрюс расхохотался.

— Вот, кстати, мосье Сальватор,— совершенно серьезно заговорил Людовик.— Вы знаете, кажется, все на свете...

— Вы очень любезны,— с улыбкой заметил Сальватор.

— Ну, так если вы знаете моих друзей, поэта Жана Робера и художника Петрюса, знаете, что я доктор, не знаете ли вы также, почему от кошачьего охотника так сильно разило валерьяной?

— Вы ловите рыбу, мосье Людовик?

— Да, иногда, в свободные минуты, хотя вообще я большей частью занят.

— В таком случае, как бы вы мало ни занимались рыболовством, вы, вероятно, знаете, что семена, которые употребляют для приманки карпов, сначала пропитывают мускусом или анисом.

— Ну, это знают не только рыболовы, но также и натуралисты.

— Тем лучше. А валерьяна для кошек то же самое, что анис или мускус для карпов,— она их привлекает. А так как дядя Жибеллот занимается охотой на них...

— О!— перебил Людовик, обращаясь к самому себе, с той несколько комичной флегмой, которая составляла одну из черт его характера.— О, наука! О, таинственная богиня! Неужели края твоего покрывала всегда открываются перед глазами смертных только случайно? И подумать только, что если бы Петрюсу не пришла фантазия ужинать в кабаке, если бы мы не поссорились с блузниками, я не дрался бы с кошачьим охотником, а вы не пришли бы вовремя разнять нас, то наука, может быть, еще десять, двадцать, наконец, сто лет все еще не знала бы тайны, что валерьяна для кошек то же, что анис и мускус для карпов.

Ужин шел весело.

Петрюс на жаргоне тогдашних мастерских рассказал, как ему однажды пришлось нарисовать в одном трактире двадцать портретов за неимением десяти франков двадцати сантимов, так что каждый портрет обошелся его счастливому обладателю по пятидесяти одному сантиму.

Людовик с математической точностью доказывал, что хорошенькие женщины никогда не могут быть больны серьезно, и четверть часа отстаивал этот парадокс с жа-

ром, которого почти нельзя было ожидать от такого флегматика.

Жан Робер рассказал план драмы, которую собирался написать для Бокажа и мадам Дорваль, а Сальватор сделал по этому поводу несколько весьма метких замечаний.

Бутылки быстро сменялись одна другою. Петрюс и Людовик условились подпойть Сальватора, чтобы заставить его разговориться; но, как оно всегда в подобных случаях бывает, кончилось тем, что Сальватор был совершенно трезв и спокоен, а сами они сильно захмелели.

Что касается Жана Робера, то он даже в кабаках пил только одну чистую воду.

Между тем, вино разбирало Людовика и Петрюса все более и более. Они дошли до того, что стали рассказывать бессмыслицу, повторяли одни и те же слова и остроты, наконец, осовели окончательно и заснули.

VIII

ПОКА ЛЮДОВИК И ПЕТРЮС СПАЛИ

Как только мерный храп возвестил, что двое младших собеседников окончательно отказались от всякого участия в разговоре, Сальватор поставил локти на стол, подпер голову руками и, пристально глядя в лицо Жана Робера, спросил его:

— Скажите, пожалуйста, господин поэт, зачем вы пришли сюда сегодня ночью?

— Затем, чтобы доставить удовольствие моим друзьям Петрюсу и Людовику.

— Только единственно за этим?

— Единственно!

— И ничто другое не побуждало вас оказать им эту любезность?

— Насколько мне известно, ничто.

— Вы в этом вполне уверены?

— Насколько вообще можно быть уверенным в самом себе.

— В таком случае вы не обманываете меня, но обманываетесь сами... Нет, эти двое молодых людей, которые почивают теперь невинным сном, были вовсе не причиной, а только предлогом для вашего прихода сюда. И знаете ли, зачем вы сюда пришли? Ну, так я скажу вам это. Вы пришли сюда ради наблюдений, необходимых для фило-

софа, поэта, романиста и драматурга. Вы пришли изучить сердце человеческое *in anima viii*, как выражаются в школе. Правда это?

— Да, в ваших словах есть доля правды,— улыбаясь, согласился Жан Робер.— До сих пор я писал только для театра, но не хочу ограничиваться этим. Мне хотелось бы начать писать бытовые романы, но писать их так, как писал свои пьесы Шекспир, охватывая целый исторический период и выводя на сцену все общество целиком, от могильщика до принца Гамлета включительно. И, признаюсь вам, в «Гамлете» сцена с могильщиком не кажется мне хуже других, а гробокопателей и осквернителей трупов я не нахожу худшими философами, чем остальные.

— Да, я, может быть, даже вполне согласен с вашим мнением, но, говоря откровенно, вы взялись за это дело не так, как следовало, вернее, вы избрали не то место для своих наблюдений. Как и где показывает своих могильщиков Шекспир? По колено в могиле, с голым черепом в руках, на самом месте их назначения, а вовсе не в кабаке виноторговца Иоганна, к которому первый могильщик посылает второго за стаканом эля. Если хотите быть поэтом, влюбитесь в женщину и бродите по лесу. Хотите сделаться драматургом,— бывайте в свете до полуночи, изучайте Мольера и Шекспира до двух часов, проспите часов шесть, закрепите свои воспоминания чтением и пишите от девяти часов утра до полудня. Если хотите написать роман, возьмите Лесажа, Вальтера Скотта и Купера, т. е. художников характеров, нравов и природы, изучайте человека у него дома — в его мастерской, если он художник, за его конторкой, если он негоциант, в его кабинете, если он министр, на троне, если он король,— но никогда не смотрите на него в кабаках, куда он приходит утомленный и откуда уходит пьяный. Вот именно на кабаках-то и следовало бы вывешивать знаменитую Дантовскую надпись: «Оставь надежды всяк сюда входящий». И затем: что за отвратительную ночь выбрали вы для своих наблюдений! Последнюю ночь карнавала, когда ни один из этих людей не на своем месте, когда все они заложили все, до последнего тюфяка, чтобы раздобыть костюмы получше, чтобы под их прикрытием обворовывать людей богатых,— одним словом, в сегодняшнюю ночь они сами на себя не похожи! Да, господин наблюдатель,— заключил Сальватор, пожимая плечами,— нельзя не заметить, что вы делали свои наблюдения довольно странным способом!

— Продолжайте, продолжайте,— промолвил Жан Робер,— я вас слушаю.

— Хорошо. Что сказали бы вы о человеке, который вздумал бы изучать сердце человеческое в сумасшедшем доме? Не правда ли, вы могли бы принять и его самого за сумасшедшего? А между тем, вы сами только что сделали то же самое. Послушайте, мосье Жан Робер, нас свел случай, а жизнь, может быть, сейчас же разъединит нас так, что мы никогда больше не увидимся... Так позвольте мне дать вам один совет. Вероятно, я кажусь вам очень навязчивым?

— О, нет! Клянусь вам, несколько!

— Да, если хотите, я сам сочиняю роман.

— Вы??!

— Да, да, но, успокойтесь,— это не из тех романов, которые печатают,— я конкурировать с вами не стану. Я хотел только сказать вам этим, что и я также имел претензию быть наблюдателем. Романы, многоуважаемый поэт, сочиняет само общество. Ищите у себя в мозгу, терзайте свое воображение три месяца, полгода, целый год и все-таки не создадите ничего подобного тому, что случается, фатум или провидение — называйте это как хотите — создает в несколько мгновений, что оно связывает и развязывает в одну ночь и в особенности в таком городе, как Париж. Есть у вас сюжет для вашего романа?

— Нет, нет еще. К вещам театральным я отношусь гораздо смелее,— они почти не смущают меня. Меня привлекают романы с их эпизодами, перипетиями и лестницами от низших до высочайших ступеней общества, роман с будуаром принцессы и мансардой простой ремесленницы, с Тюильри и тапи-франком, вроде того, в котором мы сидим теперь, с Нотр-Дам и Гревской площадью. Признаюсь вам, я с некоторым ужасом отступаю перед огромным трудом, который представляется целым миром, мне остается надеяться...

— А я на этот раз думаю, что вы ошибаетесь,— возразил Сальватор.

— В чем же дело?

— В том, что вы намерены что-то сделать, создать.

— Это разумеется.

— А вы не создавайте, а дайте ему сложиться самому.

— Я вас не понимаю.

— Вы знаете, как действовал Асмодей?

— Он поднимал крыши домов и говорил дону Клеофасу: «Посмотрите».

— А разве у вас есть власть Асмодея? Разумеется, нет. Я же скажу вам: поступайте еще проще. Выйдите из этого вертепа и ступайте за первым мужчиной или женщиной, которые вам попадутся. Следите за ними на улицах, в переулках, на набережных. Этот первый попавшийся человек, или первая попавшаяся женщина, может быть, и не будут героем или героиней вашего романа, но, наверно, окажутся сыном или дочерью того колоссального, всеобъемлющего романа, который сочиняет сам Бог... Зачем Он это делает, известно только Ему одному. Сделайтесь просто-напросто его сотрудником и, уверяю вас, что с первого же шага нападете на след какого-нибудь или ужасного, или смешного происшествия.

— Да, но теперь ночь.

— Тем лучше. Ведь ночь, собственно, и создана для поэтов, влюбленных, часовых, патрулей, воров и романистов.

— Значит, вы хотите, чтобы я начал мой роман сейчас же?

— Да он уже начат.

— В самом деле?

— Разумеется.

— С какого же это часа?

— С той минуты, когда друзья ваши сказали вам: «Пойдем ужинать в кабак».

— Вы шутите!

— Нет, честное слово, я вовсе не шучу. Жан Бык будет одним из действующих лиц вашего романа, Жибелотт тоже, так же как и Туссен, и Мешок с известкой. Двое ваших друзей, которые теперь спят и вовсе не подозревают, что мы назначаем им роли, будут тоже действующими лицами вашего романа. Да даже я сам, если вы почтете меня достойным этого, буду одним из героев вашего романа.

— А знаете что! Ведь то, что вы говорите, совершенная правда, и я вполне готов последовать вашему совету.

— В таком случае начните, сказав себе, что вы сами автор великой человеческой драмы, сценой которой служит весь мир с его лесами, горами, реками и океанами, где каждый действует, на первый взгляд, в своих интересах, по своей фантазии и капризу, а, в сущности, движется только по мановению невидимой, но всемогущей руки предопределения. Слезы, которые будут проливаться на этой сцене, будут подлинными слезами, кровь, которую мы там увидим, будет настоящей горячей кровью, и вы

сами можете примешивать к ним ваши слезы и вашу собственную кровь. Вы действительно именно такой человек, каким я вас представлял. Смотрите-ка, начало подмораживать, ночь чудная, светлая. Пойдемте искать продолжения истории, первую главу которой мы, если не написали, то разыграли.

— Но ведь нельзя же мне оставить здесь своих друзей.

— Почему же нет?

— А если с ними что-нибудь случится?

— О! Об этом не беспокойтесь. Я переговорю с гарсоном, а когда здесь будут знать, что они состоят под моим покровительством, то ни один, хотя бы даже самый наглый бродяга в этом вертепе, не посмеет прикоснуться к их головам.

— Хорошо,— согласился Жан Робер,— только будьте так любезны, отдайте это распоряжение при мне.

— Очень хорошо.

Сальватор подошел к лестнице, нагнулся над нею и свистнул каким-то особенным образом.

Казалось, что этого человека здесь никогда не заставляли ждать. Свист его еще не успел стихнуть, как по лестнице взбежал гарсон.

— Вы звали, господин Сальватор?— спросил он.

— Да.

Он протянул руку и, указывая на двух спящих молодых людей, пояснил:

— Эти господа — мои друзья, мэтр Бабилас. Понял?

— Точно так, господин Сальватор,— коротко ответил гарсон.

— Теперь мы можем идти,— сказал молодой человек поэту.

Жан Робер остался еще на несколько минут, спросил счет и расплатился.

Давая гарсону пять франков на чай, он прибавил:

— Скажи, братец, пожалуйста, кто этот барин, который сейчас велел тебе беречь моих друзей?

— Это не барин-с, это господин Сальватор. А разве вы их не знаете?

— Нет. Поэтому-то я тебя и спрашиваю.

— Это комиссионер с улицы Фер.

— Что ты говоришь!?

— Я говорю-с, что это комиссионер с улицы Фер.

Гарсон проговорил это так серьезно и просто, что заподозрить его во лжи не было возможности.

— Да, кажется, этот господин Сальватор сказал прав-

ду, и мы начинаем с ним какой-то доселе небывалый роман!— проворчал Жан Робер, поспешая за своим спутником.

IX

ДВА ДРУГА САЛЬВАТОРА

Комиссионер с улицы Фер сказал правду — ночь стояла великолепная.

На часах рынка пробило два.

Когда молодые люди вышли из кабака, вправо от них блеснул шедевр единственного французского архитектора — скульптора Жана Гужона, — «Фонтан невинных», залитый фантастическим светом луны. Его прекрасные пилястры коринфского стиля четко выделялись на темном фоне во всей чистоте своих гармоничных линий. Казалось, будто наяды, эти капли кристальной воды, преобразованные в женщин, спускали со своих прекрасных тел легкие покровы, чтобы броситься в зеркальный бассейн или окунуть в него свои прелестные ножки.

Молодые люди, несмотря на разницу в общественном положении, которое их, по-видимому, разделяло, взяли друг друга под руку и направились на улицу Сен-Дени, мимо Пале-де-Жюстис. Дойдя до площади Шале, они остановились. Перед ними беззвучно струилась Сена. Нотр-Дам высился в своей печальной неподвижности; Сен-Шапель гордо поддерживал свою кружевную вершину над крышами домов, как Левиафан свой хобот над волнами. Можно было подумать, что судьба перенесла их в Париж пятнадцатого столетия.

Для довершения иллюзии вдоль по набережной шла толпа молодых людей в костюмах времен Карла VI.

— Два часа четырнадцать минут!— кричали они во все горло.— Мы успокоились! Спите, парижане!

И, действительно, ничто не нарушало уверенности, что то была одна из тех депутатий, которые время от времени отправляла к королю Карлу VI царившая в ту пору в Париже корпорация мясников, чтобы вытребовать у него какие-нибудь новые льготы. Тут был и Гуа, и Тиберий, и Люилье, и Мелотт, со страшным живодером Кабошем во главе.

Казалось, они спокойно прогуливались по улицам, ожидая для начала своих проказ захода луны или прожуждения короля.

Сальватор и Жан Робер пропустили маскарад мимо себя, быстро перешли Меняльный мост и очутились на небольшой площади, лежащей между мостом Св. Михаила и улицей Лагарпа.

Человек тридцать студентов и гризеток с веселыми криками плясали вокруг нескольких снопов пылающей соломы.

Жан Робер, который в это время изучал историю Франции, невольно начал искать глазами тумбу с человеческой головой и с кошельком на шее, так как французские хроникеры свидетельствуют, что тумба стояла на этой площади вплоть до начала семнадцатого столетия.

Казалось, что вся эта молодежь, одетая в средневековые костюмы, которые в то время начинали входить в моду, собралась сюда, чтобы через четыреста лет протестовать против измены, совершенной на этой площади.

И действительно, 12 июля 1418 года стояла такая же ясная, тихая ночь, когда Перине Леклер вытащил из-под подушки своего спящего отца ключи от Сен-Жерменских ворот и отпер их восьмистам воинам герцога Бургундского, которые ожидали этого за стенами, под предводительством Вильера, владельца Пель-Адама.

Всех, кто попадался под руку, бургундцы убивали без всякой пощады: детей, женщин, стариков. Епископы Кутанса, Сента, Байе, Сенлиса, д'Евре были убиты в собственных постелях. Коннетабля и великого канцлера вытащили из домов, забили до смерти, разрубили на куски, части тела разбросали в разные стороны, а головы таскали по улицам.

Разгром продолжался целых восемь дней, но к концу этого времени парижане выгнали бургундцев и снова заперлись в своем городе. Тотчас после этого принялись отыскивать предателя, навлекшего на город столько позора и несчастий. Однако несмотря на все розыски, Перине Леклера в Париже не оказалось.

Он исчез, и никто никогда не узнал, когда и куда он бежал.

Какой-то скульптор наскоро сделал грубое изображение предателя. Толпа носила его по улицам, плевала ему в лицо, била по щекам, осыпала его проклятиями. Тот же скульптор вылепил голову этого Иуды пятнадцатого века на тумбе и повесил ему на шею кошелек. Историки того времени видели эту тумбу и упоминают о ней на страницах своих сочинений.

Вспоминая обо всем этом, Робер отвернулся от ярко освещенной группы пляшущей молодежи и силился найти эту памятную тумбу в каком-нибудь из темных углов площади.

— Хотел бы я знать, где именно она стояла?— проговорил он вполголоса.

— На углу площади и улицы Сент-Андре-д'Арк,— ответил Сальватор, точно он все время следил за мыслью Жана Робера, которая закончилась этим вопросом.

— Каким образом знаете вы вещь, которой не знаю я?— с удивлением спросил Жан Робер.

— Во-первых, ваше удивление для меня не особенно лестно,— смеясь, ответил Сальватор,— а во-вторых, неужели вы думаете, господин поэт, что хорошо знают некоторые вещи именно те люди, которым подобает их знать по их специальности? Я думал, что незнание друга вашего, Людовика, относительно валерьяны, послужило вам достаточно назидательным примером.

— Извините,— ответил Жан Робер.— Сознаюсь, что у меня вырвалось глупое слово, и обещаю, что больше этого не будет. Я начинаю приходить к заключению, что вы знаете все на свете.

— Нет, это сказано слишком сильно,— возразил Сальватор.— Всего на свете я не знаю и знать не могу; но я живу с народом, а он знает очень многое. Это гигант, который осуществляет античный миф об Аргусе, имевшем сто глаз, и о Бриаре, имевшем сто рук,— он сильнее короля и умнее самого Вольтера. Одно из достоинств или, может быть, и один из пороков этого народа составляет память и притом память, особенно долго хранящая воспоминания об изменах, за которые он всегда готов мстить. Злодей, которого помиловал король и удостоил своего благоволения, которого с распростертыми объятиями приняла аристократия, перед которым почтительно раскланивается буржуазия, для простого народа всегда и несмотря ни на что остается злодеем. Очень может быть, что недалеко уже то время,— продолжал Сальватор, заметно омрачаясь, так что лицо его приняло такое жесткое выражение, на которое за минуту до этого его едва ли можно было считать способным,— именно недалеко время, когда вы увидите яркий и убедительный пример того, о чем я вам говорю. А что касается имени Перине Леклера, подробности о котором известны только незаурядным ученым, то могу сказать вам, что в народе оно еще живо и окружено непримиримой и беспощадной нена-

вистью, которая говорит в нем тем ожесточеннее, что постыдное преступление его осталось и до сих пор безнаказанным, до сих пор не было искуплено соответствующей казнью, точно даже само провидение действовало на этот раз как усыпленный или подкупленный судья и как бы закрыло глаза, чтобы дать пройти преступнику. Однако пойдём дальше.

Сальватор взял Жана Робера опять под руку.

Поэт покорно шел за странным человеком, которого только случайность сделала его проводником, и вместе с ним очутился среди темных и пустынных улиц.

Между улицей Макон и площадью Сент-Андре-д'Арк Сальватор остановился перед белым и очень опрятным домиком, имевшим всего три окна по уличному фасаду.

Вход был заперт дверью, отделанной под дуб.

Сальватор достал из кармана ключ, видимо, собираясь войти.

— Не правда ли, решено, что мы проведем остаток ночи вместе?— спросил он, обращаясь к Жану Роберу.

— Вы мне это предложили, и я принимаю ваше предложение с удовольствием. Или вы, может быть, передумали?

— Слава Богу, нет еще. Но, видите ли, хоть я человек и очень ничтожный, но есть два существа, которые стали бы тревожиться о моем отсутствии, если бы я не вернулся в известный час домой. Два существа эти — женщина и собака.

— Так ступайте и успокойте их, а я подожду вас здесь.

— Что это? Вы отказываетесь войти ко мне из скромности? В таком случае вы ошибаетесь. Я принадлежу к числу тех людей, которые ничего не скрывают и которые, тем не менее, остаются таинственными при полной силе солнечного света. Ведь еще Талейран сказал, что дипломат вернее всего обманет своих противников, если скажет им правду. Я именно такой дипломат, с той только разницей, что мне некого обманывать, потому что мною никто не интересуется.

— В таком случае я скажу, как говорят итальянцы, — «Permessò!» — проговорил Жан Робер, которому ужасно хотелось войти в дом странного комиссионера с улицы Фер.

Дверь отворилась, и молодые люди очутились в галерее.

— Постойте, я посвечу, — сказал Сальватор.

Он вынул из кармана спички и только хотел зажечь одну из них, как наверху лестницы появился свет.

Чей-то мягкий звучный голос проговорил:

— Это ты, Сальватор?

— Да, я,— отвечал молодой человек.— Теперь сами увидите, что не я обманул вас,— прибавил он, оборачиваясь.— Вы увидите женщину и собаку.

Собака явилась первая. Услышав голос хозяина, она слетела с лестницы, как ураган.

Остановившись перед хозяином, она поставила свои передние лапы ему на плечи и, прижавшись головою к его щеке, стала радостно лаять и взвизгивать.

— Ну, ну, хорошо, хорошо, Роланд,пусти меня,— ласково отпихнул ее Сальватор.— Видишь, твоя хозяйка Фражола хочет мне что-то сказать.

Но вдруг собака заметила Жана Робера, продвинула морду через плечо Сальватора и зарычала не то злобно, не то вопросительно.

— Это друг, друг, Роланд, не дури!— сказал ей Сальватор.

Он поцеловал собаку в ее черную косматую голову и, оттолкнув еще раз, прибавил:

— Ну, довольно,пусти!

Роланд посторонился, пропустил мимо себя и Жана Робера, мимоходом обнюхал его, лизнул ему руку и пошел зади него.

Жан Робер тоже оглядел его. То был великолепный сенбернар. Стоя на задних лапах, он был футов пяти с половиной ростом, а цветом шерсти напоминал льва.

Поднявшись с нижнего этажа на второй, Жан Робер сосредоточил свое внимание на Фражоле.

Это была женщина лет двадцати. Роскошные белокурые волосы ее обрамляли бледное, кроткое лицо, сквозь чрезвычайно нежную кожу которого просвечивал румянец. Свеча в хрустальном подсвечнике, которую она держала в руках, освещала ее большие синие глаза и прекрасные улыбающиеся и полуоткрытые губы, между которыми блестел ряд жемчужных зубов.

Под правым глазом у нее было родимое пятнышко, в известное время года принимавшее цвет земляники. Вероятно, за него и назвали ее поэтическим именем, поразившим Жана Робера.

Появление незнакомца сначала встревожило и ее, как Роланда, но после слов Сальватора — «Это друг», она тоже успокоилась.

Когда он поравнялся с нею, она несколько нагнулась вперед, и он нежно и почтительно поцеловал ее в лоб.

— Друг моего друга — друг и мне! — сказала она, обращаясь к Жану Роберу. — Милости просим.

В одной руке она продолжала держать свечу, другой обняла шею Сальватора и так вошла в комнату.

Жан Робер пошел за ними.

Но войдя в небольшой зал, служивший, по-видимому, столовой, он скромно остановился.

— Надеюсь, что ты до сих пор не легла не из-за беспокойства, дитя мое, — сказал Сальватор, — а то я, право, не простил бы себе этого.

Он произнес это с оттенком отеческой нежности.

— Нет, — кротко ответила девушка, — но я получила письмо от подруги, о которой иногда рассказывала тебе.

— От какой же именно? — спросил Сальватор. — Ты часто рассказываешь мне о трех.

— Можешь прибавить еще одну. У меня их четыре.

— Верно! Но о которой же говоришь ты теперь?

— О Кармелите.

— С ней случилось какое-нибудь несчастье?

— Да, мне кажется. Мы хотели встретиться завтра во время обедни в Нотр-Дам: она, Лидия, Регина и я, как делаем это каждый год, и вдруг она почему-то назначает нам свидание в семь часов утра.

— Где же это?

Фражола улыбнулась.

— Она просит сохранить это в секрете.

— Ну и храни его, мой прелестный ангел. Ты ведь знаешь мое мнение насчет всяких тайн. Это своего рода святая святых.

Говоря эти слова, Сальватор обернулся к Роберу.

— Через минуту я буду к вашим услугам, — сказал он. — Знаете вы Неаполь?

— Нет. Но года через два собираюсь туда съездить.

— Ну, так займитесь обзором этой столовой. Это очень точная копия со столовой в доме поэта в Помпее. А когда окончите осмотр, побеседуйте с Роландом.

Говоря это, Сальватор вошел с Фражолой в соседнюю комнату и закрыл за собой двери.

Х

БЕСЕДА ПОЭТА С СОБАКОЙ

Оставшись один, Жан Робер взял свечу и подошел к стене, а Роланд со вздохом удовольствия опустил на

толстый ковер, разостланный у той двери, в которой исчезли хозяева, и, по-видимому, бывший его всегдашней постелью.

Несколько минут Жан Робер смотрел на стену и не видел ничего, потому что глаза его были устремлены как бы внутрь, и воспоминания точно заслонили от него то, на что он смотрел.

Перед ним стоял образ девушки, наклонившейся со свечой в руках над темной лестницей, ее золотистые волосы, ее прекрасные глаза, в которых светилось небо даже тогда, когда неба не было видно, ее тонкая, почти прозрачная кожа, подобная лепестку чайной розы, ее грация, которую придает некоторым людям и животным несколько излишне длинная шея. Между людьми примером этой грации служит Рафаэль, между животными — лебедь.

Все в ней казалось ему необыкновенным, даже это родимое пятнышко под глазом, за которое, вероятно, Сальватор дал ей имя Фражола, из которого так легко складывалось сладкозвучное уменьшительное — Фражолетта.

Затем имя «Регина», которое произнесла девушка, вызвало в воображении Жана Робера воспоминание об аристократке, которая, разумеется, не могла иметь ничего общего со скромным мирком, с которым и он столкнулся лишь на мгновение, но который, тем не менее, тотчас заставил зазвучать чуткие струны его поэтической души.

Но мало-помалу завеса воспоминаний начала разрушаться, и он, как сквозь туман, увидел картины, изображенные на стене.

Артистическое чутье брало верх над мечтательностью; воображение отступало перед действительностью. Перед Жаном Робером был образец поразительно точной копии с декоративной живописи древности.

Четыре главные части стены составляли рамы, окруженные кессонами. В каждой раме было по пейзажу, который виднелся как бы сквозь коллонату перистилия или из окна комнаты.

Кессоны представляли все те фантастические фигуры, которые снова вызвала к жизни археология, — часы дня и ночи, пляшущих стрекоз, правящих двумя улитками, запяженными в колесницу, голубков, пьющих из одной вазы.

Все это было скопировано с поразительной точностью и верностью колорита.

Присутствие таких вещей в доме комиссионера могло бы удивить Жана Робера, если бы и сам Сальватор со всем, что его сколько-нибудь касалось, не был для него предметом непрерывного удивления.

Он задумчиво поставил свечу на круглый стол, занимавший посреди столовой место не более шести футов в окружности, и сел на ближайший стул.

Взор его бессознательно скользил некоторое время по различным частям обстановки и, наконец, остановился на собаке.

Ему припомнились слова Сальватора:

— Когда окончите осматривать столовую, побеседуйте с Роландом.

Жан Робер улыбнулся.

Эти слова, которые любой другой мог бы принять за грубую шутку, показались ему совершенно естественным советом и внушили ему еще большую симпатию к новому знакомому.

Жан Робер со своим чистым, нежным и добрым сердцем не допускал мысли, чтобы Бог наградил душою только человека. Он, как восточный поэт или индийский брамин, склонен был думать, что животное тоже имеет душу, но будто уснувшую или заколдованную. Часто он воображал себе, как при сотворении мира появлению человека предшествовало создание младших его братьев: зверей и даже растений, и ему казалось, что именно эти прежде явившиеся младшие братья и были наставниками и воспитателями. Ему думалось, что они своим, уже окрепшим инстинктом вели еще шаткий разум человека и что с другой стороны теперь несправедливо презирать их.

— Побеседуйте с Роландом.

Он оторвался от своих размышлений и окликнул собаку.

При звуке своего имени, произнесенного с привычной охотничьей интонацией, Роланд, который лежал, протянув морду вдоль лап, поднял голову.

Жан Робер позвал его еще раз и хлопнул себя по колену.

Роланд поднялся на передние лапы и сел в позе сфинкса.

Жан Робер окликнул его в третий раз.

Роланд встал, подошел к нему, положил свою голову к нему на колени и дружески взглянул на него.

— Что, милый?— ласково спросил поэт.

Роланд провизжал не то жалобно, не то дружественно.

— Ага! Кажется, твой хозяин Сальватор сказал правду! Мне сдается, что мы пойдем друг друга.

При имени Сальватора пес коротко пролаял с видимым удовольствием и оглянулся на дверь.

— Да, да, он там, в той комнате, с твоей хозяйкой. Верно? Так ведь?

Роланд подошел к двери, приложил морду к щели, образовавшейся между нижним ее краем и полом, и шумливо втянул в себя воздух, потом вернулся к Жану Роберу, положил ему свою голову опять на колени и закрыл свои умные, почти человеческие глаза.

— Ну-ка, посмотрим, кто такие были твои родители, — сказал Робер. — Дай-ка сюда лапу.

Пес поднял лапу и с удивительной осторожностью опустил ее в руку поэта.

Тот раздвинул и пристально осмотрел его пальцы.

— Ну, да, я так и думал, — заметил он. — Ну, а лет тебе сколько?

Он поднял губу Роланда, под которой оказалось два ряда страшных, белых, как слоновая кость, зубов; но в глубине пасти челюсти уже заметно ослабли.

— Так! — сказал Робер. — Мы с тобой, Роланд, уже не первой молодости. Если бы мы были дамами, то уже лет десять скрывали бы свои года.

Пес сидел перед ним невозмутимо. Ему, очевидно, было совершенно безразлично, знал ли Жан Робер его настоящий возраст или нет, а тот продолжал свой бесцеремонный осмотр, силясь найти подробность, которая более заинтересовала бы самого его косматого собеседника.

Через несколько минут он напал именно на то, что искал.

Шерсть у Роланда напоминала львиную и только на животе была несколько длиннее и курчавее. Но на правом боку Жан Робер заметил между четвертым и пятым ребром белый клочок.

— Что ж это у тебя такое, мой бедный Роланд? — спросил он, нажимая на эту точку пальцем.

Роланд слегка взвыл.

— Эге! Это рана! — проговорил Робер.

Он знал, что возле ран или на рубцах, которые от них остаются, окрашивающие шерсть масла теряют свою силу и что на конских заводах, пользуясь этим обстоятельством, делают лошадям белые звездочки на лбах, прикладывая к ним раскаленное железо.

Но у собаки была скорее рана, чем ожог, потому что под пальцем складки шрама выступали довольно чувствительно.

Жан Робер принялся внимательно осматривать другой бок.

Там оказался точно такой же след, с той только разницей, что он приходился несколько ниже.

Робер и его нажал пальцем, а Роланд взвизгнул на этот раз несколько сильнее прежнего. Рана была, как оказалось, сквозная.

— А, мой милый!— вскричал поэт,— значит, ты воевал, как и твой великий тезка.

Роланд поднял голову и пролаял так грозно, что Робер невольно вздрогнул.

Этот ответ добродушного пса заставил Сальватора выйти из спальни.

— Что у вас тут случилось?— спросил он.

— Ничего особенного... Вы посоветовали мне побеседовать с ним,— ответил Жан Робер, смеясь.— Я стал расспрашивать о его истории, и он только что собрался мне рассказать ее.

— Ну, и что же рассказал он вам? Это в самом деле становится любопытно. Нужно же узнать о нем, наконец, правду.

— Да зачем же стал бы он лгать?— возразил Жан Робер.— Ведь он не человек.

— Тем больше основания, чтобы вы повторили мне ваш разговор!— вскричал Сальватор с нетерпением, в котором слышалась и тревога.

— Извольте. Вот вам наш разговор с Роландом слово в слово: я спросил его, чей он сын. От ответил мне, что он помесь сенбернара с ньюфаундлендом. Я спросил, сколько ему лет, он ответил — девять или десять. Я спросил, что значат белые пятна у него на боках; он ответил, что это след пули, которая переломила ему ребро и вышла сквозь левый бок.

— Все совершенно верно!— подтвердил Сальватор

— И доказывает вам, что я наблюдатель, достойный ваших уроков.

— Это доказывает, по-моему, просто только то, что вы охотник, а следовательно, по перепонкам, которые есть между пальцами у Роланда и по его шерсти, вам нетрудно было узнать, что он помесь водолаза с горной собакой. Вы посмотрели ему в зубы и по цвету десен увидели, что он уже не молод. Вы пощупали два пятна у него на боках

и по неровностям на коже и по вогнутости кости узнали, что пуля вошла через правый бок, а вышла через левый. Верно я вас понял?

— До того верно, что я чувствую себя уничтоженным.

— А больше этого он не сказал вам ничего?

— Вы вошли именно в тот момент, когда он сказал мне, что помнит свою рану и при случае, наверно, узнает и того, кто ее нанес ему. Рассказать же мне все остальное, я попрошу уже вас.

— К сожалению, я и сам знаю не больше вашего.

— Неужели?!

— Да. Лет пять тому назад я охотился в окрестностях Парижа...

— Охотились в окрестностях Парижа?!

— То есть, вернее, браконьерствовал... Ведь комиссионерам прав на охоту не полагается. Я нашел этого пса в канаве, он был прострелен навывлет, лежал весь в крови и едва дышал. Красота его меня просто поразила. Мне стало жаль его. Я донес его до ручья и обмыл ему рану водой с водкой. От этого он точно ожил. Мне подумалось, что если хозяин решился оставить его в таком положении, то значит, не особенно дорожил им, и мне захотелось взять его себе. Мимо проезжала телега на рынок, я уложил его на нее и отвез домой. С того же вечера я стал лечить его так, как лечили у нас в Валь-де-Грасе раненых людей; мне удалось его вылечить, и вот и все, что я сам знаю о Роланде. Впрочем, нет, виноват, я забыл прибавить, что с тех пор он относится ко мне с беспредельной преданностью и готов дать убить себя за людей, которые мне дороги. Так ведь, Роланд?

При этом обращении пес весело залаял и опять оперся передними лапами на плечи хозяина.

— Ну, хорошо, хорошо!— сказал Сальватор.— Ты у меня хороший, честный пес! Я это знаю, знаю! А теперь лапы долой!

Роланд покорно опустился на пол, отошел и улегся на прежнее место вдоль дверей.

— Хотите отправиться со мной сейчас же?— спросил Сальватор, обращаясь к Жану Роберу.

— С радостью! Хотя, право, я боюсь стеснить вас.

— Это чем?

— Мадемуазель Фражола хотела идти куда-то сегодня утром, и, стало быть, вам нужно проводить ее.

— Нет! Ведь вы же сами слышали, что она не может даже сказать мне, куда идет.

— И вы не боитесь так отпускать ее совершенно одну, да еще в такие места, которых она не хочет даже назвать?— смеясь, спросил Жан Робер.

— Дорогой поэт, знайте, что там, где нет доверия, нет и любви. Я люблю Фражолу всеми силами моего сердца и, кажется, скорее заподозрю мою родную мать, чем ее.

— Прекрасно, но для молодой девушки вообще опасно выезжать так рано за город с одним только кучером.

— Совершенно верно, но ведь с нею будет Роланд, а под его защитой я отпущу ее одну хоть на край света.

— Вот это другое дело.

Жан Робер не без некоторого шегольства закутался в свой плащ.

— Ах, да, кстати,— сказал он.— Мне показалось, что мадемуазель Фражола упомянула имя Регины.

— Да.

— Это имя необыкновенное. Я знал дочь маршала Ламот Гудана. Ее тоже звали так.

— Да это она и есть подруга Фражолы... Отправимся.

Жан Робер молча пошел за своим проводником.

Этот человек удивлял его все больше и больше.

ХІ

ДУША И ТЕЛО

В те несколько минут, которые Сальватор провел в спальне, он полностью переоделся.

Теперь вместо оригинального и изящного черного бархатного костюма на нем был белый косматый казак, пестрый жилет, застегнутый доверху, и темные панталоны. В этом костюме невозможно было бы определить, к какому классу он принадлежал. Это можно было узнать по тому, как он надевал шляпу: если он надвигал ее на ухо, то казался принарядившимся ремесленником, а если надевал ее прямо, то имел вид небрежно одетого светского человека.

Жан Робер, пристально наблюдавший за всем, заметил и этот тонкий оттенок.

— Куда хотите вы отправиться? — спросил Сальватор, выходя на улицу и запирая дверь своего дома.

— Куда вы полагаете лучше. Ведь вы обещали быть моим проводником сегодняшней ночью.

— Так поступим же, как поступали древние,— от-

ветил Сальватор,— бросим перо по ветру и, в которую сторону он отнесет его, туда мы и направимся.

Сальватор вырвал листок из своей записной книжки и подбросил его на воздух. Ветер подхватил его и понес в сторону улицы Пупе.

Следуя за ним, друзья дошли до улицы Ла-Гарп.

Здесь они бросили вторую бумажку, и она привела их к улице Сен-Жак.

Они шли, сами не зная куда, полагаясь на случайность, без цели, без направления, обмениваясь мыслями и впечатлениями еще свежих и сильных душ.

Жан Робер несколько раз пытался проникнуть в тайну жизни странного молодого человека, но Сальватор каждый раз ловко увертывался от него, как лисица увертывается на охоте от преследующей ее гончей.

Наконец, когда Жан Робер поставил свой вопрос прямо, он сказал ему:

— Ведь мы вышли с вами искать роман,— не правда ли? А то, до чего вы доискиваетесь теперь, есть роман уже оконченный. Если бы я уступил вашей просьбе, то это значило бы, что я веду вас назад. Так лучше пойдёмте вперед.

Жан Робер понял, что он твердо решил остаться неизвестным, и перестал настаивать.

Кроме того, мысли их приняли скоро другое направление, благодаря одной случайности.

Несколько мужчин и женщин толпились около какого-то человека, лежавшего на мостовой.

— Он пьян! — говорили одни.

— Нет, он умирает! — возражали другие.

Человек продолжал хрипеть.

Сальватор растолкал толпу, опустился возле него на колени, приподнял его голову, заглянул ему в лицо и, обращаясь к Жану Роберу, сказал:

— Это Варфоломей Лелон. У него прилив крови к мозгу, и, если я сейчас же не пушу ему кровь, то он умрет. Здесь должна быть где-то аптека, сходите туда. Аптекари должны вставать в любое время.

Жан Робер осмотрелся. Сами того не замечая, они дошли до середины предместья Сен-Жак и были невдалеке от больницы Кошен.

Напротив госпиталя красовалась вывеска:

Аптека Луи Рено.

До имени аптекаря ему, впрочем, не было никакого дела,— лишь бы он поскорее открыл. Он громко и сильно постучался.

Минут через пять дверь со скрипом отворилась, и в амбразуре появилась фигура Луи Рено в ночном бумажном колпаке.

Он спросил Жана Робера, что ему нужно.

— Приготовьте таз и перевязок,— ответил тот.— Там на улице лежит человек, которому грозит удар. Ему необходимо пустить кровь.

В это время внесли больного, который был совершенно без сознания.

— А есть с вами доктор? — спросил Луи Рено.— Я пускать кровь не умею, и вообще, я, скорее, травник, чем аптекарь.

— Об этом не беспокойтесь,— возразил Сальватор.— Я учился хирургии и сделаю все, что будет нужно.

— Да у меня и ланцетов нет.

— У меня мой футляр с собою.

Толпа мало-помалу заполнила аптеку.

— Господа, хотите вы быть полезны этому человеку? — спросил Сальватор.

— Известное дело — хотим, господин Сальватор,— отвечали зрители, протягивая руки.

— Тогда у меня к вам просьба: пока я стану пускать ему кровь, сходите в больницу, достучитесь там и предупредите, что сейчас принесут больного.

Трое или четверо из толпы ушли с человеком, с которым разговаривал Сальватор.

Между тем остальные с помощью аптекаря развязали галстук бедного Жана Быка, сняли с него казакин и стащили с одной руки рукав рубашки.

Жилы на шее были до того напряжены, что казалось, они вот-вот лопнут.

— Нужно перевязать руку? — спросил Жан Робер.

— А есть готовые перевязки? — обратился Сальватор к аптекарю.

— Пойду поищу,— ответил Луи Рено.

— Сожмите руку крепче над локтем, мосье Робер,— сказал Сальватор.— Я надеюсь, что и этого будет достаточно.

Робер нагнулся и сделал то, что ему поручили. Один из толпы взял руку за кисть, другой держал таз, третий — лампу.

— Смотрите, не потеряйте из виду артерию,— проговорил Жан Робер с тревогой.

— О! Не беспокойтесь! — ответил Сальватор.— Мне не раз приходилось пускать кровь по ночам при одном свете луны или уличного фонаря. Эти вещи очень часто случаются с бедняками, особенно, когда они выходят из кабаков.

Он еще не договорил, как прикоснулся к руке Жана Быка ланцетом, и из нее хлынула кровь.

— Черт возьми! — продолжал он, покачивая головой,— чуть-чуть не опоздал!

Всю операцию он произвел с быстротой и ловкостью привычного практика.

Жан Бык вздохнул.

— Скажите мне, когда крови выйдет достаточно,— проговорил возвратившийся аптекарь.

— У него ее можно выпустить сколько хочешь, не жалея,— ответил Сальватор.— Он на малокровие пожаловаться не может. Оставьте, оставьте, пусть течет.

Когда крови натекло около двух тазов, Жан открыл глаза.

Поначалу взгляд его был мутным и как бы бессознательным, но затем глаза его мало-помалу прояснились и усталились на хирурга-любителя.

— А! Господин Сальватор! — проговорил он.— Это хорошо! Бог мне свидетель, я рад вас видеть.

— Тем лучше, тем лучше, мой милый! — ответил молодой человек.— И я тоже рад вас видеть! А ведь чуть было не лишился я этого удовольствия навсегда.

— Гм! Значит, это вы пустили мне кровь? — спросил Жан, все больше и больше приходя в себя.

— Да, да, я,— говорил Сальватор, тщательно вытирая ланцет и укладывая его обратно в футляр.

— Значит, вы не хотели, чтобы я умер?

— Я? Да с чего же бы мне этого хотеть?

— Когда вы меня сбросили с лестницы, я думал, что это всегда делают, чтобы убить человека.

— Полноте! Вы просто с ума сошли!

— Нет, я очень хорошо понимаю, что можно убить человека, когда он вас взбесит, а я вас взбесил тем, что не хотел открыть окно. А только вы сами рассудите, если я сам требовал, чтобы его заперли, то как же было мне идти самому же и отпирать его, хоть вы мне это приказали? Ведь это ж значило бы осрамиться в моих собственных глазах! А эти фертики еще стоят да смеются!

— Один из этих франтиков помог мне спасти вас от смерти, Варфоломей. Из этого вы видите, что и они вам зла не хотели.

Жан Бык повернул голову, взглянул на Жана Робера и улыбнулся.

— А ведь и в самом деле! — вскричал он.

Жан Робер протянул ему руку.

— Ну, полно, забудем ссору! — сказал он добродушно.

— О! Я человек не злопамятный! — ответил Варфоломей, — и если вы сами протягиваете мне руку...

— Да я и раньше с этого бы начал, — ответил поэт, — но признайтесь, что вы сами этого не хотели.

— Это правда! — согласился Варфоломей, хмурия брови. — Глупы мы, по правде сказать! Накликать на себя вот такую беду из-за того, что женщина... Да вы только поймите, господин Сальватор, ведь она опять вернулась от Бобино с этим капельным уродом. А я все-таки не могу расколотить его вдребезги, и он этим пользуется!.. О, она знает, эта несчастная, что делает, если не хочет взять человека!..

— Полно, полно, успокойтесь, Варфоломей.

— Да, вам это легко говорить. Вы живете с ангелом, господин Сальватор! Вы этого и стоите, потому что только затем и живете, чтобы делать добро другим, а чтобы сделать вам зло, надо быть настоящим извергом!.. Ну, да и про себя скажу, я хоть и стар, а отец я хороший и вовсе не заслуживаю, чтобы у меня отнимали мою девочку. Вот уже целых три дня я, как сумасшедший, разыскиваю своего ребенка. Она, наверное, запрятала ее где-нибудь у своей мошенницы-матери... а ведь к той не пойдешь да не обыщешь! Она вон что теперь придумала: как только меня увидит, так и принимается кричать благим матом, что ее хотят убить! До того ведь дело дошло, что я из-за нее уже две ночи в зале Сен-Мортен ночевал. Ну, да это-то еще Бог бы с ним, я не прочь проночевать так хоть пять, хоть десять ночей, лишь бы опять увидеть мою девочку!.. Ведь истинный она херувимчик!.. В Иванов день два годочка исполнится.

И колосс заплакал, как женщина.

— Ну, и что я вам говорил? — спросил Сальватор, обращаясь к Жану Роберу, который с удивлением следил за всей этой странной сценой.

— Да, правда! — ответил он.

— Ну, слушай, Варфоломей, тебе отдадут твою дочку,— сказал Сальватор больному.

— Вы их заставите, господин Сальватор?

— Обещаю тебе это.

— Ну, да, да!... Простите!.. Я совсем одурел!.. Ведь уж если вы сказали, то так тому и быть! Ах, сделайте это, господин Сальватор... сделайте. Тогда, вот ей Богу же, я не заставлю вас больше трудиться кидать меня с лестницы. Тогда вы только скажите мне: «Жан Бык, кинься с лестницы» — я сейчас и кинусь.

— Господин Сальватор,— сказал, входя в аптеку человек, который ходил в больницу,— там все готово, открыто.

— Это уж не для меня ли? — спросил Варфоломей.

— Что ж? Разве это тебе не нравится? — сказал Сальватор.

— Нет. Я туда не пойду.

— То есть, как же это?

— Я не люблю больниц. Они годятся только для всякой дряни да для нищих, а я, слава Богу, еще достаточно богат, чтобы лечиться на свой счет и лежать в своем углу.

— Все это очень хорошо, только у тебя не станут так хорошо ухаживать. Дома ты и поешь не вовремя, и выйдешь некстати; ну, а если человек дома так хорошо угостит себя раза три или четыре, да потом попадает в больницу, уже поневоле и не выходит оттуда никогда. Полно, не дурачься, Варфоломей.

— Нет, не хочу я в больницу! Как хотите, не пойду!

— Ну, хорошо, тогда отправляйся домой и ищи свою дочку, как знаешь. Ты мне надоел, наконец!

— Господин Сальватор, я пойду туда, куда вы прикажете!.. Где эта больница, господин Сальватор? Я туда с радостью!.. Ну, ну... где ж она?

— Вот так-то лучше, Варфоломей.

— Ну, а вы ведь возьмете у нее мою маленькую Фифиночку?

— Обещаю тебе, что не пройдет трех дней и ты узнаешь, где она.

— Ах ты, Господи! А что я стану делать в эти три дня?

— Ты будешь лежать спокойно.

— Ну, а раньше-то, пораньше разве нельзя узнать о ней, господин Сальватор?

— Будет сделано все, что возможно. А теперь ступай, с Богом.

— Иду, иду, господин Сальватор! Вишь ты, ведь как смешно! Ноги точно не мои... Не слушаются!

Сальватор махнул рукой. Двое мужчин подошли к Варфоломею и подхватили его.

— Ну вот, ну вот я и ушел, господин Сальватор, — слабым, разбитым голосом лепетал великан. — А вы не забудьте, что дня через три обещали известить меня, где моя девочка.

Дойдя до противоположной стороны улицы, до дверей больницы, которые должны были закрыться за ним, он еще раз крикнул:

— Так не забудьте же мою Фифиночку, господин Сальватор.

— Ваша правда, — проговорил Жан Робер. — Людей следует наблюдать не в кабаке.

ХII

ВО ДВОРЕ АПТЕКАРЯ

Операция кровопускания была закончена, больной отправлен в больницу, и молодым людям оставалось только уйти, утешая себя мыслью, что если бы им не пришла фантазия бродить по улицам Парижа в три часа ночи, то умер бы человек, которому предстояло, может быть, прожить еще тридцать или сорок лет на свете.

Но, прежде чем уйти, Сальватор попросил у аптекаря таз и воды, чтобы вымыть свои испачканные кровью руки.

Вода, которую ему подали, была обыкновенная; но таз представлял в аптекарском обиходе своего рода редкость. Тот, в который Сальватор выпустил кровь Жана Быка, оказался единственным, а хирург-дилетант настаивал, чтобы кровь эту непременно сохранили и показали доктору, который станет лечить больного.

Аптекарь огляделся вокруг и сказал:

— Черт возьми! Если вы хотите вымыть себе руки, так ступайте во двор и вымойтесь под краном... Там и воды больше.

Сальватор беспрекословно согласился. Несколько капель крови попало и на руки Жана Робера, а потому и он пошел за ним.

Но на пороге двора оба остановились.

Среди тишины прекрасной лунной ночи до них доносились откуда-то волшебные звуки музыки.

Откуда лились они? Рядом со двором высилась мрачная каменная стена монастыря. Может быть, то был западный ветер, который, проникая под своды храма, выносил оттуда сладкие и стройные звуки органа и услаждал ими слух редких прохожих улицы Сен-Жак.

Уж не сама ли святая Сесилия слетела с небес, чтобы ознаменовать в святой обители наступление Великого Поста? Или то были души юных послушниц, умерших в ангельском возрасте, которые возносились к небесам под звуки райских арф?

Действительно, мелодия, доносившаяся до слуха молодых наблюдателей, не походила ни на оперную арию, ни на песни юного музыканта, возвращающегося с маскарада. То был не то хвалебный гимн, не то песнь покаяния, а вернее, отрывок какой-то древнебиблейской духовной пьесы. То была песнь Рахили, оплакивающей сынов своих, павших в Риме, и не желающей внимать утешениям, потому что они погибли.

Если бы человеку, обладающему чутьем и пониманием, предложили дать этим звукам название, он, наверное, не задумываясь, назвал бы их «Покорностью». Однако ни одно название не выразило бы этого в полной мере. Но, так или иначе, они в высшей степени располагали слушателя в пользу музыканта.

Можно было поручиться, что он был так же грустен и кроток, как его музыка, и обоим молодым людям это пришло в голову в один и тот же момент.

Они начали с того, что сделали то, зачем пришли: вымыли руки, а затем решились во что бы то ни стало отыскать таинственного и талантливое музыканта.

Когда они умылись, аптекарь подал им полотенце, а Жан Робер дал ему в награду пять франков.

За эту цену Луи Рено согласился бы, чтобы его будили ночью хоть через каждый час.

Он рассыпался в благодарностях.

Жан Робер попросил у него позволения остаться во дворе еще несколько минут, чтобы дослушать этот жалобный мотив, который развивался с неистощимостью вдохновенной импровизации.

— Да, оставайтесь, сколько вам угодно! — ответил аптекарь.

— Но вы-то сами? — спросил Жан Робер.

— О! Меня это ничуть не стесняет! Я запру дверь и улягусь спать.

— Ну, а мы-то? Как же мы потом выйдем?

— Калитка на улицу запирается только на задвижку и щеколду. Вам только стóит поднять щеколду — и вы на улице.

— А кто же запрет за нами?

— Это калитку-то? О! Хотелось бы мне иметь столько тысяч дохода, сколько раз она остается незапертой!

— В таком случае все обстоит благополучно.

— Да, да, да! — подтвердил аптекарь в восторге. Он вошел в дом, запер за собой дверь и предоставил молодым людям полную свободу.

Между тем Сальватор подошел к одному из окон нижнего этажа, сквозь ставни которого пробивался свет.

Волшебно-грустные звуки слышались именно оттуда.

Сальватор потянул ставни к себе, оказалось, что они не заперты изнутри и легко отворяются.

Оконные занавеси были спущены, но сквозь оставшуюся между ними щель виднелась внутренность комнаты, посреди которой на довольно высоком табурете сидел молодой человек и играл на виолончели.

Перед ним на пюпитре лежала раскрытая нотная тетрадь, но он не смотрел в нее и даже, по-видимому, сам не сознавал того, что играет. Во всей фигуре его сказывалось состояние духа человека, глубоко ушедшего в свои мысли. Рука его бессознательно водила смычком, но мысли были, очевидно, далеко.

Казалось, в сердце его происходила тяжелая душевная борьба — борьба боли со страданием. Временами чело его омрачалось, и он продолжал извлекать из инструмента самые жалобные звуки. Вдруг виолончель, как человек, терзаемый агонией, издала ужасный, раздирающий душу крик, и смычок выпал из его рук. Он плакал.

Две крупные слезы сбежали по его щекам.

Музыкант достал платок, отер глаза, снова положил его в карман, нагнулся, поднял смычок, положил его на струны и опять заиграл именно с того места, на котором оборвал мелодию.

Сердце было побеждено, а дух величаво возносился над личным страданием.

— Вот вам роман, который вы искали, дорогой поэт, он в этом бедном доме, в этом страждущем человеке и рыдающей виолончели.

— А вы знаете этого человека?

— Я? Нисколько! — ответил Сальватор. — Я никогда не видел его и даже не знаю, как его зовут. Но мне вовсе и не нужно знать его для того, чтобы сказать

вам, что в нем олицетворяется одна из самых мрачных страниц истории человеческого сердца. Человек, который утирает слезы и снова берется за дело с такой простотой, наверно, сильный. Я могу в этом поклясться! А для того, чтобы такой человек заплакал, необходимо, чтобы страдание было невыносимо. Хотите? Войдем и попросим его рассказать нам, что его мучит.

— Послушайте! Да ведь это же просто невозможно! — вскричал Жан Робер, останавливая его.

— Напротив, я нахожу это больше, чем возможным, — ответил Сальватор, подходя к двери и отыскивая молоток.

— И вы думаете, — продолжал Жан Робер, еще раз останавливая его, — вы думаете, что он расскажет о своем горе каждому, кому вздумается о нем расспрашивать?

— Во-первых, мы не «каждые», мосье Робер... Мы...

Сальватор остановился. Жан Робер обрадовался, рассчитывая услышать такое, что дало бы ему возможность узнать что-нибудь о прошедшей жизни своего таинственного товарища.

— Мы философы, — закончил Сальватор.

— Ах да, философы!.. — повторил несколько растерявшийся Робер.

— Кроме того, — продолжал Сальватор, — мы не похожи ни на пьяных бакалавров, ни на расшалившихся студентов, ни на сплетничающих буржуа. Звание порядочных людей у нас на лбах написано. Не знаю, какое впечатление произвел я на вас, но я вполне уверен, что каждый, кто только увидит вас, хотя бы даже впервые, так же охотно сообщит вам свою тайну, как я протягиваю вам руку.

И он пожал руку Жана Робера, точно выдавая ему диплом порядочности.

— Итак, пойдем смело. — продолжал он. — Все люди — братья и обязаны помогать друг другу. Все горести — сестры и должны сочувствовать одна другой.

Эти последние слова он произнес с глубокой грустью.

— Ну, если хотите, то войдем, — сказал Жан Робер.

— Как неуверенно вы это сказали! Разве я недостаточно разбил ваши сомнения?

— Нет, не то... Но я все-таки далеко не так уверен, как вы, что музыкант этот будет доволен нашим приходом.

— Он страдает, а следовательно, у него есть потребность жаловаться, — наставительным тоном произнес

Сальватор.— И мы будем для него посланниками божьими. Человеку, доведенному до отчаяния, терять уже нечего, и, делясь своим горем, он может только выиграть. Говоря откровенно, теперь меня влечет к этому человеку уже не любопытство, а обязанность.

Не дожидаясь ответа Жана Робера и не найдя ни звонка, ни молотка, Сальватор по-массонски постучал три раза в дверь.

Между тем Жан Робер через окно наблюдал за впечатлением, которое это произведет на виолончелиста...

Тот встал, положил смычок на табурет, прислонил инструмент к стене и направился к двери без малейшего признака удивления.

Это спокойствие вполне совпадало с мнением, высказанным Сальватором.

Этот человек или ждал кого-то, или ему было все равно, кто бы ни пришел.

Да, было очевидно, что все дела мира стали ему настолько чужды, что уже ничто не могло удивить его, а поэтому и к приходу ночных посетителей он отнесся без удовольствия, но и без досады.

— С кем имею честь говорить? — спросил он, увидев Сальватора и Жана Робера.

— С незнакомыми вам друзьями вашими,— ответил Сальватор

Виолончелист, по-видимому, довольствовался этим ответом.

— Войдите,— сказал он, почти не обращая внимания на всю странность этого посещения и данного ему объяснения.

Они пошли за ним. Жан Робер, вошедший последним, запер за собой дверь. Они очутились в той самой комнате, в которой сидел виолончелист, когда они наблюдали за ним через окно.

Эта комната поражала простотой, которая придавала ей особенную прелесть. Белые стены были безукоризненно чисты, точно в келье монахини, а обстановка, как в спальне молоденькой девушки. Даже странно было видеть в ней молодого человека. Невольно возникала мысль, что за белой кисейной занавеской сладко спит прелестная девочка, а маленькие букетики роз поставлены в хрустальные стаканы ее нежной ручкой. Очевидно, или виолончелист зашел сюда случайно, или жил здесь с сестрой.

Вся комната производила своей изящной чистотой

такое впечатление, что казалось, будто здесь могла жить именно только сестра. Женщины, уже покорившиеся греху, в таких комнатах не живут.

Но все эти впечатления молодых людей объяснялись очень просто. В комнате действительно жил молодой человек, но обустроивала и убирала ее его сестра.

Но почему же тосковал он так в своем веселом уголке?

Виолончелист пригласил их сестр, и они начали с того, что объяснили причину своего прихода.

— Позвольте мне прежде всего предложить вам один вопрос,— начал Сальватор.— Вы, очевидно, огорчены чем-то. Скажите, возможно ли для сил человеческих уничтожить причину вашего горя?

Виолончелист взглянул на него с тем же равнодушием, с каким отпер дверь в три часа ночи, даже не спросив перед тем, кто стучался.

— Нет,— ответил он просто.

— В таком случае нам остается только уйти,— сказал Сальватор.— Но мне все-таки хотелось бы объяснить вам, почему мы позволили себе вас беспокоить. Этот господин,— продолжал он, указывая на Жана Робера,— собирается писать книгу о человеческих страданиях и изучает этот вопрос всегда и везде, где только для этого представляется случай. Войдя во двор этого дома, мы услышали вашу игру, подошли к вашему окну и увидели, что вы плачете.

Молодой человек вздохнул.

Сальватор продолжал:

— Какова бы ни была причина этого горя, слезы ваши глубоко тронули нас обоих, и мы пришли предложить вам наши кошельки, если вы бедны, наши руки, если вы слабы, наши сердца, если вы огорчены.

На глазах виолончелиста опять заблестели слезы, но на этот раз они были вызваны чувством благодарности.

В словах Сальватора, в тоне, которым они были сказаны, наконец, во всем существе этого прекрасного молодого человека, было столько величия, простоты, глубокой любви к ближнему, что он увлекал окружающих даже против их воли.

Поддаваясь этому обаянию, виолончелист горячо пожал его руки.

— Я одобряю тех людей, которые скрывают свои раны от ближних,— сказал он.— Но показывать их братьям, значит, научить их, как избежать этих ран. Сядьте, братья, и выслушайте меня.

Молодые люди устроились каждый по-своему. Жан Робер бросился в кресло, а Сальватор остался стоять, прислонясь к стене.

Виолончелист вздохнул, призадумался, потом начал свой рассказ.

ХІІІ

УЧЕНИК И ЕГО УЧИТЕЛЬ

Этот человек был настолько порядочен и скромен, что, передавая свою историю, умалчивал о многих подробностях, которые, тем не менее, так характерны, что для полного понимания его личности, безусловно, необходимы. Из-за этого мы вынуждены повести его рассказ уже от своего имени, приводя все те факты, упоминать о которых он считал недостойным себя самохвальством.

За семь лет до посещения этой комнаты Сальватором она имела совершенно иной вид.

Вместо белых кисейных занавесок, которые скрывали кровать и придавали алькову вид капеллы, вместо гипсовой статуэтки Богоматери на камине, как бы благословляющей присутствующих своими распростертыми руками, вместо свечей в прекрасных подсвечниках здесь была одна тьма, сырость и запустелость старых мрачных стен, не оклеенных даже обоями.

Единственным украшением этого печального жилища была копия «Меланхолии» Альбрехта Дюрера и висевшее против нее четырехугольное зеркало в простой раме, с двумя усохшими и привязанными крест-накрест ветками. Задняя половина комнаты была скрыта за зеленой саржевой занавеской, которая была прибита к одной из балок потолка и спускалась до плит, заменявших пол. Не было сомнения, что она скрывала за собою какое-нибудь жалкое, нищенское ложе.

Одним словом, эта комната представляла одно из самых убогих и печальных убежищ в цивилизованном мире. При взгляде на него невольно сжималось сердце, и глаз нигде не находил отрадного предмета. Стены были темны и сыры, потолочные балки безобразно выгнулись под тяжестью, которая давила их уже целых триста лет, воздух был сырой и спертый. Это было нечто среднее между кельей схимника и казематом беснующегося умалишенного.

За исключением старого дубового стола, черной клас-

сной доски и старого пюпитра, на котором лежала толстая нотная тетрадь сочинений Генделя или псалмов Марчелло, да длинной скамейки человек на восемь или десять и одного соломенного стула, комната была совершенно пуста.

Обитателем этого убогого жилища был бедный школьный учитель квартала Св. Якова.

В 1820 году благодаря терпению, трудолюбию и выносливости ему удалось основать в предместье школу.

За жалкие пять франков в месяц, которые ему выплачивали и то неисправно, он обязывался обучать чтение, письму, закону Божьему и четырем правилам арифметики, но, в сущности, учил гораздо большему.

Он был сын провинциального фермера. С десяти лет его стали посылать в колледж Св. Людовика, и как только он несколько освоился с книгами, его наставники, добросовестно относившиеся к своему делу, признали за ним исключительные дарования и желание учиться.

Один из них был хороший скромный человек, с юным любящим сердцем, который, если бы на него приветливо глянуло солнце, был бы одним из видных столпов своего отечества, и только потому, что неприглядно сложилась судьба, зачах под сырыми стенами провинциального колледжа. Через год после поступления нового ученика он горячо привязался к нему, как отец к своему Вениамину.

Он также тридцать лет тому назад пришел в Париж, потому что родом был тоже из глубокой провинции, и тоже чувствовал себя чужим среди мирка, составляющего колледж. Он был беден, а вокруг него жили и обучались сыновья знатных фамилий и богачей, так что как бы единственным человеческим существом, способным понять его, являлся этот ребенок, так напоминавший ему его собственную судьбу и также часто вздыхавший о зеленеющих лугах отцовской фермы.

Эта общность бедности, талантливости и одиночества скоро внушила учителю глубокую симпатию к ученику, к маленькому Жюстену, как его называли.

Передавая ему первые начала науки, он старался смягчить их сухость и горечь, устранял от него острия шипов и жгучесть крапивы и вообще не щадил труда и изобретательности, чтобы облегчить ему доступ в эту неизвестную и таинственную страну знаний.

Со своей стороны и Жюстен скоро почувствовал в отношении к учителю горячую привязанность почтительного сына.

Как только раздавался звонок на перемену, он запира­ л свои тетрадки и книги, и потому ли, что у него не было товарища одних с ним лет, или потому, что ему не привились школьные забавы, или же, наконец, потому, что самым симпатичным человеком в этом мире был для него старый профессор, он одним прыжком перескакивал через двор, оказывался в его комнате и между ними начинались самые задушевные разговоры.

Они говорили то об истории, то о мифологии, то о путешествиях, то о творениях древних поэтов или о произведениях современных художников.

В мрачную и сырую комнату вдруг точно врывается веселый солнечный луч, приносящий с собою воспоми­ нание о раздольных полях, об аромате лесов и о стихах Гомера и Вергилия, этих двух великих жрецов природы. Старик восхищался поэзией через природу и заставлял ребенка изучать природу через поэтическое мироощуще­ ние великих писателей.

Особенное наслаждение и свободу приносили воскрес­ ные дни.

В эти дни можно было долго, без перерыва оста­ ваться вместе,— зимою — в уголке у камина, летом — под зелеными сводами Версальского, Медонского леса или Монморанси.

Этого дня оба ожидали в течение целой недели и заранее обдумывали свои беседы по поводу какого-нибудь вопроса.

В одно из воскресений к старому профессору приез­ жал один из его друзей, в другое — они вместе пере­ читывали старое семейное письмо, в третье — толковали о сельской жизни; но, так или иначе, разговор между ними бывал всегда поучительный, интересный и заду­ шевный.

Если иногда,— а это случалось всего два-три раза в году,— учителя приглашали участвовать в какой-нибудь церемонии или на парадный обед к поставщикам или высшим чинам университета, куда ему нельзя было взять с собою и Жюстена, ребенок проводил воскресенье с одним из бедных и одиноких товарищей, которые, од­ нако, поголовно уступали ему в уме и познаниях.

Этот мальчик был почти единственным близким ему человеком в колледже, и сложилось это вовсе не потому, что все остальные сверстники были ему антипатичны. Напротив, он был готов любить их всех, но они сами от­ талкивали его от себя.

Имущественное неравенство сказывается даже на школьной скамье, и два школьника, расхаживающие обнявшись по двору или саду школы, наверняка или оба богаты, или оба бедны.

Однажды учитель Жюстена высказался перед ним совершенно по-новому.

Он уже давно готовил для него сюрприз, полный неожиданности и глубокой нежности. Комната, в которой жил добрейший старик Мюллер,— так звали профессора — приходилась над лазаретом колледжа. Пол в ней был так тонок, что внизу совершенно явственно слышался каждый его шаг, каждое движение. В доброте своего честного сердца, он старался жить как можно тише и неподвижнее, чтобы не тревожить шумом больных, и из-за этого отказался от единственной страсти, когда-либо волновавшей его сердце,— он боготворил музыку и играл на виолончели с искусством и любовью истинно немецкого виолончелиста.

Но в течение тех трех лет, которые он прожил над лазаретом, что почти совпадало с поступлением Жюстена в колледж, он не прикасался к виолончели и терпеливо, без малейшей жалобы, ожидал, когда ему отведут другую комнату, которую ему обещали уже целых восемнадцать месяцев.

Наконец, этот так горячо ожидаемый день наступил.

Трудно передать восторг и удивление Жюстена, когда он, весело войдя в новую квартиру учителя, увидел того с инструментом в руках и услышал звуки печальные и могучие, как жалоба леса.

С этой минуты он не давал покоя Мюллеру, постоянно упрашивая играть ему еще и еще и учить его самого.

Мальчик стал брать эти уроки каждый день и употреблял на это все свое свободное время, которое, впрочем, и прежде было ничем иным, как трудом обучения, скрытым под увлекательной формой задушевной беседы.

Скоро они начали разбирать творения великих мастеров, сравнивать старинных с новейшими, Порпору с Вебером, Баха с Моцартом, Гайдна с Чимарозой, осуждали похитителей чужих творений и в таких разговорах прошли всю историю музыки от начала грегорианского пения до Гюи д'Ареццо, а от него — до наших времен. От музыки они переходили к изучению поэзии и живописи, и, таким образом, учитель, введя юношу сперва в зеленые долины науки, вознес его теперь в лазоревые сферы искусства.

Все эти семена, брошенные в сердце юноши кроткой и умелой рукой, принесли в уединении, в котором жили эти странные друзья, роскошные плоды.

Уединение имеет, между прочим, ту хорошую сторону, что вынуждает человека осознать необъятную пропасть, которая таится в его сердце и которой, затерявшись среди эгоистического общества, он никогда не осознал бы. Одиночество вынуждает человека постоянно сосредоточиваться на себе самом.

В уединении в душе человека складывается совершенно новое отношение к жизни и ее явлениям — дурное становится сносным, хорошее — еще лучшим. В уединении сам Бог беседует с душою человека, а человек обращается мыслью к самому сердцу своего Творца.

Такая жизнь составляла заветную мечту старого учителя, и она тянулась целых семь лет. Вдруг, однако, налетело несчастье и с беспощадной грубостью оборвало ее тихое, поэтическое течение.

В одно из февральских воскресений 1814 года Жюстену подали письмо, еженедельно приходившее с родины. Оно было запечатано черным сургучом. Адрес на конверте был написан незнакомым почерком.

Неужели отец и мать умерли?

Если бы кто-нибудь из них остался в живых, то, разумеется, сам известил бы сына о постигшем их несчастье.

Жюстен, дрожа всем телом, распечатал письмо.

Оказалось, что несчастье, постигшее их семью, превосходило все, что могла изобрести его встревоженная дурным предчувствием фантазия.

Казаки разграбили их запасы, истоптали посевы, сожгли ферму. Мать бросилась спасать крепко спавшую дочь и опалила себе глаза. Она ослепла.

Но отец? Почему же не мог он написать сыну? То был старый республиканский солдат. Увидя весь ужас своего несчастья, он потерял голову, схватил ружье и принялся охотиться за казаками, как за дичью. Он убил девятерых. Но в тот момент, когда он целил уже в десятого, его окружили и сразу грянуло двенадцать выстрелов. Две пули попали в грудь навывлет, третья размозжила ему голову. Он умер на месте.

Учитель искренне разделил горе своего любимца, и слезы старика смешивались со слезами юноши. Но слезы и огорчение делу не помогают, а Жюстену нужно было действовать.

Он решил ехать на родину, обнял своего второго отца, давшего ему жизнь духовную, и отправился.

XIV

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Отец убит, мать ослепла, сестра была еще слишком мала, чтобы зарабатывать себе пропитание; дом сгорел, урожай погиб. Что оставалось делать юноше, которому только что исполнилось шестнадцать лет?

Тотчас по приезде на родину он написал обо всем этом учителю, прося его совета.

Мюллер считал, что для Жюстена лучше всего возвратиться в Париж, так как в столице легче найти заработок. Кроме того, он и сам может здесь сделать для сирот гораздо больше.

Добрый-учитель был беден, но одинок, а это — своего рода богатство. Он отдал Жюстену все, что накопил в течение десяти лет, и предложил ему поселиться в соседнем доме.

Жюстен даже и не думал отказаться от этой, так искренне предложенной помощи и согласился.

Вот тогда-то и возвратился он в Париж и занял ту комнату в предместье Св. Якова, где его застали Жан Робер и Сальватор. Убогий, мрачный вид ее не смутил его.

Целый год бился он в поисках уроков.

Его принимали довольно ласково, но узнав, что этот шестнадцатилетний мальчик воображает, что уже способен учить других, хохотали ему прямо в лицо.

Только на второй год своих поисков ему удалось добиться нескольких занятий по повторению с детьми уроков, заданных им в школе. Но того, что он получал за них, далеко не хватало на пропитание трех человек.

Все эти занятия вместе занимали у него только три часа в день, и он стал размышлять, чем заняться кроме этого.

Между прочим, он узнал, что в одном женском пансионе нуждались в учителе музыки. Мюллер дал ему рекомендательное письмо, и он отправился к начальнице.

Его приняли с распростертыми объятиями.

Старик откровенно признавался в своем письме, что если ученику его предоставят это место, то ему самому окажут этим величайшую услугу, тем более, что молодой человек нуждается. прибавлял он.

Начальница сообразила, что и сам Мюллер беден, а потому учителя можно будет нанять очень дешево. Она предложила Жюстену по двадцать франков в месяц. Мюллер, который знал ему цену и гордился им, посоветовал ему отказаться.

Но Жюстен был рад и этому и согласился. С двадцатью франками и с тем, что он получал за репетиции, можно было существовать, хотя и очень скромно; но материальная сторона жизни была все-таки обеспечена.

Прошедшее было так тяжело, что даже и такая жизнь казалась сносной.

Однако на него нападало смущение каждый раз, когда кто-нибудь произносил имя добряка Мюллера.

Они должны были ему всю сумму его сбережений, — целую тысячу франков, — а для них это были огромные деньги, которых Жюстен не мог заработать даже за целый год. Необходимо было найти еще работу!

И он искал ее повсюду.

Мать была слепа, а сестра, хотя девочка и трудолюбивая, но слабая и почти всегда больная. Следовательно, на их помощь нечего было и рассчитывать.

Один торговец дровами на бульваре Монпарнас искал счетовода, который приходил бы к нему проверять дела два раза в неделю.

Жюстен пошел к нему.

Одет он был, хотя и опрятно, но чрезвычайно скромно. Его предшественнику торговец платил по пятьдесят франков; но то был франт из предместья, который приходил только тогда, когда оставался без гроша или когда ему было больше нечего делать.

Торговец предложил Жюстену всего двадцать пять франков, и он мог расплатиться с Мюллером все-таки не раньше четырех лет.

Его греческие и латинские уроки, музыкальные классы и счетоводство занимали у него теперь по восемь часов в день. Таким образом, у него оставалось свободных четыре часа в день и двенадцать часов ночью.

Он снова принялся искать еще работу. Ему казалось, что ради двух своих обязанностей — содержать мать и сестру и рассчитываться с Мюллером, — он способен на все на свете.

Имея занятия, найти еще дело всегда удобнее. И он нашел его.

Невдалеке от того дома, где он жил, была типография, в которой печаталась одна ежедневная газета. Коррек-

тору — славному веселому парню, вероятно, уже предчувствовавшему приближение 1830 года, — наскучило за целых десять лет поправлять роялистские элегии своего патрона, служившего в важных чинах в министерстве. Он разорвал свои цепи, расправил крылья и в один прекрасный день улетел из своей душевной клетки.

Издатель и типографщики очутились вечером в весьма затруднительном положении: править корректуру было некому, а замедлить с выходом номера тоже нельзя. По счастью, кто-то сказал им, что неподалеку живет молодой человек, вполне способный на этот мучительный труд.

Они отправились к Жюстену спросить, согласится ли он работать у них за корректора.

Молодому человеку показалось, что он попал в Землю обетованную.

До сих пор ему некогда было заниматься политикой, и он совершенно не разбирался в ней. Из всей этой области он знал только неприятеля, ворвавшегося во Францию, и казаков, которые сожгли его родной дом, выжгли глаза его матери, осиротили их с сестрой. Он ненавидел их всеми силами своей души. Политических же убеждений у этого честного юноши не было или, вернее, у него было одно — содержать мать и сестру и расплатиться с Мюллером.

Условливаясь с ним, издатель предупредил его, что ему предстоит работать две трети ночи. Он согласился.

Когда его спросили о гонораре за труд, он добродушно ответил:

— Я этим никогда не занимался, вам лучше знать.

Таким образом, он сделался корректором в середине 1818 года.

Ровно день в день через год он уплатил Мюллеру тысячу франков.

В конце следующего года у него была тысяча франков экономии.

Какие чудные планы строил бедняк! Ему мечталось, что через четыре года у его сестры будет три тысячи приданого и тысяча четыреста франков на свадьбу.

Но он сам? Что он такое? Ремесленник, работающая машина, не останавливающаяся с двух часов ночи до шести утра. Именно про таких людей один святой человек сказал:

— Работать — значит молиться.

Но мечты Жюстена постигла судьба всех подобных планов. Они не сбылись.

Жюстен серьезно заболел и целых восемь дней находился между жизнью и смертью. Затем у него сделался тиф, который продержал его два месяца в постели.

Русская пословица говорит, что беда никогда не приходит одна. Это — истина верная не только для русских, но и для французов, и для испанцев.

Вместе с появлением болезни Жюстену изменило и все остальное. Его музыкальные классы перешли к модному пианисту, который в них вовсе не нуждался; но он был в моде и приходил на урок только тогда, когда ему было нечего делать. Ведение книг перешло в руки какого-то дэнди. Роялистский листок обанкротился.

Для несуществующего журнала корректор составляет совершенно излишнюю роскошь, а потому Жюстен потерял и эти занятия, и за ним осталось одно репетиторство. Но, к несчастью, подошли каникулы, и ученики разъехались.

Единственным спасением несчастной семьи был Мюллер. Ему отдали его тысячу франков, и теперь можно было опять занять ее у него.

Жюстен и отправился к нему, как только был в состоянии встать на ноги.

Он шел, то пошатываясь, то придерживаясь за стены.

Старик был в своей комнате и сидел на небольшом чюдодане, который только что уложил и запер.

— А! Вот и ты, мальчик! — проговорил он. — Я очень рад, что тебе лучше!

— Да, да, мне лучше, дорогой учитель, и как видите, я пришел к вам к первому.

— Спасибо, друг!.. А я только что собрался идти к тебе, проститься.

— Как? Разве вы уезжаете? — тревожно спросил Жюстен.

— Да, мой милый, отправляюсь в далекий путь.

— Куда же это?

— Я никогда не говорил тебе об этом, а то ты не занял бы у меня тысячи франков.

— Боже мой! — прошептал Жюстен.

— Я ведь рассказывал тебе, что я родом из одного города с великим Вебером. Когда мы были детьми, то играли вместе, когда же выросли, то подружились, а когда я стал понимать его, то преклонился перед ним. Ну, и вот, видишь ли, я дал себе клятву, что не умру без того, чтобы еще раз не взглянуть на великого творца «Фрейшютца» и «Оберона». Ради этого я усиленной экономией и трудом

скопил тысячу франков,— ты по опыту знаешь, что это не легко! Но зато ведь эта поездка будет венцом моей жизни! Я уж было и собирался ехать, да тебе понадобились деньги. Что ж, думаю,— ведь мы с Вебером еще не такие старики,— доживем до тех пор, как Жюстен отдаст мне деньги!

— Милейший вы, добрый!

— Ну, вот тогда я тебе их и отдал. Видел я, как ты старался мне их отдать, видел, как ты был мучеником своей чести, и следовало бы мне сказать тебе: «Не работай ты так много,— успеешь! Сильна молодость, да ведь и ее силам мера есть!» Но я, старый эгоист, не сказал тебе этого... Прости меня!.. Правда, что очень тревожил меня и Вебер. Все говорили: «Вебер опасно болен, у него расстроена грудь, он долго не протянет!» Ну, да и в музыке его слышались нотки души, готовой улететь в иной мир... Теперь же намучился ты, а все-таки отдал мне деньги... Только признайся, ведь я никогда не напоминал тебе о них?

— О, дорогой учитель...

— Нет, нет! Ты мне это скажи! Мне это очень нужно! Только что ты их мне отдал, я и подумал: «Отлично! Это как раз к лету!» Сам рассуди, что вышло бы, если бы Вебер умер? Но, слава Богу, он жив, и я еще успею обнять его! О, чудный, великий человек! Ведь я получил от него письмо. Он в Дрездене,— пишет оперу для короля саксонского. Сегодня я уложился и взял билет до Страсбурга, а вечером и отправлюсь. Вот хотел только зайти к тебе. Пойдем, позавтракаем вместе.

— Да ведь мне еще нельзя есть и аппетита нет! — едва владея собой, хрипло проговорил Жюстен.

— А какая жалость, что ты не можешь поехать со мной. Неужели это невозможно?

— Решительно невозможно!

— Понимаю!.. Ведь у тебя уроки музыки, репетиторство, двойная бухгалтерия, корректура... Ты мог бы потерять все это.

— Да,— вздохнул Жюстен.

Мюллер был так весел, что не заметил этого вздоха.

А между тем этот вздох был даже грустнее «Последней мысли» Вебера,— в нем сказалась утрата последней надежды.

Жюстену стоило только сказать:

— Мне нужна ваша тысяча франков, чтобы выздороветь, чтобы кормить мать и сестру. Вы можете и позднее

увидеться с Вебером, а теперь останьтесь, добрый учитель, останьтесь!

И Мюллер, может быть, и вздохнул бы так же горько, как и Жюстен, но, наверно, не отказал бы ему.

Но Жюстен даже и не подумал ничего подобного, обнял старика со слезами на глазах, вернулся домой и в изнеможении бросился на свою постель.

В тот же день в пять часов вечера старый Мюллер уехал в Дрезден.

Это было разрушением последней надежды.

Несмотря на все еще продолжавшуюся слабость, Жюстен стал хлопотать о возвращении своих прежних уроков и о приискании новых. Но большинство родителей отделялось от него человеколюбивым ответом:

— У вас здоровье слишком слабое.

Наконец, выбившись из сил и почти утратив всякую надежду, молодой человек решил открыть частную школу, тем более, что детей в этом бедном околотке было много, а учебных заведений — мало.

Первым, кто отдал к нему сына, был один ремесленник. Сосед его, поденщик, который не мог присматривать за своим мальчиком, отвел его в школу, скорее, чтобы отделаться от него, чем ради науки, третий привел к Жюстену двух семилетних близнецов.

Через шесть месяцев у него в ученье было восемь славных белокурых и краснощеких мальчуганов. Ему приходилось проводить с ними целый день, а все они вместе доставляли ему всего сорок франков в месяц.

В бедных кварталах несчастные школьные учителя и теперь получают такую же плату.

Наконец, через два года, в июне 1820 года, у Жюстена было уже восемнадцать учеников. Он получал за них девяносто франков и жил на них с матерью и с сестрой; но слово «жить» часто перефразируется словами «не умирать от голода».

Мюллер побывал в Дрездене, виделся с Вебером, провел с ним целый месяц и, возвратясь, сказал Жюстену:

— Я издержал мою тысячу франков до последнего сантима, но, клянусь виолончелью, я не жалею их.

ДОМАШНЯЯ ЖИЗНЬ ШКОЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ

В доме, в котором жил Жюстен, было всего два этажа. Во втором этаже было две комнаты и кухня. Там жили мать и сестра Жюстена.

Этот флигель стоял в глубине двора, соприкасаясь с другими домами лишь одним фасадом, и был построен, вероятно, для зрителя фабрики, развалины которой еще виднелись неподалеку.

И вот в этом темном углу с трудом и лишениями прозябали мать, дочь и сын.

Слепая мать проводила большую часть времени в первой комнате, в которой сходились по вечерам и дети.

Ужасное положение свое она переносила с терпением, на которое способны только люди глубоко религиозные. Она никогда не жаловалась и держала себя с достоинством древней матроны. Спартанцы превознесли бы ее до божеского достоинства, а римский сенат издал бы указ, по которому каждый должен был бы снимать перед нею шляпу, как перед старшей жрицей великой богини. Но французское общество относилось к ней с жестокостью палача.

О! Это общество достойно строгого суда, и каждый вправе произнести над ним слова осуждения.

Больше чем вероятно, что и мы в этом случае потерпим такое же поражение, какое потерпел Иаков в борьбе с ангелом. Но когда мы предстанем на суд Божий, и Бог спросит нас: «Что вы делали?» — мы ответим ему: «Победить было невозможно, но мы боролись!»

Дочь была слабым, худеньким существом, как лесной ландыш, пересаженный в темный и холодный погреб. Она унаследовала некоторые из добродетелей матери, но далеко не была ей равной по силе самоотречения. Она страдала аневризмом, который мог разрешиться при сильном волнении внезапной смертью, и, как бы предчувствуя близость могилы, иногда не выдерживала и роптала. Резких и горьких слов она не произносила никогда, потому что была воспитана в строго христианских правилах; но временами в душе ее скапливалось столько горя и боли, что мать, следившая за нею с прозорливостью любящего сердца, замечала это и страдала и за нее.

Жюстен, с утра до ночи занятый со своими учениками,

мог заходить к ним днем лишь изредка, да и то только тогда, когда приходил старик Мюллер и заменял его в классной комнате.

Летом школа открывалась в восемь часов утра и закрывалась в шесть вечера, а зимою дети собирались в девять часов утра и расходились в пять вечера.

Почти все это были дети ремесленников этого квартала, которые не сегодня-завтра должны были приняться за ремесла отцов, а следовательно, и не нуждались в знании латинского и греческого языков.

Но двое из них были сыновьями разбогатевшего механика, который хотел отдать одного в политехническую школу, другого — в школу ремесел и искусств. В двенадцать лет им предстояло поступить в колледж, так что старшему приходилось оставаться у Жюстена два года, а младшему — три. Жюстен заметил в них необыкновенные способности и, как истинный непризнанный Прометей, заронил и в них искру того священного огня, который воспитал в нем старый Мюллер.

За исключением этих двух мальчиков, все остальные не хотели учиться, да и родители их не заботились о том, чтобы их чему-нибудь выучивали, кроме чтения, письма и четырех правил арифметики.

Вследствие таких скромных требований клиентов сложилось так, что мать и сестра Жюстена могли помогать ему в трудах преподавания.

Когда сестра была здорова, она сходила вниз и, пока брат уходил поболтать с матерью, заставляла детей читать или учила их счету, выводя цифры мелом на большой классной доске.

Мать же каждый день забирала добрую треть класса в свою комнату. Восемь из младших учеников усаживались на полу вокруг ее соломенного кресла, и она учила их молитвам или рассказывала трогательные эпизоды Ветхого Завета.

Вызывали умиление эти белокурые головки перед величавой слепой фигурой матроны. Когда они, стоя на коленях, в один голос произносили молитвы, казалось, что они и собрались сюда только затем, чтобы единодушно молить Бога о возвращении ей зрения.

Так скучно и однообразно тянулась жизнь скромной и честной семьи до июня 1821 года.

За исключением посещений старика Мюллера, который часто приходил посидеть с ними на несколько часов, ничто не прерывало этого монотонного, как пустыня, существования.

Изредка летом они отправлялись на прогулку, но ходили обыкновенно только в сторону Мон-Ружа.

Вместо лесов Версаля, Медона, Монморанси теперь приходилось довольствоваться вытоптанными канавами окраин, потому что слепая мать и слабая сестра не могли предпринимать длинных прогулок, которые когда-то составляли для сорокапятилетнего учителя и двенадцатилетнего ученика невинную отраду.

Да и Мон-Руж представлял для них путь слишком дальний, так что до него доходили редко, и большей частью останавливались на половине или на одной трети дороги, садились у обочины и несколько часов грелись на солнце.

Зимой же все собирались вокруг маленькой изразцовой печки, в которой бережно сжигали два-три полена, вечер заканчивался в девять часов.

В доме был и камин, но его не топили, потому что в нем сразу пришлось бы сжечь столько дров, сколько у них выходило за неделю. Чтобы прекратить тягу из этой громадной трубы, которая охлаждала всю квартиру, ее заколотили.

Если старый Мюллер приходил незадолго до девяти, непременно предлагали подбросить в печку еще поленец, но он тоже непременно отказывался, говоря, что ему и без того жарко от ходьбы. После этого все снова усаживались потеснее у затухающей печки.

Старый добряк, спеша замаять неприятную мысль о лишениях, начинал рассказывать какую-нибудь смешную историю,— как это делала вдова Скаррон, чтобы заставить забыть об отсутствии жаркого,— и его веселость согревала слушателей, как благотворный луч солнца.

И действительно, веселость можно сравнить с солнцем, которое светит и зимой, и для бедных, и для несчастных.

За последние два года Жюстен особенно много занимался музыкой и вполне оценил ее благотворное влияние.

Как только часы на башне церкви Сен-Жак били девять, а Мюллер все еще не приходил, молодой человек целовал мать и сестру и шел к себе вниз.

В своей комнате он зажигал свечу, несколько минут просматривал старую тетрадь нот, вынимал из футляра виолончель, тщательно обтирал ее и сжимал в руках, как старого друга.

Да разве инструмент для мастера не истинный друг? А виолончель Жюстена божественно могучим голосом за какие-нибудь два вечерних часа снимала всю его скорбь и усталость. Эти часы были отдыхом его сердца, а виолончель — его двойником, который выслушивал все движения его души и пересказывал их в возвышенной и облагороженной форме.

Несмотря на молодость, у Жюстена не было никого, кроме слепой матери, больной сестры и старого учителя, а молодость требует откровенных излияний, и он сделал своим другом и поверенным свою виолончель.

В эти вечерние часы он обретал в музыке новый запас силы, которую растрчивал в течение дня.

Но настало время, когда и этот художественный и поэтический отдых уже не мог удовлетворить его. Жюстен затосковал. Мюллер тотчас же заметил это и всячески старался развлечь его.

— Ты раньше времени состаришься,— говорил он ему.— Тебе необходимо выходить, бывать в обществе, и уж если ты не можешь принимать участия в его жизни, то хоть смотреть на нее. Вот скоро наступят каникулы, нужно нам с тобою куда-нибудь проехаться. Ты так и знай: ровно 15-го августа я явлюсь за тобой, и мы отправимся.

И действительно, бедный школьный учитель начинал вянуть в лучшие годы человеческой жизни. Лицо у него было бледное, бесцветное, глаза мутные, щеки ввалились, на лбу появились морщины, кожа пожелтела, как пергамент, в который были переплетены его старые книги. На вид ему можно было дать лет тридцать, тогда как, в сущности, ему едва минуло двадцать. Но жизнь, которую он вел, должна была его состарить. Люди, с которыми он проводил время, комната, в которой жил, его собственное лицо, походка, наконец, все существо его носило на себе отпечаток окружавшей их обстановки, ее бедности и тесноты.

Можно сказать почти без сомнения, что он не вынес бы этого еще дольше, если бы его не потрясло новое несчастье, снова вызвавшее его к жизни.

Есть в жизни горести, которые исцеляют одна от другой.

Жюстен зарабатывал тысячу восемьдесят франков в год. Это гарантировало его от крайней нужды, но о том, чтобы отложить что-нибудь на черный день, нечего было думать.

— Если не можешь принимать участия в жизни об-

щества, то нужно хоть видеть ее,— говорил старый Мюллер.

Сказать это было гораздо легче, чем исполнить. Разве можно было являться в общество в одежде, которая уже четыре года, зиму и лето не сходила с плеч вечно работающего человека?

Да и все в доме также нуждалось в обновлении, как костюм Жюстена

Сестра только и делала, что чинила белье. Простыни матери представляли из себя какое-то чудо штопального искусства; носки Жюстена состояли скорее из штопок, чем из чулочной ткани. Семья давно уже решила покупать вещи только в случаях крайней необходимости, но мало-помалу дошло до того, что вещи, которые они не хотели менять, сами изменяли им.

Жюстену было необходимо приискать новые заработки, и причем делать это безотлагательно, так как близко было то время, когда платье его обратится в совершеннейшие лохмотья, а люди в таком виде не внушают доверия.

А ждать того, чтобы занятия нашлись сами собою, значило ждать слишком долго. И Жюстен снова начал лихорадочные поиски работы. Во многих местах его не принимали вовсе, в других отвечали отказом.

Вся семья стала прогуливаться по вечерам, когда стемнеет, потому что выходить днем в своих изношенных платьях было совестно.

В один вечер Жюстен ходил взад и вперед неподалеку от заставы Мен, поджидая старого Мюллера, с которым хотел сходить к одной даме, нуждавшейся в репетиторе для сына.

Проходя мимо одного из людных кабаков, он услышал перебранку между контрабасистом и вторым скрипачом.

Жюстен почти не обратил на это внимания, как на вещь, вовсе для него не интересную, но вдруг до него долетели слова:

— После этого, клянусь, вам, мосье Дюрюфле, что ноги моей не будет в том доме, где бываете вы. А в доказательство моих слов я ухожу сейчас же и отсюда!

И действительно, несколько минут спустя, контрабасист вышел, размахивая смычком, как будто он был мечом огненным.

— О! — вскричал Жюстен.

Он ударил себя рукой по лбу.

У него сверкнула счастливая мысль.

В то же время в конце улицы появилась фигура старого Мюллера.

XVI МУЗЫКАНТ

Жюстен стал ждать своего учителя, не делая навстречу к нему ни шагу. Он точно боялся, что если сойдет со своего места, то упустит счастливый случай.

Когда к нему подошел Мюллер, он рассказал ему все, что слышал и что задумал.

— А! — проговорил старик, — это хорошо, значит тут есть место.

Вслед за тем ему пришло в голову, что как кабак не гадок, но занятия в нем будут иметь для Жюстена уже ту хорошую сторону, что сделают несколько разнообразней губительное однообразие его жизни.

Кроме того, и заработок был бы большим подспорьем для несчастной семьи.

— Но примут ли тебя там? — опасливо спросил он.

— Я надеюсь! — скромно ответил Жюстен.

— Да, да, я тоже так думаю, — поспешил одобрить его Мюллер, — а уже если не примут, то, значит, они тут дьявольски требовательны!

— Так я пойду, спрошу!

— Да, да, иди, и я схожу с тобой, — сказал добрейший старик.

Жюстен вошел в кабак.

Само собой разумеется, что появление в таком месте молодого человека с серьезным и бледным лицом и почтенного старца, одетых во все черное, произвело на веселящуюся толпу сильное впечатление. Мужчины указывали на них пальцами, женщины громко хохотали.

Мюллер и Жюстен не обращали на этот хохот внимания или делали вид, что не замечают его.

Подойдя к одному из гарсонов, они сказали ему, что желают переговорить с хозяином заведения.

Трактирщик, толстый, как Силен, и красный, как вино, которое он подавал своим посетителям, тотчас же предупредительно подошел к ним, вероятно, рассчитывая на какой-нибудь доходный заказ.

Старик и юноша застенчиво высказали ему свое предложение.

И сердце талантливого музыканта, сына, трудом со-

держашего мать и сестру, мучительно билось от страха в ожидании ответа содержателя увеселительного заведения!

Но ведь с получением этого места для Жюстена была связана надежда на приобретение приличной пары платья для себя и удобной одежды для сестры и матери.

О, смейтесь, смейтесь, вы, которым никогда не приходилось бояться терзаний от холода и голода, страха не за себя, а за дорогих существ! Но для меня, который сам долго боролся с нуждой и на сто франков в месяц содержал мать, сына и себя,— смеяться над такими вещами было бы святотатством.

В ответ на предложение Жюстена хозяин сказал, что это его не касается, а полностью зависит от капельмейстера оркестра. Он прибавил, впрочем, что готов сам переговорить с ним и, вернувшись минут через пять, объявил Жюстену, что, если он окажется действительно способным занять важное место контрабаса в оркестре, то может приняться за дело сейчас же, с платою по три франка за вечер.

В этом увеселительном заведении устраивалось три бала еженедельно, следовательно, Жюстену предстояло получать тридцать шесть франков в месяц, именно ту сумму, что ему приносили его первые восемь учеников. Это показалось ему целым Перу,— нам сказали бы целой Калифорнией — и он тотчас же согласился, сказав только, что сейчас сходит домой за инструментом.

Но хозяин возразил, что этого вовсе не нужно. Капельмейстер предвидел уход контрабасиста и заранее приготовил контрабас, на котором, в крайнем случае, мог играть второй скрипач. Таким образом, все устраивалось как нельзя лучше, точно в мире Панглосса.

Жюстен был в душе чрезвычайно рад такому обороту дела.

Он хотел уже проститься с Мюллером, но добрый старик заявил, что хочет присутствовать на дебюте своего ученика и уйдет только по окончании бала.

Оркестр, состоявший из восьми музыкантов, которые играли адские кадрили, воодушевляющие триста или четыреста танцующих пар, был поистине достоин кисти художника. Бледное, серьезное лицо Жюстена напоминало между ними музыканта-мученика, играющего с веревкой на шее для увеселения толпы дикарей. Сверху голову его заливал свет, и она поражала своей выразительностью.

Хорош собою Жюстен не был. Каждый, глядя на него, невольно сознавал, что его портило именно это страдальческое выражение, и, что если бы оно заменилось радостью и счастьем, если бы на губах этого труженика заиграла улыбка, то во всем облике его проступил бы истинно ангельский и в то же время исполненный достоинства характер.

Держа контрабас, который был вдвое выше его, с белокурыми волосами, мягко сбегавшими ему на лоб и плечи, с голубыми влажными глазами и выражением грусти во всем существе своем, он имел какое-то неотразимое обаяние, внушавшее участие каждому, кто его видел.

Он напоминал вдохновенного Листа в молодости.

После первой же кадрили капельмейстер убогого оркестра обратился к нему с очень лестным отзывом, а товарищи-музыканты принялись аплодировать.

Старик Мюллер не помнил себя от радости. Он тоже хлопал руками и плакал от умиления.

Успех всегда остается успехом, в каком бы месте он ни достигался.

В одиннадцать часов Жюстен спросил, до какого времени обыкновенно продолжаются балы.

— Иногда часов до двух утра,— ответили ему.

Он огляделся, отыскал глазами Мюллера и сделал ему знак подойти.

Старик подошел, и Жюстен попросил его сходить к ним домой и предупредить мать, чтобы она о нем не тревожилась, так как до сих пор он никогда еще не возвращался домой позднее десяти.

Мюллер отнесся к его заботе с полнейшим уважением и тотчас же пошел к мадам Корби. Он застал слепую матрону и ее слабую дочь за молитвой.

— Ну, вот, добродетельная мать и святая дочь, ваша молитва и исполнена,— проговорил он, входя.— Жюстен нашел место в тридцать шесть франков в месяц.

Обе женщины радостно вскрикнули.

Старик обстоятельно рассказал им все, что произошло.

Мать и дочь с истинно женской тонкостью поняли всю цену жертвы, которую приносил им Жюстен.

— Добрый, милый Жюстен! — повторяли они.

В их словах было столько нежности, что она граничила с жалостью.

— Да вы его не жалеете,— утешал их Мюллер,— он имеет там настоящий триумф. Просто великолепен! Он мне напомнил Вебера во времена его молодости.

После такой похвалы Мюллер не мог уже сказать ничего лучшего и, простившись с женщинами, вернулся в увеселительное заведение.

Вышли они оттуда с Жюстеном ровно в два часа ночи.

Калитка во двор была отперта, о чем позаботилась сестра Жюстена.

К концу месяца он сыграл в оркестре двенадцать раз и получил тридцать шесть франков.

На эти деньги можно было купить, по крайней мере, предметы первой необходимости.

Из всего этого достаточно видна вся честность и нежность Жюстена, так что для полноты изображения его нравственного облика нам остается только прибавить всего несколько штрихов.

Вообще очертить этот характер нетрудно. Весь он проявится в главе, которую Жан Робер назвал «Покорностью провидению».

Мы же скажем, что если бы эта, доведенная до крайности добродетель вздумала спуститься на землю и принять осязаемые формы, она едва ли нашла бы более подходящее олицетворение, чем личность Жюстена.

Проследить, что случилось с этим сердцем под влиянием горя и радости, и составляет одну из задач нашего обширного труда.

Устоит оно или разобьется?

То, что мы передаем здесь, — не рассказ о нескольких приключениях нескольких лиц, а правдивая история человеческого сердца, всегда заключающая в себе много назидательного, а потому уже стоящая труда и внимания.

Итак, перед вами человек совершенно чистый и целомудренный. До сих пор он жил, как птица небесная, отыскивая в полях и долинах зерна и крохи, которые заботливо относил в свое гнездо. До сих пор единственной заботой его было удовлетворение материальных потребностей жизни. Непомерным трудом и подчас ценою собственного здоровья ему удалось доставить своей несчастной семье если не благосостояние, то хотя бы возможность существовать.

Но что же сделал он за это время для самого себя?

Ничего!

Будь он один на свете, он, разумеется, сумел бы найти средства продолжить свое образование, достиг бы звания бакалавра, может быть, даже доктора, а теперь, вместо профессорской кафедры, он жил в чем-то вроде

каземата, по рукам и по ногам скованный чувством сыновнего долга.

Разумеется, никто из нас, воспитанных матерью и наслаждавшихся ее ласками, не стал бы тяготиться своими обязанностями по отношению к сестре.

Но если случайно пострадавшая семья, не находя поддержки в обществе, обрушивается всей тяжестью своего существования на одного из своих членов и хоть произвольно, но придавливает его, к этому человеку поневоле относишься с сожалением.

Все несчастья Жюстена проистекали из-за его семьи, но для его благородного сердца не было мысли ужаснее, чем мысль о возможности потерять ее.

Следовательно, положение оказывалось безысходным.

Да Жюстен и не хотел изменять его. Ему хотелось жить завтра, как он прожил вчера. Он посвятил матери и сестре отрочество, юность и молодость, хотел посвятить им же и весь остаток жизни.

Но ведь когда-нибудь должно же было настать для него время, когда заговорит сердце, когда молодая любимая женщина внесет в мрачную пустыню его существования все очарования, радости и наслаждения жизни?

Да, но откуда было взяться этой женщине?

Он не мог себе купить Рахиль у Лавана даже ценой десятилетнего труда! У него не было даже знакомых. А для того, чтобы жениться, недостаточно смотреть сквозь окошко на молодые существа, называемые молодыми девушками. Да и кроме того, разве честный до шепетильности Жюстен посмел бы когда-нибудь жениться?

Он знал, что брак связывает не только руки, но и душу. А разве его душа и его руки принадлежали ему самому? Разве он имел возможность привести к очагу матери постороннюю женщину? Ведь ту нежность, которую он мог бы посвятить жене, пришлось бы отнять у матери и у сестры. Вот чем решался этот вопрос о сердечном союзе. А со стороны заработка и издержек он был еще сложнее. Молодая женщина, со своей потребностью жить, есть, пить, одеваться и веселиться, еще больше отяготит их и без того тяжелые дела.

Итак, брак был счастьем не его удела.

Ему суждено было жить с вечным самоотречением.

Жюстен так и поступал.

Может быть, ему предстояло умереть от непосильного труда. И эта мысль его не смущала и не угнетала.

Оставалось еще ждать неожиданного чуда от милости Божьей. Однако Бог до сих пор не баловал эту несчастную семью, и она была вправе без богохульства сомневаться в существовании таких чудес.

Тем не менее это была именно рука providения, которая могла извлечь Жюстена из окружавшей его безысходной пропасти.

В один из лучших июньских дней он возвращался со стариком Мюллером с прогулки по Монружской долине и вдруг увидел во ржи девочку лет девяти. Вокруг нее были разбросаны васильки и колокольчики, а сама она крепко спала.

В образе этого ребенка сам Бог послал одного из своих ангелов для спасения Жюстена.

XVII

НИСПОСЛАННАЯ БОГОМ

Ученик и учитель с удивлением остановились, отыскивая глазами кого-нибудь из старших, с кем могла прийти сюда эта девочка.

На ней было белое платье, перехваченное на поясе голубой лентой.

Белокурая головка ее сладко покоилась на блестящих стеблях расступившейся ржи, а опустившиеся над нею колосья и головки васильков образовали легкий, подвижный свод, так что она была похожа на голубку в гнезде.

Маленькие ножки, обутые в голубые башмачки, свесились на край канавы и лежали так бессильно, что по одному их виду можно было догадаться, что она заснула от сильного утомления.

Она казалась юной богиней жатвы, случайно заснувшей во время осмотра своих владений.

Жюстен и Мюллер были в восторге и готовы были бы простоять над нею всю ночь, но мысль о том, что становится уже сыро и что о ней кто-нибудь мучительно тревожится, заставила их отказаться от этого художественного наслаждения.

Но что за женщина была ее мать, если могла оставить такого нежного ребенка одного в поле и притом чуть не ночью?

Судя по ее положению и дыханию, нетрудно было догадаться, что она спит уже давно.

Мюллер и Жюстен, всегда останавливавшиеся во

время своих прогулок при каждом оживленном споре, отошли и остановились и теперь и принялись рассуждать о весьма, в сущности, интересном вопросе: всегда ли красота наружная соответствует красоте нравственной?

Разговор этот тянулся около четверти часа, но за девочкой так никто и не приходил.

Но где же была ее мать?..

Уж не отдыхали ли ее родители тоже где-нибудь во ржи? Башмаки на девочке были так запылены, что не оставляли сомнения в том, что она пришла очень издалека.

Жюстен и Мюллер опять огляделись, потому что были уверены, что мать не может далеко уйти от этого ребенка.

Но и на этот раз поблизости не оказалось никого.

Они переглянулись и по общему молчаливому согласию осторожно вошли в рожь, стараясь не разбудить ребенка.

Исходив поле вдоль и поперек и обойдя его кругом, как охотники за дичью, они все-таки не нашли никого.

Оставалось только разбудить девочку и расспросить ее.

Она проснулась и с удивлением окинула из взглядом больших прекрасных синих глаз.

Но во взгляде этом не было и тени страха.

— Что ты тут делаешь, дитя? — спросил Мюллер.

— Отдыхаю, — ответила она.

— Как отдыхаешь? — с удивлением переспросил Жюстен.

— Так. Я очень устала... Не могла больше идти, прилегла вот здесь и заснула.

Странно, ребенок проснулся, увидел чужих и не стал звать матери.

— Так ты очень устала? — с участием спросил старик.

— Да, сударь, очень! — подтвердила она, встряхивая головою, чтобы оправить свои кудри.

— Значит, ты издалека? — спросил Жюстен.

— Очень издалека.

— А где твои родители?

— Родители? — спросила она, приподнимаясь и глядя на них с таким удивлением, будто ее спросили о вещи ей совершенно неизвестной.

— Да, родители? — повторил Жюстен ласково.

— У меня родителей нет, — сказала девочка так же просто, как если бы сказала: я не знаю, о чем это вы у меня спрашиваете!

Друзья печально переглянулись.

— Да как это может быть, чтобы у тебя родителей не было? — настаивал Мюллер. — Где твой отец?

— У меня отца нет.

— Ну, а мать?

— И матери тоже нет.

— Так у кого же ты жила?

— А у кормилицы.

— Где же она?

— В земле.

С этими словами девочка горько, но тихо заплакала. У Жюстена и Мюллера тоже навернулись на глаза слезы.

Девочка стояла, словно ожидая дальнейших вопросов.

— Как же ты попала сюда совсем одна? — спросил Мюллер.

Она вытерла слезы руками и несколько успокоилась.

— Я иду с нашей стороны, — ответила она все еще дрожащим голосом.

— Это откуда?

— Из Буйля.

— Это возле Руана? — спросил Жюстен так радостно, будто встретил землячку.

Она действительно была истинным цветком с полей Бретани: белорозовая, как молоденькая яблонька в цвету.

— Кто же привел тебя сюда?

— Я сама пришла.

— Пешком?

— Нет. До Парижа ехала в карете.

— То есть, как это — до Парижа?

— Ну, да, до Парижа, а оттуда сюда пешком.

— Куда же ты шла?

— В предместье Святого Якова.

— Тебе туда зачем?

— Наш кюре велел мне отнести письмо к брату моей покойной кормилицы.

— Это, наверно, чтобы он взял тебя к себе?

— Да, сударь, чтобы взял.

— Да как же ты сюда-то попала?

— Там пассажиры говорили, что дилижанс опоздал, — они все и заночевали в предместье, а я увидела заставу и подумала, что за нею поля, что там хорошо, и пошла, да и зашла сюда.

— Значит, ты хотела переночевать здесь, а утром отнести письмо?

— Да, сударь. Только спать-то я не собиралась, думала, так посижу... Да перед этим я в дороге две ночи не спала. Я очень устала, а как присела,— вижу и лечь ужасно хочется,— а как легла, так сразу и заснула.

— Разве ты не боишься в поле, ночью, одна?

— Да чего тут бояться? — спросила девочка с уверенностью, свойственной детям и слепым, не видящим угрожающей опасности.

— Ну, а разве ты сырости и холоду не боишься? — спросил Мюллер, удивляясь простоте и прямоте ее ответов.

— Чего их бояться? Ведь ночуют и птицы, и звери в поле и в лесу. Ну, и мне ничего.

Эта душевная чистота и такое полнейшее одиночество ребенка глубоко взволновали обоих друзей.

Казалось, сам Бог поставил эту девочку на пути Жюстена, чтобы показать ему, что под звездным сводом есть существа еще более одинокие, чем он.

Даже не советуясь между собою, они заранее решили, что делать, и оба в один голос предложили девочке взять ее с собой.

Но она вдруг отказалась.

— Покорно вас благодарю, господа,— сказала она,— ведь мое письмо не к вам писано.

— Это все равно! — сказал Жюстен.— Пойдем к нам только переночевать, а завтра, как только захотите, так и пойдете к брату вашей кормилицы.

Говоря это, он подал ей руку, чтобы помочь перепрыгнуть через канаву.

Но девочка опять отказалась и, поглядывая на луну, сказала:

— Теперь почти что полночь. Часа через три рассветает. Не стоит вам из-за меня и беспокоиться.

— Уверю вас, что вы нас ничуть не обеспокоите! — вскричал Жюстен, продолжая держать перед нею руку.

— Да и подумай только,— подхватил Мюллер,— ведь если здесь пройдут жандармы, они непременно арестуют тебя!

— Да за что им арестовывать-то меня? — возразила девочка с неподкупной логикой ребенка, которая часто озадачивает самых искусных юристов.— Я ведь никому ничего худого не сделала.

— Вас арестуют потому, что если найдут в поле одну, то подумают, что вы бродяга,— сказал Жюстен.— Пойдемте лучше с нами.

Но приглашение это оказалось излишним. Услышав слово «бродяга», девочка сама, без посторонней помощи, перескочила через канаву и с испуганным видом, молящим голосом пролепетала:

— Возьмите, возьмите меня с собой, добрые господа!

— Разумеется, разумеется, возьмем,— поспешил ее успокоить Мюллер.

— Вот так-то лучше! — обрадовался Жюстен.— Я отведу вас к моей матери и сестре. Они все очень добрые... Дадут вам поужинать, обогреют, вымоют и уложат спать. Вы, может быть, давно уже ничего не ели?

— Да, с утра ничего.

— Ах ты, бедный ребенок! — с ужасом и сочувствием вскричал старик, который с математической точностью ел по четыре раза в день.

Девочка не поняла этого восклицания, в котором были слиты и эгоизм, и сострадание. Ей показалось, что оно было обвинением против кюре за то, что он посадил ее в дилижанс и не позаботился о ее пропитании, и она тотчас же поспешила оправдать его.

— В этом я сама виновата,— проговорила она.— У меня был и хлеб, и вишни, только скучно было и есть не хотелось! Вот, посмотрите,— продолжала она, доставая из ржи корзинку с несколькими слежавшимися вишнями и ломтем зачерствелого хлеба,— у меня и провизия есть.

— Вы так устали, что дальше идти, верно, не можете,— сказал Жюстен.— Хотите, я вас понесу.

— Ах, нет, не надо! — вскричала девочка.— Мне ни-почем отмахать еще добрую милю.

Но друзья не поверили этому, переплели руки, посадили ее на них, а она обняла их за шеи. Они подняли ее до высоты своих поясов и понесли на этих носилках из человеческих костей и мускулов.

Но в тот момент, когда они уже хотели двинуться вперед, девочка вдруг воскликнула:

— Ах ты, Господи! Да я никак совсем с ума сошла!

— А что случилось, дитя? — спросил Мюллер.

— Я забыла письмо!

— Да где ж оно?

— Там, в узелке.

— А где узелок?

— Во ржи, там, где я спала. Возле моего венка из васильков.

Она соскочила с их рук, перепрыгнула через канаву, подхватила свой узелок и с поразительной ловкостью

снова очутилась на своих живых носилках. Друзья тотчас двинулись к заставе, которая виднелась всего шагах в трехстах от того места, где они ее нашли.

Девочка положила свой узелок так, что он мешал старому Мюллеру дышать.

Он посоветовал ей пристегнуть его к пуговице его сюртука.

Таким образом, у нее остались только корзина с вишнями и венок из васильков, который она сплела, чтобы не заснуть до рассвета.

По всей вероятности, она сохраняла его инстинктивно, как последнее воспоминание о первых часах одиночества, которые пережила на земле.

Так, по крайней мере, понял ее Жюстен; потому что когда она заметила, что венок трет щеку молодого человека, и, вопросительно взглянув на своих спутников, хотела его бросить, он взял его губами и надел ей на голову.

В таком виде она была поистине прелестна! Черные сюртуки Жюстена и Мюллера представляли чрезвычайно эффектный фон для ее белого платья и ангельского личика. Лоб ее, освещенный луною, казался челом небесного существа.

Она сидела, точно юная друидская жрица, которую торжественно несли к священному лесу.

На время смолкший разговор завязался снова. Жюстену чрезвычайно нравились звуки чистого голоса этой девочки.

— А чем занимается брат вашей кормилицы? — спросил он.

— Он колесный мастер, — ответила она.

— Колесный мастер? — переспросил он таким тоном, будто предвидел какое-то несчастье.

— Да, в предместье Святого Якова.

— Я знаю там только одного, в доме № 111.

— Кажется, это он и есть.

Жюстен замолчал. Около года тому назад заведение колесного мастера в доме № 111 внезапно закрылось, а вскоре на том месте появился слесарь. Но Жюстену не хотелось говорить об этом теперь, чтобы не огорчить ребенка прежде, чем он не разузнает о сути дела сам.

— Ах, да, да, — говорила между тем девочка, — теперь я все вспомнила. Это он самый и есть. Я несколько раз перечитывала адрес. Мне даже говорили, чтобы я выучила наизусть, на случай, что потеряю письмо.

— Значит, вы помните, кому оно было адресовано?

— Известно помню!.. Господину Дюрье... Так и на конверте написано.

Друзья опять переглянулись, но промолчали.

Девочка подумала, что они сомневаются в ее словах, и гордо прибавила:

— Я ведь давно умею читать!

— Я в этом и не сомневаюсь! — очень серьезно объявил Мюллер.

— А что вы собираетесь делать у брата вашей кормилицы? — спросил Жюстен.

— Что же, как не работать?

— А что вы умеете делать?

— Да что скажут. Я ведь много чего умею.

— Что именно, например?

— Шить, гладить, стирать, вышивать, штопать, отделывать чепчики, плести кружева.

Чем больше они ее расспрашивали, тем больше она им нравилась.

Скоро они знали всю ее историю.

В одну из ночей 1812 года в Буйль въехала карета и остановилась у одного из уединенных домов на краю деревни.

Из нее вышел человек и захватил с собою какой-то сверток, весьма неопределенной формы.

Подойдя к двери уединенного домика, он достал из кармана ключ, отомкнул ее, пробрался впотьмах в комнату, положил сверток на постель, а какое-то письмо и кошелек на стол, снова вышел, замкнул дверь, сел в карету, и она покатилась дальше.

Час спустя, женщина, возвращаясь с рынка в Руане, остановилась перед тем же самым домом, достала ключ из кармана и отомкнула дверь. К ее великому удивлению, изнутри комнаты послышался крик ребенка.

Она поспешно зажгла лампу и увидела, что на постели с плачем барахтается что-то белое.

Это нечто белое оказалось маленькой девочкой.

Женщина с еще большим удивлением оглянулась вокруг и увидела на столе письмо и кошелек.

Она распечатала письмо и с великим трудом, так как дело было для нее непривычное, прочла следующее:

«Мадам Буавен, Вас все знают как добрую и честную женщину, и эта почтенная репутация Ваша побуждает отца, готовящегося покинуть Францию, поручить Вам воспитание своей дочери.

В предлагаемом кошельке Вы найдете тысячу двести франков. Эта плата за первый год содержания девочки. Начиная с 18 октября будущего года, через посредство кюре деревни Буйль Вы станете получать по сто франков ежемесячно. Эти сто франков будут доставляться Вам через один из банкирских домов в Руане, и сам кюре, который станет получать их оттуда, не будет знать, от кого они.

Дайте этому ребенку самое лучшее воспитание, какое сумеете, в особенности постарайтесь сделать из девочки хорошую хозяйку. Одному Богу известно, каким испытаниям придется ей подвергаться.

Крещена она именем Мина и никогда не должна называться иначе, чем я сам назвал ее.

28-е октября 1812 года».

Чтобы хорошенько понять смысл этого несложного письма, мадам Буавен прочла его ровно три раза. Потом, разобрав, в чем дело, она положила его в карман, взяла кошелек и ребенка и пошла к кюре посоветоваться.

Ответ священника можно было предвидеть заранее. Он сказал ей, что она обязана принять ребенка, которого ей так неожиданно посылает сам Бог, и всю жизнь заботиться о том, чтобы дать ему самое лучшее воспитание.

Мадан Буавен возвратилась домой с ребенком, письмом и кошельком.

Ребенка положила в чистую колыбельку своего сына, который умер десять лет тому назад, письмо спрятала в портфель, в котором лежал послужной список ее мужа, бывшего сержантом старой гвардии, участника похода в Россию, а тысячу двести франков положила в тайник, в котором хранила все свои сокровища.

О сержанте Буавене не было ни слуху ни духу.

Жене его никогда не удалось узнать, был ли он убит, попал ли он в плен или погиб от мороза.

В течение семи лет плата за девочку шла исправно, но затем она вдруг прекратилась, что не помешало доброй женщине любить Мину по-прежнему, потому что она привязалась к ней, как к родной дочери.

Восемь дней тому назад мадам Буавен скончалась, а перед смертью просила кюре отправить девочку к своему брату, колесному мастеру, с которым не виделась очень давно, но за честность которого могла поручиться.

Брата этого звали Дюрье, и жил он в нижнем этаже дома № 111, в предместье Святого Якова.

Все это девочка рассказала своим покровителям, прежде чем они успели дойти до квартиры Жюстена.

Если молодой человек иногда поздно возвращался домой, то его всегда дожидалась сестра.

На этот раз Селеста, по обыкновению, ждала его, не ложась спать. При звуках его шагов она отперла дверь и услышала, что он окликнул ее по имени.

Она побежала к нему и первое, что она увидела, была Мина. Ее так поразила красота девочки, что она принялась целовать ее, даже не спрашивая, откуда ее взяли. Потом она подхватила ее на руки и понесла в комнату матери.

Несчастливая слепая не могла рассмотреть ребенка, но, как и все слепые, отличалась поразительной тонкостью осязания. Проведя рукой по лицу сиротки, она поняла, что та рождена красавицей.

Вскоре к старушке вошли и мужчины и рассказали ей всю печальную историю Мины. Селесте тоже очень хотелось послушать их рассказ, но брат указал ей на девочку, которая совсем засыпала, и ей пришлось идти в свою комнату и как можно скорее приготовить для нее постель.

Дело это устроилось очень легко.

С нижнего этажа принесли классную доску, положили ее на четыре табурета, а сверху постелили матрац, белье, под голову подложили подушки. Старушка Корби благословила девочку как мать и хозяйка дома, моля Бога даровать ей всякое счастье.

Ребенок, очутившись в постели, сразу крепко заснул.

На другой день, раньше чем начали собираться ученики, Жюстен вошел в дом № 111 к одному из бывших соседей Дюрье, честному угольщику Туссену, и спросил его, не может ли он сообщить ему что-нибудь о колесном мастере, который жил прежде в квартире, которую занимал теперь слесарь.

Выбор Жюстена был чрезвычайно удачен.

Туссен был дружен с Дюрье.

Оказалось, что колесный мастер принимал горячее участие в заговоре Нанте и Берара, имевшим целью приступом взять Венсен. Это должно было стать знаком для восстания, распространенного по всей Франции и не удавшегося только благодаря разоблачениям Берара.

Туссен рассказывал, что вовлек его в это дело корсиканец Сарранти, который особенно хлопотал об участии Дюрье, так как он имел много рабочих.

Накануне того дня, в который должно было вспыхнуть восстание, Туссен услышал, что в квартиру Дюрье кто-то сильно стучится. Он встал, выглянул в форточку и узнал иноземца, который за последнее время часто бывал в мастерских колесного мастера.

Несколько минут спустя и гость, и хозяин вместе быстро вышли на улицу и со всех ног побежали к заставе.

После этого ни Дюрье, ни Сарранти больше не возвращались.

Но это было не единственным обвинением если не против Дюрье, то против Сарранти. Туссен узнал от полицейских, которые делали потом обыск в квартире Дюрье, что корсиканец украл у одного из своих друзей сумму чуть ли не в шестьдесят тысяч франков.

По всей вероятности, с помощью этих денег они добрались до Гавра и успели сесть на корабль, уходивший в Индию.

С тех пор ни о том, ни о другом не было ни слуху ни духу.

— Может быть,— прибавил Туссен,— о них можно узнать еще что-нибудь от сына Сарранти, который учится в семинарии Сен-Сюпис; но едва ли он станет откровенно говорить об отце с незнакомым человеком, зная, какое тяжелое обвинение на него падает.

Жюстен попробовал было расспросить угольщика подробнее, но Туссен и сам не знал ничего больше.

Молодой человек вернулся домой, считая неловким обращаться с расспросами к сыну Сарранти. В глубине души ему даже хотелось, чтобы колесный мастер исчез и никогда больше не возвращался.

Возвратясь домой, он в первый раз в жизни солгал матери и сестре, сказав, что собрал вести «нерадостные».

— А по-моему, весть твоя не печальная, а радостная и благая! — возразила ему мать. — Это весть хорошая, потому что эта девочка — ангел небесный, посланный нам самим Богом.

Для всех троих мысль оставить прелестного ребенка навсегда у себя казалась невыразимым счастьем.

По-видимому, все они дошли до того периода совместной жизни, когда слишком продолжительная близость одних и тех же людей между собою уже не может поддерживаться собственными своими силами и вследствие этого начинает уменьшаться.

Все трое бессознательно чувствовали потребность обновления извне. Они слишком долго переживали потоп,

запершись в своем ковчеге, и вдруг к ним влетела голубка с оливковой ветвью.

И мысль оставить ребенка навсегда у себя была принята всеми с искренним восторгом.

Семья, которая только что изнемогала под гнетом бедности, решила стать еще беднее, чтобы только сохранить у себя ребенка. Им казалось, что усадить это маленькое существо у своего домашнего очага значит не только не обеднеть, но, напротив, — обогатиться.

XVIII

ПРИХОДСКОЙ СВЯЩЕННИК

Перенесемся на несколько лет вперед... По улице предместья Св. Якова шел бодрого вида священник, лет 70. Появление его произвело между жителями предместья видимую сенсацию. Послышалось несколько возгласов: «Ну вот и аббат!», и вскоре около него собралась небольшая кучка местных кумушек. Одна торговка, заметив, что аббат озирается по сторонам, поглядывая на номера домов, сочла нужным помочь ему.

— Доброе утро, господин аббат!

— Доброго утра, моя милая! — отвечал с достоинством аббат и продолжал свой путь.

— Господин аббат, вы спешите, может быть, на свадьбу? — спросила кумушка.

— Вы угадали, — ответил священник, останавливаясь.

— На свадьбу, которая должна произойти в доме № 20? — добавила другая.

— Именно! — ответил еще более удивленный священник.

Заслышав, что башенные часы Св. Якова пробили половину десятого, он снова пошел далее.

— Вы пришли на свадьбу г-на Жюстена? — спросила третья кумушка.

— На свадьбу с маленькой Миной, которой вы состоите опекуном? — произнесла четвертая.

Священник глядел на кумушек с возрастающим изумлением.

— Да оставьте же, наконец, в покое этого достойного человека, болтушки! — крикнул бочар, набивавший обручи на винную бочку. — Разве вы не видите, что он спешит!

— Да, действительно, я спешу, — сказал добрый свя-

щенник.— Однако далеконоько предместье Св. Якова! Если бы я знал, что это так далеко, я взял бы карету.

— Да вот вы уже и пришли, господин аббат — остается несколько шагов.

— Будьте покойны, г-н кюре,— вы не заблудитесь. Мы проводим вас до самых дверей.

— Эй! Баболен, беги вперед и скажи г-ну Жюстену, чтобы он не беспокоился более: г-н аббат, которого он поджидал, сейчас прибудет.

— Вы никогда не были у Жюстена, господин священник?

— Нет, мои добрые друзья, я никогда не был в Париже.

— Вот как! Откуда же вы?

— Из Буйля.

— Из Буйля! Где это? — спросил чей-то голос.

— Во внутреннем департаменте Сены,— ответил другой голос.

— Действительно, Внутренняя Сена,— подтвердил аббат Дюкорне,— это восхитительная местность, которую называют Руанским Версалем.

— О! Вы найдете, что они прелестно устроились.

— А в особенности хорошо меблировали квартиру. Вот уже три недели только и видишь, что возят им мебель.

— Значит, он богат, этот господин Жюстен?

— Богат?.. Да, богат, как церковная крыса!

— Но в таком случае, как же может он это делать?..

— Есть люди, которые расходуют то, что они имеют, а есть такие, которые расходуют то, чего не имеют,— пояснил цирюльник.

— Так! Уж не хочешь ли ты сказать что-либо дурное о бедном школьном учителе потому только, что он сам бреется?

— Ха, ха, ха! Он очень хорошо бреется! Три недели тому назад у него на подбородке был порез шириною в полдюйма.

— Ну так что,— заметил мальчишка, закадычный друг Баболена,— ведь подбородок-то его собственный, и он может делать с ним все, что ему угодно; никому до того дела нет; рассади он себе на нем хоть душистый горошек, и то он будет прав!

— Поспешайте скорее, господин аббат! — произнес Баболен, исполнивший данное ему поручение,— только вас и ждут!

Минут через пять почтенный священник поравнялся с домом № 20. Жюстен и Мина поджидали его у дверей. Теперь Мина была уже не той маленькой девочкой, которую мы видели в предыдущей главе. Она выросла, сделалась красавицей и теперь приехала к Жюстену из пансиона г-жи Демаре, чтобы выйти за него замуж.

При виде этих двух прекрасных молодых людей священник остановился и улыбнулся.

— А! — произнес он про себя, — воистину, мой Боже, Ты создал их друг для друга.

Мина подбежала к нему и повисла на шее. Она знала его еще в те времена, когда этот добрый священник приходил навестить мадам Буавен и когда ей было всего восемь лет от роду.

Он обнял ее, а затем отошел несколько от нее, чтобы лучше разглядеть ее.

Он никогда не узнал бы в этой прелестной молодой девушке, готовой стать женщиной, то дитя, которое он шесть лет тому назад отправил в Париж в белом платье, голубых ботиночках и голубом кушаке...

Нужно было еще пять минут ждать до отправления в церковь. Его ввели в комнату, где находилась уже мать Жюстена, сестра его, мадам Демаре — начальница пансиона, мадемуазель Сусанна Вальженез — подруга Мины и старый Мюллер.

— Наш дорогой кюре из Буйля, мама Корби, — представила его Мина, — г-н аббат Дюкорне.

— Да, да, — подтвердил аббат с сияющим лицом, — это я, которой пришел благословить вас и принес приданое этой красавице.

— Какое приданое?

— Да, приданое... представьте себе, что дня три тому назад я получаю письмо из Австрии и в этом письме перевод на получение десяти тысяч восьмисот франков от банкиров Руана Леклерка и Луи. К переводу приложено письмо.

— Письмо? — пробормотал Жюстен.

— Письмо? — также проговорила мадам Корби.

— А! Письмо, — произнес профессор, пораженный этим не менее мадам Корби и Жюстена.

— Вот это самое письмо.

И аббат развернул письмо, которое, действительно, было помечено иностранным штемпелем, и прочел следующее:

«Дорогой мой аббат!

Поездка моя в Индию была причиною того, что я должен был прервать мои связи с Францией и что Вы около девяти лет не имели обо мне никаких сведений. Но я Вас знаю; я знаю и достойную мадам Буавен, которой я доверил свое дитя. Мина не могла пострадать от этого.

Теперь, возвратясь в Европу и задержанный в Вене делами, не терпящими отлагательства, которые могут продлиться еще неопределенное время, я спешу переслать Вам перевод от банкиров Леклерка и Луи в Руане на сумму в десять тысяч восемьсот франков, которые я не мог Вам выслать ранее.

Кроме того, Вы получите еще до моего возвращения, дня, которого я не могу определить, сто двадцать тысяч франков, составляющих собственность моей дочери... Вена в Австрии. Отец Мины».

Мина захлопала в ладоши, и воскликнула:

— О, какое счастье, Жюстен! Папа мой жив еще!

Жюстен взглянул на свою мать. Она была бледна, поднялась со своего места и протянула руки по направлению к сыну.

— Ты понимаешь, не правда ли, сын мой,— произнесла она твердым голосом,— ты понимаешь?..

Жюстен не ответил: он плакал.

Мина глядела на всю эту сцену, ровно ничего не понимая.

— Но что с вами, мама Корби? — спрашивала она.— Что с тобою, Жюстен?

— Ты понимаешь, не правда ли, мое бедное дорогое дитя, ты понимаешь,— продолжала мать,— что ты мог жениться на Мине только тогда, когда она была бедной сиротой...

— Боже мой! — воскликнула Мина, начиная догадываться.

— Но ты понимаешь также, что ты не можешь жениться на Мине богатой и зависящей от отца? Это была бы кража, сын мой! — произнесла слепая, подняв руку к небу, точно призывая в свидетели Бога.— Ты не можешь жениться на ней без согласия отца!..

Жюстен опустил на колени перед своей матерью.

— Подведи меня к моему креслу, дитя мое,— чуть слышно произнесла слепая,— я чувствую, что силы мои оставляют меня.

Селеста подошла к ней.

— Но в чем же дело. Боже мой?! В чем же дело? — спрашивала Мина.

— Дело в том... дело в том, Мина,— произнес Жюстен, раздражаясь рыданиями,— дело в том, что до того дня, пока отец твой не даст свое согласие на наш брак — а вероятнее всего, что он его никогда не даст! — мы можем быть друг для друга не более как брат и сестра.

Мина, в свою очередь, заплакала.

— О! — заговорила она.— По какому праву отец мой, которого я не знала, который кинул меня маленькой, признает меня только теперь? Пусть оставит он себе свои деньги, лишь бы оставил мне мое счастье! Оставил бы мне моего бедного Жюстена! Но не как брата, но, прости мне, Господи, как мужа!.. Жюстен!.. Жюстен!.. Мой возлюбленный, не покидай меня!..

И молодая девушка с болезненным криком упала в обморок на руки Жюстена...

Час спустя вся в слезах Мина уехала в Версаль, держась за руку своей подруги Сусанны.

ХІХ

ПОКОРНОСТЬ ПРОВИДЕНИЮ

Итак, брак Жюстена с Миной расстроился.

Жюстен спустился в свою крошечную комнатку. Все, что он уносил с собой со второго этажа,— это был венок из флердоранжа, который ему бросила Мина, сорвав со своей головы, при расставании с ним.

Добряк Мюллер спустился к Жюстену.

Что касается кюре, ему более нечего было делать в Париже; в шесть часов вечера он сел в почтовую карету, отправляющуюся в Руан, увозя с собою проклятые деньги, расстроившие счастье стольких лиц.

Сумрачное лицо ученика внушало Мюллеру серьезные опасения. В надежде развеять тяжелые мысли его он было принялся говорить с Жюстеном о школе, о времени, предшествовавшем моменту, когда тот встретился с маленькой девочкой. Но Жюстен, в свою очередь, вспомнил довольно обстоятельно, день за днем, ту блаженную жизнь, которую он вел в продолжение шести лет.

— Мы были слишком счастливы! — заключил он.— Я забыл, что мне всегда следовало быть готовым рано или поздно поплатиться за ту победу, которую я вырвал

у моей злосчастной судьбы... Но не трудитесь успокаивать и ободрять меня, дорогой мой учитель. Не считайте меня способным на какое-либо темное решение... Разве я, прежде всего, принадлежу сам себе? Разве я не обязан заботиться о моей матери и моей сестре? Нет, нет, дорогой учитель, моя участь вполне выяснилась: я боролся и борюсь с бедностью, я буду бороться и с горем... Дайте несколько дней зажить моей ране. Позвольте уединиться на это время. Покорность судьбе, дорогой учитель, это сила для слабых, и вы увидите меня вновь вступившим в битву с жизнью, более крепким и более опытным.

Старый учитель вышел, пораженный, почти даже испуганный этой великой покорностью молодого человека, но зато он вполне успокоился за последствия его отчаяния.

Проводив Мюллера, Жюстен вернулся в свою комнату и начал медленно ходить по ней взад и вперед, скрестив руки и опустив голову.

До трех часов утра ходил он таким образом по комнате. Горе его сосредоточилось, если можно так выразиться, в груди его и душило его. Он бросился на постель; усталость взяла свое, и он, наконец, заснул.

По счастью, следующий день был вторник масляной недели, а потому он свободно мог отдаться своему горю, для того чтобы побороться с ним своими силами. Борьба длилась целый день. Под вечер, простившись с матерью и сестрою, он направился к тому месту, где прекрасной июньской ночью нашел во ржи малютку.

Теперь не было более видно ни васильков, ни мака, ни других полевых цветов: зима сковала землю так же, как горе сковало его сердце.

Надежды никакой ему больше не оставалось. Ему было ясно, что Мина принадлежала к какой-то богатой, аристократической семье, какой же шанс мог представиться для того, чтобы ее отдали за него, простолюдина и бедняка?

Он вернулся к себе домой в десять часов вечера, сделав пятнадцать лье за день, но не чувствуя ни малейшей усталости.

Его мать и сестра ожидали его, обе полные беспокойства.

Он вошел с улыбкой на лице, обнял их обеих и спустился в свою комнату, вынул из шкафа виолончель и ноты и заиграл ту самую торжественную и меланхолическую

ческую мелодию, которую услышали Сальватор и Жан Робер за два часа до начала этого рассказа...

Историю эту оба молодых человека слушали каждый под особым впечатлением.

Сальватор слушал его с кажущимся равнодушием. но Жан Робер не скрывал тяжелого впечатления, которое на него произвел этот рассказ. Оба они понимали, что всякие соболезнования и утешения здесь не имели смысла.

— Милостивый государь,— произнес наконец Жан Робер,— было бы недостойно и вас, и нас, если бы мы позволили себе предлагать вам банальные утешения... Вот наши адреса, и если вы когда-нибудь будете нуждаться в друзьях, мы просим вас отдать нам предпочтение перед другими.

С этими словами он вырвал листок из своей записной книжки и, написав на нем оба имени с адресами, передал его Жюстену.

В этот самый момент раздался сильный стук в двери.

Кто мог стучаться в эту пору? Ведь уже начинало светать. Сальватор, выходявший уже с Жаном Робером, отворил дверь.

Стучавшийся оказался ребенком тринадцати или четырнадцати лет, с белокурыми кудрявыми волосами, розовыми щечками и в немного изорванной одежде. Это был тип парижского гамена, в синей блузе, фуражке без козырька и в стоптанных башмаках.

Он поднял голову, чтобы взглянуть на того, кто отворил ему дверь.

— Так это вы, господин Сальватор,— произнес он.

— Зачем ты пришел сюда в эту пору, господин Баболен? — спросил комиссионер, дружески схватив гамена за воротник его блузы.

— Я принес г-ну Жюстену, школьному учителю, письмо, которое нашла Броканта этой ночью, во время своего обхода.

— Кстати, о школьном учителе,— сказал Сальватор,— ты ведь помнишь, что обещался мне выучиться читать к 15 марта?

— Ну что ж! Сегодня только 7 февраля: время еще есть!

— Ты знаешь, однако, что если ты не будешь в состоянии бегло читать к 15, то 16-го я отнимаю у тебя книги, которые дал тебе?

— Как, даже и те, с рисунками?.. О, господин Сальватор!

— Все без исключения!

— Ну, если так, то знайте, что мы умеем читать,— сказал ребенок.

И, взглянув на адрес письма, он прочел:

«Господину Жюстену, предместье Св. Якова, № 20. Луидор награды тому, кто доставит ему это письмо»

Как адрес, так и приписка на письме написаны были карандашом.

— Неси скорей! Неси скорей, дитя мое! — Произнес Сальватор, толкнув Баболена в сторону помещения школьного учителя.

Баболен в два шага перешел двор и вошел с криком:

— Господин Жюстен! Господин Жюстен! Вот письмо!..

— Что нам делать? — спросил Жан Робер.

— Останемся,— ответил Сальватор,— очень возможно, что письмо это возвещает что-нибудь новое, и наше присутствие может быть полезно этому мужественному молодому человеку.

Сальватор не закончил еще своих слов, как Жюстен показался на пороге своей комнаты бледный, как привидение.

— А! Вы еще здесь! — воскликнул он.— Слава Богу! Читайте, читайте...

И он протянул письмо молодым людям. Сальватор взял письмо и прочел следующее:

«Меня увозят насильно, меня тащат, не знаю куда! Спаси меня, Жюстен! Спаси меня, брат мой! Или же отомсти за меня, мой жених!

Мина»

— О, мои друзья! — вскричал Жюстен, протягивая руки к молодым людям.— Само провидение привело вас сюда!

— Ну,— обратился Сальватор к Жану Роберу,— вы так желали романа. Надеюсь, теперь он начинается, мой друг!

XX

ПРЯМАЯ КОРОЧЕ ЛОМАННОЙ

С минуту молодые люди переглядывались.

В первый момент их охватило оцепенение, но во второй самообладание уже вернулось к Сальватору.

— Прежде всего, хладнокровие,— произнес он,— дело, кажется, серьезное.

— Но ведь ее хотят похитить! — вскричал Жюстен.— Ее увозят!.. Она призывает меня к себе на помощь!

— Все это совершенно верно, а потому именно и нужно сперва узнать, кто ее похищает и куда увозят.

— О! Как узнать это? Боже мой! Боже мой!

— Все узнается со временем, только нужно терпение, мой дорогой Жюстен. Вы ведь уверены в Мине, не правда ли?

— Как в самом себе!

— Если так, будьте спокойны: она сумеет защитить себя... Баболен здесь еще?

— Да.

— Спросим его.

— В самом деле,— подтвердил Жан Робер,— с этого мы и должны начать.

Все вернулись в комнату школьного учителя.

— Прежде всего,— сказал Сальватор,— дайте луидор этому ребенку для его матери и сколько-нибудь мелочи ему самому.

Жюстен достал из рваного кошелька два луидора и две пятифранковые монеты, которые и передал Баболену.

Но Сальватор овладел рукою ребенка в тот самый момент, как она взяла протянутое ей, насильно раскрыл ее и, к великому отчаянию Баболена, отнял у него один из луидоров и одну пятифранковую монету, возвратил их Жюстену.

— Положите эти двадцать пять франков в ваш кошелек обратно,— произнес он,— через час они, может быть, вам пригодятся.

Затем, повернувшись к ребенку, он сказал:

— Где твоя мать нашла это письмо?

— А я почему знаю? Спросите ее сами,— ответил гамен недовольным тоном.

— Он прав,— сказал Сальватор,— об этом, конечно, нужно спросить ее. Очень возможно, что она рассчитывает на ваше посещение... Позвольте! Укрепим хорошенько наши батареи... Господин Жюстен, вы должны последовать за этим ребенком к его матери.

— Я готов.

— Погодите... Жан Робер, достаньте оседланную верховую лошадь и приезжайте на ней в Кишечную улицу, № 11.

— Я же отправлюсь сделать заявление в полицию.

Я знаю того человека, который нам может быть нужен... Затем мы встретимся с вами на Кишечной улице № 11, у матери этого ребенка, и там обдумаем дальнейший план наших действий.

— Пойдем, малютка,— сказал Жюстен.

— Оставьте предварительно записку для успокоения вашей матушки,— продолжал Сальватор,— очень возможно, что вы вернетесь домой очень поздно или даже и вовсе не вернетесь.

— Вы правы,— заметил Жюстен.— Бедная мать! Я забыл о ней.

И он набросал наскоро несколько строк на лоскуте бумаги, который и оставил открытым на столе в своей комнате. Он извещал свою мать без дальнейших объяснений, что полученное только что им письмо потребовало у него в свое распоряжение целый день.

— Ну, теперь идем,— сказал он.

Все трое молодых людей вышли из дому. Было не более половины седьмого утра.

— Вот ваш путь,— сказал Сальватор, показав Жюстену вдоль улицы Урсулинок.— Вот это ваша дорога,— прибавил он, указывая Жану Роберу на Грязную улицу,— а это моя дорога,— продолжал он, направляясь на улицу Святого Якова.

Кишечная улица, как известно каждому, это не что иное, как переулок, идущий параллельно Щепенной улице.

Весь этот квартал напоминал в то время Париж времен Филиппа-Августа. Лужи грязи, окружавшие стены тюрьмы Св. Пелагеи, придавали этому зданию вид древней крепости, построенной среди острова. Эти улицы, шириною не превосходившие восьми или десяти футов, были завалены кучами навоза и мусора. Короче говоря, это были клоаки, где прозябали несчастные обитатели этих кварталов в зданиях, более похожих на чуланы, чем на дома.

Перед одним из таких чуланов Баболен остановился.

— Вот здесь,— произнес он.— Ухватитесь за край моей блузы.

Жюстен ухватился за подол блузы Баболена и, шаг за шагом, стал влезать по крутым уступам, претендовавшим на название лестницы и ведущим к помещению Броканты.

Они достигли двери конуры. Жилище Броканты, казалось, во всех отношениях оправдывало это название: лишь только они поднялись на площадку, раздался прон-

зительный лай дюжины собак, которые тявкали, рычали и визжали на все голоса, точно свора гончих, напавшая на след.

— Это я, мама,— произнес Баболен, сложив свои руки наподобие слуховой трубы и приставляя их к за-мочной скважине.— Откройте! Я с гостем!

— Замолчите вы, бешеная сила! — раздался из ком-наты голос Броканты.— Ничего не слышно... Да замол-чишь ли ты, Цезарь!.. Замолчите вы все!

И при этой команде, произнесенной угрожающим голосом, водворилась полнейшая тишина.

— Ты можешь войти теперь, ты и гость твой,— по-слышался опять голос.

— А как?

— Тебе стоит только толкнуть дверь: засов не зад-винут.

Баболен приподнял защелку, толкнул дверь, в которую пропустил Жюстена, и глазам их представилось зре-лище, которое, хотя и не было очень поэтичным, тем не менее, заслуживает нескольких слов.

Это был не более, как чердак с осевшей, ветхой крышей. С дюжину собак: догов, пуделей и других по-род — обитали в одном из углов комнаты, причем вся эта дюжина была заключена в старую корзину из прутьев, в которой их могло поместиться свободно не более четырех или пяти.

На крестовине, образуемой двумя бревнами, под-держивавшими крышу, сидела ворона, которая махала крыльями, вероятно, выражая тем свою радость во время концерта, устроенного собаками.

На скамейке, прислоненной к нижнему основанию бревна, под подобием полога из лоскутьев материи всех цветов, который поднимался по стене на высоту трех или четырех футов, сидела женщина, на вид лет пяти-десяти, высокая, худая и костлявая. Между ее ногами стояла на коленях девочка, которой старуха с особым старанием расчесывала ее длинные черные волосы.

Вся эта сцена, не лишенная своеобразной живопис-ности, освещалась глиняной лампой, поставленной на опрокинутую корзину и похожей по своей форме на те римские светильники, которые находят при раскопках Геркуланума и Помпеи.

Старая женщина, которую Баболен назвал именем Броканты, была одета в темное платье, до того густо покрытое разными заплатами, что представляло собою

оттенки всевозможных темных цветов, точно образчики материй портного.

Девочка, которую она держала меж ног своих, была одета только в рубашку из небеленого холста. Рубашка эта имела вид блузы, перетянутой в поясе подобием веревки серо-лилового цвета; шея и грудь ребенка были прикрыты совершенно изорванным вишневым шерстяным шарфом. Ноги ее были босы.

Что касается ее лица, которое она повернула в сторону двери в тот момент, когда вошли Баболен и школьный учитель, то оно отличалось той болезненной бледностью, которая свойственна бедным, чахлым растениям наших предместий. Черты ее лица отличались поразительной правильностью и тонкостью; но исхудалые контуры этой изможденной фигуры, глаза, окруженные синевой, впалость их орбит, беспокойство во взгляде, худые щеки этого, казавшегося тридцатилетним ребенка — все это вместе взятое производило какое-то странное и фантастическое впечатление, которое, вероятно, дало бы нашему другу Петрюсу, если бы он очутился перед этою очаровательною моделью, мысль воспользоваться ею для изображения Медеи в детстве.

Скажем теперь из опасения спутать наш рассказ, — так как, в конце концов, история Жюстена и Мины не более как эпизод, — скажем теперь, что было известно об этом загадочном и поэтичном существе.

Мы найдем впоследствии Баболена и школьного учителя на пороге комнаты, в которой мы их и оставляем.

XXI

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ РОЗА

Однажды вечером, около десяти часов, Броканта возвращалась в маленькой тележке, запряженной ослом, с бумажной фабрики Ессона, где она продала тюк тряпок. Вдруг она увидела показавшуюся с краю дороги и как будто вышедшую из канавы фигуру ребенка, который бросился к ней с распростертыми руками, бледный, запыхавшийся, дрожащий всем телом и с выражением самого глубокого ужаса на лице.

— Помогите! Помогите! Спасите меня! — кричал он. Броканта принадлежала к числу тех цыган, которые имеют особую манию похищать детей, как хищные птицы похищают жаворонков и голубей. Она остановила своего

осла, соскочила с тележки, взяла девочку на руки, вскочила с нею обратно и стала погонять осла.

Событие это, быстрое как мысль, произошло в пяти лье от Парижа, между Жювизи и Фроманто.

Занятая лишь тем, чтобы скорее удалиться, Броканта вздумала взглянуть на ребенка не ранее, чем сделал приблизительно около четверти лье рысью на своем осле.

Девочка была с непокрытой головой. Ее длинные косы, распутившиеся или во время бега, или во время борьбы, ею выдержанной, болтались позади, по лицу струился пот. Все свидетельствовало о далеком пути, проделанном ею через поля, а ее белое платье было сплошь испачкано кровью, сочившейся из неглубокой, к счастью, раны, которая, казалось, была нанесена, или, скорее, ее пытались нанести, каким-то острым оружием.

Очутившись в тележке, маленькая девочка, имевшая на вид не более пяти или шести лет, воспользовалась тем, что обе руки Броканты были заняты вожжами, и соскользнула с колен женщины на дно тележки, и на все вопросы, обращаемые к ней, повторяла лишь одно и то же:

— Она не бежит за мной? Она не гонится за мной?

На это Броканта, которая, казалось, боялась погони не менее ребенка, украдкой высовывала из тележки свою голову, покрытую холщовым чепцом, оглядывалась на дорогу и, не видя на ней никого, уверяла в этом ребенка, у которого страх был до того велик, что боль, причиняемая раной, видимо, представлялась ей не стоящей внимания мелочью.

Около полуночи — так сильно Броканта, разделяя волнение девочки, погоняла своего осла — около полуночи достигли они заставы Фонтенбло.

Остановленная у решетки стражниками, Броканта высунула только свою голову и сказала: «Это я, Броканта», и так как стражники уже привыкли видеть ее проезжающей раз в месяц с грузом тряпок и затем на следующий день возвращающейся с пустой тележкой, то и пропустили в город старуху с ребенком беспрепятственно.

Что касается девочки, присевшей на корточки или скорее свернувшейся клубком на дне тележки, то, как мы уже сказали выше, она не подавала никаких других признаков своего существования, как только время от времени с ужасом спрашивала Броканту:

— Она не гонится за мною? Скажите, она не гонится за мною?..

Едва она успела выйти из тележки, как устремилась в коридор, достигла лестницы и побежала по ее ступеням так быстро, как бы это мог сделать самый проворный котенок.

Броканта поднялась за нею, отворила дверь своего чулана и сказала ей:

— Войди сюда, малютка! Никто не узнает, что ты здесь, будь же покойна.

Броканта захлопнула дверь и заперла ее на ключ; затем спустилась вниз, чтобы поместить свою тележку под навес, а осла — в конюшню.

Вернувшись, она зажгла огарок свечи, вставленный в разбитую бутылку, и, осветив себя этим слабым ночником, стала осматривать бедную маленькую беглянку. Девочка пробралась ощупью в самый отдаленный уголок чердака, опустилась на колени и начала молиться.

Броканта ее окликнула, но малютка отрицательно покачала головой.

Старуха за руки притянула ее к себе и начала спрашивать. На все вопросы ребенок твердил лишь одно:

— Нет, она убила бы меня!

Таким образом, Броканта не могла узнать, ни откуда родом было дитя, ни того, кто были ее родители, ни ее имени, ни того даже, за что ее хотели убить и кто нанес рану, оказавшуюся на ее груди.

Малютка в течение почти года хранила полнейшую немоту. Лишь во время сна, под влиянием кошмаров, она иногда вскрикивала:

— О! Пощадите, пощадите, мадам Жерар! Я вам не делала зла, не убивайте меня!

Единственное, что можно было узнать, это имя женщины, пытавшейся убить ее, — мадам Жерар.

Что же касается девочки, то ее, конечно, нужно было называть каким бы то ни было именем, и так как она была бледна, точно роза, цветущая среди зимы, то Броканта, нисколько не сомневаясь в поэтическом имени, которое она ей давала, назвала ее «Рождественской Розой».

Так это имя и осталось за нею.

В тот вечер, видя, что дитя не хочет ничего сказать, и в надежде, что оно будет назавтра разговорчивее, старуха указала ей нечто вроде плохой кровати, на которой спал ребенок одним или двумя годами старше ее, и велела улечься рядом с ним.

Но она наотрез отказалась. Ясно было, что цвет

матраца и грязное покрывало вселяли отвращение девочке. Ее тонкое белье и элегантный крой платья показывали, что она происходила далеко не от бедных родителей.

Она взяла стул, прислонила его к стене и уселась на нем, уверяя, что ей тут отлично. И действительно, она провела всю ночь на этом стуле.

Около шести часов утра, пока ребенок еще спал, Броканта встала и вышла из дома.

Она направилась в сторону улицы Св. Медара, чтобы купить полный костюм для девочки. Этот полный костюм состоял из платья голубой бумажной материи с белыми точками, из желтого платка с красными цветами, детского чепчика, двух пар шерстяных чулок и одной пары башмаков.

Все это вместе стоило семь франков. Броканта рассчитывала наверняка продать все старое платье девочки за плату вчетверо большую.

Час спустя она возвратилась со своею покупкою и нашла девочку по-прежнему примостившейся на соломённом стуле и отказывавшейся поиграть с Баболоном.

Когда ключ повернулся в замке, девочка задрожала всем своим телом, а когда дверь отворилась, она стала бледней смерти.

Видя, что она готова лишиться чувств, Броканта спросила, что с нею.

— Я полагала, что это она! — отвечала девочка.

«Она!» Итак, это, без сомнения, женщина, которой она избегала.

Броканта развесила на скамейке ее голубое платье, желтый платок, чепчик, чулки и башмаки.

Ребенок с беспокойством следил за ее действиями.

— Ну-ка, подойди сюда! — сказала Броканта ребенку.

Девочка, не поднимаясь со стула и указывая пальцем на одежду, произнесла презрительно:

— Эта одежда для меня?

— А для кого же? — ответила Броканта.

— Я не надену ее, — продолжало дитя.

— Ты хочешь, значит, чтобы она узнала тебя?

— Нет, нет, я этого не хочу!

— В таком случае, нужно надеть эту одежду.

— А разве в этой одежде она не узнает меня?

— Нет.

— В таком случае переоденьте меня скорее!

И без какого-либо сопротивления она позволила снять с себя свое хорошенькое беленькое платьице, свои тонкие чулки, батистовые юбочки и крошечные башмачки.

Все это было замарано кровью: ее следовало замочить, чтобы не возбудить подозрения у соседей.

Итак, девочка одета в одежду, купленную ей Брокантой, облачена в позорное покрывало нищеты, открытый символ жизни, ее ожидающей.

Броканта выстирала одежду ребенка, просушила ее и продала за тридцать франков.

Это была уже хорошая нажива.

Но старая колдунья сильно надеялась со временем на еще больший выигрыш: найти родителей девочки и вернуть ее, конечно, за хорошие деньги обратно семье.

То же отвращение, какое выразил ребенок при перемене платья, обнаружил он, когда дело коснулось участия в завтраке семьи.

Обрезок говядины, разогретый на сковороде, и кусок черного хлеба, или купленный вблизи, или выпрошенный Христа ради в городе,— вот что составляло обыденную пищу Броканты и ее сына. Баболен, который никогда не ел другого обеда, кроме того, чем его кормила мать, не имел особых гастрономических желаний, но Рождественская Роза не могла согласиться с этим.

Без сомнения, эта бедная девочка привыкла к более изысканным блюдам, чем и объясняется то, что она довольствовалась лишь одним взглядом на завтрак Баболена и Броканты и проговорила:

— Я не хочу есть.

Во время обеда произошло то же.

Броканта поняла, что избалованное дитя, скорее, решилось бы уморить себя голодом, чем прикоснуться к ее угощениям.

— Чего же ты хочешь? — спрашивала она девочку.— Фазанов с апельсинами или пулярок с трюфелями?

— Я не хочу ни пулярок с трюфелями, ни фазанов с апельсинами,— отвечала девочка,— но мне бы очень хотелось куска белого хлеба, какой у нас подавали бедным по воскресным дням.

Броканта, как ни была она груба, была тронута этим ответом. Она дала Баболену один су и сказала:

— Пойди принеси маленький хлебец из булочной.

Баболен в один прыжок спустился с лестницы и через пять минут возвратился с маленьким хлебцем со светло-желтой коркой.

Бедная Роза была очень голодна, и она съела этот хлебец, не оставив ни одной крошки.

— Ну, что, теперь тебе лучше? — спросила Броканта.

— Да, мадам, и я вас благодарю, — ответило дитя.

Никому до сей поры не приходило в голову назвать Броканту «мадам».

— Хороша мадам! — засмеялась она. — Ну, а теперь, мадемуазель княжна, что вы хотите для десерта?

— Мне бы хотелось стакан воды, — отвечала девочка.

— Дай сюда горшок, — сказала Броканта сыну.

Баболен подал горшок и предложил его девочке.

— Вы пьете из него? — спросила она ласковым голосом Баболена.

— Это мать пьет из него, а я пью залпом.

И, приподняв горшок на полфута над своей головой, он начал лить в рот воду с ловкостью, доказывавшей привычку его к этому упражнению.

— Я не буду пить, — сказал ребенок.

— Почему же? — спросил Баболен.

— Потому что не умею пить, как вы.

— Ты разве не догадываешься, что барышне нужен стакан, — произнесла Броканта, пожимая плечами.

— Стакан? — переспросил Баболен. — Здесь должен найтись где-нибудь стакан!

И, поискав с минуту, он обнаружил стакан в каком-то углу.

— Получай, — сказал он, наполняя стакан водою, и предлагая его девочке, — пей!

— Нет, — произнесла она, — я не буду пить.

— А почему ты не будешь пить?

— Потому что у меня нет жажды.

— Да, но ведь ты просила пить?

Девочка отрицательно покачала головой.

— Я не могу пить из грязного стакана, — тихо и робко произнесла она и прибавила со слезами: — а все-таки я страшно хочу пить.

Баболен спустился, побежал к соседнему фонтану, в три или четыре приема вымыл стакан и принес его обратно прозрачным, как богемский хрусталь, и наполненным свежей и чистой водой.

— Мерси, мосье Баболен, — сказала девочка.

И она проглотила стакан воды в один прием.

— О! Мосье Баболен! — вскричал гамен, перекувырнувшись. — Скажи на милость, мать, когда это о нас будут говорить: «мосье Баболен и мадам Броканта»!

— Простите,— возразил ребенок,— меня учили говорить всем «мосье» и «мадам», я не буду больше говорить так, если это не хорошо.

— Нет, мое дитя, нет, это хорошо,— сказала Броканта, покоренная против своей воли этой тонкостью обращения, которое простонародье иногда осмеивает, но которая вместе с тем производит на них всегда впечатление.

Вечером, когда ложились спать, та же сцена, что и накануне, повторилась.

Мать с сыном спали на одном матраце, брошенном среди тряпья в углу комнаты, а Роза опять спала ночь на стуле.

На следующее утро Броканта опять сделала уступку. Она взяла с собой тридцать франков, вырученных за одежду ребенка, и купила кроватку в сорок су, матрац в десять франков, хотя немного тоненький, но зато чистый, подушку в три франка пятьдесят сантимов, две пары простынь из мадеполама и бумажное одеяло. Все это отличалось безукоризненной белизной. Она приказала принести все вещи в свой чулан.

Всего было на сумму ровно двадцать три франка.

— Это для вас, мадемуазель. Оказывается, вы княжна, а потому с вами обращаются, как с княжной.

— Я не княжна,— ответила девочка,— но там у меня была беленькая постелька.

— Ну, так вы и здесь будете иметь такую же, как там... Довольны вы?

— Да, вы очень добры! — сказала девочка.

— Теперь, где вы думаете поместиться? Не нанять ли вам на улице Риволи квартиру над антресолями?

— Хотите дать мне этот угол? — спросила девочка. И она указала на углубление чердака, захватывавшего часть соседнего.

Постельку втиснули в угол.

Мало-помалу угол стал заполняться мебелью и походить на комнату.

Броканта была далеко не так бедна, как она выглядела, только была ужасно скупа и ей стоило страшных усилий достать деньги из копилки, в которой они у нее хранились. Но она обладала одной прибыльной способностью: умела гадать на картах.

И вот вместо того, чтобы заставляя платить себе деньгами,— последнее обстоятельство, впрочем, и без того вызывало некоторое затруднение среди того бедного

квартиры, в которой она жила, — она не отказывалась брать себе плату натурой.

У ветошницы она вытребовала занавес из подобия персидской материи, у столяра — маленький столик, у старьевщика — ковер; так что уголок Рождественской Розы к концу месяца оказался меблированным настолько, что угол чердака, в котором она обитала, выглядел очень уютно.

Роза была почти счастлива. Мы сказали «почти», потому что платье из синей бумажной материи, желтый платок с красными цветами, шерстяные чулки и ее треугольный чепчик очень ей не нравились.

И по мере того, как эти предметы изнашивались, Роза составляла себе костюм по своему вкусу и особенно занималась своими роскошными, длинными волосами, которые падали до самых пяток ее красивых ножек.

Но так как девочка никогда не выходила, а солнце не проникало на чердак иначе, как только через узкие просветы; так как она не ела ничего, кроме хлеба, и не пила ничего, кроме воды; так как холод проникал со всех сторон в чулан Броканты, и, наконец, так как вне зависимости от времени года она была одета почти всегда одинаково: и в десять градусов мороза, и в двадцать пять градусов жары, — она имела в силу всего этого болезненный и страдальческий вид.

О ее семье и о ужасном событии, приведшем ее к Броканте, которая начала даже любить несчастного ребенка, насколько она была способна полюбить, — об этом никогда не говорилось более того, что мы уже знаем.

Вот какова была Рождественская Роза, иначе сказать, дитя, которое стояло на коленях между ног Броканты в тот момент, когда Баболен и школьный учитель показались на пороге чулана.

XXII

ЗЛОВЕЩИЙ ВОРОН

Зрелище, представшее перед глазами Жюстена, могло бы привлечь внимание каждого человека, менее погруженного в свои мысли; но он поднялся на чердак, будучи совершенно нечувствительным ко всяким другим соображениям, кроме тех, которые сжимали его сердце.

— Мать, — произнес Баболен, входя с молодым чело-

веком,— вот господин Жюстен, школьный учитель, который пожелал лично прийти к тебе, чтобы спросить о том, чего я не могу рассказать ему.

Старуха усмехнулась с видом, говорившим, что она ожидала этого посещения.

— А луидор? — спросила она вполголоса.

— Вот он,— отвечал Баболен, опуская ей в руку золотую монету.— Но вам не мешало бы купить на это Розе хорошее ватное пальто.

— Мерси, Баболен,— сказала девочка, подставляя свой лоб гамену, который братски поцеловал ее,— но мне не холодно.

И при этих словах она два или три раза так кашлянула, что этот кашель решительно противоречил ее последним словам и доказывал, что грудь ее была не совсем в порядке.

— Мадам...— начал Жюстен.

При слове «мадам» Броканта подняла голову, точно желала убедиться, к ней ли относилось это обращение.

Жюстен был второй личностью, которая называла ее «мадам»; первой была Роза.

— Мадам,— повторил Жюстен,— это вы нашли письмо?

— Ну, конечно,— отвечала Броканта,— если я переслала его к вам.

— Да,— продолжал Жюстен,— и я за это очень благодарен, но я бы хотел спросить вас, где вы нашли его?

— В квартале Святого Якова, где же еще?

— Я бы хотел знать, на какой улице?

— Не заметила надпись; но это должно быть примерно в промежутке между улицами Дофина и Муффетор...

— Постойте,— перебил Жюстен,— напрягите всю вашу память, умоляю вас...

— Да! Это верно,— отвечала Броканта,— думаю, что это было на улице Сент-Андре д'Арк.

Для наблюдателя, более знакомого, чем Жюстен с такого рода цыганками, с какой ему пришлось иметь дело, было бы ясно, что Броканта вела разговор по заранее обдуманному плану.

Жюстен, казалось, понял это.

— Вот, сказал он,— возьмите это, чтобы возбудить свою память.

И он подал ей еще один луидор...

— Послушай, мать,— вмешался Баболен — сделай

одолжение господину Жюстену. Он не то что другие, и его достаточно уважают в квартале Святого Якова...

— Что ты мешаешься, мальчишка? — перебила его старуха. — Пойди-ка лучше вон!

— Броканта, — произнесла Роза своим кротким, певучим голосом, — вы видите, что этот молодой человек очень беспокоится; скажите ему все, я очень вас прошу.

— О! Заклинаю вас, прелестное дитя, — начал школьный учитель, складывая свои руки, — просите за меня!

— Она вам скажет, — ответила девочка.

— Она скажет! Она скажет!.. Конечно, я скажу, — ворчала старуха. — Ты хорошо знаешь, что я ни в чем не могу отказать тебе.

— Ну, что же, мадам? — спросил Жюстен, едва сдерживая свое нетерпение. — Одно только усилие памяти! Вспомните... Вспомните, ради Бога!

— Я полагаю, что это было... Да, это именно там и было, теперь я уверена в этом... Можно и погадать... Карты скажут.

— В таком случае, — произнес Жюстен, говоря сам с собою и не обращая внимания на последующие слова Броканты, — они должны были переправиться через Сену у Нового моста, по направлению к заставе Фонтенбло или к заставе Св. Якова.

— Именно, — прибавила Броканта.

— Откуда вы знаете? — спросил молодой человек.

— Я ничего не знаю, — возразила Броканта, — кроме только того, что я нашла на площади Мобер письмо на ваше имя, которое я вам и послала.

— Броканта, — вмешалась Роза, — вы злая! Вы знаете еще кое-что и не хотите сказать...

— Нет, — отрезала грубо Броканта, — я ничего больше не знаю.

— Ты, мать, худо делаешь, поступая так с этим господином: он друг г-на Сальватора.

— Я не гоню господина; я говорю ему только, что не знаю того, о чем он меня спрашивает. Когда чего не знают, то спрашивают у того, кто знает.

— У кого же следует спросить? Говорите же!

— У того, кто знает все: у карт.

— Хорошо, — сказал школьный учитель. — Спасибо вам и за то, что вы мне сообщили. Теперь я пойду в полицию, — там и г-н Сальватор.

С этими словами молодой человек сделал несколько

шагов по направлению к двери. Однако Броканта, вероятно, одумавшись, снова заговорила:

— Господин Жюстен!

Молодой человек обернулся. Старуха указала ему пальцем на ворону, которая хлопала крыльями над его головой.

— Взгляните на птицу,— продолжала она,— взгляните на птицу!

— Я ее вижу,— ответил Жюстен.

— Вы видите, она бьет крыльями. А это доказывает, что для вас нет большой надежды.

— Но разве это имеет какое-либо значение?

— Господи Иисусе! И вы это спрашиваете? Неужели человек, столько учившийся, как вы, школьный учитель, не знает, что ворона — вещая птица! И это хлопанье крыльями означает, что не так-то скоро найдете вы особу, которую ищете... Я бы вам посоветовала, прежде чем приняться за розыск, послушать, что скажут карты. Может, это и пригодилось бы вам...

Как утопающий хватается за соломинку, Жюстен ухватился за предложение Броканты, если и не расположенный верить картам, то понимавший, что старая колдунья хочет что-то высказать ему.

— Как вам гадать — в малую или большую игру? — спросила Броканта.

— Делайте, как знаете... Вот вам луидор.

— О! Я вам разложу большую игру... Поддай мне карты, Роза.

Девочка поднялась, и при этом выказалась вся ее стройность и гибкость. Она подошла к большому сундуку, скрытому в одном из углов, вынула и передала старухе карты своими тонкими и бледными ручками.

Несмотря на привычку, которую он имел, без сомнения, к этим каббалистическим опытам, Баболен приблизился к старухе, присел на пол, скрестив под собой ноги и приготовился смотреть на сцену матери.

Броканта вытащила из-за своей спины большую сосновую доску в форме подковы, которую положила себе на колени.

— Книжки Фареса,— сказала она девочке, кивнув головой в сторону висевшей на бревне птицы.

— Фарес! — произнесла своим певучим голосом девочка.

Ворона скакнула с бревна на правое плечо девочки, которая присела возле старухи, наклонив немного в ее сторону плечо, на котором поместилась птица.

Броканта произнесла какой-то странный, гортанный звук, одновременно походивший и на свист, и на крик.

По этому пронзительному звуку вся свора собак, как видно, высколенных, в один прыжок, сталкиваясь друг с другом, выскочила из своей клетки и разместилась по правую сторону от чародейки, образовав при этом правильный круг, в центре которого находилась Броканта.

Броканта попеременно поглядела на птицу и собак, и когда этот осмотр кончился, торжественным голосом произнесла какие-то слова на совершенно неизвестном языке, возможно, арабском.

Мы не знаем, поняли ли Баболен, Роза и Жюстен смысл этих слов, но можем сказать утвердительно, что его очень хорошо поняли собаки и ворона, о чем можно было судить по ровному, согласованному лаю собак и пронзительному крику птицы.

Вся эта группа была освещена красноватым светом низкой лампы.

Наконец, колдунья протянула свою руку в пространство и начала ею описывать гигантские круги в воздухе.

— Тихо! — произнесла она. — Карты станут говорить. Собаки и ворона притихли.

Старая сивилла стасовала карты и дала их снять левой рукой Жюстену. Карты начали свое откровение.

— Вот, — сказала она, — вы пришли сюда спросить об одной личности, которую вы очень любите?

— О! Которую я обожаю! — перебил Жюстен.

— Она бубновая дама, это значит кроткая и любящая женщина.

Относительно Мины это было, конечно, верно.

Каждый раз, как выходили карты одной масти, она брала старшую из них, укладывала ее перед собою, располагая следующие карты по старшинству от левой руки к правой.

После шести таких приемов перед нею лежали шесть карт.

По окончании этой первой манипуляции она вновь стасовала карты, вновь заставила Жюстена снять левой рукой и возобновила свои проделки в той же последовательности.

Так она продолжала, пока перед нею не оказалось семнадцать карт.

— Вот, — снова заговорила она, — та, которую вы любите — молодая девушка, блондинка, лет шестнадцати или семнадцати.

— Это верно,— подтвердил Жюстен.

Она отсчитала еще семь карт и указала на опрокинутую семерку червей.

— Несостоявшийся проект!.. Вы имели относительно нее намерение, которое не удалось...

— Увы! — пробормотал Жюстен.

Старуха опять отсчитала семь карт и указала на девятку треф.

— Предположение ваше расстроилось через деньги, которых не ожидали... И, странная вещь,— продолжала она,— эти деньги, которые обыкновенно приносят радость, заставили вас плакать!.. Но, вот письмо, которое я переслала вам, принадлежит молодой особе, которой угрожают тюрьмой...

— Тюрьмой? — воскликнул Жюстен.— Это невозможно!

— Да, тут эти карты... тюрьма, заключение...

— Впрочем, и в самом деле,— пробормотал Жюстен,— если ее похищают, то для того, чтобы скрыть ее... Продолжайте, продолжайте! Вы были правы до сих пор.

— Зло идет к вам от черной женщины, которую та, что вы любите, считает за своего друга.

— Неужели мадемуазель Сюзанна де Вальженез ее подруга?

— Карты говорят: черная женщина — значит брюнетка; они не называют имени... О, тут есть заговор... Но вам помогает в настоящее время один верный человек.

— Сальватор! — пробормотал Жюстен.— Это имя, которое он сообщил мне.

— Но,— продолжала старуха,— кажется, его предприятие запоздало... Ай, ай!.. Эта девица похищена молодым человеком, брюнетом...

— Женщина! — вскричал Жюстен.— Где она? Скажите, где она? И все, что я имею, я отдам тебе.

И, пошарив в карманах, он вытащил горсть денег, которые хотел было бросить на стол, на котором Броканта гадала, но вдруг почувствовал, что его схватили за руку.

Он обернулся: это был Сальватор, который вошел незамеченным.

— Положите эти деньги обратно в ваш карман,— произнес он.— Сойдите лучше вниз, вскочите на лошадь Жана Робера и скачите в Версаль. Теперь половина восьмого, в половине девятого вы можете быть у мадам Демаре.

— Но...— начал было Жюстен, колеблясь.

— Поезжайте, не теряя ни минуты времени,— сказала Сальватор.— Так нужно. Иначе я ни за что не отвечаю.

— Я еду,— сказал Жюстен.

Он быстро сошел вниз, принял поводья из рук Жана Робера, вскочил в седло и пустился галопом кратчайшим путем, ведущим к дороге на Версаль.

XXIII

ПОЧЕМУ КАРТЫ ВСЕГДА ГОВОРЯТ ПРАВДУ?

Когда Жан Робер, освободившись от лошади, кое-как взобрался на чердак, то увидел группу, которая могла бы заслужить внимание его друга Петрюса. Эта группа состояла из старой гадалки, сидевшей на скамейке, Баболена, улегшегося в ее ногах, и Розы, стоявшей возле них и опирающейся на столб.

Броканта, очевидно, выжидала с беспокойством, что скажет Сальватор.

Что же касается обоих детей, то они улыбались Сальватору, как другу, но каждый с различным выражением. У Баболена эта улыбка была веселая, у Розы — меланхолическая.

Но, к великому удивлению Броканты, Сальватор, казалось, не обратил никакого внимания на происшедшее до него.

— Это вы, Броканта? — спросил он.— Как здоровье Розы?

— Хорошо, господин Сальватор, очень хорошо,— ответила девочка.

— Я не у тебя спрашиваю об этом, бедняжка, а у Броканты...

— Она кашляет, немного, господин Сальватор,— сказала старуха.

— Доктор приходил?

— Да, господин Сальватор.

— Что же он сказал?

— А то, что прежде всего следовало бы оставить эту квартиру.

— Он хорошо сделал, что сказал вам об этом. Я уже давно вам говорил, Броканта.

Затем более строгим тоном и, сдвинув брови, он прибавил:

- А почему ребенок ходит босиком?
- Она не хочет надеть ни чулок, ни башмаков, господин Сальватор.
- Это правда, Роза? — спросил коротко молодой человек с легким упреком в голосе.
- Я не хочу надевать чулки, потому что они очень толстые, шерстяные, я не хочу надеть башмаки, потому что не имею других, кроме толстых, кожаных.
- Почему же Броканта не купит тебе нитяных чулок и тонких башмаков?
- Потому что это слишком дорого, господин Сальватор, а я бедна...
- Молчи и слушай хорошенько...
- Я слушаю, господин Сальватор.
- И ты исполнишь?
- Постараюсь.
- Ты исполнишь? — повторил молодой человек более повелительным тоном.
- Исполню.
- Если через неделю, — ты слышишь? — если через неделю ты не найдешь комнаты, просторной и светлой, для этого ребенка, а также отдельной псарни для своих собак, я отниму у тебя Розу.
- Старуха обняла за талию девочку и крепко прижала к себе, как будто Сальватор хотел тотчас же выполнить свою угрозу.
- Вы отняли бы у меня мое дитя! — воскликнула она. — Мое дитя, которое семь лет при мне!
- Во-первых, это вовсе не твое дитя, — произнес Сальватор, — это дитя тобой украдено.
- Спасено, господин Сальватор, спасено!
- Украдено или спасено, об этом ты будешь разбираться с Жакалем.
- Броканта молчала и еще крепче прижимала к себе Розу.
- Впрочем, — продолжал Сальватор, — я пришел не за тем. Я пришел ради этого бедного юноши, которого ты готовилась обобрать при моем входе сюда.
- Я не обирала его, господин Сальватор, я брала только то, что он мне добровольно отдавал.
- Ты его обманывала.
- Я не обманывала его: я говорила ему одну правду.
- Как могла ты знать правду?
- Через карты.
- Ты лжешь!

- Тем не менее карты...
- Средство для плутовства!
- Господин Сальватор, клянусь вам, все, что я сказала ему,— одна правда.
- Что же ты ему сказала?
- Что он любит молодую девушку шестнадцати или семнадцати лет.
- Кто тебе сказал об этом?
- Это было на картах.
- Кто тебе сказал об этом? — повторил повелительно Сальватор.
- Баболен узнал об этом в квартале.
- А! Так вот каким ремеслом ты занимаешься,— сказал Сальватор, обращаясь к Баболену.
- Извините, господин Сальватор, я не думал, что делаю дурно, сказав об этом матери: всем и так было известно в предместье Св. Якова, что г-н Жюстен был влюблен в мадемуазель Мину.
- Продолжай, Броканта. Что ты еще говорила ему?
- Я ему говорила, что молодая девушка любит его, что они имели намерение пожениться, но это не осуществилось из-за суммы денег, которую никто никак не ожидал.
- Это ты откуда знаешь?
- Один добрый священник, господин Сальватор... Один священник, седой, который уж, конечно, не лгал... Он говорил среди толпы, окружавшей его: «И если подумаешь, что эта сумма в двенадцать тысяч франков...». Я не знаю наверняка, было ли это десять или двенадцать тысяч...
- Это безразлично!
- «И как подумаешь,— говорил священник,— что эта сумма в двенадцать тысяч франков, которую я привез, была причиной всего несчастья».
- Хорошо, Броканта! А что еще ты потом сказала ему?
- Я еще сказала ему, что мадемуазель Мина была похищена молодым человеком, брюнетом.
- Откуда ты это знаешь?
- Господин Сальватор, пиковый валет вышел на картах, видите ли вы, а пиковый валет...
- Откуда ты знаешь, что молодая девушка была похищена? — повторил Сальватор, топнув ногой.
- Я видела сама.
- Как, ты ее видела?

— Видела так же, как вас теперь вижу, господин Сальватор.

— Где же ты видела ее?

— На площади Мобер. Этой ночью, господин Сальватор, этой ночью... Я только что прошла улицу Голанд и стала переходить Моберскую площадь, как вдруг промчалась мимо меня карета, да так скоро, что можно было подумать, будто лошади взбесились, но вот одно стекло опустилось; я слышу крик: «Ко мне! Помогите! Меня похищают!» — и хорошенькая головка блондинки, вроде херувимчика, высунулась из дверцы кареты. В тот же момент показалась другая голова... голова молодого брюнета, с усами... Он оттащил назад кричавшую и поднял каретное стекло; но та, которую похищали, имела время выбросить письмо.

— Ну, и где это письмо?

— Это то самое, которое я отослала г-ну Жюстену.

— В котором часу это было, Броканта?

— Это было около пяти часов утра, господин Сальватор.

— Хорошо! Это все?

— Да, это все.

— Зачем же ты не рассказала г-ну Жюстену дело просто, как оно произошло?

— Я поддалась искушению, господин Сальватор; я рассчитывала, что он будет рассказывать про то, что произошло с ним, а это доставило бы мне практику.

— Вот, Броканта, получай луидор за высказанную тобой правду,— перебил Сальватор,— но на этот луидор ты купишь ребенку три пары нитяных чулок и одну пару козловых башмаков.

— Я хочу красные башмаки, господин Сальватор,— произнесла Роза.

— Ты выберешь обувь того цвета, какого пожелаешь, дитя.

Затем, обратясь опять к Броканте, он сказал:

— Ты слышала? Если ровно через неделю, ровно в этот час, я найду вас здесь еще, я увожу Розу... Не забудь, Броканта,— прибавил он вполголоса,— что ты своей головой отвечаешь мне за этого ребенка! Если ты уморишь ее от холода на своем чердаке, я тебя уморю холодом, голодом и рядом всевозможных лишений в подвале.

Произнеся эту угрозу, он наклонился к девочке, которая подставила ему свой лоб для поцелуя.

Жан Робер бросил прощальный взгляд на старуху и обеих детей и вышел следом за Сальватором.

— Что это за странная девочка? — спросил он Сальватора, выйдя с ним на улицу.

— А, Бог ее знает! — ответил тот и рассказал Жану все, что знал о девочке, т. е. то, что знаем и мы.

Рассказ этот был короток, и когда они приблизились к Новому мосту, он был окончен.

— Здесь! — произнес Сальватор, облакачиваясь на решетку статуи Генриха IV.

— Зачем же мы остановились?

— О! Мой милый, вы слишком любопытны.

— Однако...

— Как драматическому поэту вам должно быть известно, что умение хранить тайну — это своего рода талант.

Впрочем, они ждали недолго.

По прошествии десяти минут карета, запряженная парю бодрых лошадей, свернула с набережной Ювелиров и остановилась против статуи Генриха IV.

Мужчина, лет около сорока, открыл каретную дверцу и, выглянув изнутри кареты, произнес:

— Торопитесь, господа!

Молодые люди вошли в карету.

— Ты знаешь куда, — произнес тот же мужчина, обратившись к кучеру.

Лошади пустились вскачь и, повернув посередине Нового моста обратно, направились вдоль Школьной набережной.

XXIV

ГОСПОДИН ЖАКАЛЬ

Расскажем нашим читателям то, что Сальватор счел лишним рассказывать Жану Роберу.

Расставшись с Жюстеном и Жаном Робером на улице предместья Св. Якова, Сальватор, как мы сказали, направился в полицию.

Он достиг той глухой, безлюдной улицы, которая носит название Иерусалимской и представляет собой тесное, темное и грязное место, куда солнце заглядывает разве укладкой.

Сальватор смело и свободно вступил в ворота префектуры, как человек коротко знакомый с этим помещением.

Было семь часов утра. День начал только заниматься.

Сторож остановил его.

— Гей! Господин! — закричал он. — Вы куда идете?.. Гей! Господин!

— А что? — сказал Сальватор, оборачиваясь.

— Ах! Извините, господин Сальватор, я было не узнал вас.

— Г-н Жакаль уже в своей конторе? — спросил Сальватор.

— Вернее сказать, что он еще там: он ночевал в конторе.

Сальватор пересек двор, вошел под своды, расположенные против ворот, затем по маленькой лесенке налево, поднялся на два этажа, прошел коридор и спросил секретаря о г-не Жакале.

— Он сильно занят, — ответил тот.

— Доложите ему, что это Сальватор, комиссионер с улицы Фер.

Секретарь исчез за дверью и почти тотчас же вернулся.

— Через две минуты г-н Жакаль к вашим услугам.

В самом деле минуту спустя дверь распахнулась, и, прежде чем кто-либо появился в ней, послышался голос:

— Ищите женщину! Ей-ей! Ищите женщину! — Затем уж появился человек, голос которого только что послышался.

Попытаемся нарисовать портрет Жакаля. Это был мужчина лет сорока, с чрезмерно длинным туловищем, худощавый, вытянутый, по выражению натуралистов, червеобразный, и при этом — с короткими, крепкими ногами.

Корпус его производил впечатление гибкого, а ноги — проворных.

Голова его, казалось, принадлежала одновременно самым различным плотоядным: волосы, или грива, как угодно, были желто-бурой масти; длинные, торчащие уши, заостренные и покрытые шерстью, походили на уши бобра; глаза отливали вечером желтым, а днем зеленым огнем и походили сразу на глаза рыси и волка; зрачок, вертикально удлинённый, подобно кошачьему зрачку, сокращался и расширялся, в зависимости от силы света или темноты; нос и подбородок были вытянуты у него, как у зайца.

В общем, это была голова лисицы, а туловище — хорька.

Он прищурил глаза и заметил в полумраке коридора того, о ком ему доложили.

— А! Это вы, господин Сальватор! — произнес он, быстро устремляясь навстречу. — Что доставляет удовольствие мне видеть вас так рано?

— Мне сказали, что вы были очень заняты, — ответил Сальватор, видимо, силясь преодолеть отвращение, которое внушал этот полицейский чиновник.

— Это совершенно верно, мой дорогой господин Сальватор, — но вы также знаете, что нет такого дела, которого я не бросил бы тотчас, чтобы иметь только удовольствие побеседовать с вами.

— Послушайте, пойдемте к вам в кабинет, — перебил Сальватор, не отвечая на любезную фразу г-на Жакаля.

— Это невозможно, — сказал Жакаль, — двадцать человек ждут меня.

— Много ли у вас дела с ними?

— Почти на двадцать минут времени, по минуте на человека. В девять часов мне нужно быть в Нижнем Медоне.

— Черт возьми. Это очень некстати, что я не могу поговорить с вами сколько мне нужно: я имел сообщить вам нечто важное.

— Постойте!... Вот идея!...

— Говорите!

— Я еду в карете и еду один; поезжайте со мною: вы сообщите мне про ваше дело дорогой. А теперь объясните мне в двух словах, в чем ваше дело?

— В одном похищении...

— Ищите женщину!

— Да мы ее и ищем.

— О! Нет, я говорю не про похищенную женщину.

— В таком случае, про какую же?

— Ту, которая приказала похитить другую.

— Вы полагаете, что в этом деле замешана женщина?

— Во всем и во всех делах всегда замешана женщина, господин Сальватор; это и составляет главное затруднение нашей службы. Вчера, к примеру, мне доложили, что один кровельщик убится, сорвавшись с крыши...

— И вы сказали: «Ищите женщину»!

— Да, это первое, что я сказал.

— Ну и что?

— Надо мною посмеялись, говорили, что я чудак! Стали все-таки искать женщину и ее нашли!

— Вот как! Как же это?

— Чудак обернулся, чтобы поглядеть на женщину, которая одевалась в мансарде противоположного дома, и он так увлекся ее созерцанием, что забыл, где он находится; нога у него поскользнулась, и он полетел вниз!

— Он погиб?

— Он очень расшибся, глупец! Так вы согласны, и поедете со мною в Нижний Медон?

— Да, но со мною друг.

— Карета четырехместная. Фарго,— обратился г-н Жакаль к служителю,— велите запрягать.

— Но дело в том, что я должен предварительно зайти на Кишечную улицу, а затем я вернусь.

— Я даю вам полчаса времени.

— Где же мы встретимся с вами?

— Место свидания у статуи Генриха IV. Я велю остановить карету, вы войдете в нее и поедем!

После этого Жакаль вошел в свою контору, а Сальватор пошел отыскивать Жана Робера.

Все шло по установленной программе: оба молодых человека уселись в карету Жакаля, и все трое покатали по направлению к Нижнему Медону.

Г-н Жакаль был старым комиссаром, которого его блестящие способности возвели до высшего положения — до места начальника охранительной полиции.

Г-н Жакаль знал всех воров, всех мошенников, всех цыган Парижа; освобожденные каторжники, воры патентованные, воры-новички, воры заслуженные, воры, отказавшиеся от своего ремесла,— все они копошились под его всевидящим взором; как бы ни была темна ночь, невозможно было укрыться от его пронизательного глаза. Он знал вертепы, картежные дома, волчьи притоны и западни, как Филидор квадраты своей шахматной доски. При одном взгляде на оторванный ставень, на разбитое оконное стекло, на рану, нанесенную ножом, он говорил: «О! Я знаю это! Это прием такого-то».

И ошибался он редко.

Жакаль, казалось, не знал никакого природного влечения или потребности. Если ему некогда было позавтракать, он оставался без завтрака; некогда ему было пообедать — он не обедал; некогда было поужинать —

он не ужинал; некогда было поспать — он и не спал!

Жакаль с одинаковым удовольствием и равной свободой менял свой костюм и облик: то торговца рынка, то генерала Империи, швейцара богатого дома, привратника, бакалейщика, торговца аптекарскими товарами, гаера, пэра Франции, вольтижера из цирка — он бывал всем и заставил бы покраснеть самого ловкого и даровитого актера.

Протей был в сравнении с ним не более, как кривляка из Тиволи или с бульвара Тампль. Жакаль не имел ни отца, ни матери, ни жены, ни брата, ни сестры, ни сына, ни дочери: он был одинок во всем мире и, казалось, был лишен семьи внимательной к нему судьбой, которая, избавив его от свидетелей в его таинственной жизни, дала ему возможность быть вполне свободным на его поприще.

В библиотеке, помещавшейся на четырех полках, у него было четыре различных издания Вольтера. В эту эпоху, когда все, а в полиции в особенности, духовные и светские иезуитствовали, он один говорил совершенно не стесняясь, при всяком удобном случае цитировал из «Философского Словаря» и знал «La Pucelle» наизусть. Упомянутые четыре экземпляра произведений автора «Кандида» были переплетены в шагреню, с серебряным обрезом, — этот печальный памятник погребенных убеждений их хозяина.

Жакаль не признавал добра; зло, по его мнению, господствовало над всем остальным. Противостоять злу представлялось ему единственной целью в жизни; он не признавал мира на иных началах.

Он был своего рода архангел Михаил низших слоев. Последний суд уже настал для него, и он пользовался правами, которые ему доверило общество, подобно ангелу-истребителю, пользующемуся мечом своим.

Люди казались ему не более, как коллекцией марионеток и паяцев, упражняющихся в различного рода профессиях. Нитями этих марионеток и паяцев, по его мнению, всегда управляли женщины. Это была его навязчивая идея, которая всегда почти доводила его до раскрытия преступления, виновника коего он хотел найти.

Каждый раз как только ему доносили о заговоре, об убийстве, о краже, о похищении, о взломе, о святотатстве, о самоубийстве, он каждый раз давал один ответ: «Ищите женщину!»

Женщину искали и всегда ее находили, ни о чем другом не оставалось заботиться: остальное отыскивалось само по себе.

Жакаль видел в женщине основную причину преступления даже в том случае, где другой находил лишь одну неосторожность.

Таков был,— а мы далеко еще не исчерпали изображения его,— таков был Жакаль, с которым Сальватор и Жан Робер ехали вдоль Тюильрийской набережной.

Мы забыли передать еще одну характерную особенность физиономии Жакаля: он носил зеленые очки; не для того, конечно, чтобы лучше видеть, но чтобы его было меньше видно.

XXV

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ!

Жакаль, приняв обоих молодых людей в свою карету, начал с того, что приподнял свои очки и устремил на Жакаля Робера один из тех испытующих взглядов, которые ему открывали человека и физически, и нравственно.

Через секунду очки его опустились, потому ли что он узнал в Жане Робере поэта, который, как мы сказали, прошел уже первый круг популярности, или потому, что честные черты лица молодого человека были достаточны для того, чтобы успокоить его. Ведь ему не придется иметь дела с этим человеком.

— А! — сказал он, устроившись в мягком углу кареты, том самом углу, который он уступил Сальватору и от которого Сальватор отказался наотрез: — Итак, дело идет о похищении?

Жакаль достал табакерку — прелестную вещицу, которая более походила на изящную, деликатную бонбьерку с лепешечками для Помпадур или Дюбари — и с жадностью потянул в себя добрую щепотку табаку —
— Послушаем, расскажите-ка мне об этом.

У каждого человека есть своя слабая сторона, своя ахиллесова пята, не омытая водами Стикса. Жакаль мог обойтись без еды, без питья, без сна, но не мог обойтись без табака. Табак и табакерка были для него вещами необходимыми.

Можно было бы сказать, что в этой табакерке он

почерпнул всю бесчисленную серию гениальных идей, бесконечным и ежеминутным появлением которых он удивлял своих сослуживцев.

Итак, он наслаждался своей щепоткой табаку, когда произнес: «Послушаем, расскажите-ка мне об этом».

Сальватор передал ему дело с подробностями, которые узнал от Броканты.

— И до сих пор не искали еще женщины? — спросил он.

— Не имели времени: мы узнали о происшедшем лишь в семь часов утра.

— Черт возьми! — произнес он. — Они должны были перевернуть все в темноте и вытоптать весь сад.

— Кто?

— Да эти дуры! — Жакаль разумел содержательницу пансиона, ее помощниц и учениц.

— Нет, — сказал Сальватор, — с этой стороны опасности нет.

— Как так?

— Жюстен поехал на лошади этого господина, — Сальватор указал на Жана Робера, — и станет стражем у ворот.

— Ну, ладно. Теперь, если только откроют женщину, все пойдет хорошо.

— Но, — осмелился было возразить Сальватор, — я не знаю возле нее ни одной женщины, которой следовало бы опасаться.

— Следует всегда остерегаться женщины.

— Не имеете ли вы какого-либо предложения, господин Жакаль?

— Вы говорите, что молодой человек похитил вашу Мину?

— Мою Мину? — переспросил Сальватор, улыбаясь.

— Ну, Мину школьного учителя, Мину, как объект поиска, наконец!

— Да, Броканта, которая была очевидцем похищения около четырех часов утра, как я рассказал вам, видела молодого человека; она даже утверждает, что он был брюнет.

— Ночью все кошки черны!

И Жакаль, произнеся эту поговорку, покачал головою.

— Вы сомневаетесь в чем-нибудь? — спросил Сальватор.

— А вот в чем... Мне кажется неестественным, чтобы молодой человек похитил девушку: это вовсе не в наших правилах, более того, разве возможно, чтобы молодой человек, принадлежащий к знатной фамилии при дворе, не страшился бы в девятнадцатом веке отважиться подражать Лозану и Ришелье...

— Однако это так.

— В таком случае опять-таки будем искать женщину! Женщина неизбежно должна играть какую-либо роль в этой таинственной драме. Вы говорите, что не видите ни одной женщины возле нее, а я только и вижу, что женщин: содержательница пансиона, помощницы ее, подружки, горничные... А! Вы еще не знаете, что такое пансион. Как вы наивны!

Жакаль вынул вторую щепотку табаку.

— Все эти пансионы, видите ли, господин Сальватор,— продолжал он,— это те же пылающие костры, в которых живут и бьются молодые пятнадцатилетние девушки, подобно тем саламандрам, о которых повествуют древние натуралисты. Что касается меня, я знаю хорошо только то, что если бы я имел дочь-невесту, я скорее запер бы ее у себя в подвале, чем поместил бы ее в пансион... Вы не имеете понятия о тех жалобах, которые получают в «Конторе нравов» на пансионы. Я не хочу сказать, что начальницы пансионеров в чем-либо виноваты, нет; но то, что девочки влюбляются, это старая басня Евы. Начальницы, помощницы их, сторожихи, напротив, постоянно бодрствуют, как собаки вокруг фермы или телохранители вокруг царя. Но как вы воспрепятствуете волку войти в овчарню, когда овца сама открывает дверь волку?

— Это не имеет места в данном случае, Мина обожала Жюстена.

— Ну, так это дело подруги. Вот почему я сказал и повторяю: «Будем искать женщину!»

— Я начинаю склоняться к вашему убеждению, господин Жакаль,— начал Сальватор, наморщив лоб, как бы сию секунду сосредоточиться на каком-то неясном и подозрительном пункте.

— Я, конечно,— продолжал полицейский,— не сомневаюсь в целомудренности вашей Мины... Говоря «ваша Мина», я хочу сказать: Мина вашего школьного учителя... Я верю, что она, поступая в пансион, не внесла с собою никакого преступного начала, могущего испортить ее окружение. Тщательно воспитанная, она могла

иметь в себе лишь сокровища доброты и искренности, которые она восприняла под опекой приютившей ее семьи. Но в пансионе на чистый благоухающий цветок столько дурных растений распространяют свои вредные испарения, что часто и без ведома цветка заражают его, делают беззаботным и легкомысленным. Никогда не надо ничего забывать, господин Сальватор, запомните это хорошенько. Ребенок лет десяти, однажды видевший невинные феерии в комическом театре Амбигю, если он мальчик, попросит в пятнадцать лет копье всадника для того, чтобы заколоть гигантов, стерегущих или преследующих принцессу его сердца. Если же это девочка, то она вообразит себя непременно этой принцессой, преследуемой своими родными, и употребит все силы, которые ей откроют чародей или фея, для того только, чтобы воссоединиться со своим обожателем, с которым их разъединили. Наши театры, наши музеи, наши стены, наши магазины, наши прогулки,— все это способствует возбуждению в сердце ребенка тысячи курьезов, которые, за неимением отца с матерью, объяснит ему всякий прохожий, всякая нянька. Все способно возбудить и поддерживать в ребенке эту страсть сознания, которая составляет зло детства: и мать, которая затрудняется объяснить дочке, зачем при входе в церковь красивый молодой человек предлагал святой воды молодой девушке; зачем в летний день парочка влюбленных целовалась в поле; зачем женятся, зачем ходить к обедне, когда другие не ходят; наконец, мать, которая не может открыть своей дочери ни одной из тайн, которые та видит мельком,— отсылает, испуганная ее любознательностью, в пансион, где она научается от старших сестер своих этим секретам, разрушающим и здоровье, и добродетель, и в свою очередь, передает позже своим младшим сестрам. Вот, мой дорогой Сальватор, вот каким образом молодая девушка, происходящая из самой честной семьи, вступает в пансион, неся в себе ядовитое семя, которое позднее заражает все поле!... Так и доходит до того, что неразумная молодежь, не имея возможности удовлетворить своей, в большинстве ложной, фантазии, решается Бог знает на что!...

Молодой человек влюбляется в девушку, которая его и не успела полюбить еще; он не выжидает того, чтобы она его полюбила, и убивает себя! Молодая девушка любит молодого человека, который разлюбил ее и на которого она рассчитывала, что он в качестве ее мужа помо-

жет скрыть ей проступок ее любви к нему, тоже прибегает к самоубийству. Двое молодых людей любят друг друга, но родители отказываются повенчать их, и опять готово двойное самоубийство... Вот и сегодня я еду констатировать в Нижнем Медоне самоубийство мадемуазель Кармелиты и г-на Коломбо. Ну и что же...

Молодые люди вздрогнули.

— Извините,— сказали они одновременно, перебивая Жакаля.

— Что такое?

— Мадемуазель Кармелита, не ученица ли из Сен-Дени? — спросил Сальватор.

— Точно.

— А Коломбо, не бретонский ли дворянин? — спросил Жан Робер.

— Совершенно верно.

— Теперь,— пробормотал Сальватор,— я понимаю то письмо, что сегодня получила Фражола.

— О! Бедный юноша,— произнес Жан Робер,— я слышал его имя от Людовика.

— Но молодая девушка была чистейший ангел! — сказал Сальватор.

— А молодой человек — просто святой! — прибавил Жан Робер.

— Без сомнения! — саркастически произнес старый вольтерьянец.— Вот потому-то они и попали на небо: они считали себя на земле не на своем месте, бедные дети!

— Причины этих смертей составляют секрет или вы можете нам сказать их? — спросил Жан.

— Рассказать вам катастрофу во всей ее подробности? Эх, Бог мой, да нам стоит только переменить имена, чтобы воспользоваться этой катастрофой для поэмы или романа: материала хватит, я за это отвечаю.

И пока они катили по набережной до Севрского моста, Жакаль передал молодым людям, внимательно его слушавшим, рассказ, который, хоть и кажется с первого взгляда не идущим к тому, о чем мы повествуем, но кончится тем, что рано или поздно между ними обнаружится должная связь.

А потому пусть наши читатели вооружаются терпением, мы находимся лишь в прологе книги, которую пишем, и вынуждены потому, прежде всего, вывести на сцену всех наших действующих лиц.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

БЛИЖНИЙ СОСЕД ЛУЧШЕ ДАЛЬНЕЙ РОДНИ

Двенадцатый округ представлял в 1827 году, как и ныне, самую бедную часть французской столицы, что явствует даже и из ежегодно публикуемых официальных статистических сведений.

Если к этому прибавить, что в этом округе живут по большей части только тряпичники, угольщики, мелкие разносчики, метельщики, поденщики всех сортов и извозчики, то окажется, что и в имущественном отношении он не представлял ничего утешительного.

Но так как большая часть событий, о которых нам предстоит рассказать, происходила именно в этом районе, то нам необходимо несколько ознакомиться и с тем внешним видом, который он имел в пору нашего рассказа.

Самую живописную часть его составлял квартал Святого Якова, между улицами Валь-де-Грас и Ла-Бурб, называемой нынче улицей Порт-Рояль.

И действительно, если приходилось тогда идти по улице Св. Якова от улицы Валь-де-Грас, то все старые, безобразные и скверно построенные дома оказывались окруженными прекрасными садами, какие ныне встречаются только вокруг нескольких богатейших отелей Парижа.

Дом под № 350 на улице Сен-Жак представлял собой мир, наверно, совершенно незнакомый большинству порядочных людей общества. Обыкновенно каждый из нас, отправляясь в такие места, ожидает, что его охватит нестерпимое зловоние, неизбежно присущее всем притонам нищеты; но здесь, напротив, поражал прелестный аромат роз и жасмина в цвету, а из окон виднелся клочок истинного рая земного.

Фасад дома, в котором обитали герои ужасной истории, рассказанной Жакалем, был того темного цвета, в который время и непогода окрашивают все стены старого Парижа.

Вход в этот дом составляла узенькая дверь, ведущая в коридор, в котором было совершенно темно даже в ясный летний день.

Тому, кто входил сюда в первый раз, невольно приходило в голову, что он попал или в мастерскую тряпичников, или в притон фальшивомонетчиков; но стоило только спуститься с последней ступеньки, как вы оказывались не иначе как в эдеме.

Выход из коридора вел во двор, за которым виднелся сад. Посреди него стоял совершенно белый домик с зелеными ставнями. Фундамент его опирался на ярко-зеленый дерн, а по стенам вились всевозможные ползучие растения.

Это был трехэтажный дом, и все его окна выходили в сад. Все три этажа разделялись на шесть отдельных и совершенно одинаковых квартир, из трех комнат и кухни.

Четыре из них в нижнем и среднем этажах были заняты семьями ремесленников. Все это были люди тихие, воздержанные и домоседы. По воскресеньям они не ходили с товарищами по кабакам, а занимались возделыванием участков сада, принадлежавших им.

В верхнем этаже по той же лестнице жили друг против друга два главных действующих лица этого рассказа. Тот, который жил в маленькой квартире налево, был молодым человеком лет двадцати двух, с красивым открытым лицом, светлыми глазами и белокурыми волосами, падавшими на его сильные плечи. Ростом он был скорее мал, чем велик; по ширине плеч его в нем угадывалась необыкновенная физическая сила. Родился он в Кэмпере, но стоило только посмотреть на него самого, не заглядывая в его метрическое свидетельство, чтобы понять, что он бретонец, так энергично и открыто было выражение этого галльского лица.

Отец его, старый разорившийся дворянин, живший в башне, составлявшей единственную уцелевшую часть разрушенного во время Вандейской войны замка, отпустил сына в Париж для окончания юридического образования. Выйдя из колледжа в 1823 году, молодой Колombo де Пеноель тотчас же поселился в этой маленькой квартире на улице Св.Якова и жил в ней уже целых три года.

Отец обеспечивал ему скромное содержание в тысячу двести франков в год, деля с ним пополам все, что получал от уцелевшей доли своих наследственных владений.

Квартира обходилась Коломбо всего в двести франков в год, а остававшаяся тысяча составляла для скромного воздержанного молодого человека целое богатство.

Стоял январь 1823 года. Коломбо поступил на третий курс.

На церкви Св.Жака пробило десять часов вечера.

Молодой человек сидел у камина, сосредоточенно изучая кодекс Юстиниана, как вдруг где-то невдалеке раздались душераздирающие крики и стоны.

Он вскочил, отпер дверь на лестницу и увидел у противоположной двери молодую девушку. Волосы у нее были растрепаны, лицо мертвенно бледно. Она рыдала, ломая руки, и звала на помощь.

В квартире, бывшей напротив той, которую занимал Коломбо, жили мать с дочерью. Мать была вдовой капитана, убитого при Шам-Обере во время кампании 1814 года, и существовала на пенсию в тысячу двести франков да еще с помощью кое-какой работы, которую ей доставляли знакомые белошвейки квартала.

Сначала она поселилась одна, но месяцев шесть спустя, поднимаясь домой по лестнице, Коломбо встретил какую-то высокую и чрезвычайно красивую девушку, которой до сих пор никогда еще не видал.

По натуре он был не особенно общителен, а потому только после двух или трех таких встреч решился распросить одного из соседей и узнал, что девушку зовут Кармелитой, что она дочь его соседки по лестничной площадке и, как дочь офицера и кавалера Почетного легиона, получила образование в институте Сен-Дени, а теперь после окончания курса поселилась у матери.

Первая встреча молодого человека с Кармелитой случилась во время каникул в сентябре 1822 года. Недели через две Коломбо уехал на два месяца к отцу и, возвратясь оттуда в январе 1823, встречался с нею только изредка. При встречах они обменивались вежливыми поклонами, но никогда не разговаривали.

Девушка была для этого слишком застенчива, Коломбо — слишком почтителен.

Но однажды Коломбо встал несколько раньше обыкновенного и, когда возвращался домой со своим ежедневным завтраком, то встретил на лестнице Кармелиту,

которая в этот день наоборот, несколько, запоздала.

Коломбо, по обыкновению, поклонился ей не по-студенчески, а как истинный джентльмен. Но она вместо того, чтобы с молчаливым видом пройти мимо, вспыхнула и сказала ему:

— У меня есть к вам просьба. Моя мать и я очень любим музыку, и каждый вечер с удовольствием слушаем, как вы играете и поете. Но вот уже несколько дней, как мама заболела, и хотя она никогда не жаловалась, но побывавший вчера у нас доктор, услышав музыку, сказал, что она слишком утомляет больную.

— Извините меня! — вскричал молодой человек, в свою очередь краснея до корней волос. — Но я совершенно не знал, что ваша матушка заболела! Верьте, что я никогда не прощу себе, что потревожил ее своей забавой.

— Напротив, это я должна просить у вас извинения, что из-за нас вы должны лишаться удовольствия, и очень благодарна вам за то, что вы на это согласны.

Они раскланялись, а Коломбо, взбежав к себе, запер свой инструмент, чтобы не раскрывать его до тех пор, пока мадам Жерье не выздоровеет окончательно.

С этих пор он встречал Кармелиту гораздо чаще. Болезнь ее матери усилилась, и она беспрестанно бегала от доктора в аптеку. Даже ночью Коломбо несколько раз слышал, как она спускалась по лестнице. Ему очень хотелось предложить ей свои услуги, и он сделал бы это от чистого сердца и без всякой задней мысли, но Коломбо был чрезвычайно застенчив, он решительно не знал, как начать, как высказать свое предложение, и бросился к ней на помощь только тогда, когда девушка сама стала звать его громкими криками.

Но, к сожалению, было слишком поздно. Крики девушки были вызваны не необходимостью в чем-нибудь содействии, а ужасом.

У мадам Жерье был аневризм в последней степени развития, однако, доктор не предупредил об этом Кармелиту, не желая огорчать ее заранее. Бедную больную терзало удушье. Чтобы несколько освежиться, она попросила воды. Дочь хотела приготовить ей питье и пошла в другую комнату, но вдруг услышала не то зов, не то стон. Бросившись назад к матери, она увидела, что та лежит, закинув назад голову. Она подсунула ей руку под спину и приподняла ее. Глаза больной как-то страшно уставились на дочь. У Кармелиты от ужаса

удвоились силы. Продолжая поддерживать туловище матери, она поднесла ей к губам стакан. Но в тот момент, когда стекло прикоснулось к ее губам, мадам Жерье тяжело, мучительно вздохнула, тело ее мгновенно потяжелело, несмотря на усилия Кармелиты, грузно осело обратно на подушки.

Девушка еще раз собралась с силами и снова подняла ее, и опять поднесла ей стакан.

— Пей же, пей, мамочка! — лепетала она.

Но губы больной были крепко сжаты, и она не отвечала. Кармелита несколько наклонила стакан. Вода полилась по обеим сторонам губ, но в рот не проникла.

Глаза больной были неестественно широко раскрыты и как бы не могли оторваться от дочери.

На лбу девушки выступил холодный пот.

Однако в этих широко раскрытых глазах ей виделся как бы луч надежды.

— Пей же, пей, мама! — твердила она.

Больная молчала по-прежнему.

Вдруг Кармелите показалось, что шея, которую она держала, охватив рукою, стала быстро холодеть. Она с ужасом опустила мать обратно на подушки, поставила стакан на стол, бросилась на ее тело, обвивая его руками и глядя на него почти такими же, как и у покойницы, глазами, стала, как безумная, целовать ее лицо и руки. В первый раз в жизни сердце несчастной девушки сжалось болезненным предчувствием того, что она может лишиться единственного существа на всем свете, которое любило ее. Но ведь всего за минуту перед тем мать говорила с нею, и она никак не могла поверить, чтобы ужасный переход от жизни к смерти совершился так просто, без малейшего потрясения, судорог, стонов, криков и шума. Она поцеловала мать в лоб, но ее лихорадочно горевшие губы прикоснулись к мертвенно холодной коже.

Она отпрянула испуганная, но все еще не убежденная в своей догадке.

Голова умершей тяжело скатилась на подушки, так что тусклые глаза продолжали смотреть на дочь с последним проблеском материнской нежности. Но глаза эти вместо того, чтобы успокоить девушку, еще больше пугали ее.

Постепенно ужас ее возрос до крайних пределов. Она пыталась смотреть то направо, то налево; но

взгляд все-таки невольно возвращался к этим страшным глазам, и она вдруг испуганно закричала:

— Мама! Мама! Да скажи же хоть слово! Ответь же мне! А не то я подумаю, что ты умерла!

Она снова нагнулась к матери, но, видя неподвижность трупa, и сама остановилась, как окаменелая. Она продолжала звать ее криком, но дотронуться до нее уже не осмеливалась. Наконец, убедившись, что ответа не будет и не смея дольше оставаться в комнате под взглядом страшных мертвых глаз, боясь всего, но еще ничему не веря, она бросилась к выходной двери, отперла ее и громко вскрикнула:

— Помогите!

На этот крик из своей квартиры выбежал Коломбо.

— О, послушайте! — вскричала она. — Мама смотрит на меня, но не отвечает.

— У нее, вероятно, обморок! — успокоил ее Коломбо, которому тоже не пришла в голову мысль о смерти.

Он вбежал в спальню.

Увидев уже коченеющий труп, он с ужасом остановился. Рука, которую он схватил, чтобы пощупать пульс, была холодна, как ледяная.

Ему вспомнилось, что когда ему было пятнадцать лет, он видел, как лежала на своей парадной кровати его мать, и что тогда он заметил у нее те же оттенки на лице, которые видел теперь.

— Ну?.. Ну, что же? — спрашивала Кармелита, рыдая.

Коломбо успел овладеть собой и продолжал делать вид, будто думает, что у больной обморок, чтобы дать девушке время подготовиться к ужасной истине.

— Да, вашей матушке очень нехорошо! — сказал он.

— Но отчего же она не говорит ничего?

— Подойдите к ней, — предложил Коломбо.

— Не могу... Не смею! Зачем она смотрит на меня так страшно? Чего она хочет?

— Она хочет, чтобы вы закрыли ей глаза и чтобы мы с вами вместе помолились за упокой ее души.

— Но ведь она не умерла, не правда ли? — вскричала девушка.

— Встаньте на колени, мадемуазель Кармелита, — сказал Коломбо, ободряя ее собственным примером.

— Что вы хотите этим сказать?

— То, что Бог, дарующий нам жизнь, всегда вправе и взять ее у нас.

— А! Понимаю! — вскричала несчастная, как бы пораженная громом.— Мама умерла!

Она отшатнулась назад, точно и сама умирала.

Коломбо подхватил ее и отнес на кровать, стоявшую в алькове соседней комнаты.

На крик Кармелиты прибежали с нижнего этажа жена одного из ремесленников и бывшая у нее в гостях ее подруга.

Войдя в открытую дверь квартиры мадам Жерье, они застали Коломбо в хлопотах возле потерявшей сознание девушки. Но так как все старания его оставались безуспешными, одна из них взяла графин, стоявший на туалетном столике, и облила лицо несчастной сироты водою.

Кармелита задрожала всем телом и очнулась. Женщины хотели было раздеть ее и уложить в постель.

Но она, хотя и с усилием, поднялась на ноги и, обращаясь к Коломбо, проговорила:

— Вы сказали, что мама просит, чтобы я закрыла ей глаза... Отведите меня к ней... отведите... прошу вас!.. А не то ведь она станет вечно смотреть на меня так страшно! — прибавила она с ужасом.

— Пойдемте,— ответил Коломбо, которому показалось, что она начинает бредить.

Опираясь на его руку, она вошла в комнату матери и тихо приблизилась к кровати. Глаза умершей уже потускнели, но все еще смотрели тем же упорным, неподвижным взором. Кармелита осторожно и почтительно опустила ей веки.

Но, очевидно, это стоило ей страшного усилия над собою, потому что она тотчас же снова потеряла сознание и упала на труп матери.

II

ФРА ДОМИНИКО САРРАНТИ

Коломбо опять взял Кармелиту на руки и, как ребенка, отнес ее в соседнюю комнату, где были две женщины. Теперь можно было раздеть и уложить ее.

Коломбо ушел к себе, но попросил жену ремесленника зайти к нему, как только она уложит Кармелиту.

Минут десять спустя она была уже у него в квартире.

— Ну что, как? — спросил он.

— Да хорошего мало,— ответила женщина.— Очнуть-

ся-то она очнулась, а только все держится за голову да болтает какие-то несуразности.

— Есть у ней родственники?

— Мы их никого не знаем.

— Ну, может быть, у них есть друзья по соседству.

— Друзей-то уж наверно нет! Они ведь бедные были да такие тихие, что и знакомых-то у них не было.

— Что ж тогда делать-то? Ведь нельзя оставить ее в одном месте с покойницей. Надо ее перенести куда-нибудь.

— Я взяла бы ее к себе, да у нас всего одна кровать... Ну, да все равно,— продолжала добрая женщина, как бы говоря уже сама с собою.— Пошлю мужа в чулан, а сама посижу и на стуле.

Такая готовность помочь даже и совершенно незнакомому человеку особенно свойственна женщинам-простолюдинкам. Они готовы уступить и свою постель, и свой стол с такой простотой и любезностью, с какой приказчик в лавке подает вам стакан воды. Простая женщина бросается на помощь больному, огорченному или умирающему с таким целостным великодушием, которое в глазах как моралиста, так и философа составляет одну из прекраснейших черт ее характера.

— Нет,— сказал Коломбо,— сделаем лучше вот как: перетащим кровать девушки в мою квартиру, а мою — к ним. Вы сходите за священником для умершей, а я пойду за доктором для больной.

Женщину, видимо, что-то смутило.

— Что это вы? — спросил Коломбо.

— Уж лучше за доктором пойду я, а за священником — вы,— предложила она.

— Это почему же?

— Да потому, что покойница-то скончалась неожиданно.

— Да, ваша правда,— никто этого не ждал.

— Ну, вот видите, значит, умерла она...

— Я вас не понимаю...

— Значит, умерла, не исповедавшись.

— Да ведь вы же сами говорите, что она и добрая, и честная, чуть не святая была.

— Это все равно, да только патер... Не станет он наших речей слушать,— не пойдет!

— Как?! Священник не пойдет читать молитвы над умершей?

— Известное дело — не пойдет! За то, что она умерла без причастия.

— Хорошо! Так ступайте за доктором, а я пойду за священником.

— Доктор-то есть недалеко,— напротив.

— А не знаете ли вы человека, который отнес бы от меня письмо на улицу По-де-Фер.

— Да вы напишите письмо, а я уж найду, с кем отправить.

Коломбо сел к столу и написал:

«Дорогой друг, поспешите ко мне. В Вас нуждаются два существа — одно живое, другое мертвое».

Свернув письмо, он надписал и адрес:

«Брату Доминику Сарранти.

Улица По-де-Фер, № 11».

подавая письмо женщине, он сказал:

— отошлите это, и священник явится.

Она спешно пошла вниз.

Оставшись один, Коломбо несколько прибрал комнату и перетащил свою кровать к соседям, а кровать Кармелиты — к себе.

Женщина, бывшая в гостях у жены ремесленника, обещала посидеть с больной до возвращения своей подруги, а если окажется нужным, то и до утра.

Бред усиливался с каждой минутой.

Женщина уселась возле кровати, а Коломбо сбегал в лавку, купил восковую свечку и поставил ее в головах умершей.

Пока он ходил, вернулась соседка с нижнего этажа с доктором и, предоставив больную ему и своей подруге, сама отдала последний долг умершей — скрестила ей на груди руки и положила на грудь распятие.

Коломбо зажег свечку, стал на колени и начал читать заупокойные молитвы.

Обеим женщинам необходимо было оставаться при больной. Доктор объявил, что у нее воспаление мозга, сделал все нужные предписания и прибавил, чтобы их исполняли как можно строже, потому что воспаление может осложниться.

Что касается матери, то она скончалась от разрыва сердца.

Многие из современных умников расхохотались бы, если бы увидели, как молодой человек, стоя на коленях, читает заупокойные молитвы по молитвеннику, украшенному его гербами, над телом совершенно незнакомой ему женщины.

Но Коломбо принадлежал к числу старинных бретон-

цев, всегда высоко державших знамя религии. Предки его продали свои владения, чтобы последовать за Готье Бессеребряным в Иерусалим, приводя при этом одну причину: «Так хочет Бог».

Юноша молился горячо и искренно, силясь отогнать от себя все земные помыслы, но вдруг услышал позади себя скрип отворявшейся двери.

Он оглянулся.

То был брат Доминик в своем живописном белом с черным костюме.

За исключением товарищей по колледжу, которых принято называть друзьями, этот молодой монах был единственным другом Коломбо в Париже.

Однажды, проходя мимо церкви Св. Жака, молодой студент заметил, что туда стеклось чуть ли не все население предместья. Когда он спросил, в чем дело, ему ответили, что какой-то монах в белом одеянии говорит проповедь.

Он вошел.

На кафедре действительно стоял молодой, но изможденный страданием или постом монах.

Говорил он на тему покорности.

Он делил ее на две весьма различные между собой части.

В случаях несчастий, посланных самим Богом, как например, смерть, стихийные бедствия, неизлечимые болезни, — он советовал:

«Покоряйтесь, братья! Преклоняйтесь под рукою Карающего и молитесь ему с кротостью. Покорность — одна из величайших добродетелей».

Но в несчастиях, происходящих от злобы или заблуждений человеческих, он этой покорности не допускал.

— Боритесь с ними, братья! — говорил он. — Действуйте против них всеми силами, данными вам Господом. Укрепляйтесь верой в Бога, ваше право на вечную жизнь и в самих себе. Начинайте борьбу и бейтесь до последней капли крови. Покорность злобе есть трусость!..»

Коломбо дождался конца проповеди и при выходе из церкви пошел пожать руку монаха не как священной особе, но как простому человеку, который умел ценить три добродетели, составлявшие первооснову его собственного характера: простоту, кротость и силу.

Чтобы понять личность этого молодого монаха, необходимо взглянуть и на его прошедшее.

Звали его Домиником Сарранти, и во всем существе

его было много общего с мрачным святым, которого случай сделал его покровителем.

Родился он в маленьком городке Вик Дено, лежащем в шести лье от Фуа и в нескольких шагах от испанской границы.

Отец его был корсиканец, мать — каталонка, и он был похож на обоих сразу. В нем были и злопамятство корсиканца, и поразительная выносливость каталонки. Увидев его с величавыми жестами, мрачной речью на кафедре, многие принимали его за испанского монаха, попавшего во Францию по делам миссии.

Отец его родился в Аяччо, в один год с Наполеоном I, связал свою участь с судьбою своего гениального земляка и вместе с ним переносил и все ее превратности, — был с ним и на Эльбе, и на острове Св. Елены.

В 1816 году он возвратился во Францию. Когда его спрашивали, почему он покинул прославленного пленника, он отвечал, что не выносит слишком жаркого климата.

Люди, хорошо его знавшие, не верили ему: они знали, что Сарранти принадлежит к числу тех тайных эмиссаров, которых император рассылает по всей Франции, чтобы подготовить свое возвращение со Святой Елены, как подготовлено было возвращение с Эльбы, или, по крайней мере, если это окажется невозможным, то хотя бы отстаивать интересы его сына.

Он поступил воспитателем к двум детям, в дом очень богатого человека по фамилии Жерар. Дети эти были Жерару не родными, а приходились племянниками.

Но в 1820 году, как раз в пору заговора Нанте и Берара, Гаэтано Сарранти вдруг исчез. Говорили, что он направился в Индию, к одному бывшему наполеоновскому генералу, поступившему на службу к принцу Лахорскому.

Мы уже упоминали об этом бегстве Гаэтано Сарранти, говоря об исчезновении колесного мастера с улицы Св. Якова, вследствие которого маленькая Мина должна была остаться в семье Жюстена.

По этому же поводу упоминали мы и о сыне Сарранти, получившем образование в семинарии Сен-Сюнлис.

Этот сын и стал впоследствии братом Домиником, которого за его испанский тип обыкновенно называли Фра Доминико.

Молодой человек уже давно посвятил себя духовному званию. Мать его умерла, отец уехал на остров Св. Еле-

ны, и он был вправе располагать собою по своему усмотрению.

Возвратясь в 1816 году во Францию, Гаэтано с горестью и удивлением узнал о таком, по его мнению, странном призвании сына и употребил все усилия, чтобы отвратить его от него. Он привез с собою сумму, вполне достаточную для того, чтобы создать молодому человеку независимость в обществе, но сын не хотел об этом и слышать.

В 1820 году, когда Гаэтано Сарранти исчез снова, сына его, бывшего еще учащимся пансиона Сен-Сюлис, несколько раз вызывали в полицию.

Однажды товарищи заметили, что он возвратился гораздо мрачнее и бледнее обыкновенного. На отца его пало обвинение гораздо более позорное, чем участие в заговоре и посягательство на безопасность государства. Его обвиняли не только в действиях, нарушающих общественное спокойствие и в похищении у Жерара суммы в триста тысяч франков, но еще в исчезновении и, как впоследствии говорили, даже в убийстве двоих его племянников.

Правда, следствие по этому делу было скоро прекращено: но, тем не менее, над беглецом продолжало тяготеть то же подозрение.

Все это делало Доминика мрачнее и мрачнее как человека и все строже и строже как священника.

Когда настала пора его пострижения, он объявил, что хочет вступить в один из самых строгих орденов и принял монашество в ордене Св. Доминика, носившем во Франции официальное название ордена Якобинцев, так как первый монастырь этого ордена был построен в Париже, на улице Св. Якова.

После пострижения, на второй день своего совершеннолетия, он получил сан священника.

Таким образом, к тому времени, к которому относится начало нашего романа, брат Доминик священнослужителем уже два года.

Это был человек лет двадцати восьми, с большими черными, живыми и пронизательными глазами, умным лбом и бледным мрачным лицом. При высоком росте он обладал плавностью и сдержанностью движений и величавой походкой. Глядя на него, когда он шел теневой стороной улицы, несколько печально опустив голову, можно было подумать, что это один из красавцев-монахов Сурбарана сошел с полотна и идет мерным величавым шагом, готовый снова броситься в бурные волны мирской житейского.

В неукротимой энергии и непреклонной воле, отличавших этого человека, сказывалась скорее непоколебимая верность однажды выбранному принципу, чем борьба властолюбивых страстей.

Разум у этого человека был ясный и трезвый, отношение к вещам и людям — прямодушное, сердце — доброе и отзывчивое.

Единственным непростительным грехом он считал равнодушие к интересам человечества, потому что, по его мнению, любовь к человечеству лежала в основе благоденствия общества. Когда он говорил о чудной гармонии, основанной на братстве, которая со временем, хотя и в весьма отдаленном будущем, должна воцариться между народами, подобно гармонии, существующей между звездами и планетами во Вселенной, им овладевало пламенное вдохновение.

О свободе народов он говорил с блистательным красноречием, которое увлекало слушателей неотразимым обаянием, — слова его сопровождалась невольными возгласами глубоко убежденной души; они вдыхали в человека силу, зажигали в нем огонь энергии; каждый из слушателей был готов взять его за полу монашеской одежды и воскликнуть:

— Иди вперед, пророк! Я всюду последую за тобою!

Но было нечто, постоянно угнетавшее эту сильную душу, и то было обвинение в воровстве, падавшее на его отца.

III

СИМФОНИЯ РОЗ И ВЕСНЫ

Таков был молодой монах, появившийся на пороге комнаты умершей вдовы, возле которой усердно молился студент.

При виде этого странного зрелища он остановился.

— Друг, — проговорил он своим звучным голосом, которому умел при случае придавать какой-то удивительно мягкий и утешительный оттенок, — надеюсь, успошая не мать и не сестра вам?

— Нет, — ответил Коломбо, — сестер у меня никогда не было, а мать умерла, когда мне было всего пятнадцать лет.

— Бог сохранил вас для опоры в старости вашего отца, Коломбо.

Монах подошел ближе и хотел опуститься на колени.

— Пойдите, Доминик, — проговорил Коломбо, — я послал за вами, потому что...

— Потому что я был вам нужен, а я поэтому уже и пришел. Я к вашим услугам.

— Я послал за вами, друг, потому что женщина, труп которой вы видите, умерла от разрыва сердца. Жизнь она вела честную, соседи считали ее святой, но исповедаться и причаститься перед смертью она не успела.

— Судить о том, в каком настроении душевном она скончалась, может один только Бог, — возразил монах. — Будем молиться за нее!

Он подошел к Коломбо и встал рядом с ним на колени.

Коломбо, однако, пробыл с ним недолго. Возле больной была сиделка, возле умершей — священник, но ему самому предстояло позаботиться еще о многом.

Мимоходом он справился о том, как чувствует себя Кармелита. Оказалось, что доктор прописал ей какую-то микстуру с опиумом, и она уснула.

Коломбо захватил с собою все свои деньги до последнего сантима и устроил все дела с гробовщиками, с духовенством и кладбищенскими старостами.

Он вернулся домой только в семь часов вечера.

Доминик задумчиво сидел у изголовья умершей.

Ревностный служитель Божий ни на минуту не отходил от нее.

Коломбо уговорил его сходить пообедать. Казалось, что этот странный человек вовсе не подчинен потребностям, от которых так зависят другие люди. Он внял настоятельной просьбе Коломбо, но минут через десять возвратился и снова занял свое место.

Между тем Кармелита проснулась в усилившемся бреду. Но нет худа без добра — в бессознательном состоянии она не могла понять того, что предстояло.

Страдания физические переживаются гораздо легче страданий душевных.

Соседи приняли горячее участие в похоронах доброй вдовы. Гробовщик принес гроб и вместо того, чтобы заколотить его гвоздями, привернул крышку винтами, чтобы Кармелита даже в бреду не слышала зловещего стука.

Так как покойница скончалась скоропостижно, тело ее можно было отнести в церковь Св. Жака только на третий день после смерти.

Заупокойную обедню служил в малом притворе брат Доминик.

После этого тело отвезли на Западное кладбище.

За гробом шли Коломбо и двое ремесленников, которые решились пожертвовать своим дневным заработком, чтобы исполнить долг христианского человеколюбия.

Болезнь Кармелиты шла своим порядком. Доктор оказался знатоком своего дела и вел его чрезвычайно искусно. Через восемь дней больная пришла в себя, через десять была уже вне всякой опасности, а через пятнадцать встала с постели.

Узнав о смерти матери, она горько заплакала, и это спасло ее.

Сначала она была так слаба, что с трудом могла произнести слово.

Когда она в первый раз открыла глаза, то увидела возле своей постели благородное лицо Коломбо. Он же был и последним человеком, которого она видела перед потерей сознания. Она слабо кивнула головой в знак благодарности, приподняла свою исхудалую руку и протянула ее молодому человеку, а тот, вместо того, чтобы пожать ее, поцеловал с таким почтением, будто в его глазах страдание уравнивало бедную девушку с величественной королевой.

Выздоровление Кармелиты длилось целый месяц, и только в начале марта она была в силах перебраться в свою квартиру, так что и Коломбо вернулся к себе.

С этого дня близость, установившаяся между молодыми людьми, оборвалась. В памяти Коломбо сохранился образ красоты этой девушки. В сердце Кармелиты запало чувство беспредельной благодарности к своему молодому спасителю.

Но видеться они стали редко,— только как соседи по квартирам. При встречах они обменивались несколькими словами и снова расходились, никогда не заглядывая один к другому.

Наступил май. Садик, относившийся к квартире Коломбо, отделялся от садика Кармелиты только низеньким забором.

Таким образом, они бывали как бы в одном общем саду, и осыпавшиеся цветы в саду одного засыпали своими лепестками сад другого.

В один вечер Коломбо по просьбе Кармелиты раскрыл свой давно покинутый рояль, и в надвигающихся сумерках полились сладкие, ласкающие звуки. Они вырывались из окна, дрожали в пахучей зелени сада и вместе с ее ароматом влетали в окна Кармелиты.

Но на всем этом лежало чувство невыразимой грусти. Кармелита была в таком настроении, когда измученное тоскою сердце как-то бессознательно просит сочувствия и ласки.

Ее внешность была способна расположить к ней каждого, а в молодом сердце юноши заронить и пылкую любовь.

Она была высока, стройна и гибка, а прекрасные темно-каштановые волосы ее были так густы, что казались даже жесткими, хотя на ощупь были мягче шелка.

Глаза у нее были точно сапфировые, губы пунцовые, зубы белые до синевы перламутрового отлива.

В один майский вечер Кармелита сидела у окна, глядя в сад и вдыхая душистый свежий воздух. Ее опяняли и этот вид, и аромат.

Весь день было удушливо жарко; часа два или три шел дождь, а часов в семь, открывая окно, Кармелита была поражена тем, что те самые розы, которые она видела утром в бутонах, теперь совершенно распустились.

Сойдя в сад, она застала там и Коломбо и, подойдя к разделявшему их низенькому забору, попросила его объяснить ей это странное явление.

Сама она знала по ботанике очень немного, так как в те времена наука эта считалась для девушки совершенно излишней.

Коломбо, который уже не раз замечал этот пробел в ее познаниях, тотчас же подошел к забору и начал читать ей лекцию по физиологии растений, избегая тех научных и непонятных женщинам выражений, которыми почему-то загроздили науку ученые.

Он говорил очень просто, ясно, увлекательно, переходя от простейшего к более сложному, сопровождая речь свою живыми примерами, начиная со стебелька, едва пробившегося из семени, и кончая одной из распутившихся и удививших ее роз.

Несколько раз он прислушивался к себе и хотел закончить свою лекцию, чтобы не утомить девушку и не надоест ей. Но если бы темнота и густая листва не мешали ему хорошо видеть лицо своей слушательницы, он заметил бы на нем выражение живейшего интереса.

Вдруг по небу пронеслась и упала звезда, и разговор незаметно перешел с земных цветов на небесные светила, на мифологические имена, которыми обозначило их человечество, на Грецию, Египет и Индию, на этих прародителей человеческой культуры.

О людях они не думали и не говорили, и оба ничуть не подозревали, что все эти цветы, волны, облака, звезды и ветры мало-помалу приведут их к той короткости в отношениях, с которой начинается платоническая любовь двух разумных существ.

Между тем увлечение, с которым говорил Коломбо, и то сосредоточенное внимание, с которым его слушала Кармелита, были именно зачатками этой любви.

Ей было семнадцать лет, ему двадцать два. Воздух был очищен грозой, и теперь они дышали живительной влажностью и ароматом, которые неотразимо действуют на каждое человеческое существо.

IV

МОГИЛА ДЕ ЛА ВАЛЬЕР

Итак, в этот вечер, пропитанный ароматом и жизненной силой весны, сердца девушки и юноши бессознательно открылись для любви.

Между тем на церковной башне пробило полночь. Оба, насчитав двенадцать звонких и четких ударов, невольно удивленно и опасливо вскрикнули, обменялись мимолетными прощальными словами и разбежались как люди, сами себя заставшие за невольно совершенным преступлением.

Поднявшись до второго этажа, они остановились у открытого окна, залитого яркими лучами лунного света. Вдали четко рисовалась чья-то могила, обсаженная розами.

— Что это за могила? — спросила Кармелита, облачиваясь на подоконник.

— Там похоронена де ла Вальер, — ответил Коломбо, становясь рядом с нею в тесной амбразуре лестничного окна.

— Каким же образом могила такой женщины очутилась здесь? — с истинно женским любопытством продолжала Кармелита.

— Все пространство, которое вы отсюда видите, — сказал Коломбо, — составляло прежде сад монастыря того ордена, поэтическое имя которого вы теперь носите. Старинные легенды повествуют, что посредине стояла церковь, построенная на развалинах храма Цереры. Кто и когда построил эту церковь, с точностью неизвестно. Есть,

однако, предположение, что она была основана во времена короля Роберта Благочестивого. Достоверно же известно только то, что в десятом веке ее занимали в качестве приоратства монахи-бенедиктинцы из аббатства Мармутье под названием Нотр-Дам-де-Шан, а в 1604 году ее уступили монахиням-кармелиткам ордена Св. Терезы. Екатерина Орлеанская, герцогиня Лонгвильская, бывшая под влиянием нескольких духовных лиц, которые соблазнили ее титулом основательницы, выпросила у короля через Марию Медичи все полномочия на основание этого учреждения. С согласия короля Генриха IV и благословения папы Клементя VIII из Авилы в Париж привезли шесть монахинь, бывших под непосредственным началом Св. Серафимоподобной Терезы. Эти шесть монахинь были первыми представительницами их ордена во Франции. Они поселились в монастыре, которого теперь не существует, молились, пели и умерли в церкви, от которой ныне не осталось ничего, кроме этой могилы.

— Ах, как это интересно! — вскричала Кармелита, не перестававшая удивляться естественнонаучным и историческим чудесам, которые весь вечер открывал ей молодой человек. — А известно, как звали этих монахинь?

— Я это знаю, — с улыбкой ответил бретонец. — Я ведь страстный охотник до легенд. Их звали: Анна де Жезю, Анна де Сен-Бартеlemi. Изабелла де Анже, Беатриса де ла Коспенсион, Изабелла де Сен-Поль и Элеонора де Сен-Бернар. Герцогиня Лонгвильская сама выехала к ним навстречу и пожелала, чтобы их въезд в приоратство сопровождался торжеством.

Очень может быть, что, в сущности, все это вовсе не было так интересно, как воображали Кармелита и Коломбо. Однако они, если и кривили при этом душой, то единственно ради того, чтобы иметь благовидный предлог остаться вместе. В подобных случаях все хорошо и оправданно, и религиозно-легендарный вопрос продолжал обсуждаться с прежним оживлением.

— Ах, как бы мне хотелось увидеть духовное торжество того времени! — вскричала Кармелита.

— Хорошо! — ответил Коломбо. — Оставайтесь на своем теперешнем месте, закройте глаза, слушайте меня и заставьте поработать свое воображение. Представьте себе, что влево от вас стоит темная, массивная громада монастыря с высокими стенами... Прямо, напротив нас, — церковь... Да вот подождите, — оборвал он сам себя и побежал вверх, в свою квартиру.

— Куда это вы? — спросила Кармелита.

— Сейчас принесу книгу,— крикнул он сверху.

Минуты через две он опять был возле нее с большой книгой в руках.

— Ну, теперь опять закройте глаза.

— Хорошо. Закрывает.

— Видите вы монастырь налево?

— Да, вижу.

— Ну, а церковь напротив себя?

— Да, и ее.

Коломбо открыл книгу.

Луна достигла своего зенита и светила так ярко, что молодой человек мог читать свободно, как днем:

«В среду 24-го августа 1605 года, в день святого Варфоломея, в Париже была устроена процессия сестер-кармелиток, которые в этот день вступали во владение своим домом. Народ следовал за ними огромной толпой. Они продвигались вперед в строгом порядке, а во главе их шел доктор Дюваль с жезлом в руке.

Но, по воле несчастья, это прекрасное священное шествие было нарушено звуками двух скрипок, которые начали наигрывать плясовую, что смутило весь народ, а кармелиток заставило быстро удалиться в их церковь, где они, очутившись в безопасности, стали петь *Te Deum laudamus...*»

— Видели вы? — спросил Коломбо.

— Да, но только мне виделось не то, что я хотела видеть,— с улыбкой ответила Кармелита.

— Да ведь и с открытыми глазами часто видишь не то, что хочется,— сказал Коломбо,— а про закрытые и говорить нечего.

— Так вот в этот монастырь и поступила девица де ла Вальер?

— Да, и провела в нем тридцать шесть лет в постоянных религиозных подвигах, и скончалась 6-го июня 1710 года.

— Значит, и прах несчастной герцогини лежит вот в той могиле?

— Нельзя утверждать это наверное: есть риск впасть в заблуждение.

— Так ее выкопали?

— В 1790 году одним из декретов народного собрания монастырь этот был упразднен... Церковь разрушили... Кто знает, что случилось в это время с прахом бедной герцогини, которую Ле-Брен изобразил в виде Магда-

лины. Но так как вы, даже целое столетие спустя после ее смерти, все еще принимаете в ней такое горячее участие, то я скажу вам: есть поверье, что прах ее пощадили, и что он все еще покоится в подземелье под этой часовней.

— А можно войти в это подземелье? — спросила Кармелита с нерешительностью любопытства, которое боится разочарования.

— Да, туда не только что ходят, но там даже и живут.

— Кто это решается на такое святотатство?

— Садовник, который вырастил все эти чудные розы, ароматом которых мы теперь дышим.

— Ах, как бы мне хотелось сходить в эту часовню.

— Это очень легко.

— Да как же это?

— Нужно только спросить позволения у садовника.

— А если он откажет?

— Если он откажет показать вам часовню, вы попросите его, чтобы он показал вам свои розы, а из любви к ним он покажет вам и часовню.

— Значит, все эти розы — его?

— Да.

— Куда же он деваает такую массу цветов?

— Продает,— ответил Коломбо просто.

— О, злой человек! — с каким-то детским негодованием вскричала Кармелита.— Продавать такую прелесть! Я думала, что он выращивает их из религиозного чувства или хоть просто потому, что очень любит их.

— Нет, он ими торгует. Да вот если вы нагнетесь, то увидите на моем окне три куста, которые он мне продал на днях.

Девушка нагнулась, и ее прекрасные волосы коснулись лица Коломбо, отчего тот вздрогнул.

Она тоже почувствовала его дыхание, покраснела и выпрямилась.

— Ах, как мне хотелось бы иметь хоть одну розу с этой могилы,— неосторожно обронила она.

— Позвольте предложить вам одну из моих! — поспешно предложил Коломбо.

— О, нет, благодарю вас! — спохватилась Кармелита.— Мне хотелось бы самой выкопать свою розу из земли, на которой жила сестра Луиза милосердная и в которой, может быть, и теперь еще хранится ее прах.

— Почему бы вам не пойти туда завтра же утром?

— Нет, одной неловко.

— Если позволите, я провожу вас.

Девушка призадумалась.

— Послушайте, мосье Коломбо,— заговорила она с заметным усилением,— я вам очень благодарна и очень вас уважаю, но если бы я вышла с вами под руку днем, все сплетницы нашего квартала пришли бы в ужас и волнение.

— Так пойдемте вечером.

— Да разве вечером можно?

— Почему бы и нет?

— Мне кажется, что садовник должен ложиться в одно время со своими цветами и вставать тоже вместе с ними.

— В котором часу он ложится, я не знаю, но встает он, наверно, раньше своих цветов.

— Почему вы так думаете?

— Иногда, когда мне ночью не спится,— Коломбо произнес эти слова с заметной дрожью в голосе,— я сажусь к окну и вижу, как он бродит по саду с фонарем в руках... Да вот и теперь... разве вы не видите, что между кустами роз быстро мелькает огонек?

— Зачем это он так бегаёт?

— Вероятно, гоняется за какой-нибудь кошкой.

— Да, но если он теперь уже встал, то ему, кажется, еще очень рано, а так как мы еще не ложились, то для нас теперь поздно,— заметила Кармелита, улыбаясь.

— Поздно? — переспросил Коломбо.

— Разумеется! Который может быть теперь час?

— Часа два,— нерешительно произнес юноша.

— Ах, Господи! Я никогда не ложились так поздно! — вскричала девушка.— Два часа! Прощайте, мосье Коломбо. Очень вам благодарна за ваши объяснения, а когда-нибудь вечером, когда все соседи улягутся,— прибавила она тише,— мы пойдем вместе выкапывать розы.

— Лучшей ночи, чем сегодняшняя, нам не дожидаться,— возразил Коломбо, силясь не дрожать всем телом.

— О да, если бы я не боялась, что меня увидят, я пошла бы сейчас же! — откровенно призналась девушка.

— Да кто же может теперь вас увидеть?

— Да прежде всех — консьержка.

— О ней не беспокойтесь. Я могу отпереть дверь и без нее.

— Неужели у вас есть отмычка?

— Нет! Я заказал себе ключ, потому что засиживаюсь иногда в кабинете для чтения далеко за полночь, а так как консьержка наша — женщина болезненная, то мне было совестно часто будить ее.

— Хорошо. В таком случае пойдемте туда сейчас же. Мне кажется, что если я теперь лягу, то все равно не засну.

О, юная Кармелита, одна ли роза влекла тебя к этой прогулке?..

Она сбегала домой, надела шляпку, набросила на плечи косынку, и они тихонько спустились с лестницы.

Перейдя улицу Св. Жака и Валь-де-Грас, они очутились на улице Анфер перед большими решетчатыми воротами, запирающими вход в бывший сад кармелиток.

Коломбо позвонил.

Звонок в такие часы был для садовника делом небывалым, и он отпер не сразу.

Однако на второй звонок он подошел, поднял свой фонарь до уровня лиц своих ночных посетителей и тотчас же узнал молодого человека, которого часто видел в окнах его квартиры и слышал, как он там поет и играет.

Садовник отпер калитку и впустил в свой рай современного Адама с его Евой.

Роскошный сад, видневшийся из окон Коломбо и Кармелиты, был не что иное, как огромный питомник роз, среди которых другие цветы не допускались.

Кармелита шла под руку с Коломбо и слушала перечень всевозможных видов роз, которые с самолюбивым удовольствием сообщал им шедший впереди садовник. Наконец, они подошли к капелле сестры Луизы Милосердной.

Кармелита нерешительно остановилась. Коломбо уговорил ее войти, она было послушалась, но тотчас же с испугом вышла.

Вид стен, увешанных вместо росписей или картин лопатами, вилами, косами, кирками, граблями и колосальными ножницами, произвел на нее чрезвычайно тяжелое впечатление.

Ей захотелось опять на чистый воздух, под лазоревосеребристое сияние луны, и она попросила лучше осмотреть часовню снаружи.

Оказалось, что вокруг нее густой чащей разрослись кусты роз футов в шесть вышиною.

— Что это за чудные великаны розового царства? — спросила Кармелита с восторгом.

— Это роза Александрийская, она цветет белыми цветами, — отвечал садовник. — Она произрастает или на самом юге Европы, или на берегах Варварийских, из ее цветов изготовляют розовую эссенцию.

— Можете вы продать мне один из этих кустов?

— Который?

— Вот этот.

Кармелита указала на тот, который рос ближе всех к могиле.

Садовник сходил в часовню и принес лопату.

В нескольких шагах от них запел соловей.

Луна мгновенно перестала быть обыкновенной луною, а обратилась в греческую Фебу, смотрящую на землю влюбленными глазами, отыскивая на ней тень прекрасного Эндимиона.

Воздух дрогнул от легкого ветерка, напоминавшего нежный поцелуй любящего существа.

Высокая фигура девушки, одетой в траур, молодой человек, также весь в черном, и садовник, выкапывающий розовый куст у надгробного памятника, составляли поистине поэтическую и таинственную картину. Казалось, каждый из них со вздохом повторял:

— Жизнь, чудный дар! Благодарю Тебя, Создатель, что наградил им нас в одно и то же время!

Но первый же удар лопаты садовника отозвался в сердцах молодой пары болью. Им казалось, что нарушать покой земли, в которой хранился прах святой жертвы царственного эгоиста, звавшегося Людовиком XIV, было каким-то святотатством.

Они ушли из питомника, унося с собою желанный розовый куст, но с таким же страхом в душе, с каким бегут домой дети, унесшие цветок с кладбища.

Но, очутившись на улице, они тотчас забыли печальные мысли, наслаждались и собственной болтовней, и ароматом цветов, и видом звезд, и в душе обеих звучала полубессознательно для них самих благодарность к Творцу за все блага и восторги их юного существования...

КОЛОМБО

Сердце молодого бретонца, которого мы назвали Коломбо, было настоящим бриллиантом, главные грани которого составляли доброта, кротость, невинность и честность.

Некоторые из виднейших личностей колледжа,— т. е. именно те философы, которые кутят в восемнадцать, а в двадцать два становятся уже плешивыми львами,— прозвали его Коломбо де Ние за несколько добрых порывов, после которых он оказывался совершенно одураченным из-за своей открытости и доверчивости.

Благодаря своей геркулесовой силе он, разумеется, мог бы заставить замолчать всех этих насмешников, но он относился к ним с тем же презрением, с каким относятся сенбернары к королевским пуделям.

Но однажды один из самых тщедушных креолов, только что приехавший в колледж из Луизианы, глядя на неистощимое терпение, с которым Коломбо выслушивал обидные прозвища товарищей, вообразил, что угодит общественному мнению школьников, если хорошенько дернет его сзади за волосы.

Если бы это было простой шуткой, Коломбо, разумеется, промолчал бы. Но он видел, что то было нечто совсем иное.

Случилось это во время вечерней перемены, когда все прогуливались в гимнастическом дворе. Маленький креол взобрался для большего удобства и безопасности на плечи одного из самых высоких воспитанников и уже оттуда схватил Коломбо за волосы и принялся весьма чувствительно трепать его.

Почувствовав сильную боль и сознавая всю неловкость своего положения, Коломбо, ничем не выражая ни своего страдания, ни овладевшего им гнева, обернулся, схватил креола за шиворот, сдернул его с плеч высокого товарища и отнес к трапеции, с которой свисала веревка с узлами.

Здесь он обвязал его веревкой поперек тела и, отпустив, раскачал.

Остальные школьники сначала хохотали, но вскоре притихли, а затем начали протестовать, однако, все их слова не произвели на Коломбо ни малейшего впечатления. Высокий воспитанник, с плеч которого он сорвал

назойливого Камилла Розана, подошел и потребовал отвязать маленького креола.

Коломбо достал из кармана часы, пристально взглянул на них и хладнокровно ответил;

— Он провисит так пять минут.

Между тем мальчик пребывал в таком мучительном положении уже пять минут перед этим объявлением.

Высокий ученик, бывший на целую голову выше Коломбо, злобно бросился на него, но бретонец ловко схватил его поперек тела, сжал до удушья, как Геркулес Антея, о чем он узнал из курса мифологии, и спокойно положил на землю.

Все школьники неистово аплодировали, так как наша молодежь уже со школьной скамьи привыкает преклоняться перед сильнейшим.

Между тем Коломбо так нажал коленом на грудь своего противника, что тот чуть не задохся и стал просить пощады, но упрямый бретонец опять вытащил свои часы и сказал:

— Нет, еще две минуты.

Двор задрожал от восторженных криков школьников.

Тело Камилла Розана раскачивалось все тише и тише, но движение все-таки еще не прекратилось.

Ровно через пять минут Коломбо, не уступавший в верности своему слову даже знаменитому земляку своему Дюгесклену, выпустил большого ученика и отвязал маленького. Старший и не подумал с ним рассчитываться, а младший ушел со злости в лазарет и пробыл там целый месяц.

Само собой разумеется, что они тотчас же сделались предметом неистощимых насмешек, а Коломбо осыпали похвалами. Но он, по-видимому, не высоко ценил эти восторги:

— Вы сами теперь видели, господа, на что я способен и знайте, что с первым, кто вздумает надоедать мне, я сделаю то же самое.

С этими словами он спокойно пошел дальше. Жизнь Камилла Розана была в течение целого месяца в величайшей опасности, и все очень тревожились за исход его болезни. Но больше всех терзался тревогой, часто доходившей до отчаяния, сам Коломбо. Он совершенно забывал, что начал ссору не сам, а только вынужден был защищаться, и искренне считал себя единственной причиной страданий мальчика.

Само собою разумеется, что когда Камилл стал вы-

здоровливать, в сердце Коломбо проснулась по отношению к мальчику та нежность, какую испытывает сильный к слабому, победитель к побежденному и которая составляет одну из лучших черт человеческого сердца.

Мало-помалу эта нежность обратилась в серьезную дружбу, и Коломбо полюбил Камилла, как любит старший брат младшего.

Маленький креол тоже привязался к Коломбо с той разницей, что в его приязни была немалая доля страха. При его физической слабости ему приятно было сознавать себя под чьим-нибудь покровительством, но в то же время его самолюбие ставило невидимую, но непреодолимую преграду между ним и его другом — покровителем.

Характер у него был заносчивый, и он каждый день рисковал получить от кого-нибудь из товарищей такой же назидательный урок, какой дал ему Коломбо. Но тот был всегда на страже и стоило ему только обернуться и спросить своим спокойным голосом: «Ну, что там опять такое?» — как все угрожавшие Камиллу покорно отступали.

С годами гордость креола, казалось, стихла, и в душе его не оставалось ничего, кроме чистой и искренней привязанности к Коломбо, что он и доказывал при каждом удобном случае. Они были разного возраста, а потому учились в разных классах, спали в разных дортуарах и могли видеться только во время перемен. Но привязанность креола к Коломбо была так велика, что как только он его не видел, то принимался писать ему. Мало-помалу между ними установилась постоянная переписка, такая же подробная и задушевная, как между двумя влюбленными.

Вообще, первая юношеская дружба отличается всей горячностью первой любви. Сердце, как человек, долго проживший в заточении, ждет только свободы, чтобы раскинуть под солнечными лучами теплого чувства свои сокровеннейшие мысли.

Таким образом, между друзьями установилась тесная связь, а когда на следующий год Камилл перешел на одно отделение с Коломбо, они стали неразлучны, и все вещи, бумага, перья, белье и деньги стали их общей собственностью.

Когда родные присылали Камиллу из Америки варенье и консервы, он делил все пополам и откладывал одну половину в ящики Коломбо. Если же старый граф решал снабдить сына соленьями из Бретани, Коломбо поступал с ним так же, как Камилл с вареньем.

Дружба эта, с каждым днем становившаяся сильнее, вдруг была прервана тем, что родители Камилла, когда он окончил курс философии, потребовали его возвращения в Луизиану. Друзья обнялись и расстались, обещая друг другу сообщать о себе в письмах, по крайней мере, раз в две недели.

В первые три месяца Камилл был верен данному слову, но затем стал писать только по одному разу в месяц, а под конец и вовсе по одному разу в три месяца.

Что же касается честного бретонца, то он строго исполнял свое обещание и ни разу не пропустил обещанного двухнедельного срока.

На другое утро после весенней ночи, о которой мы только что рассказывали, часов в десять старушка-консьержка принесла молодому человеку письмо, автора которого он тотчас же узнал по почерку.

Письмо было от Камилла. Он возвращался во Францию. Письмо могло опередить его самого всего на несколько дней.

Он предлагал Коломбо возобновить те же отношения, которые существовали между ними в школе.

«Ты сообщал мне,— писал креол,— что у тебя кухня и три комнаты. Позволь же мне занять половину кухни и полторы комнаты».

— Еще бы! — вскричал Коломбо, радостно взволнованный неожиданным возвращением друга.

Вдруг ему пришло в голову, что к приезду милейшего Камилла нужно будет приготовить кровать, умывальник, туалетный стол и, в особенности, диван, на котором беспечный креол мог бы курить свои превосходные мексиканские сигары. Коломбо тотчас же оделся, захватил с собою все свои сбережения — триста или четыреста франков — и отправился делать покупки.

На лестнице он встретился с Кармелитой.

— Господи, какой у вас сегодня счастливый вид, мосье Коломбо! — вскричала девушка, глядя ему в лицо.

— Да, я сегодня чрезвычайно счастлив! — сказал он чистосердечно. — Из Америки, из Луизианы, ко мне возвращается друг. Мы сдружились с ним еще в школе, и я люблю его, кажется, больше всех остальных.

— Отлично! — понимающе вскричала она. — А когда он приедет?

— Точно не знаю, но мне так хотелось бы, чтобы он был уже здесь!

Кармелита рассмеялась.

— Право, я был бы очень рад — повторил Коломбо.— Я уверен, он вам ужасно понравится. Это олицетворенная красота и веселость. Я никогда не видел такого красавца даже среди идеалов красоты, созданных мечтами художников! Единственный недостаток в нем — это, может быть, некоторая женственность,— прибавил он не для того, чтобы уменьшить достоинства красоты, которой сам восхищался, а только во имя правды.— В нем есть что-то женственное, но даже и это к нему чрезвычайно идет. Наверно, у сказочных принцев были такие же прелестные лица. Сами бакалавры Саламанки не умели ходить изящнее его, а беззаботностью он перещеголял даже наших парижских студентов. Кроме того,— вот уж этим он наверняка очарует вас, такую любительницу музыки,— у него прелестнейший тенор, и поет он мастерски! Когда-нибудь мы споем вам старинные дуэты, которые распевали в школе. Ах, к стати о музыке... Сегодня ночью мне пришлось в голову сделать вам одно предложение. Вы ведь говорили мне, что в Сен-Дени учились музыке?

— Да, я пела там сольфеджио, и говорили, что у меня порядочный контральто, и если я о чем и жалела, выходя из Сен-Дени, так это единственно о трех подругах, с которыми была так же дружна, как вы с Камиллом Розаном, и о моих уроках пения, ведь мне уж нельзя было их продолжать. Кажется, что при некотором старании из меня бы что-нибудь да и вышло.

— Ну, так вот я и хотел предложить вам не то, что я стану давать вам уроки, потому что с моей стороны это было бы слишком смело,— но мы могли бы разучивать некоторые вещи вместе и, может быть, я был бы вам полезен, потому что в школе я учился у очень хорошего профессора, у старика Мюллера. Да и после того я много занимался и все свои познания предлагаю к вашим услугам.

Коломбо сам испугался, что сказал так много, но весть о приезде дорогого друга совершенно преобразила скромного и добродушного юношу.

Кармелита приняла его предложение с величайшей благодарностью. Если бы ей предложили целое состояние, ее это так не порадовало бы, и она уже собиралась высказать ему это, но увидела на последних ступеньках лестницы доминиканского монаха, который читал молитву над ее матерью и которого она уже несколько раз встречала, когда он поднимался к Коломбо.

Девушка вспыхнула и убежала.

Коломбо был тоже заметно смущен.

Монах взглянул ему в лицо с удивлением и упреком, как бы желая сказать ему:

— Я отдал тебе всю мою дружбу и думал, что и ты поверяешь мне все свои тайны. Но вот важная тайна, а ты и не упомянул о ней!

Коломбо вспыхнул, как молоденькая девочка, и, отложив покупку мебели до другого раза, возвратился домой.

Пять минут спустя Доминик знал сердечную тайну своего друга гораздо лучше, чем он сам.

Коломбо рассказал ему все, не исключая события последней ночи, которое все еще наполняло его сердце любовью и поэзией.

Упрекая Коломбо за эту чистую и честную любовь, молодой монах очутился бы в безвыходном противоречии со своей теорией всемирной любви, потому что он называл любовь чувственную, в какой бы форме она ни проявлялась, «центром жизни».

Поэтому брат Доминик увидел в зарождающейся страсти своего юного друга не больше, как оживляющую лихорадку, которая была скорее полезна, чем вредна.

Он даже не сердился на Коломбо и за то, что тот раньше не признался ему в своем чувстве, так как видел, что тот и сам еще не сознает его ясно.

Когда молодой бретонец сам понял, наконец, что в нем заговорило сердце, он сильно покраснел, точно чего-то испугавшись.

Монах улыбнулся и взял его за руку.

— Для вас такая любовь необходима, друг мой,— сказал он,— иначе вся ваша молодость прошла бы в безысходной апатии. Благородная страсть, которая одна только и сродни вашему сердцу, может воодушевить его, возродить его к новой жизни. Взгляните на этот сад,— продолжал монах, указывая на питомник,— вчера земля в нем была суха, все растения опустились и поблекли. Но вот прогремела гроза — и из-под земли появились новые побеги; кусты покрылись бутонами, бутоны обратились в цветы. Люби же, юноша, цветы и красуйся плодами, как юное дерево! Никогда не цвели цветы и не зрели плоды на стволе более благородные, чем ты.

— Значит, вы не только не осуждаете меня, но еще поощряете слушать советы моего сердца! — вскричал Коломбо.

— Я рад тому, что вы полюбили, друг! И если я

за что-нибудь упрекаю вас, то только за то, что вы скрыли от меня свое чувство, потому что обыкновенно скрывают только любовь порочную. Я не знаю в мире ничего лучшего, чем зависимость хорошего человека от его собственного сердца; потому что насколько в природе низкой страсть унижает человеческое достоинство, настолько в природе благородной она его возвышает. Взгляните хоть на все отдаленнейшие точки земного шара, друг, и везде вы увидите, что внутренними пружинами царств руководили, скорее, живые силы страсти, чем премудрые соображения гения. Как ни обширен разум человеческий, он все-таки слаб, труслив и всегда готов отступить перед первыми же встречаемыми препятствиями. Но сердце — наоборот! Оно вечно волнуется, вечно быстро и энергично в своих решениях, твердо в их исполнении, и никто не может воспрепятствовать в непреодолимом течении его стремлений. Разум — это основа покоя, а сердце — это жизнь. Следовательно, покой в вашем возрасте, Колумбо, составляет опасную праздность и, если бы мне пришлось выбирать, я скорее согласился бы, чтобы во мне кипели силы жизни, которыми я стал бы сотрясать столбы храма, чем чтобы во мне царил покой, во время которого меня безвозвратно погребли бы под собою каменные своды.

— А между тем, почтенный брат, сами вы все-таки не смеете любить,— заметил Колумбо.

Монах грустно улыбнулся.

— Ваша правда,— проговорил он.— Я не могу любить вашей чувственной, земной любовью, потому что меня избрал Бог. Но лишая меня любви личной, он вознаграждает меня любовью ко всем вообще. Вы страстно любите одну женщину, друг, а я страстно люблю всех. Для вашей любви необходимо, чтобы предмет ее был и молод, и прекрасен, и богат, и платил вам взаимностью. А я, наоборот, люблю прежде всего бедных, уродливых, несчастных и страждущих, и если у меня нет силы духовной любить тех, кто ненавидит меня, то я, по крайней мере, глубоко сочувствую им. Думая, что мне запрещено любить, вы жестоко ошибаетесь, друг Колумбо. Бог, которому я посвятил себя, это есть основа всякой любви, и бывают минуты, когда я способен, как святая Тереза, плакать над судьбой сатаны, потому что он есть единственное существо, которого невозможно любить.

Разговор продолжался еще долго на той благодарной почве, на которую его свел брат Доминик. Монах указы-

вал молодому другу все те стадины, на которых разум и духовная сила одерживали блистательные победы над страстью, и задумчиво слушавшему его Коломбо казалось, что он послан для того, чтобы приподнять перед ним одну из темнейших завес жизни, а он сам чувствовал себя под влиянием его слов чище, выше и достойнее любви. Ему ни разу не пришла в голову мысль, что любимая девушка не разделяет его чувства. Если судить по его рассказам, он казался и поэтом, и живописцем; поэтом — по силе и образности его выражений, художником — по той пластичности, с которой он говорил о чувстве своего воодушевленного сердца.

По всей вероятности, они провели бы весь день вместе в этой беседе, если бы чей-то голос на лестнице раззти не произнес имени Коломбо.

— О! — вскричал честный бретонец, — ведь это Камилл!

Он не слышал этого голоса целых три года и все-таки узнал его.

— Коломбо! Коломбо! — радостно повторял человек, быстро взбравшийся по лестнице.

Студент отпер дверь и очутился в объятиях Камилла.

Едва ли был во всемирной истории случай, чтобы слепец, встречая свое несчастье в образе лучшего друга, обнимал его с большим жаром и искренностью.

VI

КАМИЛЛ

При входе Камилла, с которым он раньше знаком не был, брат Доминик, несмотря на все упрашивания Коломбо, ушел.

Камилл проводил его глазами до двери.

— Ого! — проговорил он, когда дверь затворилась. — Будь я римлянином, это было бы для меня дурным предзнаменованием!

— То есть, как это?

— Разве ты забыл наставление: «Если, выходя из дому, зацнешься ногою о камень или увидишь слева черную ворону, то возвратись домой».

По лицу Коломбо пробежало грустное, почти страдальческое выражение.

— Ты все тот же, мой милый, — проговорил он, — и твое первое слово составляет разочарование для друга, который ждал тебя с таким нетерпением.

— Это почему?

— Потому что эта черная ворона, как ты выразился...

— Совершенно верно! Я ошибся,— мне следовало бы назвать его сорокой, потому что он наполовину белый, наполовину черный.

Коломбо показалось, что его второй раз ударили по сердцу.

— Потому, что эта ворона или сорока — один из лучших и умнейших людей в мире,— продолжал он.— Когда ты узнаешь его покороче, то сам пожалеешь, что принял его за одного из тех попов, которые борются против Бога, вместо того, чтобы бороться за него. Тебе станет тогда стыдно своих детских насмешек.

— О! Ты тоже по-старому важен, серьезен и назидателен, как миссионер! — расхохотался Камилл.— Ну, пусть будет по-твоему,— я виновен и жалею, что неправильно отнесся к твоему другу. Ведь этот красавец-монах, вероятно, друг твой? — прибавил он несколько серьезнее.

— Да, и притом друг очень мне дорогой,— подтвердил бретонец веско.

— Я очень сожалею о своей шутке, но когда мы были в школе, ты не отличался особенной набожностью, а потому я и удивился, когда застал тебя в уединенной беседе с монахом.

— Повторяю тебе, когда ты узнаешь брата Доминика, то перестанешь удивляться. Но теперь дело не в этом,— продолжал Коломбо, изменив серьезный тон на прежний добродушный и веселый.— Теперь дело не в брате во Христе Доминике, но в брате во дружбе Камилле. Наконец ты здесь! Обнимем друг друга еще раз. Я не могу тебе выразить, как меня обрадовало сначала твое письмо, а потом и твой приезд. Теперь мы опять заживем по-старому, по-школьному!

— Даже гораздо лучше, чем жили в школе! — подхватил почти так же весело и добродушно Камилл.— Теперь нас не станут стеснять ни надоедливые товарищи, ни воспитатели, и мы можем по целым дням гулять, заниматься музыкой, бывать в театрах по вечерам и болтать по ночам, что в школе было решительно невозможно, потому что за это жестоко попадало.

— Да, помню я эти ночные разговоры! — со вздохом сказал Коломбо.— Милое то было время!

— А помнишь ночи с воскресений на понедельники?

— Да,— задумчиво, и не то с веселой, не то с грустной

улыбкой проговорил Коломбо.— Я выходил из школы редко. Родных в Париже у меня не было, и я целые дни проводил на школьном дворе со своими мыслями и — я горжусь этим — со своими мечтами. А ты просыпался в воскресенье рано, как жаворонок, и улетал, одному Богу известно куда. Когда ты уходил, я тебе не завидовал, но мне было грустно. Но вечером ты возвращался ко мне с целым ворохом новых впечатлений, и у нас хватало поводов для болтовни на целую ночь.

— Вот и теперь заживем точно так же и, будь спокоен, мудрец, за рассказами у меня дело не станет, потому что я жил там, как достопочтенный Робинзон, и хочу теперь вознаградить себя в Париже за потерянное время.

— Да, да, вижу, что годы тебя не изменили! — ласково, но озабоченно проговорил серьезный бретонец.

— Нет. А особенно хорошо то, что они оставили в целости всю мою любовь к жизни и наслаждениям. Скажи, пожалуйста, где можно здесь поесть, когда проголодаешься?

— Если бы я знал наперед, когда именно ты приедешь, то мы пообедали бы в нашей столовой.

— А разве ты не получил моего письма!

— Получил, но не больше как час тому назад.

— Ах, да! Совершенно верно! Письмо это пришло в Гавр на одном пакетботе со мною и опередило меня лишь настолько, насколько обгоняет почта дилижанс. Итак, я повторяю свой вопрос: где здесь едят?

— Я очень рад, что ты только что уподобил себя Робинзону Крузо, — сказал Коломбо, — это мне доказывает, что ты привык к лишениям.

— Ты меня приводишь в трепет и ужас! Ради Бога, не пугай меня так! Это шутка нехорошая! Ведь я не герой романа, я должен и люблю есть. Еще раз спрашиваю тебя: где здесь едят?

— Здесь условливаются с привратницей или с одной из соседок, и она кормит на славу.

— Хорошо, это ежедневно, но в случаях чрезвычайных?

— Идут к Фликото.

— А! Это тот чудеснейший Фликото на площади Сорбонны! Он все еще существует? Значит, он съел еще не все бифштексы?

И Камилл расхохотался.

— Фликото! Бифштекс и целую гору картофеля!

Он подошел к столу и взял свою шляпу.

— Ты куда это? — спросил Коломбо.

— Иду к Фликото! Пойдем вместе.

— Нет, я не пойду.

— Это почему?

— Потому что мне нужно идти купить тебе кровать, стол, диван, на котором ты будешь курить.

— Ах, кстати о куреве! У меня есть чудеснейшие гаванские сигары, то есть, вернее, они у меня будут, если таможня сообразовит мне их отдать. Я думаю, что эти таможенные чиновники всегда курят чудеснейший табак.

— Сочувствую твоему горю, но совершенно бескорыстно. Я не курю.

— Однако ты удивительная дрянь, братец, и, право, я не знаю, найдется ли на свете женщина, которая согласится полюбить тебя.

Коломбо покраснел.

— А! Она уже нашлась? — вскричал Камилл.— Это хорошо!

Он протянул другу руку.

— Поздравляю тебя, мой милый! Значит, в отношении женщин у вас здесь лучше, чем в отношении стола. Ну, и будь уверен, что как только я позавтракаю, то тотчас же примусь за разведку! Право, я теперь очень жалею, что не привез тебе негритянку... Пожалуйста, не гримасничай! Между ними есть — прелесть какие! Одно досадно, пожалуй, таможенники отняли бы у меня и ее... Ну, что, идешь ты?

— Я ведь уже сказал, что нет.

— Ах, да! Ты уже сказал! А почему ты это сказал?

— Экий ты ветрогон! Право, ты совершенно пустоголовый!

— Пустоголовый! Ну, в этом отношении ты расходишься во мнениях с моим отцом. Он убежден, что череп у меня набит мозгами. Так почему ты не пойдешь?

— Потому, что мне нужно купить для тебя мебель.

— Это верно. Итак, беги меблировать мою квартиру, а я пойду меблировать мой желудок; но через час мы будем оба здесь.

— Хорошо.

— Хочешь денег?

— Нет, спасибо, у меня есть.

— Ну, так возьмешь потом, когда их у тебя не будет.

— Где это я их возьму? — смеясь, спросил Коломбо.

— Как где? В моем кошельке, если только они там

будут. Я ведь — богач! Правда, Ротшильд мне не дядя и Лафитт мне не тесть, но у меня шесть тысяч годовых дохода — пятьсот ливров в месяц или шестнадцать франков, тринадцать су и полтора сантима в день. Если хочешь, можешь купить Тюильри, Сен-Клу или Рамбуей. Вот в этом кошельке лежат мои доходы ровно за три месяца вперед.

С этими словами Камилл, действительно, вытащил из кармана кошелек, сквозь петли которого сверкало золото.

— Ну, об этом мы потолкуем в другой раз.

— Так через час ты придешь сюда?

— Разумеется.

— В таком случае «Ступай умирать за своего князя, а я погибну за родную страну!» — вскричал Камилл.

И он побежал вниз по лестнице, только не умирать за родную страну, как поэтически выразился Казимир Делавинь, а завтракать к Фликото.

Коломбо пошел тоже вниз, но спокойно и рассудительно, что и соответствовало его характеру.

Таким образом, насмешливое легкомыслие, с которым Камилл относился даже к вещам серьезным, сказалось в первых же словах, произнесенных им при встрече со старым другом.

Обыкновенно нас, французов, упрекают в легкомыслии, беззаботности и насмешливости. Но на этот раз француз вел себя с серьезностью англичанина, а американец — с легкомыслием француза.

Если бы не возраст, красота, манеры и изящество костюма, то Камилла можно было бы принять за одного из парижских гаменов. В нем было столько же живости, такой же склад ума, такой же беззастенчивый, веселый нрав.

Можно было припереть его в угол, удержать в амбразуре окна, защемить между двумя дверьми и там употребить величайшее красноречие, чтобы угнездить в его голове хоть одну серьезную мысль, но стоило пролететь мухе, он увлекался ею и обращал на слова убеждающего друга ровно столько же внимания, сколько любой прохожий.

Впрочем, у него было то достоинство, что для того, чтобы понять его характер, не нужно было говорить с ним долго. Через пять минут он был весь, как на ладони. Его выдавали слова, походка, лицо, каждое движение.

Прежде всего это был красавец в полном смысле

слова, как Коломбо и говорил Кармелите. На стройном изящном и гибком теле красиво держалась прекрасная голова. Продолговатые, живые карие глаза оттенялись длинными ресницами. Черные, как вороново крыло, волосы окаймляли продолговатое, несколько смуглое лицо. Прямой правильный нос примыкал ко лбу прекрасной линией, встречающейся только на лучших статуях. Небольшой рот окаймлялся свежими пунцовыми губами, как бы постоянно манившими к поцелуям.

Вообще вся его фигура, несмотря на то, что он, как истый южанин, любил слишком яркие галстуки и слишком пестрые жилеты, носила на себе отпечаток такого несомненного достоинства, что даже почтенные маркизы приняли бы его за аристократа старинного рода.

Его капризная, нервная и утонченная красота составляла контраст с серьезной, сдержанной, почти марморной красотой Коломбо. Один напоминал древнего Геркулеса, другой обладал мягкостью и почти женственной грацией Кастора, Антиноя.

Глядя на них, когда они стояли обнявшись, трудно было разгадать, какая симпатия, какое влечение таинственной духовной природы человеческой притягивало этого сильного человека к слабому и изнеженному юноше. Братьями они быть не могли, потому что природа не допускает контрастов, а потому сделались друзьями.

Покровительство, которое Коломбо оказывал Камиллу в школе, обратилось мало-помалу в дружбу. Коломбо, человек вообще сосредоточенный и цельный, посвятил ему всю силу своих симпатий.

Встретил он своего любимца после разлуки, как родного брата, и так был рад ему, что забыл ради него о том расположении, которое выразил ему брат Доминик.

Маленькую гостиную, в которой он обыкновенно принимал приходивших навестить его товарищей по школе, он обратил в спальню для Камиллы.

Таким образом, кровати их разделяла только тонкая деревянная переборка, сквозь которую было все слышно.

Коломбо пошел было сначала к мебельщику квартала Сен-Жан, но не нашел у него ничего, кроме ореховой мебели, и, хотя сам спал на простой крашенной кровати, решил, что его аристократический друг должен спать на постели непременно черного дерева.

Мало-помалу удаляясь от квартала Сен-Жан и перейдя два рукава Сены, он очутился на улице Клэри.

Здесь он нашел все, что ему было нужно: кровать, бюро, диван и шесть стульев из черного дерева.

Стоило все это пятьсот франков.

Но так как в кармане у Коломбо была ровно половина этих денег, ему пришлось остаться в долгу.

Чтобы застлать кровать, он положил на нее свои два тюфяка, две подушки и одеяло, а сам остался при одном пружинном матрасе, маленькой подушке и зимнем пальто вместо одеяла.

Возвращаясь домой, он спешил, как на пожар, воображая, что Камилл ожидает его уже целый час.

К счастью, оказалось, что тот все еще не возвращался.

— Тем лучше! — подумал добряк, — он придет и застанет свою комнату уже готовой!

Камилл пришел домой только в одиннадцать часов вечера.

Коломбо с торжеством ввел его в комнату.

— Ух! — вскричал Камилл. — Мебель черного дерева! Милый мой, у нас ее употребляют только негры.

Сердце Коломбо болезненно сжалось в третий раз.

— Ну, да это все равно, — продолжал Камилл. — Ты ведь хотел сделать лучше. Дай я тебя поцелую. Спасибо тебе.

VII

ИСТОРИЯ КНЯГИНИ ДЕ ВАНВР

Первые дни совместной жизни друзей пришли в рассказах и воспоминаниях, в которых Камилл являлся то жертвой, то героем.

Все радости этой богато одаренной и эгоистичной природы состояли в удовлетворении своих прихотей, все горести возникали из невозможности удовлетворить их.

Камилл много путешествовал — был в Греции, в Италии, на Востоке, в Америке, и беседа с ним могла бы доставить для любознательного Коломбо истинное наслаждение. Но Камилл путешествовал не как ученый или артист, и даже не как обыкновенный путешественник. Он бывал всюду как птица, и каждый новый ветер сдувал с его крыльев те пылинки, которые на них попадали в той стране, из которой он улетал.

Была только одна вещь, которая занимала его повсюду — красота женщины, которая ослепляла, поражала

и увлекала его во всех странах. Камилл был человек скорее чувственный, чем впечатлительный; наслаждение скользило по его телу, не проникая до сердца. Он отдавался счастью, сладострастью и любви совершенно так, как другие люди принимают ванну. Он пользовался ими дольше или короче, смотря по тому, насколько они ему нравились.

Оказывалось, что он готов был отдать все огромные девственные леса, все озера, саванны и прерии, всю Грецию с ее руинами, весь Иерусалим со всеми его воспоминаниями, весь Нил с его тысячью городов за один поцелуй хорошенькой девушки, которая ему встречалась.

Напрасно силился Коломбо с упорством, доказывавшим только его собственную наивность, заставить Камилла говорить серьезно, с той пластичностью, которая свойственна рассказу очевидца. На минуту он покорялся, говорил красноречиво и поэтично, но переносило ли его воображение на берега Огайо или в великую низменность Нила, перед ним вставал образ краснокожей красавицы, или черноокой гречанки, и серьезная сторона рассказа рассеивалась, как дым.

Однажды они разговорились о Греции, которая больше всего интересовала молодого бретонца. Коломбо вынужден был выслушать историю любви Камилла к одной девушке в Дарданеллах.

Наконец, бретонец заговорил об Афинах и просил своего легкомысленного друга рассказать о том впечатлении, которое произвели на него древние развалины, составлявшие для них предмет поэтического восторга еще на школьной скамье.

— Ах, ты говоришь об Афинах? — спросил Камилл.

— Да, я хочу, чтобы ты сказал мне, какое они произвели на тебя впечатление.

— Впечатление? Да черт знает! Не знаю, что и сказать.

— Как не знаешь?

— Да так... Ну, видал ты Монмартр? Так и Афины стоят на такой же возвышенности с той только разницей, что ниже их расстилается Пирей.

Весь характер и весь склад ума Камилла сказались в одном этом описании Афин. К самым серьезным сторонам дела он относился с точно такой же небрежностью и легкомыслием. Но иногда у этого же странного человека оказывались неистощимые сокровища воспоминаний.

Однажды утром Коломбо, разыгрывавший при нем роль разума, сказал ему:

— Послушай, Камилл, ведь нельзя же жить, всю жизнь ничего не делая. Ну, веселись и наслаждайся, насколько выдержит здоровье, но ведь невозможно же сделать из этого цель жизни, потому что цель эта заключается в труде. Надо же приняться за какое-нибудь дело. Ведь работа даже увеличивает прелести наслаждения. Кроме того, и состояние твое вовсе не так велико, чтобы оно оказалось для тебя достаточным, когда ты женишься и обзаведешься семьей. Если же ты смолоду привыкнешь к праздности, то никогда не справишься и никогда не будешь мил никому, потому что каждый час, в который ты ничего не сделаешь, увеличивает долю труда для остальных. Будь ты человек ограниченный, без воображения, я, может быть, даже не стал бы тебе говорить всего этого; но ты, наоборот, чрезвычайно талантлив. Чем ты можешь заняться? Этого я еще и сам не знаю, и мы можем обсудить это, когда вздумается; но я считаю тебя способным ко всякого рода деятельности, как научной, так и художественной. Ты можешь быть и хорошим адвокатом, и доктором, и даже композитором, потому что у тебя есть несомненный талант к музыке. У меня сохранились вещи, которые ты писал в школе. С тех пор прошло пять лет, а они и теперь поражают меня свежестью и оригинальностью своих мотивов. Так, ради Бога, избери себе какое-нибудь дело! Ну, изучай законы или медицину, сделайся ученым или артистом, но непременно сделайся кем-нибудь! Я не знаю, что тебе советовать, не знаю даже твоих теперешних вкусов, так как мы давно не видались; но, поверь мне, лучше делать даже дело, которое тебе не по душе, чем не делать ничего вовсе.

— Хорошо, я об этом подумаю,— сказал Камилл, которому, казалось, хотелось думать ровно столько же, как и повеситься.

— Если бы я был уверен, что я настолько же дорог для тебя, как ты для меня, то сказал бы тебе, что если ты не изберешь себе деятельности, то лишишься моей дружбы. Брат Доминик называет людей, которые ничего не делают, бесчестными, и он, по-моему, прав.

— Хорошо, хорошо! Дело будет выбрано и сделано! — сказал Камилл не то весело, не то серьезно.— Я уж и сам об этом думал, хотя ничего не говорил. Каждый вечер, когда я раздеваюсь, то непременно размыш-

лю о том, почему мои подтяжки, которые я всегда надеваю по утрам очень аккуратно, к вечеру скручиваются, как веревки. Ты сам понимаешь, что усовершенствование производства подтяжек составляет дело очень серьезное и важное.

Коломбо вздохнул.

— Послушай, Коломбо, если ты так вздыхаешь из-за невинной шутки, то что же станешь ты делать при несчастье? Говорю тебе: завтра я записываюсь в школу правоведения, покупаю свод законов и приказываю переплести его в шагрень для того, чтобы он гармонировал с мебелью, которую ты мне завел.

— Ах, Камилл, Камилл! — вскричал Коломбо, покачивая головой. — Ты приводишь меня в отчаяние! Я просто теряю надежду, что ты когда-нибудь станешь серьезным человеком!

Камилл сообразил, что пора перевести разговор на другой предмет, а иначе он грозил сделаться серьезным, а значит, и скучным.

— Гм! — сказал он, — ты боишься, что я никогда не сделаюсь человеком, настоящим мужчиной? Ну, так могу тебя успокоить тем, что прачка твоя этого вовсе не опасается.

Коломбо взглянул на него с таким удивлением, с каким посмотрел бы на человека, который среди разговора вдруг перешел с ним на совершенно неизвестный ему язык.

— Моя прачка? — переспросил он почти испуганно.

— Да, голубчик, теперь нечего увертываться! — продолжал Камилл. — Ты ведь не сказал мне о ней ничего! Так позвольте мне, господин доктор, господин ученый, господин Сен-Жером, сообщить вам, что я знаю, что у вас есть прачка, которой всего восемнадцать лет и которую за поразительную красоту прозвали княгиней де Ванвр и царицей Ми-Карем. И вдруг к вам приезжает старый друг со всей неистощимой жаждой жизни, которую он мог почерпнуть в могучих девственных лесах Америки, а вы нарушаете даже основное правило гостеприимства, скрывая от него ваши лучшие сокровища!

— Хочешь верь мне, хочешь — не верь, но я едва знаю в лицо мою прачку! — наивно вскричал Коломбо.

— Что? Ты едва знаешь ее в лицо?

— Клянусь тебе!

— Ну, стоит ли после этого бедной девочке иметь прелестнейшее личико, когда молодой двадцатипятилетний

человек, на которого она работает целых три года, не обратит на нее не малейшего внимания?! Я нарочно спросил ее, сколько времени она на тебя стирает, и она ответила мне: «Три года».

— Очень может быть. Зачем же мне было бы менять прачку, если она стирает хорошо?

— Ну, а если она при этом хорошенькая?

— Видишь ли, есть женщины, красота или уродство которых меня вовсе не занимают.

— А! Понимаю вас, господин виконт де Пеноель! Ах ты, аристократ! Значит, Беранже со своей Лизеттой — сиволапый мужик, что-то вроде Камилла Розана! Кто такая была Лизетта, если не прачка Беранже? Положим, что у Беранже есть песня, в которой он говорит, что он неблагородный... Этим и объясняются и Лизетта, и Фретильон, и Сюзон... Но ведь мы господин Коломбо виконт де Пеноель, черт возьми!

— Что делать, мой милый, но это так.

Камилл с комическим участием воздел руки к небу.

— Как! — вскричал он. — Творец в своей неисчерпаемой благодати соединяет все прелести красоты в одном существе перед твоими глазами, а ты, язычник, воображаешь, что у тебя есть дела важнее созерцания этого совершенства! Но пойми же, что если бы покойный Рафаэль относился к Форнарине с таким же презрением, как ты к княгине де Ванвр, то у нас не было бы Сикстинской Мадонны! А кто такая была Форнарина!? Прачка, которая полоскала его белье в Тибре. Не пытайся и отрицать этого! Я сам расспрашивал о ней в гавани Рипетта.

— Ты с ума сошел! — ответил Коломбо, пожимая плечами.

— А можешь ты дать мне слово, что княгиня де Ванвр тебя не интересуется?

— Клянусь тебе в этом честью дворянина.

— Значит, начать ухаживать за этой водяной нимфой не будет значить охотиться на твои землях?

— Нет, и тысячу раз нет!

— Хорошо. В таком случае слушай внимательно. Я начинаю.

Первая встреча Гильома-Феликса-Камилла де Розана, креола из Луизианы с ее высочеством Шант-Лиля, княгиней де Ванвр, прачкой вышеназванного княжества. Это было вчера... Если бы я был романистом, то сказал бы, что это случилось вскоре после ослепительно-яркого

майского полудня; но при этом я солгал бы, потому что в то время шел дождь. Это тебе известно, потому что ты выходил и брал с собой зонтик. По этой же причине и в виду того, что извозчики встречаются в странах цивилизованных, а отсюда они отстоят весьма далеко, пока ты ходил в училище, я сидел дома. Но на это лишение я вовсе не жалею, потому что в твое отсутствие к нам явилась прачка. Она была мокрая, точно ее облили тем вином, которое мы пивали в школе. Помнишь ты наши тогдашние кутежи?.. Да, так вот какая она была мокрая!.. Первое, что мне пришло в голову, когда я ее увидел, было то, что необходимо купить еще один зонтик... Разве я не философ?.. Потому что,— размышлял я,— в хорошую погоду зонтики никуда не годятся, а когда идет дождь и двое людей хотят идти каждый в свою сторону, то одного зонтика для двоих оказывается мало.

— Но это дело второстепенное...

— Итак, прачка явилась в твой ковчег, как белая голубка, с той только разницей, что не в конце, а в начале потопа, так что, увидев из окна, как воды, выражаясь языком библейским, «достигали высочайших мест», она очень охотно согласилась на мое предложение остаться и переждать.

Скажи по правде, Коломбо, что бы стал ты делать на моем месте. Только говори откровенно.

— Ну, да уж лучше продолжай рассказывать, проказник! — сказал бретонец, которого против воли забавляла болтовня этой беззаботной птички.

— Насколько я тебя знаю, ты, разумеется, или предоставил бы прачке совершать свой поход под всеми хлябями небесными, или же, если бы в припадке человеколюбия и предложил бы ей убежище под своей крышей, то повернулся бы к ней спиной, лишая ее лицемерия твоего прекрасного образа, или принялся бы читать, лишая ее прелестей твоей беседы. Это сделал бы ты под тем неосновательным предлогом, что для господ благородных дворян существует особая порода женщин. А я — ведь я только просто дикарь, а потому и сделал то, что индеец делает в своем вигваме, а араб в своей палатке — я самым тщательным образом исполнил все требования гостеприимства. Мне казалось прежде всего обязательным заставить ее снять косыночку, так как вода текла с нее, как с пружины дождевого зонтика. Без этой благоразумной предостороженности княгиня де Ванвр непременно получила бы насморк, которого бы я себе ни-

когда не простил!.. Вижу, вижу, ты уже вообразил себе что-нибудь неподходящее! И ошибаешься! Я могу, как Ипполит, сказать, что «самый свет дня не мог быть чище моих тогдашних мыслей». Червоточины в них не было, и я этому очень рад, потому что терпеть не могу червяков. Повторяю тебе, я сделал это единственно из сострадания и в доказательство этого прибавлю, что, опасаясь адского холода, которым всегда отличается твоя комната, я предложил ей накидку, которая лежала здесь на твоём кресле.

— Ха, ха, ха, думаю, сам господин Тартюф не поступил бы лучше!

— Это была твоя самая лучшая белая накидка, и я считаю долгом предупредить тебя, что принцесса унесла ее, считая ее своей собственностью.

— Но это опять вещь второстепенная!

— Когда она закуталась, я предложил ей сесть в кресло, но должен сознаться, что она отказалась от этого, не потому, что она, княгиня де Ванвр, считала себя недостойной сесть в присутствии покорнейшего из слуг своих, а потому просто, что она была мокра, как вода, и боялась испортить утрехтский бархат на твоей мебели... По крайней мере, мне это так показалось, судя по тому, как она села рядом со мною на диван, который был в чехле, а потому казался ей в большей безопасности, чем остальная мебель.

Ты, может быть, и можешь отрицать Лизетту, презирать Фретильон и не переваривать Сюзон, но если человек родился между 29 и 33 градусами северной широты, то он уже не может безнаказанно сидеть возле молодой девушки, хотя бы она даже и была прачкой. Понимаете ли, между ними сейчас же устанавливается нечто вроде того, что наш профессор физики в школе называл электрическим током. Ты же, Сократ, не знаешь этих токов, а между тем они вдруг доводят человека до цветущего состояния; во всем теле его порождается дотоле неведомая сила; в мозгу возникают мысли, которые никогда не вошли бы в состав даже и самого увлекательного свода законов.

Вот одна из таких мыслей и побудила меня сказать ей:

— Княгиня, клянусь честью, вы прекрасны!

По всей вероятности, и ей пришло в голову что-нибудь подобное, потому что она покраснела.

А знаешь, женщина никогда не бывает так мила, как тогда, когда она краснеет. Таким образом, княгиня мгно-

венно сделалась прелестнейшей из княгинь, и у меня уже начинала кружиться голова.

Но твоя накидка, о друг, стала в моем воображении самым тобою. Я не знал твоего отвращения к нимфам и ундидам, побоялся нарушить святость дружбы, и это благородное чувство спасло меня на краю пропасти.

Теперь ты сказал мне, что даже не заметил княгини де Ванвр. Это очень хорошо! Я ведь родом из страны пропастей и не боюсь их. Пусть мне только представится удобный случай, и я брошусь туда, очертя голову!

Коломбо хотел было возражать против этого решения, но Камилл вдруг запел своим чудным тенором:

Лизетта, Лизетточка,
Всегда ты меня обманывала!
А все-таки слава гризеткам!
Выпьем же, Лизочка,
За нашу любовь!

При звуках этого юношеского голоса, который так и хватал за сердце, Коломбо не мог не прийти в восторг и начал аплодировать.

VIII

ДУБ И ТРОСТНИК

Этот рассказ о первой встрече Камилла с княгиней де Ванвр дает лучшее представление о его беззаботном и веселом характере, чем это могли бы сделать многие страницы анализа и описаний.

Но эта веселость, в обществе мужчин не всегда лишенная цинизма, производила на серьезного бретонца впечатление визга кошки и трескотни сороки. Камилл всегда начинал с того, что был виноват, и заканчивал тем, что оставался прав.

Тем не менее, было обстоятельство, о которое разбилась даже его настойчивость.

Регулярная монотонная жизнь, которую вел Коломбо, вовсе не составляла идеала Камилла; ему было даже неприятно в этой скромной обстановке. Самая мебель друга производила на него такое же впечатление, как мрачная келья монаха на полного жизненных сил и увлеченный юношу.

Однажды, возвратясь домой, Коломбо увидел, что над изголовьем его кровати нарисована мертвая голова, а над

нею — две крест-накрест лежащие кости. Вокруг была сделана надпись:

«Коломбо, надо умереть!»

Он, разумеется, даже не содрогнулся при виде этого странного орнамента и оставил его там, куда его поместил Камилл.

Итак, это тихое убежище, которое так нравилось ему, казалось Камиллу чем-то вроде семинарии. Его раздражала и приводила в уныние даже поэтическая могила де ла Вальер, которая навевала на Коломбо такие чудные мечты. Этот символ смерти, заключавший в себе для человека верующего столько утешительного, возмущал его, и он отпускал на его счет самые озлобленные саркастические замечания.

— Право, напрасно ты теперь же не купишь себе места на кладбище,— говорил он Коломбо.— Велел бы обтянуть стены черным сукном и наслаждался бы помещением, которым тебе предстоит пользоваться после смерти.

Раз двадцать предлагал он Коломбо переменить «тюрьму», как он выражался, и переселиться «в Париж» или «хоть в одно из его предместий, вроде улицы Турнон или Дю Бак».

Но Коломбо ни за что не соглашался.

Камилл, по-видимому, уступал, переставал заговаривать о переселении, но не упускал своей цели из виду и постоянно только острил над их монашеским помещением. Несмотря на то, что по натуре он был нетерпелив, встречаясь с препятствием более сильным, чем его воля, он с виду как бы подчинился ему, но на самом деле, как ящерица, искал возможности или пробраться сквозь его тончайшие щели, или подкопаться под его основание. Так и по отношению к Коломбо он всегда пользовался силой и преданностью его дружбы, разгрызая перед ним слабого и избалованного ребенка. В отношении его квартиры он как бы покорился, но, в сущности, только выжидал удобного случая и продолжал мечтать, как бы выехать с улицы Сен-Жак.

К несчастью для Коломбо, кроме дороговизны квартир в других кварталах, которая заставила бы его жить не по средствам, кроме того, что этот дом по своей тишине вполне соответствовал потребностям его трудовой жизни, его привязывало к этой местности еще и то, что здесь впервые заговорила в нем любовь.

Опасаясь легкомыслия Камилла, он до сих пор еще не говорил ему о чудной тайне, наполнявшей его сердце, так что тот решительно не понимал, что именно удерживает его в этом уединенном квартале.

Камилл уже несколько раз встречался с Кармелитой, приходил в неистовый восторг от ее красоты и расспрашивал о ней Коломбо. Она все еще носила траур по матери и это особенно интересовало его.

— У нее умерла мать,— отвечал Коломбо сухо.— Надеюсь, что хоть горе заставит тебя не нарушать ее покоя.

Камилл как бы покорился и больше не заговаривал об этой девушке.

Но однажды, возвратясь из Парижа, как он выражался, он бросился в кресло, закурил сигару и объявил:

— А я был в Люксембургском саду!

— И отлично! — ответил Коломбо.

— И встретил нашу соседку.

— Где это?

— Я шел домой, а она уходила.

Коломбо промолчал.

— У нее был в руках какой-то сверток.

— Что ж в этом интересного?

— Да ты подожди...

— Ну, я жду.

— Я спросил у консьержки, что она понесла.

— Это зачем?

— Затем, чтобы знать.

— А!..

— Она сказала, что то были рубашки

Коломбо опять промолчал.

— А знаешь, для кого были эти рубашки?

— По всей вероятности, для какого-нибудь магазина.

— Ну, нет, для госпиталей и монастырей.

— Бедная девушка! — прошептал Коломбо.

— Тогда я спросил Марию-Анну...

— Это еще кто такая?

— Да кто же, как не консьержка! Разве ты до сих пор не знал, что ее зовут Марией-Анной?

— Нет.

— Чудак! Три года живет в доме и ничего не знает!

Коломбо сделал такие движения глазами, плечами и ртом, будто хотел сказать:

— А что мне до того, что консьержку зовут Марией-Анной или как-нибудь иначе?

— Впрочем, это в твоём характере, да и не в том теперь дело,— продолжал Камилл.— Я спросил еще у Марии-Анны, сколько может заработать эта девушка на рубашках для больниц и монастырей, и знаешь, что она мне ответила?

— Нет, но, наверно, очень мало.

— По франку за рубашку.

— Боже мой!

— Ну, а как ты думаешь, сколько времени употребляет она на то, чтобы сшить одну такую рубашку?

— Почему же я знаю?

— И то правда! Я забыл, что ты не любопытен! На то, чтобы сшить рубашку, требуется целый день работы и при том работы каторжной, с шести часов утра до десяти вечера, а если ей захочется заработать еще тридцать су, т. е. ровно столько, чтобы порядочно поесть, то приходится посидеть и ночь.

На лбу у Коломбо выступили крупные капли пота.

— Не правда ли, ведь это просто ужасно? — продолжал Камилл.— Да отвечай же ты, гранитное твое сердце! Разве это возможно, чтобы прекрасные создания божьи должны были вести жизнь рабочего животного?

— Ты совершенно прав, Камилл,— ответил Коломбо, почти настолько же тронутый добротой своего друга, сколько и несчастьем бедной девушки.— Я даже очень рад, что ты так хорошо понял положение несчастных трудящихся женщин, этих святых, искупающих перед Богом ленность других людей.

— Отлично! Ты это на мой счет прогулялся?? Спасибо!.. Ну, да, впрочем, все равно! Я и сам с тобой совершенно согласен... Это действительно — безобразие! Женщина... женщина, которую Бог создал для счастья человека, для рождения, кормления, воспитания детей... Это чудное существо, состоящее из лепестков розы, аромата всех цветов и капель росы... Это богиня, одна улыбка которой для человека все равно, что луч солнца для природы... И вдруг она наемница монастырей и больниц, и шьет на них рубашки, да еще за один франк в день! За вычетом воскресений и праздников, это не составляет и трехсот франков в год... Значит, чтобы остаться в квартире, в которой жила ее мать, твоя соседка Кармелита... А ты знал, что ее зовут Кармелитой?

— Да, знал.

— Она платит домовладельцу полтораста франков, так что на стол, одежду, отопление и освещение ей

остаётся тоже полтораста франков в год или сорок сантимов в день. Если же ей понадобится что-нибудь сверх того, она должна просиживать за работой и ночи, что принесет ей, может быть, еще франков пятьдесят. И подумать только, что это такое же существо, как и я! Да еще гораздо лучше меня! И вдруг именно оно осуждено на такие мучения! Но ведь в человечестве справедливости нет и, чтобы изменить это, нужно сделать революцию.

— Кажется, она получает еще франков триста пенсионера.

— А! Неужели! Значит триста франков пенсионера и полтораста заработанных собственным трудом! И это кажется тебе достаточным, тебе, который получает тысячу двести ливров в год. О, господин филантроп! Вы находите, что четырехсот пятидесяти франков на триста шестьдесят пять и даже триста шестьдесят шесть дней в года высокосные достаточно на квартиру, одежду, завтрак, обед и ужин; но, несчастный! Знаешь ли ты, что если бы правительство вынуждено было бы кормить растения, то стоимость кислорода и углекислоты, которые оно издерживало на каждое из них, была бы гораздо выше этой суммы?

— Это верно,— согласился бретонец, который до сих пор никогда не вдумывался в бедственное положение девушки до таких мелочей.— Это верно и чрезвычайно грустно. Я просто не понимаю, как она может сводить концы с концами!

— Не понимаешь! — вскричал Камилл в восторге, что на этот раз оказывался впереди Коломбо.— Не понимаешь! Ну, так я скажу тебе, в чем дело: она работает каждую ночь до трех часов.

— Тебе сказала об этом консьержка?

— Нет, не консьержка. Я сам видел.

— Ты, Камилл?

— Да, я самый,— Камилл де Розан, креол из Луизианы, видел это своими собственными глазами.

— Когда же?

— Да вчера... третьего дня... и все предыдущие ночи...

— Но как же ты видел?

— Думаю, что она не настолько богата, чтобы жечь лампу или свечку, когда она спит, и раз у нее в комнате светло, то ясно, что она еще не ложилась. Ну, а в ее комнате свеча или лампа горит каждый день, или, вернее, ночь, до трех часов.

— Да ведь сам-то ты никогда не засиживаешься до этого часа, так как же это ты видел?

— Это я-то не засиживаюсь? Вот и ошибаешься. Например, третьего дня была опера, не так ли?

— Да, кажется... Я ведь не знаю.

— О, изверг! Он не знает, по каким дням бывает опера! По понедельникам, по средам и по пятницам, дикарь ты этакий! Третьего дня был понедельник, а следовательно, шла опера.

— Ну, хорошо.

— Да хорошо это или худо, а это было так. И вот, идя из оперы, я встретил одного школьного товарища.

— Нашего?

— А то чьего же?

— Кого это?

— Людовика.

— А! Право, славные люди встречались в нашей школе! Просто удивительно, как скоро мы теряем друг друга из вида.

— Ради Бога, не говори об этом! Просто грустно становится, как об этом задумываешься!

— А что он подельвает?

— Занимается медициной. Ведь вы все помешаны на том, чтобы чем-нибудь заниматься.

— Да, и один только ты...

— А! Я так этого и ждал. Ну, теперь ты меня царапнул — и будь доволен! Да, так вот Людовик занимается медициной.

— И, наверно, достигнет больших успехов! Он человек замечательно умный, только, к сожалению, слишком реалист.

— Да, реалист, реалист! Спроси-ка об этом княгиню де Ванвр.

— Так что...

— Да, *ad eventum*... Но оставим эти подробности! Людовик сам придет к тебе. Он живет недалеко, и я дал ему твой адрес.

— Но, болтун ты неисправимый, какое же отношение между Людовиком и...

— И Кармелитой?

— Да, да!

— А вот подожди... слушай дальше. Удивительное это у тебя непонимание развития событий! Кажется, будь ты Тезеем, то перебил бы даже рассказ Терамены на десятом стихе! Да, черт возьми! Если у отца съедает

сына чудовище, то ему очень полезно знать, какое оно именно было, потому что, если чудовище было красивое, у него останется хоть то утешение, что он может говорить себе: «Сына моего поглотило чудовище, но чудовище, которое его поглотило, было чудовище красивое»!

— Ты еще помнишь, что я тебя слушаю!

— Еще бы! Ведь в этом и состоит твоя обязанность! Но мне жаль тебя, и я сокращаю. Ты спрашиваешь, какое отношение существует между Людовиком и Кармелитой? Хорошо, я скажу тебе, какое. Итак, я встретил Людовика, выходя из Оперы...

— Да знаю, знаю!

— Хорошо, я повторяю. Ну, ты сам, вероятно, понимаешь, что невозможно встретить школьного товарища после трехлетней разлуки и не почувствовать потребности рассказать ему все, что пережил за это время и сам и не засыпать его вопросами. Это подробность, которую необходимо привести.

— Это опять подробность?

— Да. А тебе она не понравится, потому что должна будет устыдить тебя.

— В чем же дело?

— А в том, что ты заставил меня третьего дня проголодаться.

— Я?

— Да, и это в понедельник! Правда, что ты и сам этого не знал, а потому я тебя за это и не упрекаю, а просто только рассказываю тебе, что в понедельник ты посадил меня на пищу Св. Антония, так как заказал поросенка, а нам подали яиц вкрутую, какой-то метаморфозы ты, по свойственной тебе рассеянности, вовсе не заметил, а я, между тем, был голоден и нашел необходимым подкрепить свои угасавшие силы крылышком цыпленка в присутствии Людовика. Право не знаю, был ли цыпленок предлогом для разговора или, наоборот, разговор был предлогом для того, чтобы съесть цыпленка, но должен констатировать только то, что разговор тянулся гораздо дольше, чем цыпленок, так что я пришел домой около трех часов. Взглянув на небо, скорее, от нечего делать, чем из желания узнать, какая будет на утро погода, я заметил сквозь штору нашей соседки тусклый свет рабочей лампы, а сегодня, когда встретил ее со свертком, то единственно из чувства человеколюбия расспросил о ней Марию-Анну. Все то, что Мария-

Анна мне сказала, тебе уже известно. Бедная девушка!

— Да, действительно! — подтвердил Коломбо. — Она даже несчастнее, чем ты думаешь, Камилл. После смерти матери у нее не осталось ни одного родственника на всем свете.

— Это просто ужасно! — вскричал Камилл. — И как это ты живешь с ней бок о бок чуть не целый год и не побеспокоился даже познакомиться с нею!

— Нет, познакомился! — со вздохом возразил бретонец. — Даже несколько раз разговаривал с нею.

Очень может быть, что в эту минуту Коломбо рассказал бы Камиллу все, если бы тот вдруг не отпустил одну из тех фраз, которые всегда заставляли Коломбо держаться настороже.

— А, скрытный бретонец! — вскричал он. — Ты уже разговаривал с нею, а мне даже не намекнул об этом разговоре! Так ты, значит, начинаешь изменять той правде, из которой твои предки сделали себе привилегию на том основании, что головы у них тупые, а лбы крепкие! Да, впрочем, и то сказать — твоя скромность относительно княгини де Ванвр должна была навести меня на кое-какое раздумье! Ну, так я помирюсь с тобой после этого только с одним условием, чтобы ты рассказал мне всю эту пастораль до мельчайших подробностей, не исключая и риторических украшений. Я совсем не ты и люблю рассказы длинные! Закуриваю сигару и слушаю! Начинай, Коломбо! Ведь ты рассказывать мастер.

— Да могу тебя уверить, что в нашем разговоре ничего для тебя интересного не было, — возразил смущенный Коломбо.

— А, попался, мой скромнейший!

— Это как?

— Очень просто. Если ты уверяешь, что в нашем разговоре не было ничего интересного для меня, то этим самым даешь мне понять, что в нем была бездна интересного для самого себя. Теперь мне остается только попросить тебя как можно точнее и подробнее описать мне, какое значение имел этот разговор для твоего ума, сердца и воображения. Одним словом, по поводу Кармелиты я говорю тебе то же, что говорил по поводу княгини де Ванвр, хотя, — будь в этом уверен, — мне никогда не приходило даже в голову ставить нашу соседку в один разряд с нею. Скажи откровенно: эта красавица девушка, которая проводит ночи за шитьем рубашек для монасты-

рей и больниц, интересуется тебя или нет? Ответь мне, Коломбо.

Коломбо, увидя себя припертым к стене, положил руку на колено Камилла и кротко и серьезно проговорил:

— Послушай, Камилл,— я расскажу тебе все, как было; но, ради Бога, не относись к моей откровенности с твоим обыкновенным легкомыслием и сохрани ее так, как сохранил бы я сам, если бы не думал, что утаить от тебя хотя бы сокровеннейший уголок моего сердца значит согрешить против нашей дружбы.

После этого вступления он рассказал Камиллу все то же, что уже рассказывал брату Доминику.

— А что сказал тебе на это монах? — спросил Камилл, когда Коломбо окончил и замолк.

Бретонец рассказал ему и это.

— Вот это чудесно! Наконец, монах совсем в моем вкусе! Если бы я был даже родным его сыном, то не пожелал бы лучшего отца! Этот брат Доминик не мог сделать ничего умнее, как ободрить тебя, хотя, откровенно говоря, ты, кажется, ни в каких ободрениях не нуждаешься. Мне всегда казалось, что подкладывать огонь в пылающую паклю — дело совершенно праздное. Единственно, что меня беспокоит, так это то, что я не догадался об этом сам, даже хотя бы по тем наивным причинам, которыми ты оправдывал свое нежелание переселиться из этого квартала. Однако ты хорошо сделал, что предупредил меня, а то я собирался с завтрашнего дня начать кампанию. Но теперь этому не бывать! Возлюбленная моего друга все равно, что жена Цезаря: на нее не должно падать даже подозрение! Положись теперь вполне на мою скромность и скажи мне, что ты намерен делать. Мне кажется, что твое поведение идет как раз в противоположном направлении с твоей страстью. Ты боготворишь, но вперед не подвигаешься.

— А что ты называешь движением вперед? — почти со страхом спросил Коломбо.

— Очень просто! Я называю отступлением все то, что не есть наступление и, между прочим, и то, как ты ведешь себя уже целый месяц со времени моего приезда. Ах, что пришло мне в голову! Ах, я дурак, ах, животное, ах, птица бесперая! Да ведь это мое собственное присутствие тебя стесняло! Я завтра же переезжаю!

— Камилл, неужели ты говоришь это серьезно? — вскричал Коломбо.

— Разумеется, совершенно серьезно! Я не хочу мешать счастью моего единственного друга.

— Да ты ему несколько не мешаешь.

— Напротив, мешаю самым постыднейшим образом и завтра же поищу себе холостяцкую квартиру.

— Ах, да! Тебе хочется от меня отделаться! Жить со мной тебе надоело, и дружба наша тяготит тебя.

— Но полно, Коломбо, ты начинаешь говорить глупости.

— Так, хорошо же, переселяйся, но и я переселюсь с тобою.

— А! Вот как! Так беги сейчас же к хозяину этого дома и, если мое присутствие тебе не неприятно...

— Ребенок ты! — вскричал добрейший бретонец.

— Да, да, заключу на нас обоих контракт на три, шесть, девять лет... если только, повторяю тебе...

— Камилл,— перебил его Коломбо — я люблю Кармелиту, люблю всеми силами души; но если бы ты сказал мне: «Коломбо, все мои американские владения сгорели, я разорен, мне надо начинать жизнь сначала, но ты видишь, я слаб и мне нужна твоя помощь, сильный сын старой Бретани»,— я сейчас же уехал бы без горя, без сожаления, без вздоха, даже без оглядки на ту половину моей жизни, которую оставил бы здесь за собою.

— Я сам уверен, что ты это сделал бы.

Коломбо грустно улыбнулся.

— Разумеется, сделал бы! — подтвердил он.

— Хорошо. Но скажи мне, к чему поведет тебя твоя любовь теперь?

— По всей вероятности, к женитьбе.

— О! Жениться на девочке, которая шьет рубашки для монастыря и лазаретов! Тебе, виконту де Пеноель, потомку Роберта Сильного...

— Она дочь офицера. Отец ее был капитаном в Почетном Легионе.

— Да, из военного дворянства. Ну, да все равно! Если тебе это нравится, и отец твой ничего против этого не имеет, так и возражать тут нечего.

— Отец мой согласится на все ради счастья единственного своего сына.

— Так отчего же ты теперь же не начинаешь переговоров?

— Да, во-первых, я еще не знаю, любит ли меня Кармелита.

— Кроме того, тебе хочется прежде чем вступить на

тернистую стезю, называемую браком, насладиться свободным воздухом любви. Отлично! Я вполне понимаю такую утонченность! Но скажи, пожалуйста, ведь не будешь же ты тянуть этого дела до тех пор, пока несчастная девушка погубит себе зрение?

— А что же мне делать, Камилл? Разве я достаточно богат, чтобы помогать ей? Да будь я даже миллионером — еще вопрос, согласилась бы она под каким бы то ни было видом принять от меня помощь.

— Ну, помощи она, может быть, и не примет, но от работы, верно, не откажется.

— Да какую я найду ей работу?

— О, как ты наивен, мой милый!

— Да говори скорее, как — тут ведь дело не во мне!

— Один из моих друзей в колонии поручил мне выслать ему шесть дюжин рубашек, — половину из голландского полотна, половину из батиста. На этих днях я купил все материалы, и их принесут сюда сегодня вечером или завтра утром. Друг, который дал мне это поручение, назначил приблизительную цену на рубашки, — франков по двадцати пяти каждая. На мужскую же рубашку идет три метра двадцать пять сантиметров полотна, что стоит шестнадцать франков двадцать пять сантимов. Значит, восемь франков двадцать пять сантимов остаются за работу. Ну, так вот мы и передадим это дело нашей соседке, так что вместо одного франка за рубашку она станет получать восемь. Понял?

— Нет, она наперно не согласится! — заметил Колombo, покачав головою.

— Это почему?

— Потому что она подумает, будто это только выдумка, чтобы помочь ей. Она ведь знает цену работе, и когда мы заговорим о сказочной сумме, которую ты предлагаешь, она откажется.

— Ах, какой ты упрямый и мнительный бретонец! Да с чего ж станет она отказываться от платы, которую с меня берут в любом магазине? Я покажу ей мой счет.

— Да, в таком случае, это дело, может быть, уладится, и я очень тебе благодарен за то, что ты его придумал.

— Ну, так и переговори с ней сегодня вечером.

— Хорошо, я подумаю.

— При этом подумай также, что шитье рубашек не дает положения в свете. Я ведь уж многое знаю из дела.

Может быть, она станет смеяться надо мною, но я многое видел, хоть и не внимательно смотрю. Я знаю, что близко то время, когда машина будет делать в один день столько, сколько сотне швей не сделать в неделю. Взгляни хоть на индийские кашемиры и шали. Для того чтобы соткать одну шаль, над нею трудится вся деревня в течение полугода, тогда как лионские ткачи выделывают ее всего в один день. Следовательно, для Кармелиты необходимо приискать такое занятие, которое, в случае если граф де Пеноель не позволит своему сыну жениться на белошвейке, могло бы гарантировать ее существование.

Коломбо смотрел на Камилла со слезами на глазах.

— Я никогда не видел тебя таким серьезным, добрым и рассудительным,— сказал он.— Благодарю тебя, потому что знаю, что тебя воодушевляет наша дружба.

Но Камилл как бы не обратил на эти ласковые слова ни малейшего внимания.

— Ты, кажется, говорил мне, что она любит музыку? — продолжал он.

— Страшно любит! И даже, кажется, сама недурно играет.

— Ты слышал, как она поет или играет?

— Нет, никогда. У бедняжки нет инструмента.

— Ну, так надо завести.

— Это каким же образом?

— Я еще и сам не знаю, но говорю тебе, что инструмент у нее будет.

— Вот ты и всегда так, Камилл,— сейчас же заходишь слишком далеко.

— Нет, на этот раз, чтобы доставить ей инструмент, я не только не пойду далеко, но даже не встану с места: мы отдадим ей твой.

— Как это мой?

— Очень просто.

— Да ведь это какие-то цимбалы.

— Вот именно поэтому его и следует отдать.

— Как, ей — такую дрянь! Ну, что это?!

— О, до чего ты глуп, мой милый!

— Мерси!

— Ну, прости, это только дружеское замечание... Но, да пойми же ты, наконец!.. Я тебе тысячу раз повторял, что терпеть не могу твой инструмент и что он для меня слишком высок... А какой у нее голос?

— Контральто.

— Ну и отлично! У тебя баритон,— мы переменим

твой инструмент. Я отложу пятьсот франков, и у тебя будет чудеснейший рояль. Это ведь не дождевой зонтик, и им очень свободно могут пользоваться двое и даже трое.

— Но, Камилл...

— Да это уже сделано,— рояль куплен и завтра его принесут сюда.

— Ведь ты врешь, Камилл?

— Нет, не вру,— это именно так и есть, как я имел честь тебе доложить. Я хотел устроить тебе этот сюрприз к твоим именинам; однако так как они уже прошли, то я отложил его до дня твоего рожденья; но так как рожденье твое не наступило, а мне все-таки надоело возиться с инструментом, который для меня слишком высок, то я и сделаю тебе этот подарок завтра, т. е. ко дню рождения твоего отца, дяди, тетки или кого-нибудь из кузенов... Ну, да, черт возьми! Ведь мог же кто-нибудь из твоих родных родиться завтра.

— О, Камилл! — вскричал до слез тронутый бретонец.— Благодарю, благодарю тебя!

IX

ЖЕМЧУЖИНА ПАРИЖА

Камилл вскоре в точности исполнил все, что задумал и обещал Коломбо.

Кармелита, просмотрев счета молодого щеголя, не отказалась принять плату, которую он ей предлагал за рубашки своего заатлантического друга, и с этого дня в ее квартире появились некоторые признаки достатка. Относительно же инструмента она сдалась не так легко, но по настояниям Коломбо, к которому чувствовала дружеское уважение, наконец, согласилась.

Она пошла даже еще дальше и стала по очереди брать уроки пения то у Коломбо, то у Камилла.

Кармелита легко и бегло разбирала ноты с первого взгляда; туше* у нее был правильный, приятный; но ее невежество в музыке почти равнялось ее невежеству в любви.

Она играла, вовсе не понимая ни смысла, ни достоин-

* Туше — свойственная каждому пианисту манера удара по фортепьянному клавишу, придающая оттенок извлекаемому звуку.

ства исполняемой вещи, что вообще составляет громадный недостаток музыкального образования наших молодых девушек, учившихся в пансионах.

Несмотря на все свои музыкальные способности, Кармелита знала только музыку третьестепенную, а о прелестях музыки настоящей, серьезной не имела ни малейшего представления. Зато с первого же объяснения своих учителей по этому поводу она принялась за исправление этого пробела с горячим увлечением. Для нее это казалось целым откровением.

Но между ее учителями скоро завязалась борьба.

Коломбо, серьезный и вдумчивый, как немец, да еще сверх того и ученик Мюллера, находил осуществление всех своих идей и мыслей в музыке немецкой.

Но Камилл, живой и легкомысленный, как неаполитанец, признавал музыку только итальянскую.

В их музыкальных вкусах сказывалась та же разница, которая существовала и в их характерах.

Вследствие этого относительно музыкального образования Кармелиты между ними возникали частые споры.

— Немецкая музыка заставляет все человеческие страсти перелиться в звуки,— говорил Коломбо.

— А музыка итальянская — это мечта, принявшая осязательные формы,— кричал Камилл.

— Немецкая музыка глубока и печальна, как Рейн, текущий между сумрачными елями и скалами,— говорил Коломбо.

— А музыка итальянская весела и эфирна, как Средиземное море, ласкающееся к берегу, поросшему розами, миртами и лаврами,— противопоставлял ему Камилл.

Такого рода стычки, вероятно, продолжались бы до бесконечности, если бы благоразумный бретонец не предложил некоторого рода сделку.

Он устроил так, что Кармелита изучала попеременно то Бетховена, то Чимарозу, то Моцарта, то Россини, то Вебера, то Беллини.

Эти два пути были, разумеется, различны, но, в конце концов, вели к одной и той же цели.

Через три месяца Кармелита уже с замечательным мастерством пела со своими учителями трио.

С этого дня в дом ее вступило счастье, как три месяца тому назад в нем появилось благосостояние.

Почти каждый вечер молодые люди сходились в гостиной Кармелиты, в которой находчивый Камилл велел однажды во время ее отсутствия переменить обои,

чтобы хоть несколько отогнать от нее воспоминание о том, что здесь умерла ее мать. Обыкновенно они приходили часов в семь и засиживались до двенадцати, и удивиться не могли, как скоро проходит время.

Коломбо, у которого был прекрасный баритон, с замечательным пониманием пел вещи то Моцарта или Вебера, то Мегюля или Грэтри.

У Камилла был тенор — чистый, звонкий, нежный и свежий, как у серафима, когда он пел арию Иосифа:

«Поля родные! Хеврона мирная долина!» —

в выражении его было столько глубокой нежности, что ни Коломбо, ни Кармелита не могли слушать его без слез.

До сих пор Кармелита никак не решалась петь одна и даже дуэты пела застенчиво.

Голос у нее был поразительно сильный. В некоторых минорных пассажах из этого почти детского рта выходили звуки, подобные трубе в оркестре, играющем похоронный марш. В других местах этот голос звучал, как перебивы виолончели. По временам же он доходил до нежности флейты и мечтательной тоскливости золотой арфы.

Друзья слушали ее всегда с восторгом, и Камилл, который прежде не пропускал ни одного представления в опере, перестал там бывать с тех самых пор, как в первый раз услышал свою ученицу, которую прозвал «*La gemma di Parigi*», т. е. жемчужиной Парижа.

Обоих учителей удивляли поразительные быстрые успехи, которые делала Кармелита с каждым днем.

В один вечер она вдруг пропела им всю партитуру Дон Жуана, которую они принесли ей только накануне. Память ее была поистине уникальная! Стоило ей прослушать вещь только один-единственный раз, и, четверть часа спустя, она повторяла ее целиком с безукоризненной точностью.

У Коломбо была целая библиотека немецких композиторов, но через несколько месяцев Кармелита знала ее всю наизусть. Тогда Камилл взялся быть поставщиком нот для юного филармонического общества и перерыл все магазины, разыскивая своих любимых авторов, творения которых Коломбо презрительно называл латинской тряпней.

Кармелита с жадностью изучала все, что попадалось под руку, и так как пение всегда связывалось у ней с игрой, то скоро из нее вышла не только прекрасная певица, но еще и замечательно талантливая пианистка.

В течение всего вечера они поочередно пели или слушали друг друга. Но после каждой вещи Камилл делал свои замечания и выходки его были, по большей части, так забавны, что вызывали неудержимый хохот. Иногда он принимался рассказывать какое-нибудь приключение из своих путешествий, но передавал свои похождения в самой скромной и целомудренной форме.

Коломбо чрезвычайно поражало то обстоятельство, что этот легкомысленный человек, который в разговорах с ним ясно доказывал, что побывал в Италии, Греции, Малой Азии и в Египте, как перелетная птица, ничего не видя, не понимая и не помня, рассказывая о тех же странах Кармелите, оказывался и ученым, и художником, и поэтом. Он говорил то о своих розысках среди руин, то о прогулках по берегам озер в светлые лунные ночи, то о бивуаках среди безбрежных пустынь или среди девственных лесов. В эти минуты он становился совершенно другим человеком. В нем вдруг появлялись и увлечение, и страсть, и красноречие, и откровенность.

Коломбо был буквально ослеплен этой переменной. Приятель, которого он знал столько лет, вдруг являлся перед ним в совершенно ином свете. Это был вовсе не легкомысленный и ветреный мальчишка, а чрезвычайно обаятельный и окончательно сложившийся мужчина, в котором с поразительным изяществом сочетался лоск светского человека с капризным авантюризмом художника.

Кто же совершил это чудо? Коломбо этого не знал, да и никогда не задавал себе этого вопроса.

А, между тем, причина этой перемены была почти очевидна.

Случалось ли вам видеть павлина, когда он одиноко расхаживает по гребню крыши? Он, бесспорно, красив и тогда, но сколько апатии и уныния во всей его фигуре! Но стоит ему хотя бы издали завидеть паву, он мгновенно преобразается и красиво распускает свой цветистый хвост.

Точно так же сверкал цветами своих знаний, красноречия и поэзии и Камилл перед Кармелитой.

Проживи он с Коломбо хоть сотню лет, то ради одной дружбы никогда не дал бы себе труда развернуть все свои способности и достоинства сразу.

Но тому незримому божку, который парит над головой каждой молодой девушки, Камилл был готов прино-

сить всевозможные жертвы из сокровищниц своей памяти, воображения и находчивости.

С двумя старыми друзьями случается то же, что с мужем и женою. Они вовсе не находят нужным стараться нравиться друг другу. Но стоит появиться между ними третьему лицу, — и разговор оживляется, точно между двумя немymi, к которым вдруг возвратилась способность говорить.

Но честный Коломбо приписывал странность перемены, произошедшей в Камилле, единственно капризному и неровному характеру своего юного любимца.

Что касается Кармелиты, которая провела детство и юность в строгом институте Сен-Дени, потом сделалась сиделкой больной матери и, наконец, пережила ее потерю, то тоска и скука были безысходным гнетом ее жизни, а серьезный бретонец, сам того не замечая, да незаметно и для молодой девушки, только продолжал те серьезные уроки, которые она заучивала в институте.

И если бы теперь кто-нибудь задал ее сердцу откровенный вопрос, кто из этих двоих молодых людей нравится ей больше, она, наверно, инстинктивно, по естественному влечению, не задумываясь, указала бы на Коломбо.

Его серьезный характер не только не отталкивал, но, напротив, привлекал ее, а суждения их о предметах были всегда почти одинаковы.

Личность же Камилла была яркой противоположностью ее собственной. Его живость тревожила ее; его легкомыслие ее возмущало; она была способна бранить его, как бранит младшего школьника — брата старшая сестра; потому, что ее твердый, решительный характер позволял ей оказывать на Камилла то же влияние, какое имел на него еще со школьной скамьи Коломбо. Она относилась к нему скорее со снисходительностью, которую испытывают к детям, чем с нежностью, которую способен внушить молодой человек.

Если она сидела и работала или просто хотела быть одна, а в это время входил Камилл, она, несколько не стесняясь, говорила ему:

— Ступайте, Камилл, вы мне мешаете.

Никогда не позволила бы она себе сказать что-нибудь подобное Коломбо.

Впрочем, он никогда и не стеснял ее.

Но, в конце концов, вышло то, что Кармелита стала сама сбиваться в своих собственных чувствах, — стала принимать фамильярность, установившуюся между нею

и Камиллом, за привязанность, а почтительную и серьезную любовь, которая жила в ее сердце к Коломбо, за страх.

Казалось, что Коломбо удерживает ее, а Камилл увлекает.

Коломбо любил ее, а Камилл соблазнял.

Ребенок понимает жизнь не иначе, как бесконечную гирлянду цветов, среди которых самый яркий и есть самый лучший. Молодой же девушке любовь представляется землей обетованной, среди которой она будет обрывать цветки венка своих девических мечтаний.

Жизнь с Коломбо была бы ежедневным разумным трудом, жизнь же с Камиллом непрерывным странствованием в странах, изукрашенных всеми творениями фантазии.

Если Кармелите хотелось разучить какую-нибудь арию, о которой говорили вечером, Коломбо говорил ей:

— Хорошо, я доставлю вам ноты завтра же.

Но Камилл, любивший исполнять чужие желания с такой же живостью, как и свои собственные, тотчас же вскакивал и, хотя бы была полночь, хотя бы шел дождь, магазины были заперты, а книгопродавцы спали, летел к магазину, стучал до тех пор, пока ему не отопрут, платил за беспокойство тройные деньги и возвращался с нотами.

Один раз, когда они втроем гуляли в Люксембургском саду, Кармелита как-то совершенно вскользь выразила желание иметь несколько цветков розового каштанника.

— У меня есть один знакомый садовник. Когда вернемся домой, я схожу к нему и принесу вам их хоть целую охапку, — сказал Коломбо.

Но Камилл, ловкий и легкий, как мотылек, не обращая внимания на замечание Коломбо, что они в общественном саду, в несколько секунд очутился на дереве, отломил целую ветку, усыпанную цветами, и с торжеством возвратился на дорожку так, что его не заметил ни один из сторожей.

Вообще, если бы на руку Камилла взглянул хиромант, то, вероятно, был бы поражен прямизной и чистой линии счастья на его ладони. Это было, действительно, поразительное сочетание везения и смелости.

Эта и ей подобные выходки очень располагали Кармелиту в пользу Камилла и даже заставляли ее восхищаться им.

Даже Коломбо заметил, наконец, ту симпатию, которую креол вызывал у Кармелиты.

— Что ж? Это очень естественно,— думал он, сначала совершенно спокойно,— он хорош собой, изящен, блестящ, а я... Что во мне? Одна тоска да сила.

Но мало-помалу лицо его начинало омрачаться, в сердце зародилась боль.

— Господи,— думал он,— зачем сделал ты меня в двадцать лет серьезным и строгим, подобно старику? Что за скучным супругом буду я для семнадцатилетней девушки, все вкусы которой будут крайней противоположностью с моими! А между тем, все доказывает мне, что я мог бы составить счастье Кармелиты и что у меня хватило бы на это и воли, и силы, и умения.

Он смотрел на эту веселую пару, и ему начинало казаться, что окружавшие их ореолы счастья и молодости начинают сливаться в один ореол любви.

Он грустно покачивал головою, бледнел и держался в тени, а Камилл и Кармелита, залитые светом, продолжали веселую и беспечную болтовню.

— Напрасно обманываешь себя,— продолжал размышлять бретонец,— они любят друг друга! Да, это и естественно,— они точно созданы именно один для другого... А я мечтал о совсем другой будущности для этой девушки!.. Милая Кармелита!.. Я сделал бы из нее знатную и гордую графиню, а Камилл устроит ее лучше, чем я,— он сделает ее счастливой женщиной...

С этого времени Коломбо, несмотря на все терзания тоски и ревности, решил устраниваться и уступить Камиллу сокровище, которое берег для себя с такой тайной любовью.

В один вечер Камилл и Кармелита с особенным увлечением пели страстные дуэты, низко наклоняясь друг к другу. Когда пение окончилось и молодые люди пошли к себе, Коломбо положил руку на плечо Камилла.

— Камилл, ты любишь Кармелиту? — проговорил он.

На глазах его стояли слезы, грудь бурно вздымалась.

— Я? — вскричал Камилл и вспыхнул.— Да клянусь тебе...

— Не клянись и выслушай меня,— продолжал Коломбо.— Может быть, ты еще и сам не сознаешь своей любви, но она уже есть в тебе.

— Но Кармелита?..— проговорил Камилл.

— Я ее об этом не спрашивал,— перебил его Коломбо.— Да и к чему это? Я ведь и так вижу ее сердце. От-

ношу к вашей чести, что боролись вы оба долго, но влекло вас друг к другу против вашей собственной воли... Ну, так вот что я предлагаю...

— Нет, нет, Коломбо! — вскричал Камилл, — лучше дай мне сначала высказать мой проект. Уж слишком давно я только все получаю от тебя, ничего тебе не давая, пользуясь твоей преданностью безвозмездно! Может быть, ты и прав. Да, я признаюсь, что способен полюбить Кармелиту и изменить нашей дружбе с тобой. Но, клянусь тебе, Коломбо, до сих пор я не говорил ей об этой любви ни одного слова, и до этой минуты, когда ты сам заговорил о ней, я не признавался в ней даже самому себе... Это первая вина, которую я сделал в отношении тебя. Но, повторяю тебе, я сам не замечал этого, не сознавал, как, спускаясь по склону дружбы, дошел до страстной любви. Ты заметил это раньше меня и — благодарю тебя, — ты сам сказал мне об этом, — тем лучше! Время еще не ушло! Да, да, мой честный Коломбо, я был готов полюбить Кармелиту, но теперь эта любовь наводит на меня такой ужас, будто Кармелита жена моего родного брата. Слушая тебя, я заглянул в мое собственное сердце, увидел разверзающуюся там пропасть и решил завтра же уехать.

— Камилл!

— Да, я уеду! Я поставлю между собою и своей страстью непреодолимую преграду, уеду за море и поселюсь в Шотландии или в Англии, оставлю и Париж, и Кармелиту, и даже тебя самого.

Он зарыдал и бросился на диван.

Коломбо стоял перед ним молчаливый и твердый, как скалы его родины, о которые уже шесть тысяч лет бесплодно хлещут морские волны.

— Благодарю тебя за твое великодушное намерение, — заговорил он наконец. — Я нахожу это величайшей жертвой, какую ты только мог мне принести. Но теперь это уже слишком поздно, Камилл.

— Как поздно? — с удивлением спросил креол, поднимая свое залитое слезами лицо.

— Да, слишком поздно! — повторил Коломбо. — Если бы у меня даже и хватило эгоизма воспользоваться твоей жертвой, то разве возможно теперь вырвать из сердца Кармелиты любовь к тебе?

— Так и Кармелита любит меня? Ты в этом уверен? — вскричал Камилл, мгновенно вскакивая на ноги.

Коломбо пристально смотрел ему в лицо, которое вдруг высохло, как под лучами тропического солнца.

— Да, она любит тебя! — проговорил он.

Камилл только теперь понял, сколько эгоизма было в этом взрыве радости, который вспыхнул в его душе и показался в глазах.

— Я уеду! — решительно повторил он. — С глаз долой — из сердца вон.

— Нет, вы не расстанетесь, — ответил Коломбо, — или, вернее, я не разлучу вас. Пойми, что я был бы просто подлецом, если бы не смог победить в себе любовь, которая могла бы сделать несчастными моего брата и мою сестру.

— Коломбо! Коломбо! — почти кричал креол, видя муку, которую старался скрыть бретонец, и пытаясь прекратить ее.

— Не волнуйся обо мне, Камилл. Скоро наступят каникулы, я и уеду.

— Никогда!

— Я уеду, и это так же верно, как и то, что я теперь говорю с тобою. Но обещай мне только одно, Камилл, — прибавил он заметно дрогнувшим голосом.

— Что же именно?

— Обещай, что сделаешь Кармелиту счастливой.

— Коломбо! — вскричал креол и горячо обнял его.

— Поклянись, что станешь уважать ее невинность до самой вашей свадьбы.

— Клянусь тебе в этом перед самим Богом! — торжественно произнес Камилл.

— Ну, вот и хорошо! — сказал Коломбо, утирая глаза.

— Я могу теперь уехать несколькими днями раньше... Пойми, Камилл, — продолжал он заметно глуше, — как бы ни был я силен, но ведь я отрекся от своих надежд еще слишком недавно, и вид вашего счастья все еще составляет для меня нестерпимую муку. Да и, наконец, одно мое присутствие было бы и для вас самих и оскорблением, и помехой... Оно казалось бы вам живым упреком... Так лучше — я уеду завтра, а горе, которое меня гонит, будет иметь хоть ту хорошую сторону, что доставит моему отцу хоть несколько лишних дней счастья.

— Ах, Коломбо! — страстно проговорил креол, снова бросаясь в объятия благородного бретонца. — Ах, Коломбо, какой я жалкий и ничтожный человек по сравнению с тобой! Прости, прости меня за то, что ради меня

ты должен отречься от своего величайшего счастья! Но, вот видишь, мой чудный, мой почтенный друг, когда я говорил тебе, что собираюсь уехать, то я лгал тебе. Я ни за что не уехал бы, а просто хотел застрелиться.

— Несчастный! Сумасшедший! — вздохнул Коломбо. — А вот я так уеду — без малейшей мысли о самоубийстве. Мне даже думать об этом нельзя: у меня есть отец.

Он помолчал и несколько успокоился.

— А между тем,— проговорил он задумчиво,— ты сам поймешь, что за женщину, которую любишь, умереть ведь можно.

— Да. Я даже не понимаю, как можно жить без нее.

— И это совершенно верно. Мне самому приходили в голову такие мысли.

— Тебе, Коломбо? — переспросил Камилл не без ужаса, потому что знал, что для мрачного бретонца слова эти имели совсем иной смысл, чем для него, легкомысленного сына юга.

— Да, мне, мне, Камилл! — ответил Коломбо. — Только ты не беспокойся, не волнуйся...

— Ах, да! Ты ведь сам сказал: у тебя есть отец.

— Да. Но, кроме отца, у меня есть еще вы двое. Вы мои друзья, а мне было бы страшно, что тень моя будет для вас упреком. Ну, а теперь с Богом иди спать. Ты видишь — я спокоен. Теперь мне больше всего на свете хочется поскорее увидеть отца.

Камилл с видимым удовольствием прислушался к этим словам и скоро ушел, оставляя в полном одиночестве Коломбо, который был молчалив, как дерево, лишившееся листвы весной.

— Отец! — проговорил Коломбо в раздумьи. Кажется, было бы гораздо лучше, если бы я никогда с ним не расставался.

Х

ОТЪЕЗД

Коломбо решил, что уедет на следующий день вечером.

Объяснение с Кармелитой было чрезвычайно тягостно.

Она сидела у себя и работала, когда к ней вошли Коломбо с Камиллом.

Все трое как-то странно молчали. Молодые люди с усилием переводили дыхание, но девушка дышала ровно и была спокойна.

Кармелита была удивлена этим странным молчанием и только что собралась спросить, что оно выражает, как Коломбо грустно проговорил:

— Я уезжаю, Кармелита.

Она вздрогнула и быстро подняла голову.

— Как уезжаете?

— Да, нужно ехать.

— Куда же?

— В Бретань.

— В Бретань? Это почему же? Ведь каникулы начнутся только через месяц.

— Так нужно, Кармелита.

Девушка пристально посмотрела ему в лицо.

— Нужно? — повторила она.

Коломбо собрал все свои силы, чтобы произнести ложь, которую задумал еще накануне.

— Этого желает мой отец, — ответил он.

Но губы честного бретонца так привыкли ко лжи, что он скорее пробормотал, чем проговорил эти слова.

— Так вы уезжаете!.. А что же будет со мною!? — сказала девушка грустно и с прелестным эгоизмом.

У Коломбо замерло сердце. Он побледнел, как мертвец.

Камилл, напротив, вспыхнул.

— Ведь вы знаете, Кармелита, — сказал Коломбо — в человеческом языке есть слово, о которое разбиваются все наши надежды и желания, и слово это: надо.

Он произнес эти слова с такой твердостью, будто их проговорила сама судьба.

Кармелита опустила голову.

Оба молодых человека видели, как на работу, бывшую у нее в руках, потекли слезы.

Тогда в душе бретонца поднялась тяжелая борьба. Камилл по лицу его видел, как сильно он страдал. Может быть, он даже не выдержал бы, упал перед Кармелитой на колени и признался ей во всем. Но в это время Камилл положил ему руку на плечо и проговорил:

— Коломбо, милейший друг, ради Бога, не уезжай!

Эти слова вернули Коломбо всю его твердость.

Камилл знал, что делал и какое влияние произведут его слова на сердце друга.

Большого он не сказал потому, что то, чего он хотел, было достигнуто и этими немногими словами.

Вечер прошел грустно.

Только в самую минуту расставания молодые люди заглянули каждый в свое сердце.

Коломбо понял, что любит Кармелиту непреодолимой, страстной любовью. Вырвать эту любовь из своего сердца значило для него все равно, что вырвать и сердце из груди.

Кармелита тоже поняла, как серьезно и сильно любит она Коломбо. Но когда ночью, среди своих девичьих раздумий она стала размышлять о браке, которым, по ее мнению, должны увенчаться все такие отношения, ей вдруг представился вопрос: позволит ли старый гордый граф, чтобы его сын женился на скромной девушке без громкого имени.

Отец ее действительно погиб на поле битвы в чине капитана. Но эпоха Реставрации положила между людьми, служившими Наполеону, и теми, кто служил Людовику XVIII, такую непроходимую пропасть, что даже Кармелите было ясно, что граф де Пеноель едва ли согласится на брак сына с дочерью капитана Жерве.

Прежде всего ей пришло в голову, что отец Коломбо узнал о том, в какой дружбе они живут, и вызвал сына, чтобы положить этому конец. Мысль эта возмутила гордость девушки, и она решила больше ни о чем не спрашивать.

Последние часы перед разлукой прошли еще грустнее. У каждого из троих друзей не раз замирали слова на губах, а на глаза набегали слезы.

Но даже и в эти мучительные часы бретонец ни одним взглядом не выдал душившей его страсти. Он, как молодой спартанец, не переставал улыбаться. Правда только, что улыбка эта была грустная.

Наконец, настал и самый час отъезда. Коломбо дружески поцеловал Кармелиту в побледневшие и влажные губы и ушел вместе с торопившим его Камиллом.

Креол хотел проводить друга до дилижанса.

В зале для пассажиров Коломбо еще раз отвел Камилла в сторону и заставил поклясться, что он станет уважать девушку, которой предстоит быть его женой, до самой их свадьбы.

Камилл с жаром повторил свою клятву, вернулся на улицу Св. Якова и застал Кармелиту в слезах.

Коломбо, уезжая, не сказал, когда вернется и даже вернется ли когда-нибудь. А между тем, она так привыкла к его покровительству, так боялась остаться совершенно

одна в мире, так мало доверяла рассудительности легкомысленного Камилла, что отъезд серьезного бретонца привел ее в истинное отчаяние.

Когда к ней вошел Камилл, она горько плакала.

При звуке его шагов она подняла голову, но только затем, чтобы взглянуть, не вернулся ли Коломбо.

Увидев, что он один, она снова зарыдала.

Камилл несколько минут стоял в дверях молча. Он понял, что был для девушки гораздо менее дорог, чем рассчитывал. Следовательно, нужно говорить с нею теперь не о себе, а о друге, сообразил он.

— Коломбо поручил мне передать вам уверение в его неизменной дружбе,— проговорил он вслух.

— Что это за дружба! — сумрачно возразила она. — Хороша дружба, которую можно и завязывать, и разрывать, как вздумается! Если бы мне пришлось уезжать, я сказала бы об этом своим друзьям заранее, а не отправилась бы так, вдруг, без предупреждения.

Она забыла или делала вид, что забывает слова Коломбо о письме старого графа.

Камилл понял, что происходит в сердце девушки, осознал все выгоды, которые представляет ему такое ее настроение, если он им воспользуется. Но Коломбо мог написать Кармелите, и тогда ложь его обнаружится, а он знал, что девушка эта простит ему все, только не ложь.

На этом основании он решил, что лучше держаться как можно ближе к правде.

— Поверьте, что его могли заставить уехать только чрезвычайно важные причины,— сказал он.

— Да что же это за причины, наконец!? Если он не сказал мне их, так, значит, они для меня оскорбительны.

Камилл промолчал.

— Послушайте, скажите мне, ведь вы знаете? — проговорила Кармелита с заметным нетерпением.

— Не могу, Кармелита.

— Вы должны, Камилл! Вы сделаете это, если хотите, чтобы моя дружба с Коломбо оставалась по-прежнему сильной и искренней. Вы даже не имеете права допускать меня до того, что я стану подозревать вашего друга. Я обвиняю его, и вы должны стать его защитником.

— Я сам все это знаю!.. Но вы все-таки не спрашивайте меня, почему он уехал... Не спрашивайте ради него, вас самих, меня, да ради всех нас.

— А я, напротив, именно и настаиваю на том, чтобы

вы сказали,— вскричала девушка.— Если вы хотите этим молчанием избавить меня от какого-нибудь горя, то все-таки лучше говорите, потому что для меня нет и быть не может горя больше, чем измена друга. Говорите же, хоть во имя честности!

— Вы этого непременно хотите, Кармелита? — спросил Камилл, как бы сдаваясь.

— Я этого требую!

— Хорошо. Он уехал, потому что...

Он остановился, точно был не в силах владеть языком.

— Ну, говорите же, говорите!

— Коломбо уехал, потому что...

— Почему же?

— Ах, как это тяжело сказать! — вскричал Камилл.

— Значит, вы хотите сказать неправду?

— Нет, истинную, чистую правду!

— Так ее всегда можно сказать скоро и смело.

— Коломбо уехал потому, что... я люблю вас! — выговорил он, наконец.

Он имел полное основание остановиться перед словом «я». Он знал, что Кармелита поймет всю силу его эгоизма.

На нее эти слова произвели впечатление неожиданного удара грома. Она посмотрела на него так пристально, что он невольно вспыхнул.

— Камилл, вы лжете,— проговорила девушка.— Коломбо уехал не из-за вас.

Креол поднял голову.

Его обвинили не в том, чего он опасался.

— Нет, единственно из-за меня! — повторил он.

— Но какая связь между Коломбо и вашей любовью ко мне? — спросила она.

— Он боялся, что сам полюбит вас.

— Добрый, чудный человек! — прошептала Кармелита.

Несколько минут она сидела молча, задумавшись, потом обратилась к Камиллу и сказала:

— Оставьте меня одну, друг. Мне хочется плакать и молиться.

Креол почтительно поцеловал ее руку и уронил на нее слезу.

Что вызвало эту слезу? Боль душевная, стыд или раскаяние?

Кармелита этим вопросом не задавалась. Для нее слеза была слезой, жемчужиной, которую горе извлекает из

недр безбрежного океана, называемого сердцем человеческим.

Возвратясь к себе, Камилл с удивлением увидел, что у него светло.

Еще больше удивился он увидев в комнате женщину. То была княгиня де Ванвр. Она услышала, что Коломбо уезжает, и пришла сдать его белье. Но бедняжка опоздала на целую четверть часа. Нести белье обратно домой ей не хотелось, потому она и осталась ждать Камилла. Но тот, вернувшись с проводов друга, пробыл некоторое время у Кармелиты и вошел к себе только в половине одиннадцатого.

Очевидно, возвращаться в такую пору одной было неудобно и даже опасно.

Камилл предложил княгине комнату Коломбо. Она сначала воспротивилась, но, сообразив, что дверь в соседнюю комнату запирается на задвижку, решила остаться.

Осталась ли соседняя дверь заперта или нет — неизвестно.

XI

БУРНАЯ НОЧЬ

Около одиннадцати часов следующего утра Камилл подошел к двери Кармелиты и в раздумье остановился. Он размышлял о трудности, вернее, даже невозможности исполнить дело, которое задумал.

Он хорошо знал Кармелиту, знал, что ее целомудрие непоколебимо. Следовательно, чтобы победить ее, нужно было употребить прием, выходящий из ряда обыкновенных ухаживаний.

Вся сила Камилла заключалась в его поразительной ловкости. Он давно изучал характер Кармелиты, как генерал изучает неприятельский лагерь.

Как же нужно было приступить к делу? Следовало ли, по примеру Малерба, вести правильную осаду, т. е. окружить Кармелиту неотступным ухаживанием или нужно было овладеть ею силой, делая беспрестанные приступы и нападения?

Нет, вся военная наука не привела бы ни к чему!

Победить можно было только неожиданностью, хитростью. Камилл остановился на последнем и решил терпеливо ждать удобного случая.

Он вошел.

Кармелита плохо спала ночь и много плакала. Она приняла Камилла холодно. Подобная встреча входила в расчет Камилла.

С этого дня он начал обуздывать свой веселый и легкий характер и выказал при этом такую силу воли, на которую его даже нельзя было считать способным. Благодаря постоянному наблюдению за собой он стал казаться даже человеком серьезным и положительным.

Цель, которую он при этом преследовал, весьма понятна. Ему хотелось изгладить из сердца Кармелиты последние воспоминания об отсутствующем друге. А для этого было необходимо сначала по возможности заменить его, походить на него даже характером.

Кармелита наивно предполагала, что причиной подобного превращения были частично сожаление об отъезде Коломбо, частично любовь к ней. Ее самолюбие было польщено тем, что молодой человек единственно из надежды понравиться ей перерабатывал свой характер и изменял свои привычки.

Но все это было лишь маской, которую он надел для того, чтобы увлечь девушку. Он любил ее.

Слова эти не имели для него того же значения, какое признавал за ними Коломбо.

Бретонец любил всеми силами души, а Камилл всеми силами своей фантазии, которая на этот раз разыгралась сильнее, чем когда-либо.

До сих пор он встречался только с женщинами, победы над которыми давались легко, и упорство Кармелиты только раздражало его. Чтобы победить ее, он пускал в ход все уловки своего ума и был уверен, что старается победить ее, внемля исключительно голосу сердца.

Если бы Кармелита вместо того, чтобы восхищаться изменением характера, которое приписывала своему влиянию, заставила Камилла остаться при его естественных достоинствах и недостатках, то, может быть, и сделала бы из него, в силу любви его к ней, человека честного и доброго. Между тем, позволяя ему обманывать себя, она поощряла его во лжи и лицемерии.

В результате оказывалось, что Камилл с каждым днем ближе и ближе подходил к своей цели. Его слова: «Коломбо уехал оттого, что я вас люблю» избавили его от всякого признания, а Кармелиту от необходимости ответить.

Коломбо предоставил Камиллу свободу действовать,

следовательно, он этим самым как бы отказывался от Кармелиты.

Оставалось только узнать, могла ли Кармелита полюбить Камилла?

Молодой человек обладал блеском колибри и гибкостью змеи. Он ни разу не сказал девушке: «Хотите быть моей?», но он постоянно повторял: «Когда вы будете моей женой...» Часто и красноречиво рисовал он девушке заманчивые картины жизни вдвоем.

Однажды она ответила ему, улыбаясь:

— Это все мечты, Камилл!

Молодой человек прижал ее к своему сердцу и воскликнул:

— Нет, Кармелита, это действительность!

С этого дня Камилл понял, что девушка в его власти, но продолжал быть почтительным, скромным и серьезным. С Кармелитой нужно было поступать осторожно: малейшая оплошность могла положить конец всем надеждам Камилла. И он терпеливо ждал благоприятного случая.

Один раз вечером они спустились в тот самый сад, где три месяца перед тем Колombo провел с Кармелитой часть ночи.

Вечер был душливый.

Молнии, предсказывавшие страшную грозу, пересекали небо с запада на восток.

Завянувшие цветы и съезжившиеся листья напрасно молили небо о дожде.

Молодые люди испытывали также влияние этой электрической атмосферы. Казалось, жизнь покинула их, и они как цветы, звери и как вся природа вообще, жаждали освежающего дождя.

Камилл, привыкший к тропической жаре своей страны, не потерял сознания и, заметив летаргическое оцепенение и мечтательную сонливость девушки, понял, что так давно ожидаемый момент, наконец, настал.

Как песнь кормилицы убаюкивает обыкновенно ребенка, так и влюбленные речи Камилла усыпляли Кармелиту магнетическим сном, самым глубоким, самым опасным сном, противиться которому невозможно.

Так коршун, постепенно уменьшая круги своего полета, парализует жаворонка, которого наметил.

Так змея околдовывает птицу, заставляя ее спускаться с ветки на ветку прямо в ее открытую пасть.

Не так смотрел Колombo на Кармелиту в ту чудную весеннюю ночь, которую они провели вместе в том же саду

и под теми же кустами сирени. Между обеими ночами и обоими молодыми людьми была такая же разница, как между весной и летом.

Тогда, действительно, свежая, молодая, стыдливая весна едва осмеливалась распуścić свои почки. Теперь могучее и жгучее лето всюду разбрасывало свои цветы.

Тогда была пора детства с его нерешительностью, замешательством и страхами. Теперь наступила юность со своим блеском, смущением и заносчивостью. Во время весеннего дня, который предшествовал той ночи, когда Кармелита гуляла с Коломбо, так же гремел гром, жизнь так же как будто приостановилась, но разразился дождь и растительный мир был спасен от смерти.

В эту же летнюю знойную ночь цветы напрасно молили о дожде, листья осыпались, цветы увядали, растения погибали.

Девушке также пришлось склонить голову под гнетом этой насыщенной электричеством атмосферы и, за неимением живительной росы, упиваться невыразимыми сладостями любви.

В эту ночь бедная Кармелита один за другим обрывала лепестки своего венка невинности, и ее ангел-хранитель, сгорая от стыда, улетел на небо.

Когда она вернулась в свою комнату, взгляд ее упал на прелестный розан: он весь съежился от грозы. Кармелита подошла к нему; щеки ее пылали и были мокры от слез. Она сорвала все бывшие на кусте цветы и бутоны, положила их в белую кисею и спрятала в один из ящиков комода.

ХII

ЧЕЛОВЕК ПРЕДПОЛАГАЕТ

Убедившись, что Кармелита в его руках, Камилл стал таким же, как был до того. Раз цель достигнута, к чему продолжать?

Все-таки он продолжал смягчать слишком резкие черты своего характера и, вообще, старался нравиться девушке.

Посреди радостей любви Кармелита совершенно забыла о прежних проказах и о легкомыслии молодого американца. Казалось, часы, проводимые ею с Камиллом, никогда не прекратятся и, благодаря ее вере в Камилла и ее самообладанию, она никогда не думала о будущем.

Она считала себя неограниченной повелительницей молодого человека; он исполнял малейшие ее желания и слушался ее беспрекословно.

Заметив однажды двусмысленный взгляд одного из соседей, Кармелита сейчас же сообщила об этом Камиллу, и он предложил ей немедленно переехать. Кармелита согласилась.

Тогда они начали соображать, в какой квартал им переезжать.

Камилл хотел поселиться в самом богатом квартале, на шоссе д'Антен, где бы у них была масса соседей, которых они сейчас избегали. Тут снова проявилась одна из черт характера Камилла: для удовлетворения своей гордости он не прочь был поселиться в самом богатом квартале, чтобы показать всему Парижу, какой красавицей он обладал.

Кармелита, однако, не объясняя себе намерений Камилла, понимала, что истинное счастье всегда ищет уединения, и потому просила Камилла не нанимать квартиры в шумном месте, а поселиться где-нибудь в окрестностях Парижа.

Камилл, на которого Кармелита имела огромное и благотворное влияние, согласился, и они отправились выбирать укромный уголок, где бы не было соседей.

Увы! Кто из нас, бедных мечтателей, не создавал чудного плана: построить свое гнездышко где-нибудь в тени и в уединении, куда бы не проникал человеческий голос и не нарушал покоя?

А Камилл и Кармелита привели эту мечту в исполнение. В одно воскресенье они отправились по разным дорогам и сошлись у границы Медона, откуда продолжали путь рука об руку.

День был прелестный: небо ясное, луга переливались тысячами цветов, с деревьев, стоявших по бокам дороги, осыпались первые пожелтевшие листья, так что молодые люди как бы проходили под триумфальной аркой. Природа щедро награждает подобными праздниками влюбленных: скромная и услужливая сообщница, она дает им полную и неограниченную власть.

Так шли они по полям в Медон, вызывая на пути своем всеобщий восторг. Старые, глядя на них, с сожалением вспоминали о счастливом прошлом; молодые с радостью думали об ожидающем их будущем.

Действительно, это была пара, достойная внимания: оба молодые, влюбленные и красивые; Камилл с гор-

достью во взгляде, взор Кармелиты, наоборот, был меланхоличен.

Наконец, они пришли в Медон, но он показался им слишком населенным.

Какова была радость Кармелиты, когда в новом их домике она увидела свой розовый куст.

Не зная тайной причины, привязавшей так Кармелиту к розану, Камилл желал доставить ей удовольствие и велел одному из комиссионеров отправиться по кратчайшей дороге, тогда как он и Кармелита шли по самому длинному пути; так что розовый куст был на месте раньше их прихода.

Поцеловав дорогой ей розан, Кармелита перенесла его в свою комнату и продолжала осматривать остальное помещение.

Это был прелестный домик, выстроенный наподобие полевых построек времен Марии-Антуанетты. Он был выстроен из земли, кирпичей и необструганных бревен, вокруг него вился виноград, плющ и жасмин; все это было создано случаем, фантазией.

Внизу помещались передняя, зал, столовая и кухня. Внутренняя лестница вела на террасу, которая, обтянутая полотном, могла служить летней столовой. Снаружи лестница, перила которой были обвиты гигантскими листьями кирказона, вела в две спальни и две уборные. Две комнаты для прислуги дополняли это гнездышко, почти совершенно скрытое в листьях, во мху и цветах.

Посреди сада возвышалось легкое и изящное строение.

— Ах, какой красивый флигель, — сказала Кармелита. — Что мы сделаем из него?

— Здесь поселится Коломбо, — спокойно ответил Камилл.

Девушка отвернулась: она чувствовала, что покраснела.

Понятно, Камилл не раз повторял имя своего друга, но, казалось, это имя навсегда осталось в самой глубине сердца Кармелиты, и она ни за что не решилась бы произнести его. Еще никогда тень обманутого друга не выступала так ярко во всем блеске своей честности.

И Камилл, так жестоко обманув своего друга, собирался еще сделать его свидетелем их счастья!

Не зная всей глубины любви к ней и потому не понимая, какую громадную жертву Коломбо принес другу,

Кармелита все-таки сознавала, что было бы жестоко сделать его очевидцем ее любви к другу.

— Коломбо? — повторяла она нетвердым голосом, — не сказали ли вы мне, Камилл, что он уехал оттого, что вы любите меня?

— Конечно, — отвечал Камилл.

— Раз он уехал, — продолжала девушка, — потому именно, что вы любите меня, значит, и он любит меня.

— Ну, да, — подтвердил Камилл, — разумеется, он любит тебя, милый друг. Но ты знаешь, разлука сглаживает многое. Если он был немного сумрачен, глядя на возникшую нашу любовь, неужели его дружба к нам не делает дорогим для него наше настоящее счастье?

Кармелита вздохнула. Разлука изглаживает многие впечатления... Так, значит, думала она, если и Камилл отлучится, многое будет забыто!

Она в задумчивости поднялась в свою комнату.

Эта комната, как две капли воды, походила на комнату Кармелиты на улице Сен-Жак. Камилл меблировал ее точь-в-точь так же: те же белые занавеси, то же розовое одеяло.

Любовники провели тут весь сентябрь; они вставали с тем, чтобы заботиться друг о друге, и ложились с надеждой увидеть друг друга во сне. Ни одна минута не проходила у них даром: она казалась созданной исключительно для них.

Они решительно забыли о существовании Парижа, улицы Св. Якова, вообще всего мира, и можно бы сказать, почти забыли Коломбо, если бы мы не могли спросить у Кармелиты отчета о тех вздохах, которые вырывались у нее, когда она закрывала глаза и проводила рукой по лбу.

И в отношении самых необходимых вещей, и в отношении людей они были в равной степени беспечны: им недоставало многих нот, некоторые принадлежности туалета требовали обновления, одним словом, были тысячи предлогов для поездки в Париж, но им было так хорошо в домике в Медоне, что они не решались покинуть его.

Снова показаться на улице Св. Якова, снова войти в дом, откуда, казалось, было взято все, и где, между тем, было забыто столько необходимых вещей, снова дать пищу насмешкам соседей, все это было слишком тяжело для Кармелиты.

Недели две переносили они еще нехватку тех вещей,

отсутствие которых сначала и не замечали, но которые, неизвестно почему, с каждым днем становились все необходимым.

Раз вечером они сделали список всего необходимого и решили, что на следующий день Камилл отправится в Париж и купит там или принесет из старой квартиры все, чего недоставало в Медоне.

Камилл возвращался раз десять, наконец, уехал. Кармелита следила за ним глазами, пока он был виден. Камилл, со своей стороны, посылал ей бессчетные поцелуи и махал платком. Наконец, он исчез за поворотом.

Камилл должен был сесть в первый попавшийся омнибус и часам к двум пополудни вернуться домой.

Мы не станем восхищаться любовью Камилла, мы уже достаточно откровенно не раз высказывались о характере креола, чтобы не иметь подозрений, но провидение уже слишком зло посмеялось над Камиллом.

Едва отошел он шагов на двести от Ба-Медона, как увидел вдали двух черных ослов, на которых сидели верхом две девушки в белых платьях.

ХIII

ЕСЛИ ОБЕДАТЬ, ТО, КОНЕЧНО, В ПАРИЖЕ

Заметив их, Камилл удвоил шаги и уже нагонял их, когда одна из них, случайно обернувшись, остановила своего осла и сделала знак своей подруге сделать то же самое. Камилл заметил это, еще ускорил шаги и через несколько секунд поравнялся с ними. Тогда одна из них встала на стремяна, бросила поводья на шею ослу и, рискуя упасть, бросилась в объятия Камилла и крепко поцеловала его.

— О Шант-Лиля, княгиня де Ванвр! — воскликнул Камилл.

— Наконец-то это ты, неблагодарный! — сказала девушка. — Сколько времени я разыскиваю тебя!

— Ты разыскивала меня, княгиня? — спросил Камилл.

— По горам и по долам! И сюда я приехала с тем же намерением.

— Как и я, — сказал Камилл, — я пришел сюда исключительно для того, чтобы отыскать тебя.

— Хорошо, — сказала Шант-Лиля, целуя его еще раз. — Мы встретились, и нам нечего больше разыскивать

друг друга... Поцелуемся и не будем больше говорить об этом.

— Не будем больше толковать и поцелуемся,— сказал Камилл, исполняя приказание.

— Кстати...— сказала Шант-Лиля.

— Что?.. Разве мы еще мало нацеловались? — прервал ее Камилл.

— Нет, совсем не то... Позволь мне познакомить тебя с моим ближайшим другом, мадемуазель Пакереттой, графиней де Батуар. Я думаю, совершенно излишне объяснять тебе, что имя ее Пакеретта, а графиня де Батуар...

— Ее титул... Разумеется! Но как ее фамилия?

— Попросту ее зовут Коломбье,— ответила красавица-прачка.

— Прибавь, что так называют ее губки, так как любовный шепот не выходит никогда из уст более розовых и

Пакеретты мгновенно покраснели, и она собиралась уже опустить глаза, когда княгиня заставила ее устремить их на Камилла, представляя его своей первой фрейлине.

— Господин Камилл де Розан, американский дворянин,— сказала Шант-Лиля.— У него миллионы на Антильских островах и, как ты, наверно, уже успела заметить, полные карманы шутих.

Княгиня де Ванвр называла шутихами остроты, которыми Камилл имел обыкновение пересыпать свой разговор.

— Сознайтесь по совести, куда вы ехали? — спросил Камилл.

— Ведь я тебе сказала! — недовольно воскликнула княгиня.— Мы разыскиваем тебя. Не правда ли, Пакеретта?

— Разумеется, мы ни за чем другим и не ехали,— ответила графиня.

— Как же случилось,— спросил Камилл,— что сегодня вторник, и вы не в вашем водяном замке, прелестные няяды? Уж не высушило ли по неосторожности солнце ваш замок?

— У нас пересохло во рту, милостивый государь,— ответила Шант-Лиля, щелкая языком.— Если вы действительно такой любезный кавалер, как говорят, вы сейчас же отыщете нам уголок, где бы мы могли съесть молока и выпить хлеба...

— Княгиня! — воскликнул Камилл.

— Хорошо! Я сказала обратное тому, что следовало сказать, но я до того устала, что потеряла способность рассуждать.

— Бегу на розыски! — воскликнул Камилл, отправляясь в путь.

Но Шант-Лиля удержала его за край одежды.

— Нет, с княгиней де Ванвр так не поступают, господин Рюжьери! — крикнула она.

— В чем дело, царица моего сердца?

— Она боится, что вы не вернетесь, — ответила Пакеретта, — а нам ведь очень хочется пить.

— Ты сказала правду, Пакеретта, — заметила Шант-Лиля, продолжая держать Камилла за платье.

— Я, княгиня? — воскликнул молодой человек. — Я брошу тебя, я убегу, когда ты посылаешь меня за едой? С кем жила ты с тех пор, как мы расстались, моя милая? Как! Шесть недель разлуки изменили тебя до того, что ты не веришь более в честность де Розана, американского дворянина? Я не узнаю тебя, царица души моей, мне подменили мою Шант-Лиля!

И Камилл поднял в отчаянии руки к небу.

— Ну хорошо, ступай вперед! — сказала она, выпуская из рук фалды сюртука. — Впрочем, нет, — прибавила она, спохватившись. — Было бы жестоко заставить тебя прогуляться два раза по такой жаре, отправимся на розыски вместе. Только постарайся найти моего осла: не знаю, куда он девался, пока мы тут разговаривали. Я дала слово хозяину беречь его.

Осел, действительно, исчез. Напрасно смотрели они на луга, бывшие по обеим сторонам дороги: нигде не было его видно. После продолжительных розысков его, наконец, нашли: он улегся в овраге и спал там в тени. Его разбудили, и он с покорностью, на которую не все люди способны, подставил княгине свою спину, графиня де Батуар уступила своего осла Камиллу, а сама села вместе с Шант-Лиля. Тогда веселый караван двинулся в путь на розыски фермы, трактира или мельницы.

Поля огласились их смехом. Птицы, принимая их за своих братьев, не пугались их; это странствующее трио напоминало три первые воскресенья мая, это были три воплощения весны.

Камилл уже раньше спрашивал, как случилось, что во вторник обе девушки встретились на дороге из Парижа в Медон вместо того, чтобы складывать в прачечной

рубашки. Шант-Лиля уступила слово Пакеретте, которая и сообщила, что в этот вторник был праздник у их хозяйки, и они отправились в путь с единственной целью — разыскать американца.

— Но отчего,— не понял Камилл,— я встретил вас именно на этой дороге, а не на другой?

— Во-первых,— ответила княгиня,— я искала тебя по всем дорогам, но мне сказали, что ты живешь в Ба-Медоне.

— Кто же сказал тебе это? — спросил Камилл.

— Все соседи!

— Ну, княгиня,— сказал Камилл, вполне овладев собою,— соседи обманули тебя, посмеялись над тобой, моя милая.

— Не может быть!

— Так же может быть, как то, что я вижу вдали мельницу, о которой мы мечтали.

Действительно, на горизонте виднелась мельница.

— Если соседи обманули меня, что могло легко случиться, отчего же я встретила тебя именно на дороге в Медон? — спросила Шант-Лиля с легковерием, свойственным гризеткам.

Камилл пожал плечами, как бы желая сказать: «Ты не догадываешься?»

Шант-Лиля поняла это движение.

— Нет, не догадываюсь,— сказала она.

— Между тем нет ничего проще,— ответил Камилл.— Мой нотариус живет в Медоне, и я ходил к нему за деньгами. Слышишь?

И, ударив по карманам жилета, он зазвенел золотыми, взятыми для покупок.

— Это правда,— сказала княгиня, убежденная звоном монет,— я тебе верю. Ты должен показать мне своего нотариуса... Мне хотелось бы увидеть одного из них: они, говорят, очень интересны.

— Еще интереснее, чем это говорят.

Они подъезжали к мельнице, и мысли девушки приняли другое направление.

В прежнее время мельницы служили прелестной целью прогулок; там можно было достать молока, хлеба. Подобные прогулки доставляли истинное и невинное наслаждение, недоступное для высших классов общества.

Трое молодых людей, привязав своих ослов, вошли на мельницу, где им подали горячий хлеб и холодное молоко. Камилл усердно принялся за еду, тогда как княгиня, едва попробовав хлеба, воскликнула:

— О, как мы глупы, что сидим тут и едим хлеб!
— Княгиня, — прервал ее Камилл, — говори, пожалуйста, в единственном числе.

— О! как ты глупо делаешь, что ешь хлеб!

— Bravo! — воскликнул Камилл. — Это уже не шутиха, а целая ракета! Ну, скажи, почему я глуп?

— Д потому что теперь 3 часа пополудни, и мы испортим аппетит к великолепному обеду, которым, надеюсь, нас угостит господин Камилл де Розан, американский дворянин.

— Все, чего ты только пожелаешь, княгиня; но не здесь, мои пастушки.

— А где же?

— Разумеется, в Париже! Деревня возбуждает аппетит, но она не может удовлетворить его. Мы пообедаем в Париже, у Вефура, что будет очень интересно, даже интереснее нотариусов, так как у Вефура вы едите, а у нотариуса вас едят!

— О, Пакеретта! Надеюсь, ты не будешь в претензии. К Вефуру!

— В путь, мои дети, — сказал Камилл. — Предупреждаю вас, что мне нужно сделать еще несколько покупок до обеда.

— Для дам? — спросила Шант-Лиля, ущипнув руку Камилла до крови.

— Для дам? Да разве я знаком с дамами?

— А за кого же вы меня считаете, сударь? — сказала Шант-Лиля, выпрямляясь с комической важностью.

— Тебя, княгиня, — ответил молодой человек, целуя ее, — тебя я считаю самой красивой, самой свежей и самой умной прачкой, которая когда-либо существовала.

Пустой извозчик проезжал мимо мельницы; его остановили, сели на него и приказали ехать в Париж к Вефуру, а ослов отправили с мальчиком к их хозяину.

О покупках не было и речи, по крайней мере, в этот день.

За десертом, когда земляника была уже съедена, кофе выпит, а ликер уже начат, Пакеретта Коломбье, роль которой между молодыми людьми становилась очень затруднительной, вдруг вспомнила, что ее дядя, старый солдат, ждал ее для перевязки ран. Она ушла и оставила их наедине.

XIV

ПОСЛЕДНИЕ ОСЕННИЕ ДНИ

Одно из окон дома выходило на улицу Пети-Шамо. У этого окна и сидела Кармелита, облокотившись на подоконник и положив голову на руки. Отсюда прислушивалась она к малейшему шуму, долетавшему к ней в ночной тиши с поля. Раз двадцать треск сухих веток и шум падавших листьев заставлял ее напрасно вздрагивать. Ей слышались шаги Камилла.

Но так поздно он не мог прийти пешком, поэтому нужно было ждать стука экипажа.

Тишина ночи, печальный шелест деревьев, падение листьев, которые как бы вздрагивали, зловещий прерывистый крик совы — все увеличивало тоску Кармелиты. Был момент, когда тоска овладела ею до того, что слезы в два ручья брызнули у нее из глаз и потекли сквозь пальцы.

Какая разница между этой темной, холодной ночью, проведенной у окна в ожидании Камилла, и той весенней ночью, в которую она болтала с Коломбо под сиренью между розами!

А между обеими этими ночами едва прошло пять месяцев. Правда, не нужно пяти месяцев, чтобы изменить чью-нибудь жизнь: достаточно одной минуты, одного мгновения, одной бурной ночи.

Наконец, около часу ночи раздался шум проезжающего по мостовой экипажа.

Кармелита вытерла глаза, насторожила уши и к великой радости, смешанной с непонятной грустью, увидела экипаж, вывернувший из-за угла и подъезжавший к крыльцу. Она хотела поскорее сойти с лестницы, чтобы броситься в объятия Камилла, но едва была в состоянии спуститься с первой ступени. Камилл выскочил из экипажа, запер дверь и кинулся к ней. Кармелита стояла на полдороге, дрожа и прислонясь к стене. Откуда у нее, ожидавшей его с таким нетерпением, такая мучительная слабость?

Камилл обнял Кармелиту со свойственной ему горячностью. Утром он так же обнимал княгиню де Ванвр, может, с не меньшей силой, даже с не меньшей горячностью; теперь ему нужно было испросить прощения за свое долгое отсутствие.

Кармелита отвечала на ласки Камилла холоднее,

чем думала. У женщины есть чутье, которое редко ее обманывает: мужчина слишком много уносит с собой от той женщины, с которой расстался, чтобы не возбудить подозрения в той, к которой возвращается. Кармелита не могла отдать себе отчета в этом подозрении; но она инстинктивно сознавала, что, кроме отсутствия, ей еще в чем-то можно было упрекнуть Камилла. В чем именно? Она не знала, что мучительная струна, дрожавшая в сердце, была струной упрека.

— Прости, дорогая, за причиненное тебе беспокойство! — сказал Камилл. — Клянусь тебе, более быстрое возвращение было не в моей власти.

— Не клянись, — сказала Кармелита, — разве я сомневалась? К чему обманывал бы ты меня? Если ты любишь меня, значит, какая-нибудь более могучая воля задержала тебя; если же ты разлюбил меня — к чему мне знать причину.

— Что ты, Кармелита! Я не люблю тебя? — воскликнул Камилл. — Ведь ты знаешь, что я не могу жить без тебя!

Кармелита печально улыбнулась.

Казалось, между ней и ее любовником прошла тень женщины.

Камилл отвел Кармелиту в ее комнату и закрыл окно: ночи становились холодные. Кармелита просидела 5 часов у открытого окна и не заметила свежести воздуха. Камилл бросился к ее ногам.

— Вот, — сказал он, — что случилось. Вообрази, я встретил в Париже двух креолов с Мартиники, двух моих друзей, которых я не видел... не сумею сказать тебе, с каких пор. Мы говорили о нашей чудной стране, где ты скоро поселишься, говорили о тебе...

— Обо мне? — спросила Кармелита, вздрогнув.

— Разумеется, о тебе. Разве я могу говорить о чем-либо другом?.. Я, конечно, не назвал тебя. Они отправились со мной за покупками, но с условием, что я обедаю с ними и пойду в оперу... Ты знаешь, ты и музыка — единственные мои страсти... Ах, отчего тебя не было там, ты бы провела время очень весело.

Кармелита сделала неопределенное движение бровями.

— Я не была там, — сказала она, — но я не скучала: я ждала тебя.

— Ты просто ангел!

И Камилл снова горячо поцеловал Кармелиту.

Он заметил, что его слова не производят желаемого действия, но он упорствовал, возвращался к тем подробностям, которые должны были придать его рассказу больше достоверности. Кармелита уже не понимала смысла его речей, а слышала одни слова. Она улыбалась, качала головой и отвечала односложно; она так же мало сознавала, что отвечала, как и то, что говорил Камилл.

Пробило два часа, Кармелита вздрогнула.

— Два часа! — сказала она. — Вы устали, мой друг, я также. Ступайте к себе и оставьте меня. Завтра вы расскажете мне все, что не успели рассказать сегодня. Я уверена, что с вами не случилось ничего дурного, и я счастлива.

Камилл уже некоторое время чувствовал себя неловко: он не знал, уйти ему или остаться.

— Ты прогоняешь меня, злая? — сказал он. — Ты дуешься.

— Я? — спросила удивленно Кармелита. — Отчего же я буду дуться на тебя?

— Почему я знаю? Каприз!

— Действительно! — сказала Кармелита с печальной улыбкой. — Может быть, я и капризна, Камилл. Я постараюсь исправить этот недостаток... До завтра.

Камилл поцеловал Кармелиту, которая как будто окаменела, и вышел. Едва закрылась за ним дверь, как слова, которые так долго не могла она выговорить, сорвались у нее.

— Я задыхаюсь, — сказала она.

Она снова открыла окно и села в том же положении, в каком сидела в ожидании Камилла. Так просидела она неподвижно до самого утра.

При первых утренних лучах она вздрогнула, как будто только теперь заметила, который час, подняла свои чудные глаза к небу, вздохнула и легла в постель.

Это было первое облачко на светлом небе совместной жизни молодых людей.

Камилл сказал Кармелите, что он успел закупить только половину нужных вещей, но он решительно ничего не купил. Следовательно, было крайне необходимо снова отправиться в Париж. И Камилл поехал.

На этот раз он исполнил все поручения и вернулся рано.

Кармелита не ждала его у окна, она гуляла в саду, в той его части, где возвышалась пустая беседка.

С этого дня отлучки Камилла стали чаще и чаще, и Кармелита по снисходительности, скажем лучше, по беспечности, скорее, уговаривала его, чем удерживала.

Скоро эти поездки в Париж стали так часто повторяться, что его присутствие дома было исключением.

Сегодня были бега на Марсовом поле, на другой день — первое представление новой оперы, на третий — петушиный бой. Правда, Камилл каждый раз говорил Кармелите: «Хочешь ехать со мной, моя милая?», на что Кармелита каждый раз отвечала: «Благодарю».

И Камилл отправлялся один.

В одну из его отлучек кто-то позвонил утром. Кармелита слышала звонок, но он не заставлял ее более вздрагивать. Когда позвонили во второй раз, она приподняла занавеску и посмотрела, кто звонит. Она вскрикнула: у подъезда стоял Коломбо.

Ей чуть не сделалось дурно.

Она выбежала в прихожую и крикнула встретившейся ей садовнице:

— Нанетта, проводите этого господина во флигель в саду.

Затем она закрыла дверь, повернула ключ, дрожа задвинула задвижку и села или, вернее, упала на диван.

Это был Коломбо!

Коломбо писал Камиллу со свойственной ему аккуратностью, но так как с отъезда бретонца Камилл ни разу не был на улице Св. Якова, то письма Коломбо так и лежали у Марии-Анны.

Камилл, не получая писем, не считал нужным писать своему старинному другу по гимназии. К тому же он старался, насколько то было возможно, не думать о Коломбо, который напоминал ему об измене дружбе, о нарушенном обещании.

Молчание Камилла беспокоило даже и мало склонного к подозрению бретонца. Дело в том, что он воображал, что дикие красоты его родины благотворно подействовали на его душу.

Однажды он сказал себе: «Я выздоровел, я снова могу приняться за изучение права. Кстати, посмотрю, что поделявают Камилл и Кармелита.»

Он приехал в Париж и нанял экипаж, чтобы скорее доехать до улицы Сен-Жак. Было семь часов утра. Он, конечно, застанет Камилла еще в кровати: он был ленив, как креол. А Кармелита будет уже на ногах; он помнил,

что она вставала, как птичка, рано и приветствовала пением первый проблеск света, первый луч солнца.

Когда он подъезжал к улице Сен-Жак, сердце у него билось, голова пылала. Мария-Анна видела, как он вышел из экипажа.

— Да это господин Коломбо! — сказала она. — Куда идете вы?

Коломбо сразу остановился.

— Куда я иду? — ответил он. — Да к себе, к Камиллу.

— Господин Камилл давным-давно переехал отсюда!

— Переехал? — повторил Коломбо. — А Кармелита, — произнес он с усилием, — тоже переехала? Куда отправились они?

— Муж скажет вам, он знает. Шант-Лиля, прачка, может сказать вам тоже.

Коломбо прислонился к стене, чтобы не упасть.

— Дайте мне ключ от моей комнаты, — сказал он.

— Ключ от вашей комнаты? На что он вам?

— К чему обыкновенно спрашивают ключ от своей комнаты?

— Ключ спрашивают обыкновенно, когда хотят пройти к себе, а у вас нет здесь комнаты.

— Как? — сказал бретонец сдавленным голосом.

— Так как вы тоже переехали.

— Я переехал? Да вы с ума что ли сошли?..

— Нет, я не сошла с ума. Вы можете подняться, если хотите, но в вашей комнате нет совсем мебели. Господин Камилл увезли все и сказали, что вы будете жить с ними.

— С ними? — повторил Коломбо, и из глаз его посыпались искры.

— По крайней мере, раз я должен жить с ними, нужно же мне знать, где они живут.

— Мне кажется, они поселились в Медоне, — ответила Мария-Анна.

Коломбо взял свой чемодан, снова сел на извозчика и велел ему ехать в Медон. Часа через полтора он был на месте. Коломбо с терпением и упорством бретонца ходил из дома в дом и расспрашивал.

Наконец, в последнем доме ему сказали, что, наверное, молодые люди живут в Нижнем Медоне.

Там объяснения стали вразумительнее, ему указали дом; он позвонил раз, другой. Кармелита посмотрела в окно, узнала его и велела Нанетте не говорить о себе, а провести его прямо во флигель.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

ОДИН ВЕРНУЛСЯ

Когда Нанетта открыла дверь Коломбо, он был почти так же бледен, как Кармелита.

Он хотел спросить Камилла, но слова замерли у него на губах.

— Вы к г-ну Розану, не так ли? — спросила Нанетта, приходя к нему на помощь.

— Да, — пробормотал Коломбо.

— Пожалуйста сюда.

И Нанетта повела его прямо в садовый флигель.

Кармелита, слышавшая, как входная дверь открылась и закрылась, пошла на цыпочках посмотреть из окна коридора, выходявшего в сад.

Коломбо не следовал уже за Нанеттой — он шел впереди ее.

Он спешил прийти к Камиллу и потребовать от него объяснения. Но флигель был пуст.

Он повернулся к Нанетте и спросил:

— Куда вы ведете меня?

— В вашу комнату, сударь, — отвечала садовница.

— В мою комнату?

— Да. Ведь вы друг, которого г-н Камилл ждет из Бретани?

— Камилл ждет меня?..

— Два месяца.

— А где Камилл?

— В Париже.

— Но он вернется сегодня?

— Вероятно.

— Часто ли он ездит в Париж?

— Почти каждый день.

— А, вот как,— пробормотал Коломбо.— Он живет здесь, а она в Париже. Камилл боится скромпрометировать ее, живя с ней не только в одном доме, но даже в одном городе. Милый Камилл, я дурно думал о нем...

И, повернувшись к Нанетте, он сказал:

— Я подожду здесь Камилла, и как только он вернется, вы предупредите его о моем приходе.

Оставшись один, Коломбо огляделся вокруг и провел рукою по глазам. Ему казалось, что зрение обманывает его.

Это была его комната на улице Св. Якова, перенесенная в прелестный сад. Та же мебель, те же обои. Он находил тут все — от собрания законов, которое лежало на его ночном столике, возле подсвечника, открытое на том месте, где три месяца тому назад он положил зеленую закладку — до маленьких ящиков с розами, которые зеленели перед его окном.

Коломбо видел в этом только тонкую и нежную внимательность своего друга; но все-таки эта комната была полна для него мрачных воспоминаний...

Ничего не может быть грустнее, как видеть с разбитым сердцем и заплаканными глазами те предметы, которые напоминают о счастливом времени.

Не жестоко ли было со стороны Камилла, хотя бы даже из желания приятно удивить друга, заставить Коломбо жить в той комнате, где умерли его первые мечты?

Он вышел в сад. Ему не хватало воздуха. Кармелита не оставляла окна; она видела, как он вышел или, скорее, выскочил из флигеля.

Она прижала руку к сердцу и невольно отшатнулась от окна. Бедная девушка была близка к обмороку.

Когда она открыла глаза и взглянула в сад, Коломбо сидел на скамье, закрыв лицо руками, в том же положении, в котором была она сама в продолжение четырех часов, ожидая в первый раз Камилла.

Он также ждал четыре часа, как ждала Кармелита. Вдруг послышался шум остановившейся перед дверью кареты, затем раздался сильный звонок, в котором легко можно было узнать руку хозяина дома.

Нанетта была на своем посту и бросилась отворять.

Вероятно, она сообщила Камиллу о приходе Коломбо, потому что он, вместо того чтобы подняться на первый этаж, прошел через коридор и появился в саду.

Он искал глазами Коломбо, увидал его на дерновой скамье и пошел прямо к нему.

Коломбо, слышавший шум шагов, поднял голову и увидел перед собою Камилла.

Он вскрикнул и в одну секунду был в его объятиях.

Кармелита видела все это из-за занавеси.

Ничто не смущало радости, которую испытывал Коломбо, видя опять своего друга; он думал, что Камилл теперь обитает в Нижнем Медоне, а Кармелита — в Париже.

Молодые люди подошли к дому, обнявшись.

Кармелита, видя, что они приближаются, вернулась в свою комнату и заперлась в ней.

Камилл дал осмотреть своему другу весь дом, кроме комнаты, в которой была Кармелита.

Бретонец несколько не был удивлен немного женственной роскошью обстановки комнат: он знал вкус Камилла.

Когда дом был весь осмотрен, креол подвел своего друга к этой таинственной двери, мимо которой они проходили два или три раза, не отворяя ее.

Тут он остановил Коломбо.

— Шляпу долой! — сказал Камилл.

— Зачем? — спросил бретонец.

— Это святая святых!

— Что ты хочешь сказать?

— Послушай, — предложил Камилл, полунасмешливым, полусерьезным тоном, по своему обыкновению, — я имею довольно смутные или — если тебе более нравится — довольно устойчивые взгляды относительно религии: каждый обожает своего божка, и я следую этому правилу.

Кармелита слышала из своей комнаты все, что говорил Камилл; она встала бледная, но решительная, какой она бывала в важных случаях, подошла прямо к двери, и в ту минуту, когда Камилл хотел взяться за ручку двери, чтобы отворить ее, она отворила дверь сама. Коломбо чуть было не упал, увидев девушку.

— Войдите, мой друг, — сказала просто Кармелита.

— Ну, что с тобой? — спросил Камилл, скрывая свое смущение под этой веселостью, которая была не то его маской, не то его лицом. — Разве ты не узнаешь Кармелиту?.. Или представить вас друг другу?

Молодые люди посмотрели друг на друга: Коломбо — пораженный удивлением; Кармелита — безмолвная от стыда.

— Обнимитесь же! — вскричал Камилл. — Какой черт

вас удерживает?.. Хотите, чтобы я пошел прогуляться в Медонском лесу?

Это предложение, в сущности дружеское, но оскорбительное по форме, произвело различное впечатление на Кармелиту и Коломбо: молодая девушка покраснела до белков глаз; лицо бретонца покрылось мертвенной бледностью.

Оба были жестоко смущены. Кармелита опомнилась первая и протянула дружески свою руку бретонцу.

— Эх, что за церемонии! — сказал Камилл. — С каких это пор друг не целует жену своего друга?

Коломбо поднял голову и весело взглянул на Камилла.

— Твоя жена? — вскричал он с радостью, потому что, видя обещание исполненным, он забыл все. — Твоя жена?.. — повторил он со слезами на глазах, не замечая смущения, в которое привели его слова Кармелиту.

— Ну, будущая, — отвечал Камилл, — ведь я ждал только твоего возвращения, чтобы отпраздновать нашу свадьбу.

— А, — холодно проговорил Коломбо и тоном, в котором слышалась угроза, прибавил, — хорошо, я здесь...

— Ну, ну, — сказал Камилл, прерывая этот разговор, — если ты не хочешь поцеловать ее из любви к ней, обними ее из любви ко мне.

Коломбо приблизился к Кармелите.

— Вы мне позволите, мадемуазель?..

— Мадам, мадам, — сказал Камилл.

— Вы мне позволите обнять вас, мадам? — повторил Коломбо.

— О! От всего сердца! — вскричала Кармелита, подняв глаза к небу, как бы призывая его в свидетели справедливости своих слов.

И молодые люди поцеловались.

— Ну, что ж, умерли вы от этого? — спросил, смеясь, Камилл. — Боже мой! Какие вы оба глупые! Разве мы не решили, что мы все будем заботиться о счастье двоих?

— Это хорошо, — сказал Коломбо, — но прежде, чем принять это лестное предложение, я желал бы поговорить с вами, Камилл.

— С вами? — повторил креол. — Черт возьми, это серьезно!

— Очень серьезно, — сказал Коломбо. — И мы пойдем к тебе.

— Ну, пойдем ко мне.

Он отпер дверь, которая была против двери Кармелиты. Бретонец последовал за ним.

— Ну,— спросил Камилл, бросаясь в кресло и не зная, с чего начать,— как ты нашел твой флигель?

— Прелестным! — отвечал Коломбо.— И я благодарен за это нежное внимание. Но я никогда не согласился бы жить в нем.

— Почему же?

— Потому что я не хочу быть соучастником вашей дурной жизни.

— Коломбо! — вскричал Камилл, нахмуривая брови.

— Вы мне клялись — и это было одним из условий моего отъезда — уважать Кармелиту, как вашу будущую жену, и вы постыдно нарушили ваше обещание. С этого дня, Камилл, нас разделяет пропасть,— пропасть, отделяющая честное сердце от вероломного, и я ни одной минуты более не останусь здесь.

Произнеся эти слова, Коломбо сделал шаг к двери.

Но Камилл загородил ему дорогу и остановил его.

— Послушай,— сказал он,— так же верно, как то, что ты мой друг, Коломбо,— и я был бы несчастен, если бы было иначе! — так же верно, как то, что я хотел бы сделать для тебя хоть половину того, что ты сделал для меня,— я говорю тебе, что я люблю, обожаю и уважаю Кармелиту, и что не от меня зависело сдержать мою клятву.

Коломбо презрительно улыбнулся.

— Хорошо, я ссылаюсь на нее,— продолжал Камилл.— Поговори с ней, спроси ее. Ты ей поверишь, я думаю? Спроси ее, старался ли я когда-нибудь прельстить или соблазнить ее. Спроси ее, не были ли мы оба внезапно, невольно, по роковому несчастью увлечены таинственными силами знойной летней ночи. Спроси ее, не были ли мы, точно двое детей, обманутых своей невинностью, увлечены случаем, не отыскивая его... Ты, умеющий повелевать своими страстями, имеющий нечеловеческую силу воли, может быть, не поддался бы; но я слабый, каким ты меня знаешь, друг мой... и закрыл глаза; свет исчез предо мною!.. Разве можно сказать, что вследствие этого я стал вероломным, бесчестным человеком! Нет, потому что это так же верно, как я называюсь Камиллом де Розан: в то время, которое ты сам назначишь, Кармелита будет моей женой! Я не хотел писать тебе всего этого — ты понимаешь? — это были бы бесконечные письменные рассуждения; но теперь,

когда ты приехал, от тебя зависит, как я сказал, назначить день свадьбы.

Коломбо задумался на минуту.

— Ты говоришь правду? — спросил он, пристально глядя на Камилла.

— Клянусь честью! — отвечал молодой человек, положив руку на грудь.

— Хорошо, — сказал Коломбо, — если это так, я остаюсь, потому что моим другом будет всегда честный человек. Что же касается дня свадьбы, ты должен сам его назначить и, конечно, чем скорее, тем лучше.

— Сегодня же, Коломбо, — ты слышишь? — сегодня же я напишу моему отцу. Я буду просить его прислать мне необходимые для моего брака бумаги, и через шесть недель мы можем подать объявление.

— Положим, через два месяца, чтоб не прибегать к отсрочкам, — возразил Коломбо. — Но уверен ли ты в согласии твоего отца?

— Почему мой отец откажет в нем?

— Твой отец богат, Камилл, а Кармелита — бедна.

— Добродетель Кармелиты будет ее приданым в глазах моего отца.

— Но, если вопреки твоим желаниям, твой отец будет противиться этому браку?

— Это невозможно, любезный друг!

— Предположи это на минуту, как бы это ни казалось тебе невозможным. Что ты сделаешь?

— Мне двадцать четыре года. Я подожду полного совершеннолетия и женюсь на Кармелите, не взирая на мнение отца.

— Возмущение сына против родителей — вещь очень печальная; но еще печальнее, Камилл, обесчестить молодую девушку и не вернуть ей ее чести... Напиши письмо, напиши его, как следует почтительному сыну, но вместе с тем и положительному человеку.

— А ты остаешься? — спросил Камилл.

— Остаюсь, — отвечал Коломбо, — и буду ждать твоего письма во флигеле.

II

ДРУГОЙ УХОДИТ

Через четверть часа Камилл вошел во флигель, держа в руках наполовину исписанный лист бумаги.

— Уже готово? — спросил удивленный Коломбо.

— Нет, — отвечал Камилл. — Я только что начал.

Коломбо посмотрел на него с видом допрашивающего судьи.

— О, не спеши обвинять меня! — сказал Камилл. — При первых же строках твои возражения относительно согласия отца пришли мне на ум, и они показались мне более вероятными, чем казались прежде, и я думаю, что лучше употребить другое средство.

— Какое же?

— Поехать самому просить согласия отца.

Бретонец устремил свой ясный взгляд на Камилла.

Он выдержал взгляд своего друга, не опустив глаз.

— Ты прав, Камилл, — сказал Коломбо, — и то, что ты предполагаешь, достойно честного человека — или бессовестного бандита.

— Я надеюсь, что ты во мне не сомневаешься? — спросил Камилл.

— Нет, — отвечал Коломбо.

— Ты понимаешь, — продолжал Камилл, — что после восьми дней словесных настояний, я добьюсь от моего отца больше, чем после трех месяцев письменных неотступных просьб.

— Я думаю так же, как и ты.

— Три недели доехать туда, три недели на обратный путь, две недели на убеждение отца. Следовательно, это будет делом двух месяцев.

— Ты сделался олицетворением логики и благоразумия, Камилл!

— Благоразумие приходит с годами, мой старей Коломбо... К несчастью...

— Что такое?

— О, это неисполнимый план...

— Что такое?

— Я не могу взять с собою Кармелиту.

— Конечно.

— С другой стороны, я не могу оставить ее здесь. Коломбо нахмурил брови.

— Ты думаешь, что я позволю кому-нибудь оскорбить Кармелиту? — спросил он.

— Ты согласен, значит, быть около нее?

Коломбо улыбнулся.

— Право, я думал, что ты меня лучше знаешь, — сказал он.

— Ты будешь жить под одной крышей с нею?

— Без сомнения.

— Коломбо! — вскричал Камилл, — если ты сделаешь это, всей моей жизни будет недостаточно, чтобы вознаградить тебя за это доказательство дружбы!

— Неблагодарный, — пробормотал Коломбо. — Разве я не жил один с Кармелитою три месяца, прежде чем она познакомилась с тобою?

— Да, но это было прежде, чем она познакомилась со мною, как ты говоришь...

— Ты хочешь намекнуть на мою прежнюю любовь к Кармелите?

— Коломбо!

— Ты считаешь меня способным изменить клятве?

— Я считаю тебя способным прежде умереть, Коломбо! Твое величие делает меня ничтожным... В тебе — верность дворовой собаки, вместе с ее силой и преданностью. Я знаю, что ты будешь защищать Кармелиту больше, чем самого себя. Я ничего не боюсь, раз знаю, что ты здесь. Я спокойно объехал бы вокруг света, если бы это было нужно.

— В таком случае, — сказал Коломбо, — предупреди Кармелиту. Ты понимаешь, что я не могу принять твоего поручения без ее согласия... Но если она мне и откажет, ты можешь уехать так же спокойно. Я найму комнату напротив ее дома... возле ее дома, если не напротив, и она все-таки всегда будет под моей защитой. Ступай, предупреди ее; ты не можешь терять времени.

Камилл ушел, не сказав ни слова. Кармелита с трепетом приняла известие, принесенное им. Однако она ничего не возразила, не высказала никакого сопротивления.

В плане было сделано только одно изменение — отъезд был отложен до 25 октября. Следовательно, оставалось еще десять дней, в течение которых, понятно, каждый чувствовал себя точно не на своем месте.

В этом печальном настроении наступило 25-е октября.

Было условлено, что Коломбо проводит Камилла до дилижанса, который должен был выехать из Парижа в десять утра и проезжал по Версальской дороге в одиннадцать часов.

Бретонец не смыкал глаз целую ночь. В шесть часов он встал, ожидая пробуждения Камилла.

В восемь он вошел в его комнату.

— Который час? — спросил Камилл.

— Восемь, — отвечал Коломбо.

— А! В таком случае, у нас есть время,— сказал Камилл.— Дай мне поспать еще часок.

Дверь комнаты Кармелиты была отворена; она слышала ответ ленивого креола. По-видимому, она не ложилась спать; постель ее была едва смята.

— Вы устали, Кармелита? — спросил Коломбо, устремив беспокойный взгляд на девушку.

— Да,— ответила Кармелита,— я читала часть ночи.

— А другую часть плакали?

— Я?.. Нет,— отвечала Кармелита, взглянув на бретонца сухим, лихорадочным взглядом.

Коломбо опустил голову и вздохнул.

В девять часов он поднялся опять, пошел в комнату Камилла и заставил его встать.

Через четверть часа креол был уже за столом, около которого Кармелита и Коломбо ожидали его.

В эти последние минуты каждый старался казаться веселым, чтобы не смутить другого. Но настал час разлуки; карета, которая должна была везти Камилла, стояла у дверей,— и в минуту отъезда все посмотрели друг на друга в последний раз.

Коломбо и Камилл плакали.

— Я доверяю тебе мою жизнь,— сказал Камилл,— более, чем жизнь,— мою душу!

И, по всей вероятности, Камилл говорил в эту минуту правду.

— Я отвечаю за нее перед Богом, клянусь моей душой и моей жизнью! — отвечал торжественно бретонец, поднимая свои большие глаза, ясные, как небо, на которое они смотрели.

Оба уже приблизились к дверцам кареты.

Коломбо обернулся и, увидав Кармелиту одну, с опущенными руками, с поникшей головой, походившую на статую беспомощности, предложил Камиллу взять ее с собой.

Кармелита поглядела на Коломбо благодарным взглядом; но голосом, в котором слышалось глубокое отчаяние, сказала:

— Зачем?

Камилл обернулся в последний раз, в последний раз прижал ее к своей груди и отпустил, почти испуганный.

Ему показалось, что он обнял мраморную статую.

Они уехали. Кармелита медленно поднялась по лестнице, вошла в свою комнату и скорее упала, чем села на свое канапе.

Что значило это отчаяние, эта печаль, и, в то же время, это ледяное спокойствие Кармелиты? Не было ли это последствием сравнения, которое она делала невольно между Камиллом и Коломбо.

И, действительно, Коломбо со дня его приезда вырос на глазах Кармелиты; в течение этих десяти дней преимущества Коломбо достигли громадных размеров.

Время между его отъездом и возвращением казалось для молодой девушки печальным сновидением.

Да, сновидением!.. Действительность была очень неутешительна.

Она считала себя в продолжение трех месяцев любовницею фата — правда, красивого и забавного, но, в сущности, недостойного ни малейшей серьезной привязанности. Без сомнения, это было ужасающее сновидение! Этот американец с пестрыми галстуками, бросающимися в глаза жилетами, светлыми панталонами, золотыми цепочками и рубиновыми кольцами был воплощением духа тьмы, который овладевает неопытными душами.

Да, все это было только тяжелым сном!...

Действительностью было это честное, благородное сердце, которое называлось Коломбо.

Этот был прост, велик, силен, — словом, был человеком. Он мог сказать женщине: «Закрой глаза и иди!», — и женщина могла слепо следовать за ним.

После трех месяцев отсутствия он пришел требовать от своего друга отчета в доверенном ему сокровище!..

Но когда бедная Кармелита подняла голову и увидела вокруг себя вещи, принадлежащие Камиллу, — несчастное дитя! — она осознала, что как раз бретонец был прекрасным сновидением весенней ночи, а американец — ужасной действительностью...

III

РАНЕНАЯ ЛЬВИЦА

С этой минуты Кармелита смотрела на этот дом, как на свою могилу, а на сад, как на розовое кладбище кармелиток, имя которых она носила по странной случайности. Она поняла ла Вальер, которая искупила три блестящие года своей любви тридцатью годами в тени монастыря; она поняла Магдалину, которая, не смея поднять глаз на Христа, вытирала его ноги своими волосами.

Будущность ее, казалось ей, заключалась в двух словах, написанных черными буквами на белой странице: плакать и умереть.

Когда Коломбо вернулся, он нашел вместо молодой девушки, оставленной им при отъезде, какой-то призрак, согбенный, расслабленный, задумчивый, поблекший, с блуждающими глазами.

Но он не понял ничего: он думал, что причиной этого отчаяния был только отъезд Камилла, и старался успокоить бедную покинутую, заговорив с нею о возвращении его. Только по тому, как молодая девушка покачала головой, он понял, что печаль имела другую причину, и тогда он принял за свою роль преданного друга и стал братски расспрашивать ее.

Кармелита ничего не отвечала; она была нема к его взглядам, глуха к его словам; печаль, которую она испытывала, была так сильна, что она боялась взвалить ее тяжесть на друга.

Так прошел первый день. Коломбо, видя, что молодая девушка отталкивает его утешения, как больное дитя отталкивает рукою целительное питье, приписывал это нервному раздражению, в котором он нашел Кармелиту, и отложил более серьезные вопросы до завтра и следующих дней.

Но на завтра и в последующие дни печаль Кармелиты была та же, и девушка продолжала отказываться от каких-либо объяснений.

Время шло, не открывая бретонцу таинственных причин этого глубокого отчаяния. Часы дня были неизменно распределены; всякое утро с ноября месяца Коломбо, несмотря на дождь, грязь, ветер, снег, холод, отправлялся пешком из Ба-Медона между семью и восемью часами в Париж в училище правоповедения слушать лекции, которые начинались в девять с половиною часов. В полдень Коломбо возвращался.

Они завтракали, затем, через час, каждый принимал за свои занятия и сходились опять в шесть часов, т. е. во время обеда.

Остаток вечера проводили вместе, читая или занимаясь музыкой, и изредка разговаривали.

Больше всего удивляли Коломбо громадные успехи Кармелиты в музыке, сделанные после отъезда Камилла. Когда она играла, ее рояль имел душу, голос: он плакал, стонал, рыдал; когда она пела, голос ее, особенно на высоких нотах, выражал такую силу чувства, такую бо-

лезненную горечь, что казался голосом падшего ангела, оплакивающего небо человеческими звуками.

Воскресенья были посвящены музыке и прогулкам; их они проводили вместе, не расставаясь ни на четверть часа. Когда погода была дурная и нельзя было выходить со двора, они собирались во флигеле Коломбо. Бретонец сначала удивлялся этому выбору Кармелиты, этому предпочтению его комнаты, тогда как был общий зал, но Кармелита имела много случаев доказать Коломбо, что его комната была удобнее для разговоров, чем какая-нибудь другая. Однажды рояль Кармелиты стал ниже в тоне, а рояль Коломбо более подходил к ее голосу, в другой раз камин дымил в зале, а камин Коломбо был превосходен и так далее...

Таким образом прошло много недель. Письма от Камилла не приходили, и Коломбо заметил с удивлением, что Кармелита никогда не спрашивала Нанетту, нет ли письма.

Однако в конце декабря пришло первое письмо. Обрадованный Коломбо принес его Кармелите. Она играла на рояле.

— Письмо от Камилла! — вскричал Коломбо, входя в комнату.

Но Кармелита, не снимая рук с клавишей, спокойно сказала:

— Прочтите, мой друг.

Коломбо привык беспрекословно повиноваться желаниям молодой девушки. Он распечатал письмо и прочел.

Письмо заключало в себе рассказ о спорах Камилла, но не с его отцом, а с тетками, бабушками и остальной семьей, которая противилась его желанию, и в ту минуту, когда он писал письмо, более всего шла наперекор ему.

Письмо было полно живейшей нежности к Кармелите, глубокой благодарности к Коломбо; даже в общем тоне послания было что-то грустное, необыкновенное в американце.

Коломбо удивила холодность, с которой Кармелита получила письмо своего будущего мужа, но он не посмел сделать ей никакого замечания на этот счет; вечером, оставшись один, спрашивал сам себя о причине этой видимой холодности, и чем более он искал ее в таинственной глубине сердца женщины, тем более удалялся от истины.

В конце января пришло второе письмо, полное страстной нежности. Борьба в семье Розана продолжалась; однако Камиллу удалось привлечь некоторых родных на

свою сторону, некоторых он смягчил. Наконец-то он почувствовал почву под ногами: дело шло к успешному завершению.

Это второе письмо было получено Кармелитой с таким же равнодушием, как и первое; она прочла эти жгучие строки без всякого волнения; прочитав последнюю строку, она сложила письмо и положила его на камин.

Коломбо хотел было воспользоваться этим обстоятельством, чтобы расспросить ее, но ему показалось, что под этой кажущейся холодностью она так взволнована, так растрогана, что он побоялся выпустить это волнение наружу.

Впрочем, этот год, вместо того, чтобы тянуться медленно, как год разлуки, прошел необыкновенно быстро, в невыразимом счастье Коломбо и в страстном удивлении и постоянных упреках совести со стороны Кармелиты.

Однажды вечером они сидели по обыкновению у Коломбо — это было 25 октября, в годовщину отъезда Камилла, — и Коломбо высказал мнение, основанное на предпологаемой им честности креола, что теперь, когда ему уже месяц тому назад минуло двадцать пять лет, он непременно вернется, чтобы жениться с согласия или без согласия своего отца.

Кармелита покачала головой с тем выразительным видом, который не раз приводил в отчаяние бретонца, не понимавшего его действительного значения, что его еще более огорчало.

Теперь он решился спросить у молодой девушки объяснения.

— Кармелита, — сказал он, — сегодня год, как наш друг уехал, год, как я уверял вас в скором возвращении его; но вы и тогда так же печально покачали головою, как делаете в эту минуту... Я напрасно старался объяснить себе причину этого безмолвного неодобрения, и теперь, все еще не понимая ее, прошу вас высказать мне ее так же честно и искренно, как я вас спрашиваю...

— Я с вами всегда искренна, Коломбо, — отвечала Кармелита. — У меня нет ни вашей прекрасной доверчивости, ни вашего совершенства... В ту минуту, как Камилл уезжал, я сомневалась в его возвращении; год прошел, и я сомневаюсь более, чем когда-нибудь!

— Но что внушило вам эту обидную уверенность, Кармелита?

— Наша трехмесячная жизнь, в продолжение которой я поняла его, не расспрашивая, узнала его, не давая

себе труда изучать его... Можно прожить двадцать лет с другом, и он не узнает вас, но у женщин бывают мгновения, которые открывают все, бывают часы, когда изменяешь себе. Небрежность — неизбежное следствие близких отношений — заставляет нас сбрасывать маску; вот как я узнала настоящий характер Камилла... И во мне осталось одно презрение к нему. Я не отвергаю, что Камилл любит меня в известной степени, но он чувствует ко мне боязливую дружбу, которую ученик чувствует к своему учителю; я скорее властвую над ним, чем трогаю его, и не любовь его, а одно тщеславие удовлетворяется обладанием мною. Я не отвергаю, что в минуту расставания, потрясенный отъездом, он имел намерение вернуться, и та борьба, которую он ведет за две тысячи лье от нас, в сущности, занимает его; но верьте мне, друг мой, я для Камилла — только цена победы, а не цель искренней привязанности.

Коломбо с грустным изумлением посмотрел на девушку.

— Кармелита, — заговорил он, — вы не любите более Камилла?

— Я его никогда не любила, — отвечала она гордо, как будто бы эти слова оправдывали ее.

— Но, однако... — возразил, запинаясь, молодой человек.

— Но, однако, я была побеждена... Вы это хотите сказать, не правда ли, друг мой? Ну, да, я была побеждена, но не моей слабостью, не силой Камилла, — я была побеждена неизвестным могуществом, таинственной властью. Ему не стоило никаких усилий мое падение; он холодно выжидал случая, и вот в этом-то я и упрекаю его; это-то и заставляет краснеть меня от стыда, гнева и презрения.

— О, замолчите, Кармелита! — сказал Коломбо, закрыв глаза рукою, как будто его закрытые глаза, не давая ему возможности видеть молодую девушку, помешали бы его ушам слышать ее.

— Хотите, чтобы я сказала вам всю правду, Коломбо? — продолжала Кармелита, вступая на скользкий путь.

— О! Нет, нет, я не хочу более ничего слышать! — вскричал бретонец.

— Зачем же вы меня спрашивали? — сказала она почти с угрозой.

— Говорите же!

— Хорошо, вы узнаете всю величину моего страдания, всю глубину моей вины, когда вы будете знать, что я отдалась не ему, а призраку моего воображения, мечте моего сердца. Камилл был только уполномоченным несчастья; он только дал свое имя роковой судьбе.

Коломбо взглянул на Кармелиту своими ясными, как свет глазами.

— Кармелита,— сказал он,— я вас не понимаю.

— О, Коломбо,— возразила она,— это была такая же прекрасная счастливая ночь, как та, когда мы вырыли розан на могиле бедной ла Вальер...

И медленно встав с места, она вышла из флигеля и поднялась к себе, тогда как Коломбо следил за нею глазами, почти ослепленный первым лучом света, который проник в его сердце, и шептал:

— О! Боже мой! Боже мой! Она могла любить меня, потому что не любила Камилла!..

IV

КАЖДЫЙ НАЧИНАЕТ ВИДЕТЬ ЯСНО НЕ ТОЛЬКО В СВОЕМ СЕРДЦЕ, НО И В СЕРДЦЕ ДРУГОГО

С этого дня отношения молодых людей из простых и дружеских сделались холодными и размеренными.

Кармелита поняла, что она слишком много высказала Коломбо.

А тот боялся, что плохо понял; он верил в возвращение Камилла и держался настороже с Кармелитой, избегал возможности наводить разговор на тот скользкий путь, на котором у молодой девушки почти вырвалось признание.

Мысль, что он все более и более любит Кармелиту, что страсть его увеличивается с каждым днем, пугала Коломбо.

Но что было бы, если бы он был уверен, что Кармелита любит его?

Он тотчас оставил бы Париж и вернулся в Бретань. Дни, недели, месяцы проходили, а согласие отца Камилла не было получено; от креола постоянно приходили письма, полные живейшей нежности, подчас даже жгучей страсти. Однажды утром получили письмо от его брата. Камилл опасно захворал.

Кармелита приняла и это известие почти равнодушно. Болезнь продолжалась три месяца. Но зато по выздоров-

лении Камилл прислал такое горячее, такое страстное письмо, что добрый Коломбо передал его Кармелите со слезами на глазах.

— Вы видите, Кармелита, что я ошибался,— сказал он.

Но, увы! На Кармелиту оно произвело далеко не такое теплое впечатление: она считала все эти страстные выражения за увлечение, вызванное горячкой, и видела в этом послании только призрак солнца, который должен был скоро исчезнуть. Впрочем, ей теперь не было даже необходимости знать в точности степень любви Камилла к себе. Если бы он опять захворал горячкой, от которой оправился, Кармелита не сделала бы ни одного шага, чтобы спасти его. Может быть, она не проявила бы хладнокровия палача; но в ней было мужество судьи, вынесшего уже приговор в глубине своего сердца.

Величайшей радостью девушки было бы не получать больше писем от креола, не слышать более о нем, забыть даже его имя.

Она любила Коломбо, и это чувство, которое овладевало ею с каждым днем все сильнее и сильнее, было даже не любовью, а чем-то высшим: это было обожание.

Если бы в то время, когда она смотрела на него украдкой и пожирала его глазами, Коломбо поймал один из ее взглядов, то, как бы скромн и прост он не был, этот взгляд открыл бы ему все.

Когда Коломбо около полуночи шел в свой флигель, Кармелита затворяла или делала вид, что затворяет за ним дверь; потом едва замолкал шум его шагов или терялся на последних ступенях лестницы, она опять отворяла ее, подходила к окну в коридор, глядела, как молодой человек проходил по саду и, пристально устремив глаза на свет, видневшийся в окнах флигеля, наблюдала иногда за ним до рассвета, и почти всегда отходила только тогда, когда свет во флигеле гас.

Иногда лихорадочная страсть увлекала ее еще дальше. В прекрасные летние ночи, когда только звезды освещают землю, или, лучше сказать, еле позволяют различать предметы в сумраке, она спускалась на цыпочках по лестнице, боязливо вступала в сад, добиралась до какой-нибудь группы деревьев, останавливалась там на минуту, затем, как фея, как ундины, тени которых выходят из могил, чтобы бродить вокруг жилища человека, которого они любили при жизни, белая и печальная Кармелита ходила вокруг флигеля Коломбо...

Иногда и молодой человек, волнуемый тем же чувством, отворял свою дверь, выходил на свежий воздух и садился на дерновую скамью. Он сидел безмолвно, устремив глаза на окно коридора, через которое, казалось, взгляд его проникал в комнату Кармелиты. Тогда Кармелита медленно приближалась, удерживая дыхание, смотрела на него в темноте пламенными глазами и уходила только в тот момент, когда он возвращался к себе, не подозревая, что та, которую он так любил, блуждала в продолжение часа вокруг него.

Однажды в зимнюю ночь, когда земля была покрыта снегом и когда, не смея выйти из дома из-за боязни оставить следы своих шагов на белом пушистом ковре, Кармелита стояла у окна своего коридора, устремив глаза на свет лампы Коломбо, не думая ни о холоде, ни о жаре — потому что огонь не разогрел бы ее руки, снег не освежил бы ее лба, — она увидела, что дверь бретонца отворилась. Он вышел, направился к дому и исчез в нем.

Первым движением Кармелиты было бежать в свою комнату.

Но любопытство взяло верх; кроме того, отворяя и заворяя дверь, она сама выдала бы себя.

Она встала за оконную занавеску и стала ждать.

Скрип ступеней указал ей, что Коломбо поднимается по лестнице, и в самом деле через несколько секунд его тень появилась на верхней ступени.

Молодой человек шел около стенки, противоположной комнате Кармелиты, и, казалось, боялся быть услышанным.

Дойдя до двери девушки, он остановился, прислонился к стене, удерживая дыхание, и остался в созерцательном положении, точно думал увидеть что-нибудь сквозь эту закрытую дверь...

Время от времени его рука, лежавшая на сердце, поднималась и касалась глаз, как бы вытирая слезы.

Это было откровением для Кармелиты. Что мог он искать перед ее дверью, если не то же, чего искала она? Какие слезы мог он вытирать, если не жгучие слезы любви, горькие слезы сожаления?

И, действительно, вскоре эти молчаливые слезы Коломбо сменились рыданиями.

Кармелита зажала обеими руками свой рот, чтобы удержать дыхание, потому что чувствовала, что крик: «Я люблю тебя!.. Я люблю тебя!..» — сорвался бы с ее губ.

О! Как безумно желала молодая девушка броситься ему на шею, бешено обнять его! Но строгая фигура бретонца предстала мысленно перед нею, и ее воля поборол желания так же, как ее рука закрыла рот.

И в самом деле, она понимала, что Колombo мог доверить таинственной ночи свою печаль, свои сожаления, свою любовь: он мог жаловаться в уединении, которое считал немым и глухим; но чувство долга перед другом не позволило бы ему открыть тайну, которую выдавали его слезы.

Кармелита решила сохранить в себе это неожиданное открытие и свою безграничную радость.

Коломбо простоял около часа.

Кармелита проследила глазами, пока он не вошел во флигель, и только тогда она упала на колени и осмелилась крикнуть громко:

— Слава Богу! Он любит меня! Он любит меня!..

V

НЕСХОДЯЩИЕСЯ ДУШИ

Кармелита провела счастливую ночь, такую ночь, которая могла сравниться только с той весенней ночью, когда вместе с Коломбо она вырыла свой прекрасный розан, корни которого пустили ростки между камней могилы. Итак, он любил ее!

Это открытие любви бретонца освежило сердце Кармелиты, как обильный дождь освежает засохшее растение, и со следующего же дня Коломбо, не зная причины этого возрождения, увидел вернувшуюся веселость молодой девушки.

Все ее часы были заняты; так заняты, что дни казались ей слишком короткими, а ночи слишком длинными. Жизнь ее не шла уже наудачу, теперь она имела цель.

С этой минуты счастье — которое заглядывало в дом, так сказать, мимоходом, как заблудившийся незнакомец, который знает, что он ошибся дверью и стоит готовый убежать, — с этой минуты счастье смело водворялось то в комнате Кармелиты, то во флигеле Коломбо, а иногда во флигеле и комнате одновременно.

Однако это счастье имело разные источники и главное — выражалось неодинаково.

Коломбо испытывал бесконечную радость любить юную девушку безмолвно, искренно, тайно. Он питал к ней

нечто вроде страстного чувства древних христиан к мадонне — привязанность, которая зависела более от уважения и потребности обожать, чем от любви и желания обладать ею.

Но посреди этого счастья, этого обожания проглядывали угрызения совести; двадцать раз в продолжение ночи совесть Коломбо пробуждала его острой болью в сердце.

Тень Камилла вставала перед его изголовьем, как призрак из могилы; тогда Коломбо был готов встать, броситься к ногам Кармелиты, признаться ей в своей любви, как в преступлении.

Со своей стороны, Кармелита не раз — и без всякого угрызения совести, — уверившись в том, что она любима, переступала порог своей комнаты с твердой решимостью пойти к Коломбо и сказать ему: «Я тебя люблю, Коломбо!.. Я также люблю тебя»!

Если бы они встретились в эти минуты, очень возможно, что тайна их сердец сорвалась бы с их губ; но каждый из них проходил свою часть дороги и... возвращался назад.

Одним словом, это было подобно тому, что называется в геометрии параллельными линиями, от которых мы и заимствовали название этой главы — линиями, которые вечно идут бок о бок, могут сближаться и бесконечно продолжаться, но никогда не сходятся. Так и их сердца, пылавшие любовью, идя рядом, никогда не встречались...

Однажды утром Кармелита после ночи, проведенной в лихорадочной бессоннице, увидела Коломбо, входившего к ней в комнату. Он был бледнее, но веселее обычного.

Она поняла, что, наконец, бретонец совладал с беспокойством своей совести, что его решение принято, и он пришел высказать ей все.

Она радостно встала, пошла к нему навстречу и привлекла к себе на диван.

Но в отворенной двери она увидела садовницу, которая держала в руках письмо.

— Мадемуазель, — доложила та, — письмо от г-на Камилла.

Кармелита глухо вскрикнула и поднесла руку к сердцу.

Коломбо, разом побледнев еще больше, откинул назад голову.

Садовница, видя, что ни один из молодых людей ей не отвечает, положила письмо на колени Кармелиты.

Кармелита опомнилась первая, тяжело вздохнула, распечатала письмо и прочла его; затем, не сказав ничего более, кроме одного слова: «Читайте!» — передала письмо Коломбо, устремив глаза на лицо молодого человека.

Тот совершенно бледный в первый раз прочел тихо, а затем вслух следующие строки:

«Милая Кармелита!

Я получил, наконец, согласие моего отца, моих теток и всего моего семейства, и с будущего месяца я буду в Париже.

Камилл.

Никогда осужденный, слушая свой смертный приговор, не был более разбит и подавлен, чем бретонец, перечитывавший во второй раз громко письмо своего друга.

— Что с вами? — спросила Кармелита самым нежным голосом. — Отчего возвращение вашего друга приводит вас в такое оцепенение?

— Ах! Кармелита! Кармелита! — ответил бретонец. — Не спрашивайте меня!..

— Коломбо, — продолжала она, — почему вы так бледны и плачете?

— Потому что я умираю, Кармелита! — вскричал молодой человек, разрывая свой жилет, как будто задыхаясь.

— И вы умираете, Коломбо, — продолжала безжалостная Кармелита, — потому, что вы меня любите, не так ли?

— Я? — вскричал Коломбо, раскрывая испуганные глаза. — Я?.. Вас люблю?..

— Да, — отвечала просто Кармелита. — Отчего же нет? Я вас тоже очень люблю!

— Замолчите, замолчите, Кармелита!

— О, — сказала девушка, — я уже долго молчала, да и вы также! Мы уже давно питаем нашими сердцами эту змею, которая нас пожирает!

— Кармелита, — вскричал Коломбо, — я глупец!

— Нет, Коломбо, у вас благородное сердце, которое долго побеждало, но, наконец, побеждено.

— О! Кармелита, — бормотал Коломбо, — простите ли вы меня?

— Что же я вам должна простить, если я вас люблю, если я вас всегда любила.

— Молчите, Кармелита! — прервал ее Коломбо. —

Вы это уже сказали, и я хотел бы иметь силу не слышать вас.

— В таком случае,— возразила Кармелита с яростью,— я вам повторяю: я вас люблю, Коломбо! Я вас люблю! Слышите: я вас люблю!

— Кармелита, я вас слышу! Ваше дыхание жжет меня!..

Он сделал над собою усилие, вскочил и отошел, шатаясь, от Кармелиты.

— Сестра моя! Сестра моя! Наша вина одинакова. Будем просить у Бога, чтоб он дал нам силу покориться судьбе.

— Что вы называете «покориться», друг мой? Я вас не понимаю.

— Вы должны выйти за Камилла...

— Чтобы я вышла за Камилла, любя вас и зная вашу любовь ко мне?

— Вы должны, вы должны! — вскричал с отчаянием Коломбо.

— Почему же должна? Скажите мне, Коломбо,— спросила девушка,— перед кем ответственна я за мою любовь на этом свете? Я одна,— слава Богу! Я единственный судья и ценитель моего поведения.

— Вы ошибаетесь, Кармелита: общество оценит ваше поведение, а Бог — ваш верховный судья... Вы богохульствуете!

— Я не богохульствую, Коломбо, я вас люблю!

— Кармелита, не будем считать наши желания и влечения за наши права и обязанности. Вы видите, куда это нас привело!

— Это упрек, Коломбо?

— О! — вскричал Коломбо, бросаясь к ее ногам.— Да накажет меня Бог, если я это думаю! По-моему, Кармелита, хоть у вас все страсти женщины, но вы так же чисты, как Ева в первый день творения.

— Коломбо! Коломбо! — сказала Кармелита, падая на канапе и положив обе свои руки на голову молодого человека, лицо которого она прижала к своим коленям.— Я оставляю в стороне мои права и мои обязанности и слушаюсь только голоса моего сердца. Что мне за дело, что придется отвечать перед Богом и перед людьми. Я знаю, что ответить людям и Богу, только бы я могла быть оправдана перед вами, друг мой... Я люблю, люблю вас, и знайте, что я забуду вас на этом свете только для того, чтобы думать о вас на другом.

— Но что же делать? Что делать?..

— А наконец-то вы делаетесь благоразумнее! — сказала Кармелита с горестным смехом, от которого дрожь пробежала по жилам Коломбо. — Что делать?.. О! Я думала уже давно, что нам остается делать!.. Есть только два исхода, Коломбо.

— Какие?

— Оставить этот дом, бежать, поселиться за границей, на краю света, хоть в Индии, или на островах океана, и жить забытыми всеми.

— А другой исход? — спросил Коломбо, доказывая этим, что он отвергает первый способ.

— Другой? — отвечала твердо Кармелита. — Умереть, Коломбо.

— О! — сказал бретонец, склоняя голову на ее колени.

— Не будучи в состоянии соединиться при жизни, — продолжала Кармелита, — мы, по крайней мере, соединимся, умирая.

— Вы оскорбляете Бога, Кармелита.

— Не думаю... Но, во всяком случае, Коломбо, я предпочитаю лучше вечно страдать с вами, чем быть соединенной с «ним», хотя бы на время.

— Это невозможно, Кармелита! Невозможно!

— Хорошо, силен всегда слабый... И теперь слабый будет силен за двоих.

Коломбо приподнял голову.

— Если я не в состоянии принадлежать вам, — потому что вы мне отказываете, Коломбо, — я не буду принадлежать и ему, потому что ему отказываю я. С завтрашнего же дня я поступаю в монастырь...

— О, нет, нет, я вас люблю, как безумный!.. Все, что вы хотите, Кармелита, все, все я сделаю!

— Эти слова очень важны, Коломбо, и прежде, чем на что-нибудь решиться, вам стоит обдумать. Я говорю, как существо без имени, забытое, покинутое всем светом, без отца и матери, которые уже там. Вы же — последний потомок благородного семейства. У вас громкое имя, у вас есть отец, который вас обожает... Подумайте о вашем отце! Завтра вы скажете мне, к чему приведут вас эти размышления.

— Итак, до завтра, Кармелита.

— До завтра, Коломбо...

VI РЕШЕНИЕ

Следующий день был туманный и сумрачный. Мы видели конец его в первой главе этой книги, когда встретили на улицах Парижа Жана Робера, Людовика и Петрусса. Посмотрим теперь начало его.

Шел мелкий, пронизывающий дождь, воздух был холоден, небо — серое, мостовые — черны. Это был один из таких зимних дней, когда каждому точно не по себе, один из тех дней, когда грустно одному, еще грустнее вдвоем, когда кажется, что ум оцепенел так же, как и тело, в каком бы уголке кабинета человек ни уселся, в какое бы местечко своей любимой комнаты ни спрятался.

Вот в такой день молодые люди сошлись во флигеле Коломбо.

Виноградные лозы ярко горели в камине, но, насколько весел свет огня в зимние вечера, настолько же он печален утром, когда кажется неудачным подражанием, смешной подделкой солнца; он не блестит, не сверкает, а едва согревает.

Они оба сидели перед камином безмолвные, задумчивые, печальные, обмениваясь время от времени отрывистыми словами, какими обмениваются осужденные в ожидании палача.

Наконец, Кармелита решила начать разговор и сказала:

— Итак, он приедет завтра!

— Да, завтра,— повторил Коломбо.

— И мы еще не решили окончательно, друг мой,— сказала Кармелита.

— Как же,— отвечал Коломбо после минутного молчания,— я решил.

— В таком случае и я также,— сказала молодая девушка, протягивая руку бретонцу.

— Я умру,— сказал Коломбо.

— И я умру,— сказала Кармелита.

Коломбо побледнел.

— Это решительно, Кармелита? — сказал он дрожащим голосом.

— Решительно, Коломбо,— отвечала твердо Кармелита.

— Вы умрете без сожаления?

— С радостью, в восторге, в восхищении.

— Тогда да простит нас Бог! — сказал Коломбо.

— Бог уже простил нас, — сказала молодая девушка, подняв к небу полный безграничной веры взор.

— Хорошо, — сказал Коломбо, — расстанемся еще раз, чтобы соединиться навеки. Прежде, чем умереть, разойдемся на некоторое время.

— Вы хотите проститься, друг мой?

— Я напишу письмо отцу и Доминику.

— А я, — сказала Кармелита, — напишу трем школьным подругам, моим трем сестрам из Сен-Дени.

Молодые люди крепко пожали друг другу руки и разошлись. Кармелита пошла в свою комнату, Коломбо — во флигель.

Вот письмо, которое Коломбо написал своему отцу, старому графу Эдмонду де Пеноель.

«Мой дорогой и уважаемый отец!

Простите мне скорбь, которую я вам причиняю.

Хотя мое решение твердо, хотя ничто на свете не может заставить меня отказаться от него, даже ваша любовь ко мне, даже моя благодарность к вам, но я колеблюсь, я останавливаюсь и собираюсь с силами, чтобы написать следующие строки...

Мой нежно любимый, дорогой, уважаемый, почитаемый отец, простите меня! Простите меня! Вы учили меня с детства прежде всего заботиться о том, чтобы люди не презирали меня, и я прибегаю к смерти, боясь этого презрения. Когда вы получите это письмо, мой дорогой отец, ваш бедный Коломбо уже не будет существовать, предпочитая, по вашему совету, отказаться от жизни, чем не исполнить своего долга.

Не думайте, что я сделал, что-либо нечестное, мой благородный отец! Не бойтесь этого ни одной минуты: если бы я пал, то вместо того, чтобы подло скрываться от света, я искупил бы мою вину, публично сознавшись в ней перед всеми. Нет, я боролся, противился, но ураган страсти, безысходная любовь сломили мои силы. Они охватили мою душу, и я склоняю голову и умираю.

«Ведите себя на земле, как странники и чужеземцы, которым нет выгоды от дел этого света».

Помните ли вы эти слова из «Подражания Христу»?

Я как странник в продолжение тридцати лет бродил между чужими, мой дорогой отец, и теперь, не желая принимать участия в делах этого света, я без сожаления оставляю землю и иду ждать вас на небо.

Я умираю со спокойной совестью; я сказал бы даже с веселым сердцем, отец мой, если бы моя эгоистическая радость не была бы обидна для вашей привязанности.

Умоляю вас на коленях со сложенными руками, разбитым сердцем, умоляю вас, мой обожаемый отец, умоляю вас простить мне горе, которое я вам причиняю; но для меня такое же большое несчастье жить, как велико счастье умереть!

Ваш неблагодарный сын
Колумбо де Пеноель.

Несколько слез, крупных, как капли дождя во время грозы, оставили пятна на последней странице этого письма, написанного слабой рукой, крупным почерком.

Затем, не запечатывая этого письма, только отодвинув его рукою, Колумбо написал другое письмо Доминику Сарранти.

«Брат мой!

Я умираю! Я обращаюсь к вам, как к другу, я обращаюсь к вам, как к священнику. Мне нужен и священник, и друг.

Вот, что я скажу священнику:

«Брат мой, не говорите над моим телом этого богоульства: «Тот, кто хочет умереть, никого не любит»; я, напротив, умираю, потому что слишком любил!

У меня перед глазами книга, которая предает анафеме самоубийц. В ней сказано, что между животными нет такого, которое вырывало бы свою внутренность и лишало бы себя жизни.

Да, без сомнения, да, животные слепо повинуются создателю, один человек восстает против него; но Бог дал животному только инстинкт, а человеку он дал страсти; в этом заключается вся тайна непослушания людей и покорности животных.

Моя смерть, — о, природа, вечная мать, пожирающая и дающая жизнь! — не скроет от тебя ничего из того, что ты мне дала. Мое тело, эта маленькая часть всего великого, соединится с тобой, только в другом виде; моя душа или умрет вместе со мною и изменится в громадной массе вещей, или будет бессмертна, и в таком случае ее божественное существо останется неприкосновенным. Мой разум, всегда подчиненный вере, не обольщается софизмами, я слышу голос Бога, который говорит мне: «Человек, я создал тебя для того, чтоб твоим счастьем ты участвовал во всеобщем счастье, а для того, чтобы ты мог этого вернее достигнуть, я дал тебе любовь

к жизни и ужас перед смертью». Да, но если сумма горя превышает сумму блаженства?..

Вот, что я скажу священнику, мыслителю и философу, священнику, который знал меня и вознесет за меня к Богу свои руки, свои чистые руки и свой дух, свободный от страстей; священнику, который не позволит, как бы не недостойна христиан была наша смерть, опустить наши тела в могилу без молитвы или без прощения.

Теперь вот что я скажу другу:

«Добрый Доминик! Дорогой друг моего сердца! Завтра утром, когда ты получишь это письмо, ты поедешь в Нижний Медон,— ты знаешь дом, в котором я живу,— ты войдешь туда и найдешь лежащими на одной постели трупы молодого человека и девушки, умерших для того, чтоб не краснеть ни перед собою, ни перед людьми, ни перед Богом. Милый друг, тебе, тебе одному я доверяю заботу о нашем погребении.

Мы не могли вместе жить на этом свете. Мы не могли ни жить одной жизнью, ни спать на одном ложе, мы желаем, по крайней мере, покоиться в одном гробу в продолжении вечности. Ты велишь сделать, дорогой друг, гроб настолько широкий, чтобы нас можно было б двоих положить рядом; ты сорвешь последние цветы с розана, который найдешь в нашей комнате, и бросишь на нас; затем нам нужны будут только твои молитвы.

Но останется человек, которому ты будешь необходим, милый друг моего сердца,— это мой отец.

Отдав последний долг его сыну, ты поедешь в Бретань: тебя ведь ничто не удерживает в Париже. Ты найдешь его в слезах, но ты не будешь стараться его утешать, а будешь плакать вместе с ним.

Прощай, мой друг! Завтра в это время люди, по мнению которых, я приношу себя в жертву, не будут действовать ни за меня, ни против меня: мы предстанем, Кармелита и я, у престола Господня.

Твой друг... более, чем друг,— твой брат

Коломбо де Пеноель».

Он запечатал оба письма, надписал адреса, только на письме отца прибавил: «Послать на почту»; а на письме Доминику Сарранти: «Отнести завтра до семи часов утра».

VII

СОЛОВЬИНЫЙ ВЫВОДОК

В это время Кармелита написала следующее письмо трем своим подругам: «Регине, Лидии и Фражоле».

«Прощайте, мои сестры!»

Мы клялись в Сен-Дени, как бы не было различно наше общественное положение, любить друг друга, защищать друг друга и помогать всю жизнь, как мы привыкли делать это пансионе. Было решено, что в случае опасности каждая из нас прибегнет к другой, в каком бы месте и на каком расстоянии она бы ни находилась.

Я сдержу свою клятву, сестры мои: я вас зову; сдержите вашу: придите ко мне!

Придите поцеловать в последний раз холодный лоб той, которая была вашим другом!

Не сожалейте, однако, о моей жизни, о мои сестры! Лучше позавидуйте моей смерти; потому что я умираю так, как другие живут,— с радостью, с восторгом, с блаженством!

Я люблю! И та, которая из вас уже любит, поймет значение этого слова... Если вы еще не любите сегодня, вы поймете его завтра. Я люблю человека, которого я выбрала по своему вкусу, который был моей мечтой; я нашла соединенными в одном человеческом существе все сокровища доброты, красоты, добродетелей, которыми каждая из нас старается наделить героя, за которого она должна выйти замуж.

Не имея возможности выйти за него замуж на этом свете, я обручаюсь с ним сегодня вечером, чтобы выйти на том.

Мы умрем вместе, сестры мои, и, если завтра вы придете рано, прежде, чем смерть покроет синевою наши щеки, вы увидите двух красивейших обрученных, которых только носила когда-нибудь земля.

Но не проливайте ни одной слезы над их головами, не нарушайте их сна вашими стенаниями, потому что никогда, никогда души обрученных не поднимались более сияющими, более чистыми к небу.

Прощайте, мои сестры!

Я сожалею только о том, что не могу поцеловать вас всех трех прежде, чем умру. Но горечь этого сожаления улаживается мыслью, что, может быть, я не могла

бы устоять перед вашими слезами, и что ваша привязанность, нежная и преданная, возбудила бы во мне желание жить, тогда как я испытываю невыразимое блаженство, умирая.

Слезы навертываются мне на глаза при мысли, что я должна покинуть любимого мною; но улыбка мелькает на губах при мысли, что я последую за ним.

Будьте счастливы!

Вы заслуживаете счастья, которое обещало вам ваше детство. Я не знаю, за что вы так горячо любили меня: я не была достойна быть между вами.

Помните ли вы, как однажды наша начальница назвала вас тремя грациями, на что аббат заметил: «Следовало бы лучше сказать, три добродетели».

И это была правда: Регина была Вера, Лидия — Надежда, Фражола — Милосердие.

Прощай, моя Вера! Прощай, моя Надежда! Прощай, мое Милосердие! Прощайте, мои сестры. Да сблизит вас еще более мое отсутствие; любите друг друга еще больше, если это возможно: только одна любовь и хороша на этом свете. Старайтесь жить любовью, которая заставляет меня умирать; я не могла бы пожелать вам более неизъяснимого блаженства. Я завещаю вам мое единственное сокровище — мой белый розан — если, впрочем, он не умрет вместе с нами. Вы будете ухаживать за ним, вы сохраните его цветы и 15 мая, в день моего рождения, вы придете все вместе и положите его лепестки на мою могилу.

Так оборвала я в одну весеннюю ночь лепестки всех земных радостей.

Вы найдете возле меня это письмо; наверху будет лежать симфония, которую я сочинила. Я думаю, что я могла бы сделать великой артисткой.

Эта пьеса посвящена вам всем троем, потому что я думала о вас, когда писала ее. Она называется «Соловиный выводок».

Однажды летом я видела, как с дерева упало гнездо соловья, которого убила гроза, — для птиц так же существуют грозы, как и для людей — это сюжет моей симфонии, которую вы разучите и будете играть в память обо мне.

Бедные маленькие птички! Они подобны мечтам, которым я завидовала всю жизнь и которые умерли, едва распутившись.

Прощайте в последний раз, потому что, вопреки своей воле, я чувствую, что глаза мои мокры от слез, а если

эти слезы упадут на мое письмо, они смоят слова счастья, которые я написала.

Прощайте, мои сестры! *Кармелита*».

Окончив это письмо, она написала три другие, в которых просто назначала свидание своим подругам завтра в семь часов утра.

Потом она позвала садовницу.

— Вынимают ли еще сегодня почву? — спросила она.

— Да, мадемуазель, — отвечала Нанетта, — поторопитесь немного, и ваши письма пойдут сегодня в четыре часа.

— В котором часу будут они розданы в Париже?

— В девять часов вечера, мадемуазель.

— Это все, что мне нужно... Возьмите эти три письма и бросьте их в почтовый ящик.

— Хорошо, мадемуазель... Больше мадемуазель ничего мне не прикажет?

— Нет. Почему вы это спрашиваете?

— Потому, что сегодня немецкая масленица.

— Праздник?

— Да, мадемуазель, и мы предполагали ехать в Париж, где мы должны сойтись на большом маскараде прачек из Ванвра, и, если я не нужна, мадемуазель...

— Нет, вы можете отправляться в Париж. А в котором часу вы вернетесь?

— В одиннадцать, а может быть, и позднее. Очень возможно, что будут танцевать.

Кармелита снова улыбнулась.

— Веселитесь хорошенько, — сказала она, — и возвращайтесь, когда хотите: вы нам не нужны.

Итак, Коломбо и она останутся совершенно одни в доме, и мысль об этом уединении заставляла улыбаться девушку.

Садовница ушла, а около четырех часов молодые люди, чувствуя себя свободными, думали только о приготовлении к смерти...

.....
Когда они пришли в комнату Кармелиты, девушка открыла окно и взяла за руку Коломбо.

— Я стояла на этом месте, — сказала она ему, — в день отъезда Камилла, и только в тот день я поняла всю величину моей ненависти к нему и силу любви, которую я питала к вам. С этого дня, Коломбо, я покончила с жизнью и примирилась со смертью... Но с этой же минуты — простите мне, Коломбо! — с этой же минуты

мне пришло в голову эгоистическое желание умереть вместе с вами.

Коломбо прижал девушку к своему сердцу.

— Благодарю,— сказал он.

Потом они унесли розан, который должен был быть спутником их агонии.

Но на пороге Кармелита остановилась.

— Здесь,— сказала она,— на этом месте я в первый раз узнала о вашей любви. О! Как удержалась я, что не бросилась в ваши объятия, когда вы пробывли тут полчаса в одну счастливую ночь?

Затем, показав ему на окно в коридоре, она сказала:

— Из этого окна я наблюдала за светом вашей лампы и оставалась тут до тех пор, пока лампа не гасла.

Они сошли с лестницы. Кармелита — улыбаясь, молодой человек — вздыхая...

VIN

ОЧЕНЬ НУЖНОЕ ПИСЬМО

Часы пробили час ночи.

Это был именно тот час, если помнят читатели, в который трое молодых людей, встреченных нами в начале этой истории, и их таинственный спаситель садились ужинать.

Оставим пока Жюстена, подъехавшего верхом в Версаль, оставим Сальватора, Жана Робера и г-на Жакаля, ехавших в карете в Нижний Медон, и вернемся к Людовику и Петрюсу, которые спали за столом в трактире.

Первым проснулся Людовик. Его разбудил шум, который производило веселое общество, желая попасть на четвертый этаж, где находились молодые люди.

Мальчик, повинувшись приказанием Сальватора, не хотел даже позволить, чтобы кто-нибудь вошел в комнату, где спали Людовик и Петрюс.

Шум, который производило настаивавшее общество, и разбудил молодого человека.

Он открыл глаза и прислушался.

На этот раз осаждающие нападали с таким веселым смехом, и этот смех, казалось, выходит из таких молодых и свежих ртов, что Людовик рассудил, что, может быть, доставит себе и другу удовольствие, если разрешит овладеть комнатой таким противникам.

И он пошел сам отворять дверь.

В ту же минуту группа разряженных в костюмы пьеро, дьяволов, торговков рыбой наводнила комнату с таким шумом, с такими взрывами хохота, что Петрюс вскочил с криком: «Пожар!».

Петрюс уже раньше бредил пожарами.

В это время Людовик почувствовал, как две хорошенькие руки обвились вокруг его шеи, а ротик с жемчужными зубками, каждое дыхание которого раздувало кружева бархатной полумаски, закрывавшей верхнюю часть лица, говорил ему своими розовыми губками:

— Так это ты, студент моего сердца, дозволяешь удерживать за собою целое помещение?

— Прежде всего, если бы ты, маска, потрудилась оглянуться, то увидала бы, что я не один.

— Э, да вот и сам Рафаэль! Хочешь, чтоб я позировала перед тобой, чтоб ты сделал ногу женщины на пожаре, о котором ты сейчас орал?

И молодая девушка, одетая в костюм простолюдинки, приподняв шаровары, показала под тонким шелковым чулком такую ногу, какую ищут художники и находят кардиналы.

— О! Я знаю эту ногу, княгиня!— сказал Петрюс.

— Шант-Лиля!— вскричал в то же время Людовик.

— Так как меня узнали, то я снимаю маску,— сказала красивая прачка.— Да и пить неловко, когда лицо закрыто... Дайте мне пить! Я умираю от жажды!

И все общество, состоявшее из пяти или шести прачек из Ванвра и трех садовниц из Медона, в сопровождении их возлюбленных, повторило хором:

— Пить! Пить!

— Молчите!— закричал Людовик,— комната принадлежит мне, следовательно, я должен и угощать. Мальчик, шесть бутылок шампанского для меня!

— И шесть для меня, мальчик!— прибавил Петрюс.

— В добрый час!— сказала княгиня.— А в благодарность за это мы подставим вам наши щеки для поцелуев.

— Чет или нечет?— сказал Петрюс, вынимая из кармана пригоршню монет.

— Что вы хотите сделать, синьор Рафаэль?— спросила Шант-Лиля.

— Я ставлю щеку Людовика против моей.

— Чет за чет!— отвечал Людовик, говоря тем же языком, каким говорил его друг.

— А мы всегда пускаем ракеты,— заметила княгиня, возвращаясь к своим обычным выражениям.— Пиф-паф!

Нам недостает только Камилла: он пустил бы букет.

В эту минуту гарсон вернулся с двенадцатью бутылками шампанского.

— Букет — вот он! — сказал гарсон, заставляя вскочить пробки из двух бутылок, у которых он подрезал проволоку на лестнице.

— Выиграл! — вскричал Людовик, целуя Шант-Лиля в обе щеки. — Я тебя похищаю, сабинянка.

И, взяв на руки княгиню Ванвр, как будто это был ребенок, он отнес ее к столу и, усевшись сам, посадил ее к себе на колени.

В течение часа двенадцать бутылок были выпиты; затем — двенадцать других, которое общество, чтоб не оставаться в долгу, велело подать в свою очередь.

— Теперь, — сказала Шант-Лиля, — речь идет о возвращении в Ванвр. Вот Нанетта обещала своей барышне вернуться в одиннадцать часов и должна передать ей письмо. Теперь три часа утра, а письмо-то нужное.

— Четыре часа, принцесса, — заметил Петрюс.

— А хозяйка встает в пять! — вскричала Шант-Лиля. — В дорогу, общество!

— Княгиня, — остановил ее Людовик, — когда состоится ваше первое путешествие в Париж?

— О! — ответила Шант-Лиля. — Как будто вы беспокоитесь об этом?

— Конечно, я беспокоюсь, особенно, когда у меня нет более белья.

— Ба, вот мелочность! Хорошо, вы его получите, когда приедете за ним сами.

— Шант-Лиля, без глупостей! Эта неделя была трудная для белых рубашек, а я не могу ходить к моим больным в рубашках с кружевами.

— Приходите за вашим бельем.

— О! Если дело только в этом и в вашей коляске есть место, княгиня, я готов.

— Без фарсов?

— Так же верно, как я говорю с вашей светлостью.

— Bravo! Bravo! Мы напьемся молока на мельнице в Ванвре. А вы поедете, синьор Рафаэль?

— Ты едешь, Петрюс? Это хорошо: долгие шалости — самые лучшие.

— Черт возьми! У меня нет недостатка в желании, но, к несчастью, у меня утром первый сеанс.

— Ну, отложи этот сеанс!

— Невозможно. Я дал слово.

— Тогда,— заметила Шант-Лиля — это должно быть свято. Форнарина отпускает своего Рафаэля. Пойдем, король проказников.

И она протянула руку Людовику, который, решившись весело завершить карнавал, оплатил свой счет и счет Петрюса, спустился с лестницы и сел в громадную повозку для перевозки мебели, в которой все общество приехало из Ванвра в Париж.

Петрюс, живший на Западной улице, простился с ними, пожелал другу побольше удовольствий, отвечая, несмотря на расстояние и потемки, на шумные слова приветствия, которые посылало ему веселое общество.

— Ну, хорошо,— спросил Людовик,— куда же мы отправляемся таким образом? Мне кажется, что мы едем в Версаль, а не в Ванвр?

— Если бы Рафаэль не покинул нас, король проказников,— отвечала Шант-Лиля,— он сказал бы: ваше величество, все дороги ведут в Рим.

— Я не понимаю,— сказал Людовик.

— Посмотри на Нанетту, прекрасную садовницу.

— Я смотрю на нее.

— Как ты ее находишь?

— Хорошенькой!.. Дальше?

— Ну, хорошо, она поехала с условием, что ее выпустят у ее двери.

— Ну ладно, Бог с вами!— ответил Людовик.— Позволь мне сесть к твоим ногам, княгиня, и положить голову на твои колени: ты спасешь мне жизнь.

— Хорошо,— сказала девушка,— если бы я знала, что мы возем этого господина для того, чтоб он спал, то его бы следовало положить в телегу с зеленью. Ему было бы там так же хорошо, как и здесь.

— Ах, княгиня,— сказал сонный Людовик,— ты ко мне несправедлива: капуста не так сладка, а салат не так нежен, как ты.

— Боже мой!— произнесла Шант-Лиля тоном глубочайшего сострадания.— Как бывает глуп самый умный человек, когда ему хочется спать!

Пробило пять часов утра, когда они приехали в Бельвю. Мало-помалу звучный смех замолк, веселые крики затихли, вероятно, и холод, сопровождающий возвращение утра, особенно зимой, отзывался на полузаснувших участниках маскарада. Каждый желал поскорее вернуться в свою комнату, в свою постель.

Наконец, повозка остановилась перед дверью дома,

где жили Коломбо и Кармелита; Нанетта выскочила из нее, достала из кармана ключ и вошла в дом.

— Хорошо,— сказала она, увидев через оставленную открытой дверь коридора, выходящую в сад, огонь, который светился у Коломбо.— Молодой человек еще не спит и получит свое письмо.

— Прощайте, господа!

И она заперла дверь.

Несколько глухих ворчаний раздалось из глубины повозки, которая направилась к Ванвру.

Но только повозка отъехала пятьдесят шагов, как крики: «Помогите! Помогите!.. Г-н Людовик, г-н Людовик!»— раздались с того места, где высадили Нанетту.

Повозка остановилась.

— Что случилось?— спросил Людовик, внезапно проснувшийся.

— Я не знаю, но вас зовут,— ответила Шант-Лиля.— Я узнаю голос Нанетты. Случилось какое-нибудь несчастье.

Людовик выскочил из повозки и в самом деле увидел Нанетту, которая бежала испуганная и кричала:

— Помогите! Помогите!

IX

ЗАДОХНУВШИЕСЯ

Он побежал к ней.

— О! Скорее, г-н Людовик! Идите скорее! Идите скорее все! Они умерли!

— Кто умер?— спросил Людовик.

— Мадемуазель Кармелита и г-н Коломбо!

— Коломбо?— вскричал Людовик.— Коломбо де Пеноель?

— Да, г-н Коломбо де Пеноель и мадемуазель Кармелита Жерьё. Боже мой! Какое несчастье! Такие молодые, такие красивые, такие ласковые!

Людовик в ту же минуту бросился к дому и, найдя дверь открытой, одним скачком очутился в садовом флигеле.

Окно кабинета, плохо закрытое Коломбо, было распахнуто Нанеттой, которая после тщетных криков и стука осмелилась перешагнуть через подоконник, чтобы постучать в дверь комнаты.

Видя, что ей не отвечают, она отворила дверь, но в

ту же минуту отступила назад и чуть не упала навзничь. Ужасный чад углекислоты окружил ее смертоносным облаком.

В один миг она поняла все и, подумав, что она может догнать повозку, бросилась за нею.

Людовик ринулся во флигель через окно кабинета, но отступил из-за страшного угара.

В эту минуту прибежали все.

— Разбейте окна! Ломайте двери!— кричал Людовик.— Больше сквозняков! Они задохнулись!

Попытались открыть ставни, они были заперты изнутри. Выломали дверь.

Но стоявшие на пороге вынуждены были отступить.

— Приготовьте уксуса и соленой воды; разбудите аптекаря, если он есть в деревне, и возьмите у него английской соли и аммиака. Нанетта, разведите где-нибудь огонь и нагрейте салфетки.

Затем, как рудокоп спускается в бездну, как матрос бросается в море, Людовик бросился в комнату.

Веселая маска уступила место человеку науки; врач должен был пустить в ход все средства своего искусства. Людовик ощупью подошел к окну; свеча потухла, огонь в камине погас, в жаровне не было больше ни пламени, ни дыма. Занавески перед окнами были опущены и мешали найти задвижку. Людовик обернул руку носовым платком и двумя ударами кулака выбил два стекла.

Движение воздуха восстановилось. Однако Людовик сам уже шатался, он схватился за роаль.

Затем он сорвал занавеси с карниза и отворил окно. Угар уступал место свежему воздуху, который входил в комнату из других проемов.

— Входите!— закричал Людовик.— Входите, опасности больше нет!.. Войдите и осветите комнату.

Зажгли свечку, и каждый предмет стал виден ясно.

Молодые люди лежали в объятиях друг друга на постели, как будто уснули.

— Нет ли здесь доктора?— спросил Людовик.— Или хоть фельдшера, или цирюльника — все равно, какого-нибудь человека, который мог бы мне помочь?

— Тут живет г-н Пиллоу, старый хирург гвардии... Очень умный человек,— сказал какой-то голос.

— Бегите за г-ном Пиллоу и тащите его сюда.

Потом он бросился к постели.

— Ах!— сказал он, покачав головой.— Я думаю, что пришли очень поздно.

В самом деле, губы молодых людей почернели.

Людовик приподнял веки. Глаза Коломбо были точно стеклянные; глаза Кармелиты тусклы и влажны.

Не было слышно ни малейшего дыхания ни у одного, ни у другого.

— Слишком поздно! Слишком поздно!— повторял Людовик в отчаянии.— Но все равно, сделаем все, что можно. Сударыни, займитесь девушкой,— продолжал он,— а я займусь мужчиной.

— Что нужно делать?— спросила Шант-Лиля.

— Делай как можно усерднее то, что я тебе скажу, мое милое дитя. Прежде всего отнесите девушку к окну.

— Пойдемте,— сказала Шант-Лиля своим подругам.

— А нам что делать?— спросили мужчины.

— Постарайтесь развести огонь... хороший огонь; нагрейте салфетки; снимите с него сапоги... Я постараюсь пустить ему кровь из ноги... Ах! Слишком поздно! Слишком поздно!

Людовик проговорил это, переноса Коломбо с кровати к окну.

— Вот уксус и соленая вода,— сказала Нанетта.

— Налейте уксусу на тарелку так, чтобы можно было намочить в нем платки, и трите виски задохшихся. Ты слышишь, Шант-Лиля?

— Да, да,— отвечала молодая девушка.

— Отрежьте перо. Как я делаю, видите?.. Разожмите зубы, если можете, и вдуйте им воздух в рот.

Все повиновались Людовику, как во время сражений повинуются главнокомандующему.

Зубы Кармелиты были стиснуты; но при помощи ножа из слоновой кости Шант-Лиля разжала ей челюсти и всунула перо между зубов.

— Ну что?— спросил Людовик.

— Перо всунуто.

— Теперь дуйте... Я не могу ничего сделать: у него железные зубы!.. Сняли ли вы с него сапоги и чулки?

— Да.

— Трите ему виски уксусом; sprысните лицо водой; разожмите ему зубы, если бы даже пришлось сломать их! Я постараюсь пустить кровь из ноги.

Людовик открыл свой футляр, вынул ланцет, кольнул два раза ножную вену, но напрасно. Кровь не показывалась.

— Снимите с него галстук, сорвите жилет, сдерните рубашку!.. Сорвите все!

— Вот горячие салфетки,— сказал чей-то голос.
— Дайте их Шант-Лиля и трите грудь этими салфетками. Слышишь, Шант-Лиля?.. А! Вот ножик!

Людовику удалось просунуть ножик между челюстей Коломбо, но челюсти были так сжаты, что перо не проходило; тогда он прильнул губами к губам молодого человека и старался вдохнуть ему воздух в легкие, но и это оказывалось напрасным.

— Слишком поздно! Слишком поздно!— шептал Людовик.— Попробуем опять пустить кровь в другом месте. Он взял опять свой ланцет и проколол шейную вену.

Но так же, как и из ноги, кровь не показалась.

— Вот соль и нашатырный спирт,— сказал посланный, подавая Людовику два флакона.

— Шант-Лиля, возьми флакон с солью и поддержи его около носа девушки. Я возьму аммиак.

— Хорошо,— сказала Шант-Лиля, протягивая руку.

— А воздух?— спросил Людовик.

— Как воздух?

— Думаешь ли ты, что он проник в ее грудь?

— Мне кажется, что да.

— Тогда смелее, дитя мое! Смелее! Три ей виски уксусом и держи у носа соль.

Коломбо оставался недвижим; ни одного вдоха не выходило из его груди.

— О! — сказала Шант-Лиля.— Мне кажется, что губы ее бледнеют.

— Смелее! Смелее! Шант-Лиля, это хороший признак. О! Мое милое дитя, какое было бы для тебя счастье, если бы ты могла сказать, что спасла жизнь женщины!

— Мне кажется, что она вздохнула,— сказала Шант-Лиля.

— Приподними веко и посмотри глаз: он все еще тусклый?

— О! Людовик, мне кажется, что он не очень тусклый...

— Г-на Пиллоу нет дома,— сказал возвратившийся посланный за хирургом.

— Где же он?— спросил Людовик.

— У г-на Жерара, который очень болен.

— А где живет г-н Жерар?

— В Ванвре... Нужно ли идти туда?

— Бесполезно! Это очень далеко.

— Г-н Людовик, г-н Людовик, она дышит!— вскричала Шант-Лиля.

— Уверена ли ты в этом, дочь моя?

— Я терла ей грудь теплой салфеткой и почувствовала, что грудь приподнялась... Г-н Людовик, она приподнимает к голове свою руку!

— Хорошо,— сказал Людовик,— мы, по крайней мере, спасем одного из двух! Унесите ее поскорее отсюда, чтобы она не увидела, что ее возлюбленный умер.

— В ее комнату, в ее комнату,— сказала Нанетта.

— Да, в ее комнату. Вы откроете там все окна и разведете хороший огонь. Ступайте, ступайте!

Женщины унесли Кармелиту.

Начинало рассветать.

— Ты знаешь, что нужно делать, Шант-Лиля?— вскричал Людовик вслед группе девушек, уносивших Кармелиту.

— Нет, скажите что?

— Ничего, кроме того, что ты делала до сих пор.

— Но если она спросит, что случилось с ее возлюбленным?

— Скорее всего, она будет в состоянии говорить не раньше, чем через час, а рассудок не вернется к ней раньше, чем через два или три часа.

— А тогда?..

— Тогда уже я буду около нее.

И он опять принялся за молодого человека со сверхъестественным упорством врача, преследующего жизнь даже в объятиях смерти.

Х

ВОКРУГ ПОСТЕЛИ КАРМЕЛИТЫ И У ПОСТЕЛИ КОЛОМБО

В девять часов утра карета, в которой ехали Жакаль, Сальватор и Жан Робер, остановилась у дверей дома, в котором произошли ужасные события, только что рассказанные нами.

Три другие кареты стояли уже у этой двери: фиакр, маленькая карета буржуа и большая карета с гербами.

— Они все три уже здесь,— прошептал Сальватор. Жакаль обменялся тихо несколькими словами с господином, одетым в черное, который стоял у дверей.

Этот человек, одетый в черное, сел на лошадь, привязанную в нескольких шагах от кабачка, и поскакал галопом.

— Я забочусь о вашем школьном учителе,— сказал Жакаль Сальватору и Жану Роберу.

Сальватор безмолвно поблагодарил его кивком головы и вошел в сени.

Едва сделал он шага три, как собака, лежавшая на площадке первого этажа, перескакивая через ступени, бросилась к нему и положила обе свои лапы к нему на плечи.

— Да, моя собака, да, Роланд, она здесь, я знаю... Ступай, показывай дорогу, Роланд.

Собака поднялась по лестнице и остановилась перед дверью комнаты Кармелиты.

Жакаль, как человек, имеющий право проникать всюду, отворил дверь и вошел в сопровождении Сальватора и Жана Робера.

Глубоко поэтическая картина представилась глазам полицейского и двух молодых людей.

Около постели, на которой лежала Кармелита, еще оцепеневшая, но уже вне опасности, стояли на коленях и молились три молодые девушки одних лет, но равные по красоте, одеты они были так же, как и Кармелита, то есть в особенный костюм, который мы опишем.

Это был костюм пансионерки Сен-Дени. Он состоял из черного платья тонкой саржи с широкой юбкой, закрытым лифом и белым воротником, рукава платья были широкие и висячие, как рукава монахинь; широкая шерстяная лента, обернутая вокруг плеч, стягивала талию, образуя на спине угол, нижний конец которого был на талии, а верхушка на плечах; этот пояс, шириною в ладонь, был из шерсти шести различных цветов: зеленой, фиолетовой, желтой, голубой, белой и светло-красной. Это был костюм полусветский, полумонашеский; светская женщина никогда не оделась бы с такой суровой строгостью, а монашенка никогда не надела бы этого пояса, сверкающего всеми цветами радуги. Таков костюм пансионерок Сен-Дени, когда они поступают в высшие классы.

Жан Робер с первого взгляда узнал Фражолу и взглянул на Сальватора, чтоб указать ее; но тот уже видел ее, и даже был ею замечен; он приложил палец к губам, рекомендуя Жану Роберу молчать.

Вдруг два друга отступили, испуганные: им показалось, что тело пошевелилось, а они не знали, что Кармелита была спасена Людовиком.

— А!— сказал Жакаль с равнодушным видом человека, привыкшего к таким спектаклям,— значит, она не умерла?

— Нет, сударь,— отвечала самая высокая из деву-

шек, превосходившая других как ростом, так и красотой.

Жан Робер повернулся: звуки этого голоса были ему знакомы.

Он узнал мадемуазель Регину де Ламот Гудан.

— А молодой человек?— спросил Жакаль.

— Еще надеются,— отвечала Регина,— около него находится молодой доктор.

В эту минуту дверь открылась и, к большому удивлению Жана Робера и Сальватора, вошел Людовик.

Он сбросил свой маскарадный костюм и послал верхового привезти себе платье.

— Ну что?— спросили все голоса.

Людовик покачал головой.

— Монах около него,— сказал он,— мне же там больше нечего делать.

Затем, когда ему показали все еще безмолвную Кармелиту, глаза которой, когда они открывались, казалось, еще ничего не видели, он сказал:

— О! Бедное дитя! Оставьте ее в ее неведении: она вернется к жизни слишком рано!

— Господа,— сказал Жакаль Сальватору и Жану Роберу,— мы здесь только случайно и, я думаю, было бы хорошо оставить больную с ее подругами и доктором, составить наскоро протокол и отправиться в Версаль.

Жан Робер и Сальватор поклонились в знак согласия.

Фражола встала и подошла сказать несколько слов на ухо Сальватору, который ответил ей утвердительно наклоном головы.

После этого комиссионер и поэт вышли вместе с Жакалем.

Дверь в коридор была открыта, и сквозь оконные стекла флигеля видны были горящие свечи.

— Хотите вы покропить водой и помолиться над этим молодым телом?— спросил Сальватор поэта.

Жан Робер сделал знак согласия, и пока Жакаль, чтобы собраться с мыслями, набивал себе нос табаком, оба они направились к флигелю.

Коломбо лежал на своей постели; простыня, закрывавшая его с головой, позволяла видеть сквозь складки суровый облик, который смерть придает трупам.

Красивый монах-доминиканец сидел в изголовьи постели с раскрытой на коленях книгой, с закинутой назад головой, и, проливая тихие слезы, читал зауспокойные молитвы.

Увидав молодых людей, входивших с опущенными,

обнаженными головами, монах встал; взгляд его переходил по очереди с Жана Робера на Сальватора; но было очевидно, что оба эти лица были ему незнакомы.

Впечатление, которое произвел монах на Сальватора, было совершенно другое: увидав Доминика, молодой человек остановился и тихонько радостно вскрикнул.

При этом крике монах обернулся; но новый взгляд, брошенный им на Сальватора, сказал ему не более, чем первый, кроме невольного движения удивления, промелькнувшего, как молния, он остался спокоен.

Но Сальватор подошел к нему.

— Отец мой,— сказал он ему,— нисколько не подозревая этого, вы спасли жизнь человека, который стоит перед вами. Этот человек, который никогда не видел вас и не встречал с тех пор, чувствует к вам глубокую благодарность... Дайте мне вашу руку, отец мой!..

Монах протянул свою руку молодому человеку, который несмотря на попытку Доминика отдернуть ее, почтительно поцеловал эту руку.

— Теперь,— начал Сальватор,— послушайте меня, отец мой. Я не знаю, понадобится ли я вам когда-нибудь; но клянусь именем всего, что существует святого, над трупом этого честного человека, который испустил последний вздох, клянусь вам, что жизнь, которой я вам обязан, принадлежит вам!

— Я принимаю вашу клятву,— отвечал серьезно монах,— хотя не знаю, как и когда оказал вам услугу, о которой вы говорите. Все люди — братья и созданы для того, чтобы помогать друг другу; когда вы мне понадобится, я приду к вам. Ваше имя и адрес?

Сальватор подошел к письменному столу Коломбо и написал имя и свой адрес на бумаге, которую передал монаху.

Доминиканец положил сложенную бумагу в карман, сел опять в изголовьи Коломбо и продолжал свои молитвы.

Молодые люди взяли по очереди кропило, смоченное в святой воде, и окропили простыню, покрывавшую труп Коломбо; затем оба стали на колени в ногах постели и мысленно горячо читали молитвы.

Пока они молились, в комнату вошел человек, одетый в ливрею, указывавшую, что это лакей какого-нибудь богатого буржуазного дома.

— Сударь,— сказал он монаху,— я думаю, что я ищу именно вас.

— Что вы хотите от меня, друг мой!— спросил Доминик.

— Мой хозяин умирает, сударь, и так как священника в Ванвре нет дома, то он просит вас сделать милость прийти исповедовать его.

— Но,— отвечал Доминик,— я не чужой здесь. Молодой человек, около которого я молюсь,— друг мой, и я приехал сюда вследствие его письма, которое, к несчастью, слишком поздно пришло ко мне.

— Сударь,— возразил лакей,— я думаю, что хотя вы и не чужой здесь, но барину моему нужно, чтобы вы его напутствовали... Он очень, очень плох и г-н Пиллоу, хирург, говорит, что ему нельзя терять времени.

Монах вздохнул и посмотрел на неподвижный труп, формы которого проступали сквозь простыню.

— Сударь,— продолжал лакей,— мой барин приказал мне, чтобы я умолял вас именем Бога, которого вы представляете, прийти к нему как можно скорее.

— Я бы, однако, очень не хотел оставлять это бедное тело,— сказал монах.

— Отец мой,— заметил Сальватор,— мне кажется, вы должны уделять ваши утешения живым прежде, чем ваши молитвы мертвым.

— Затем,— прибавил Жан Робер,— если вы хотите, чтобы кто-нибудь, сочувствующий великому несчастью, которое здесь случилось, оставался тут, я останусь.

— Сударь,— настаивал лакей,— что должен я сказать моему хозяину?

— Скажите ему, что я иду за вами, друг мой. Кого я должен спросить?

— Г-на Жерара. Первый встречный, которого вы спросите, укажет вам дом. Мой бедный хозяин...

— Ступайте,— сказал монах.

Лакей быстро ушел.

— Вы обещаете мне остаться здесь до моего возвращения?— спросил Доминик Жана Робера.

— Вы найдете меня там, где оставите, отец мой,— сказал поэт,— в ногах этой постели.

— И если у вас есть какие-нибудь дела или особенные поручения,— предложил Сальватор,— я постараюсь исполнить их как можно лучше.

— Я принимаю ваше предложение. Коломбо поручил мне позаботиться, чтобы его тело было положено рядом с телом той, которую он любил. Провидение допустило, чтоб был один труп вместо двух, и я, конечно, не могу

исполнить желания моего друга. Этот труп должен быть как можно скорее удален с глаз несчастной Кармелиты, и я решил, что сегодня же в четыре часа я уеду в Бретань... Там его отец, он имеет право на труп своего сына и на мои утешения.

— В четыре часа, отец мой, труп, положенный в дубовый гроб, будет ждать вас в конце деревни в почтовом экипаже; все формальности будут совершены. Вам останется только занять свое место около него и ехать.

— Я беден,— сказал монах,— и имею с собой только деньги для моего личного проезда. Как же мне поступить?

— Не беспокойтесь, отец мой,— прервал его Сальватор.— Путевые издержки будут заплачены.

Монах подошел к постели, приподнял простыню, поцеловал Коломбо в лоб и вышел.

Через пять минут вошел Жакаль.

Он подошел к молодым людям, постоял минуту в нерешительности, засунув руки в карман, затем обратился в отдельности к Жану Роберу:

— Вы, кажется, поэт?— спросил он молодого человека.

— Да, сударь, по крайней мере, желаю быть им. Но по какому случаю спрашиваете вы меня об этом?

— А по случаю вот этого письма.

И он вынул из кармана письмо, которое показал Жану, но не отдал ему.

— Что это за письмо?

— А это письмо, которое было получено вчера вечером,— сказал Жакаль,— на котором позаботились написать два слова «очень нужное» и которое почтальон отдал вчера вечером в конце деревни садовнице Нанетте, а она увезла его в Париж в своем кармане. Если бы это письмо было прочитано вчера вечером теми, кому оно адресовано, то сделало бы их обоих счастливыми, вместо того, чтобы сделать одного мертвым, а другую привести в отчаяние! Читайте!

И он подал письмо Жану. Тот развернул его и прочел:
«Мой милый Коломбо, моя милая Кармелита!

Не правда ли, вы будете очень довольны, очень счастливы, когда получите это письмо вашего друга Камилла Розана вместо того, чтобы увидеть его самого?

Я слышу отсюда, как вы вскрикнете:

«О! Добрый, превосходный Камилл!»

Слушайте, мои дорогие, вот что пишет мне один из

моих соотечественников, которому я когда-то говорил о желании жениться на вас, Кармелита:

«Мой дорогой Розан, твои друзья живут, как два голубка, не оставляя друг друга ни на минуту; они не только любят друг друга, я скажу больше: они обожают друг друга!

Я думаю, что ты их очень огорчишь, если вернешься. Будь же так же велик, как Александр, который уступил Апеллесу свою любовницу Кампасию. Я не скажу тебе: «Уступи твою любовницу Кармелиту», но я говорю тебе: «Не разъединяй два сердца, которые небо создало друг для друга!»

Вот что написал мне мой соотечественник, дорогой Коломбо.

Кроме того, есть еще вещь, которую я уже знал, мой друг. Это та, что ты любил Кармелиту, и есть вещь, которую я знаю теперь: что и Кармелита любит тебя; кроме того, есть еще третья вещь, которую ты мне сказал и которой я верю: что ты умрешь прежде, чем изменишь клятве, которую дал мне — заботиться о Кармелите, как о сестре.

Я не хочу, чтобы ты умер, мой бедный Коломбо! И вот почему я возвращаю тебе твоё слово так же, как и слово Кармелиты. Будь счастлив, Коломбо! И если твоё жертва была тяжела для тебя, получи за неё величайшую награду, которую я могу тебе предложить; потому что теперь, в ту минуту, когда я расстаюсь с ней навсегда, я чувствую всю любовь, которую питал к Кармелите.

И так как я должен потушить эту любовь и поставить между моим сердцем и ею непреодолимую преграду, то я женился вчера вечером и из брачной комнаты пишу вам сегодня утром.

Прощай, мой дорогой Коломбо! Прощай, моя дорогая Кармелита! Я желаю вам всего того счастья, которое вы заслуживаете. Я сознаюсь в моей слабости, я сказал бы — почти в подлости, если бы не был уверен в том, что это известие обрадует вас обоих, особенно Кармелиту.

Ваш друг Камилл Розан».

— Ну, что? — спросил Жакаль, взяв обратно письмо. — Что вы скажете на это, г-н Жан Робер?

— Я говорю, что это раздирает сердце! — отвечал молодой человек.

— И вы все еще верите в провидение?

— Да, верю.

— Провидение, г-н Жан Робер, — возразил Жакаль,

набивая нос табаком, — хотите, чтобы я вам сказал, что такое провидение?

— Вы мне доставите большое удовольствие, хотя я вполне верю в него.

— Ну, хорошо, мой милый господин, провидение — хорошая полиция! Отправимся в Версаль посмотреть, не найдем ли мы невесту школьного учителя.

Если бы читатели предложили нам теперь случайно вопрос, который предложил потихоньку Жан Робер Сальватору в ту минуту, когда верный своему обещанию, он остался около тела Коломбо, если бы случайно, говорим мы, спросили нас: как Жакаль мог в семь с половиной часов узнать о событиях, происшедших в Медоне между полночью и пятью часами утра? — мы ответили бы:

В эту эпоху существовало остроумное учреждение, которое называли «Черный Кабинет». Этот Черный Кабинет был местом, в котором дюжина служащих тайно занималась распечатыванием писем, посланных по почте, и чтением этих писем ранее тех лиц, к которым они были адресованы.

Теперь этого Черного Кабинета больше нет; эти вещи делаются гораздо проще...

Жакаль — вследствие слухов о тройном заговоре республиканцев, орлеанистов и наполеонистов — не пренебрегал уже два месяца исполнением в свободное время обязанностей простого чиновника и провел всю ночь, распечатывая и читая письма.

Письмо Коломбо к Доминику попало к нему в руки почти уже в четыре с половиною часа утра. Жакаль тотчас же посадил человека на лошадь и велел ему скакать во весь опор в Нижний Медон. Этот Жакаль, который предполагал, что провидение есть хорошо устроенная полиция — он надеялся, что его человек придет вовремя; но этот человек приехал через минуту после того, как Людовик проник во флигель Коломбо, следовательно, приехал слишком поздно.

Во время суматохи не обратили внимания на этого агента. Он видел письмо, адресованное на имя мадемуазель Регины де Ламот Гудан, мадемуазель Лидии де Маран и мадемуазель Фражолы Понтюе. Он взял это письмо и передал его Жакалю; тот прочел его так же, как прочел письмо, адресованное к Доминику, потом приказал своему человеку взять свежую лошадь и отнести письмо на то место, откуда он его взял.

Это именно и сделал посланный Жакаля, когда моло-

дые люди видели его разговаривающим с человеком, одетым в черное, лошадь которого была привязана у двери кабачка; Жакаль говорил тихо этому человеку, что он может лечь спать и что префект полиции будет знать, с какой скоростью и умением он исполнил данное ему поручение.

XI

ДЕРЕВЕНСКИЙ ФИЛАНТРОП

Мы видели, как отправился Доминик к постели Жерара, этого достойного человека, безнадежное положение которого волновало всю деревню и ее окрестности.

Жерар был филантропом, в полном смысле этого слова. Поведаем, что рассказывали о нем.

Жерар был самым богатым среди жителей Ванвра и окрестностей; это была непреложная истина. Никто не знал размеров его доходов, так они были громадны и, когда спрашивали об этом крестьян, они отвечали неизменно:

— Г-н Жерар имеет столько денег, что не знает им счета.

Говорили, что он жил прежде около Фонтенбло в прекрасном поместье, которое бросил, вследствие несчастий, которые на него обрушились. Опекун двух прелестных детей, он пережил их внезапное исчезновение, и с тех пор о них не было никаких известий; любовник женщины, которую он обожал, он нашел ее однажды задушенной ньюфаундлендом. Эта собака, по всей вероятности, взбесилась, а хозяин этого не заметил.

Эти ужасные несчастия, которые каждого человека заставили бы с отвращением смотреть на людской род, напротив, увеличили его христианские добродетели. Более того, он доводил их до величественного самопожертвования и милосердия, что и сделало его примером для всех филантропов и идиолом всего окрестного люда.

В конце 1822 года он появился в Ванвре с целью поселиться здесь. Ему понравился дом, в котором он теперь жил; но его отказывались продать. Тогда Жерар предложил за него такую выгодную цену, что владелец, наконец, согласился уступить.

С того времени г-н Жерар и жил в этом доме, как святой и как принц. Как святой по строгости жизни, которую вел; как принц в силу благодеяний, которые

он оказывал окружающим. В самом деле, с его приездом, Ванвр стал благоденствовать так, что скоро должен был сделаться самой богатой деревней в окрестностях Парижа. Крестьяне из бедных и нуждающихся превратились, мало-помалу, в зажиточных; некоторые даже считались богачами и этим богатством,— относительным, разумеется,— они всецело были обязаны г-ну Жерару.

Поэтому не было такой хижины, где бы не почитали и не благословляли имя этого достойного человека. О нем никогда не говорили, не прибавив к его имени какому-нибудь эпитета, вроде: добрый, добродетельный, благодетельный г-н Жерар.

Если жатва была не хороша, если недостаток солнца не дал созреть ржи, если весенние дожди сгноили семена, словом,— если крестьянина посещал один из тех бичей, против которых человек бессилен,— Жерар шел к крестьянину, ласково говорил с ним, жалел его, утешал, ободрял и прибавлял к своим сожалениям, ободрениям, утешениям более или менее солидную сумму займа, соразмеряя ее не с теми гарантиями, которые мог предложить крестьянин, но с теми потерями, которые он понес, с теми нуждами, которые он испытывал, и все это делал без какого бы то ни было расчета на выгоду, а некоторым даже давал деньги, как говорится, без отдачи. О нем рассказывали удивительные вещи.

Один плотник, работавший на крыше его дома, упал на землю с лесов и сломал себе ногу. Вместо того, чтобы велеть отнести его в больницу,— как сделал это в предшествующем году мэр Ванвра, которого, однако, считали очень добрым человеком,— Жерар взял к себе не только раненого плотника, но его жену и детей, затем вызвал хирурга из Медона и поручил ему бедняка. Выздоровление продолжалось три месяца, и все это время плотник был окружен таким уходом, как будто он был его братом, а его жена и дети были членами семьи.

Позднее один бедный содержатель харчевни, отец пятерых детей, потерял свою жену и старшую дочь, впал в ужасное отчаяние и, несмотря на советы и ободрения своих соседей, перестал вовсе заботиться о своей торговле, не занимался самыми необходимыми делами и дошел до того, что потерял кредит и потребителей. Один из кредиторов арестовал у бедняка всю мебель, продажа которой обрекла бы на нищенство остальных четверых детей. Тогда трактирщик понял всю величину своего несчастья, вышел из оцепенения, и в день продажи, увидав

пристава, который пускал на аукцион его мебель, бросился к детям, прося прощения за свое безрассудство и предлагал свою жизнь тому, кто даст ему средства вернуть свою торговлю и поправить дела. Жерар проходил в эту минуту мимо. Он присоединился к группе, состоявшей наполовину из покупателей, а наполовину из зрителей, привлеченных этой сценой отчаяния. Узнав, что все имущество шло за тысячу восемьсот франков, Жерар вынул из кармана три билета по тысяче франков, из которых тысяча восемьсот франков были назначены им на уплату долга трактирщика, а тысяча двести на возобновление его торговли. Тогда несчастный отец бросился к ногам своего благодателя и покрыл его руки слезами благодарности при радостных восклицаниях присутствовавших.

В другой раз крестьянка, рубя дрова в медонском лесу, нашла шестимесячного мальчика, который кричал и плакал, лежа на сухих листьях. Она взяла мальчика на руки, отнесла в Ванвр и показала его возмущенным жителям. Несчастливого покинутого ребенка отнесли в мэрию, которая должна была бы быть естественным убежищем, отчим домом для таких сирот; но мэр отвечал, что на попечение общины уже много детей, и тогда толпа решила нести его к Жерару. «К честному г-ну Жерару! К добродетельному г-ну Жерару!» И толпа бросилась к дому филантропа, предшествуемая криком: «Ребенок! Ребенок!» Жерар гулял в саду, когда услышал этот крик; при приближении шума он догадался, что толпа бежит к нему; но без сомнений, эти слова: «Ребенок! Ребенок!» — произвели на него болезненное впечатление, потому что толпа нашла его сидящим на скамейке в саду, бледного, дрожащего. Однако когда он узнал, что это был ребенок шести месяцев, его обыкновенная доброта, которая на минуту уступила место странному ужасу, вернулась опять. Он послал нанять кормилицу, условился с ней о цене и объявил, чтобы более не заботились об участи этого маленького несчастного существа, потому что он сам будет заботиться о нем; только он желал бы, чтобы ребенок воспитывался вдали от него, потому что потеря его двух дорогих питомцев оставила в его сердце такую рану, что один вид ребенка непременно заставил бы ее открыться вновь. Кормилица унесла ребенка, о содержании которого с тех пор заботился Жерар.

Целый край должен был поставить ему статую, потому

что целый край был обязан ему хоть чем-нибудь: община была обязана ему фонтаном на площади; огородники были обязаны проселочной дорогой, о которой они просили двадцать лет; церковь — священными сосудами и хорошей картиной; крестьяне были обязаны ему тремя или четырьмя домами, выстроенными за его счет после пожара; главная улица деревни была вымощена заново тоже за его счет.

И все это, не считая того, что крестьяне были обязаны ему по мелочам.

Одним словом, Жерар был хорошим человеком и по Евангелию, и по мнению общества: он исполнял повеления Бога и церкви с усердием, достойным удивления. Деревня обожала его, и благодарность, которую она высказывала относительно своего благодетеля, напоминала собачью привязанность; вследствие этого его охраняли как члена королевской фамилии, да и член королевской фамилии был бы принят не более благосклонно, если бы он не разделял этого почитания крестьян.

Все эти сведения о добродетели Жерара отец Доминик узнал от крестьян, встретивших его на пути к Ванвру и проводивших до цели следования, видел он и скорбь на лицах крестьян, горсткой стоявших у своих дверей или на улицах, точно во время народного бедствия.

Видя это общее отчаяние, брат Доминик спросил одного из своих проводников, какая болезнь влекла г-на Жерара к могиле.

— Воспаление в груди, — отвечал тот, к которому он обратился.

— Да, — сказал другой, — и смерть будет благодеянием для несчастного человека, так он мучается.

И, перебивая друг друга, крестьяне рассказали Доминику, что две недели тому назад Жерар, проходя по парку, услышал крики о помощи, раздавшиеся со стороны большого бассейна. Он быстро направился в ту сторону. Двое или трое детей стояли на берегу бассейна, призывая на помощь и не смея помочь сами одному из своих товарищей, упавшему в воду. Ребенок нагнулся, чтобы притянуть к себе бумажную лодку, отплывшую от берега, потерял равновесие и упал в воду. Жерар бежал изо всех сил, лоб его был весь в поту, но, не смотря на это, он, не колеблясь ни минуты, бросился в воду, чтобы вытащить ребенка. И действительно, он вынес его невредимого на берег, но зато сам, бледный, измокший, дрожащий с головы до ног, вернулся домой

в жалком виде и, хотя переменял платье, велел развести огонь и немедленно лег в хорошо нагретую постель, в тот же день с ним сделалась лихорадка, которая не оставляет его с тех пор.

Утром хирург Пиллоу сказал, что он не отвечает за жизнь своего больного и со всеми предосторожностями объявил Жерару, что если он хочет сделать какие-нибудь распоряжения, то ему остается для этого немного времени.

Жерар, который, вероятно, не считал себя настолько больным, потерял сознание при этом известии,— которое, однако, для такого святого человека, как он, должно было быть менее страшно, чем для других,— а придя в себя, немедленно потребовал священника.

Бегали к священнику в Медон, но, как знают уже наши читатели, медонский священник понес дары в соседнюю деревню.

Тогда умирающему сказали, что вместо медонского священника он может обратиться к чужому священнику, который находится в деревне, призванный смертью одного из своих друзей. Жерар сейчас же послал своего лакея за аббатом Домиником. Нам уже известно, как доминиканец оставил изголовье мертвого, чтобы идти к изголовью умирающего.

Священник был глубоко тронут рассказами о прекрасных качествах Жерара; он прибавил шагу и шел к умирающему со словами утешения и руками, сложенными для благословения.

Ему не пришлось разыскивать нужный дом: когда жители Ванвра увидели его, все руки протянулись по направлению к дому Жерара.

— О, господин аббат,— шептали старые женщины,— вы услышите святую исповедь и можете заранее дать отпущение грехов доброму г-ну Жерару.

Отец Доминик поклонился всей этой толпе, среди которой он нашел ту редкую добродетель, которую зовут благодарностью, и вошел в указанный дом, дверь которого, как дверь церкви, оставалась открытой целый день и могла бы остаться открытой целую ночь. Он быстро поднялся по лестнице, которая вела в комнату Жерара. На последней ступени нашел лакея, который приходил за ним в Медон и который побежал объявить своему господину о скором приходе священника.

Но это известие, которое успокоило бы всякого другого, казалось, увеличило волнение святого человека:

он выпускал такие вздохи, что испугал своего лакея, и тот вместо того, чтобы оставаться в комнате своего хозяина вместе с сиделкой, притихшей в большом мягком кресле, ушел ждать доминиканца на лестнице.

Священник вошел в комнату.

XII ИСПОВЕДЬ

— Сударь,— сказал лакей,— вот господин аббат, которого вы ждете.

Умиравший сделал резкое движение, как бы вздрогнул всем телом, и болезненно простонал. Затем глухим голосом проговорил:

— Пусть войдет.

Отец Доминик подошел, и его взгляд с участием обратился в глубину алькова.

Чувство, которое он испытывал к человеку, призвавшему его, после всего, что он о нем слышал, было удивление, смешанное с благоговением. Как ни молод был аббат Доминик, он видел уже столько дурных людей, что был глубоко тронут, видя доброго человека.

Но вдруг он вздрогнул: так это лицо не было похоже на то, которое он думал увидеть.

— Марианна,— произнес больной, обращаясь к сиделке.

Марианна встала, утомленная бессонницей и в то же время исполненная сострадания, подошла к постели.

— Как вы чувствуете себя, мой добрый господин? — спросила она.

— Худо, очень худо, Марианна! Дайте мне пить и оставьте меня с этим господином.

Сиделка подала Жерару чашку с питьем, теплоту которого поддерживала при помощи лампочки. Он отпил немного, потом упал на подушки, видимо, измученный сделанным усилием.

— Благодарю, Марианна, благодарю,— сказал Жерар, отводя руку сиделки.— Отпустите занавеси и оставьте нас... Мне больно от света.

Марианна опустила занавеси, и в комнате сделалось темно, ее освещал только слабый свет ночника.

В короткий промежуток времени, прошедший с момента прихода в комнату и до мгновения, когда занавеси скрыли от него лицо больного, молодой священник

пристально смотрел на это лицо, которое далеко не походило на то, которое он предполагал встретить, как мы уже сказали.

Это был человек пятидесяти или почти шестидесяти лет, с низким, узким лбом и лысым черепом; маленькие, ввалившиеся глаза тускло-серого цвета скрывались по временам за красными мигающими веками; густые седые брови, некоторые волоски которых торчали, как щетина, срослись вместе и образовали над глазами высокий свод; нос сгорбленный, тонкий, острый, рот большой с тонкими бледными губами. Все это делало больного скорее похожим на ястреба, чем на человека.

Как бы болезнь не изменила лицо умирающего, его все-таки можно было легко воспроизвести в воображении и представить себе в здоровом состоянии. Аббат Доминик был поражен той — если можно так выразиться — животностью, хищностью, даже изменностью, которые выражал общий вид этой физиономии.

Конечно, он был не безобразнее других; но его безобразие было его собственное, личное, как говорится, *suí generis*. Оно выражало в эту минуту ужас самым отталкивающим образом.

Вид умирающего всегда трогателен и направляет мысли к Богу. Но вид этого человека, хотя чувствовалось, что он близок к агонии, к могиле, вместо того, чтобы возбуждать участие, возбуждал в монахе только непреодолимое отвращение.

Вот почему священник остановился в оцепенении.

Он ожидал, что на челе больного отразятся все благородные стремления его сердца; но при виде этого лица брови Доминика нахмурились; он точно с отчаянием сел у изголовья этого человека, опустив голову на грудь.

В этом положении, несмотря на то, что он пришел протянуть руку чистой душе, он, казалось, молил Бога дать ему силу выслушать исповедь дурного человека и вырвать у сатаны душу, проклятую заранее.

Между тем умирающий вместо того, чтобы говорить, стонал и плакал, и тогда брат Доминик заговорил первый.

— Вы просили меня прийти? — начал он.

— Да.

— Я вас слушаю

Умирающий посмотрел на священника с беспокойством, заставившим сверкнуть его потухшие глаза.

— Вы очень молоды, отец мой, — заметил он.

Священник встал, уступая первому чувству негодования.

— Но ведь не я напросился прийти к вам,— ответил он.

Тогда умирающий быстро протянул исхудалую руку и остановил его, ухватив за рясу.

— Нет,— возразил он,— останьтесь!.. Я хотел сказать, что в ваши годы вы, вероятно, недостаточно вдумывались в мрачные стороны жизни, чтобы ответить на вопросы, с которыми я должен к вам обратиться.

— Что я могу сказать вам? — отвечал священник.— Если вы будете спрашивать веру, я и отвечу вам, исходя из ее заповедей, если вы спросите мой ум, я постараюсь вам ответить тем, что он подскажет мне.

На минуту воцарилось молчание, священник стоял.

— Садитесь, отец мой,— промолвил умирающий умоляющим голосом.

Доминик опустился на стул.

— Теперь, отец мой,— продолжал Жерар,— ради Бога, не возмущайтесь теми просьбами, которые я обращаю к вам, и в особенности обещайте мне не покидать меня прежде, чем выслушаете всю мою исповедь!..

— Говорите,— сказал священник.

— Вы знаете лучше, чем я, догматы церкви, к которой принадлежите, отец мой...

Жерар остановился, но после небольшого колебания продолжал:

— Отец мой, вы верите в будущую жизнь?

Священник посмотрел на умирающего с выражением, близким к презрению.

— Если бы я не верил в будущую жизнь,— сказал он,— то разве стал бы я носить ту одежду, которая на мне?

Жерар вздохнул.

— Да, я понимаю,— сказал он,— но верите ли вы, что в будущей жизни человек получит награду за свою добродетель и наказание за преступления?

— Иначе для чего бы была она?

— И вы верите, отец мой,— продолжал умирающий,— что исповедь необходима для отпущения наших грехов и что прощение Божие может сойти на голову грешного только в присутствии служителя алтаря?

— Церковь утверждает это. Но искреннее, теплое и душевное раскаяние может заменить отпущение грехов в присутствии священника.

— Так что человек, принесший полное раскаяние... Священник поглядел на умирающего.

— Какой грешник может похвалиться, что он вполне раскаялся? — спросил доминиканец. — Какой преступник может утверждать, что его раскаяние не вызвано страхом, что угрызения его совести чужды ужаса? Какой умирающий может сказать: «Если бы завтра Бог возвратил мне жизнь, дни, часы, которые он от меня отнимает, они были бы употреблены на то, чтобы изгладить зло, сделанное мною?»

— Я! Я! — вскричал умирающий. — Я могу сказать это!

— Тогда, — возразил священник, — я вам не нужен. И он встал во второй раз.

Но исхудалая рука Жерара ухватилась за его одежду, тогда как голос его шептал:

— Нет, нет, оставайтесь, отец мой!.. Я лгу самому себе: это не раскаяние, это не угрызение совести заставляет меня говорить, это ужас! Мне нужно получить прощение людей, прежде чем предстать перед Богом!.. Оставайтесь, отец мой, умоляю вас!

Доминик опять сел, но, видимо, с невольным отвращением.

— Я обязан здесь повиноваться вашей воле, а не моей, — отвечал он, — иначе, Бог свидетель, я сейчас бы ушел. Вы говорите об ужасе; да, ужас, который я испытываю, слушая вас, почти равняется тому, который заставляет вас колебаться говорить со мною.

— Отец мой, — спросил больной, — думаете ли вы, что я так близок к смерти, как говорят?

— Это следует спросить у доктора, а не у меня, брат мой, — ответил священник.

— Мне кажется, что у меня есть еще силы, что я могу подождать, отец мой... — возразил больной, колеблясь. — Не можете ли вы прийти завтра... или вечером.

— Может быть, вы можете подождать, но у меня есть печальный и священный долг, который я должен исполнить, и через два часа я уезжаю в Бретань.

— Ах, вы уезжаете... Вы оставляете Париж... через два часа?..

— Да.

— Надолго?

— Это продлится столь долго, как это будет угодно Богу! Я еду утешать отца в смерти его сына.

— В таком случае, — прошептал умирающий, — луч-

ше, чтоб было так... Да, сам Бог послал вас... Вы уезжаете, не так ли? Вы уезжаете непременно?

— Если Бог не вернет к жизни труп, который я должен сопровождать, я уеду непременно.

— И вы уверены, что это чудо невозможно?

Сердце Доминика болезненно сжалось: ужас и нерешительность этого человека, высказываемые таким образом, внушали ему непреодолимое отвращение.

— Увы! Да,— ответил он,— я в этом уверен.

И священник провел платком по глазам, чтобы отереть выступившие на них слезы. Больной не заметил этих слез и прошептал:

— Да, да, так будет лучше. Он уезжает через два часа; он покидает эту страну и не вернется, может быть, никогда... Тогда как медонский священник остается.

Затем, сделав невероятное усилие, он сказал:

— Выслушайте меня, отец мой. Я расскажу вам все.

И, опустив со вздохом на руки голову, умирающий, казалось, стал собираться с мыслями. Монах облокотился на ручку кресла, на котором сидел.

Почти темная, благодаря опущенным занавесям, комната делалась мало-помалу светлее, а может быть, глаза священника привыкали к этой темноте, которой слабый свет ночника придавал таинственный и фантастический колорит.

В этой темноте череп умирающего казался бледнее, обнаженнее, лицо его посинело, опало, и весь он был похож на мертвеца.

Он начал слабым голосом, закрыв лицо руками, и при первых словах странной исповеди, не зная еще, что ему придется услышать, монах отодвинул свое кресло от постели, точно боялся этого голоса.

ХІІІ

ЖЕРАР ТАРДЬЕ

Эти первые слова были, однако, вполне естественны и могли быть сказаны каждым:

«Я овдовел в тридцать лет,— начал умирающий.— Первый мой брак причинил мне столько горя, что я поклялся никогда не жениться. У меня был только один родственник, старший брат, покинувший страну в 1793 году и отправившийся в Бразилию. Военная служба внушала ему отвращение, земледелие было ему антипатич-

но, торговля была для него ужасным делом. Он мечтал только о путешествиях, приключениях, и далекие страны казались ему обетованными.

Из всех их он отдал предпочтение Бразилии и уехал в Рио-де-Жанейро с небольшим количеством товара, стоившего не более тысячи экю. Я получил от него только три письма. Первое — в 1801 году; в этом письме он писал мне, что разбогател, и приглашал меня к себе; но, чувствуя отвращение к морю, я отказался. В 1806 году я получил второе письмо; он писал мне, что все потерял и что я хорошо сделал, оставшись во Франции. Одиннадцать лет я о нем не слыхал ничего и не имел никаких известий, ни прямых, ни косвенных. Наконец, в 1817 году он опять написал мне; это было только в третий раз после его отъезда, а прошло уже двадцать два года. Он опять вернул свое состояние, которое достигло нескольких миллионов; он был женат и имел двоих детей и писал мне, что скоро вернется, потому что имел, как он говорил, страстное желание теперь, когда стал миллионером, вернуться во Францию и жить вместе со мной.

И действительно, в июне 1817 года он приехал в Париж, и я получил от него записку, приглашавшую меня прибыть к нему немедленно. Во время переезда он потерял свою жену, был в отчаянии, и моя братская дружба одна могла успокоить это горе. Мне тоже очень хотелось видеть брата, к которому, несмотря на его долгое отсутствие и мои лета, я сохранял нежную привязанность юношеских лет. Получив его письмо, я решился ехать и простился с моими друзьями в Вик-Дессо...

При этом названии монах поднял голову.

— Вик-Дессо? — прервал он. — Вы жили в Вик-Дессо, близ Арьежа?

— Я там родился, — отвечал умирающий, — и оставил эту деревню только для того, чтобы ехать в Париж... Лучше было бы, если бы я не оставлял ее!..

Монах взглянул на умирающего с любопытством, которое не было лишено некоторого беспокойства, но тот, не заметив этого движения, продолжал:

— Я приехал в Париж после восьмидневного путешествия и нашел моего брата Жака настолько изменившимся, что не узнал его; он, напротив того, узнал меня сейчас же и отнесся ко мне с таким чувством, которое и в настоящее время заставляет меня плакать... Для меня было бы ужасной пыткой чувствовать вечно на моих щеках эти два нежные поцелуя.

Умиравший отер платком свой лоб, покрытый потом, и на несколько минут погрузился в воспоминания.

Доминик смотрел на него с возрастающим любопытством; видно было, что он хотел спросить его, заговорить с ним и что какой-то внутренний голос склонял его не делать этого, по крайней мере, подождать.

Жерар попросил монаха передать ему флакон с нюхательной солью, который стоял на ночном столике и, вдохнув несколько раз, продолжал:

— Бедный Жак был так же бледен, худ и немощен, как я теперь. Можно было сказать, что, как мне, в тот час ему оставалось сделать один только шаг, чтобы толкнуться в дверь могилы... Он рассказал мне о смерти своей жены с рыданиями, которые доказывали его печаль; затем он велел позвать детей, чтобы показать мне все то, что осталось ему от нее. Их привели: это были прелестные дети: старший мальчик белокурый, свежий и розовый, как мать; дочь смуглая, бледная с превосходными черными волосами, бровями, ресницами и глазами. Маленькая девочка в особенности была приятна со своими щечками, загорелыми под солнцем Бразилии. Ей было четыре года и звали ее Леония; мальчику было шесть лет, его звали Виктором.

Странная вещь!— я вспоминаю это только теперь — оба они, казалось, испугались меня и не хотели меня поцеловать. Жак повторил им несколько раз: «Это мой брат! Это ваш дядя!». Но маленькая девочка начала плакать, а мальчик убежал в сад. Отец старался извиниться за них передо мною. Бедный Жак! Он обожал своих детей, или, лучше сказать, его любовь к ним доходила до безумия; он не мог без слез смотреть на них, так они напоминали ему его жену: мальчик — чертами лица, девочка — характером. Это было причиной того, что дети, несмотря на всю его любовь к ним, доставляли ему столько же горя, сколько и радостей, и что, когда он смотрел на них очень долго, он говорил задыхающимся голосом гувернантке: «Уведите их, Гертруда!».

Я был очень расположен к брату, положение его беспокоило меня серьезно. Кроме этой печали, от которой со временем любовь детей и мои заботы могли бы его исцелить, он был подвержен в известное время года, ближе к осени, лихорадке, которую он подхватил во время одного путешествия по Мексике и никак не мог от нее избавиться. Эта лихорадка возобновилась с новой силой по возвращении его во Францию. Мы советовались

с лучшими докторами Парижа, но их наука была бес- сильна перед этим отравлением легких, и исходом этих консультаций было то, что брату посоветовали поселить- ся в деревне. Это предписание делают обыкновенно тем, кому нечего уже предписывать. Я видел на лице Жака следы, которые оставлял на нем каждый день: вечером он был бледнее и слабее, чем утром, а утром,— чем накануне. Я стал подыскивать деревенский дом, и однаж- ды, возвращаясь из Фонтенбло, я увидел около Кур-де- Франс, почти в пяти лье от Парижа, объявление о продаже деревенского дома в Вири.

— В Вири? — прервал священник тем же тоном, ко- торым спросил: «В Вик-Дессо?», смотря на умирающего вопросительным взглядом.

— Да, в Вири,— повторил Жерар.— Вы знаете эту местность?

— Я слышал о ней, но я никогда там не жил, даже никогда не видал ее,— отвечал священник слегка взвол- нованным голосом.

Но больной был слишком занят своими собственными мыслями, чтобы обратить внимание на то, что его рас- сказ мог пробудить в уме или в воспоминаниях его слушателя.

Он продолжал:

— Вири лежит почти в четверти лье от того места, где я был. Я отправился к этой деревне, которую указал мне крестьянин, и через четверть часа стоял уже перед домом или перед замком, который впоследствии должен был принадлежать мне.

Священник в свою очередь отер лоб платком; можно было бы сказать, что каждая часть рассказа больного заставляла блистать перед его глазами странные лучи света, которые видят в грезах и при помощи которых тщетно стараются восстановить событие, канувшее в веч- ность.

— К дому вела,— продолжал Жерар,— липовая ал- лея, затем, пройдя переднюю и столовую, можно было выйти на расположенный по другую сторону дома широ- кий каменный подъезд, с высоты которого представлялась действительно волшебная картина. Это был парк, окру- женный вековыми дубами, отражавшимися в чистой, глубокой воде, которая по ночам казалась громадным серебряным зеркалом; берега этого маленького озера были покрыты тростником и камышом, и десять или двенадцать десятин земли, которые обрамляли его, были

покрыты цветами всех стран, оттенков, всех запахов. В пятистах шагах от замка воздух был так душист, как в двух лье от Грасса. Это имение прежде принадлежало какому-то страстному любителю природы, потому что тут были собраны все чудеса растительного царства... О, Боже мой, — шептал больной, — теперь, когда я об этом думаю, мне кажется, что можно было бы быть очень счастливым в этом земном раю!..

Я осмотрел дом; внутренность была достойна внешности. Это был старый замок, меблированный сверху донизу в новейшем вкусе, богато, изящно и удобно. Мне показывала его женщина, служившая у господина, которому он некогда принадлежал. Наследников было много, и замок продавали для раздела.

Женщина, бывшая моей проводницей при этом осмотре, не имела при покойном определенной роли: она называла себя ключницей и говорила, что она наследовала все наличные деньги, которые были в доме в минуту смерти хозяина. Это была женщина лет тридцати, высокая, сильная, и по ее выговору слышно было, что она была из наших мест. В ее взгляде, походке, манерах было что-то мужское, что внушало мне отвращение. По моему выговору она признала меня за соседа страны басков и, упирая на наше землячество, предложила, в случае, если бы я купил этот замок для себя или для другого лица, остаться в нем в той должности, которую она занимала прежде, а в крайнем случае, в должности горничной или кухарки.

Я сказал ей, что действую тут от имени моего брата, а не своего, что я сам так же беден, как брат богат; я прибавил, что боюсь, что брату не долго придется наслаждаться своим богатством. Тогда она стала восхвалять здоровый воздух местности, близость Парижа, куда можно ездить каждый час, и особенно нажимала она на ничтожную сумму, за которую продавалось это роскошное имение. Наследники так торопились получить свои деньги, что были готовы отдать его за сто двадцать тысяч, а тому, кто согласится заплатить наличными — то, может быть, и за сто.

По моему мнению, имение это совершенно подходило для моего брата, и я обещал Орсоле — так звали ключницу прежнего владельца, — употребить все мое влияние на брата, чтобы он купил замок и оставил ее у себя. Я говорю вам так долго об этой женщине, потому что она имела громадное влияние на мою жизнь...

Через восемь дней я купил имение на имя брата за сто тысяч франков.

Переезд наш состоялся в тот же день, как были заплачены деньги у нотариуса. Наша прислуга состояла из садовника, лакея, кухарки и горничной, обязанной ходить за детьми. У нас была молодая собака, помесь сенбернарской породы с ньюфаундлендской, которую хозяин дома, где жил мой брат в Париже, уступил ему по просьбе детей, потому что те играли с ней с утра до вечера и не хотели расставаться: дети называли ее Брезиль в честь страны, где они родились.

По моей рекомендации присоединили сюда и Орсолу. В тот же день она сделала для всех то же, что и сделала для меня, т. е. показала брату замок во всех подробностях, поместила каждого в его комнату и с первой же минуты, несмотря на кажущуюся покорность, заняла место доверенной женщины, которое занимала при прежнем хозяине.

Но никто не мог жаловаться на ее распоряжения: можно было бы подумать, что она советовалась с каждым о его вкусах и удовлетворяла его желания. Все были довольны ею, не исключая и Брезилья, который имел прекрасную собачью конуру и мог бы считать себя счастливейшей собакой, если бы не заметил с беспокойством вбитую в стену цепь, которая грозила его будущей свободе.

Все было так хорошо устроено в этом новом жилище, что жизнь была легка и удобна для всех с первого же дня. Мы провели там конец лета и осень, полагали на зиму вернуться в Париж, но Жак предпочел деревню со всеми ее неприятностями, которые, однако, сглаживались отчасти благодаря большому его состоянию.

Так мы дожили до февраля 1818 года. Здоровье моего брата ухудшалось с каждым днем. Однажды он позвал меня к себе в спальню, выслал детей и, когда мы остались одни, сказал:

«Мой дорогой Жерар, мы люди и должны говорить и действовать как люди!»

Я сидел около его постели и, догадываясь, о чем он будет говорить, старался успокоить его насчет его здоровья; но он протянул мне руку и сказал:

— Брат, я чувствую, что жизнь отлетает от меня с каждым дыханием, и я не сожалел бы об этом, потому что смерть должна соединить меня с моей милой женой, если бы меня очень сильно не беспокоила будущность

моих детей. Я знаю, что, завещая их тебе, я оставляю их другому себе; но, к несчастью, ты не отец, и никогда нельзя сделаться вполне отцом для чужих детей. Кроме того, для детей надо позаботиться о двух вещах: о жизни материальной, то есть о жизни тела, и о жизни умственной — жизни ума. Ты ответишь мне, что мальчика можно отдать в коллегия * , девочку — в монастырь. Я думал об этом, друг, но бедные дети привыкли к цветам, к большим лесам, к воздуху полей, к лучам солнца, и я дрожу при мысли, что они будут заперты в эти тюрьмы, которые называют пансионами, в кельи, которые зовут дортуарами. Затем, по моему мнению, только то дерево хорошо, которое растет свободно. Поэтому я прошу тебя, мой дорогой, не отдавай бедных детей ни в коллегия, ни в монастырь. Я думал взять для них наставника, так сказать, врача для их нравственной жизни, но я не знал, на ком остановить мой выбор, как вдруг Господь, который, вероятно, хочет дать мне спокойствие в минуту смерти, дозволил одному из моих друзей вернуться вчера из дальней поездки, чтобы вывести меня из затруднения...

Действительно, накануне какой-то незнакомец, отказываясь назвать свое имя, спросил Жака и был приведен к нему в комнату, где оставался около часа.

— Ты хочешь сказать о том человеке, который приходил вчера? — спросил я Жака.

— Да, — отвечал он. — Я знал этого человека прежде и встречался с ним через долгие промежутки, но, насколько я его знаю, я могу ценить его рассудительность, прямоту, доброту, по двум или трем случаям я могу оценить его мужество. Мало людей внушали мне такое расположение, которое оправдывалось с годами. Он оказал мне одну услугу, за которую я буду ему благодарен до самой смерти...

Молодой человек с возрастающим вниманием слушал рассказ умирающего; временами казалось, что этот рассказ неизвестным образом соприкасается с его жизнью.

Жерар продолжал:

— Очень серьезные дела, касающиеся важнейших политических вопросов страны — дела, которые я знаю, но в которые не могу посвятить даже и тебя, — продолжал мой брат, — прогоняли его два раза из Франции и вынуждают теперь, когда он вернулся, почти скрываться. Вчера он пришел просить меня приютить его от нена-

* Коллегия — название некоторых учебных заведений (устар).

висти и подозрений, которые его преследуют, но которые делают ему только честь. Брат, я думаю об этом человеке как о будущем воспитателе моих детей...

Дыхание монаха сделалось быстрее, и время от времени он проводил платком по лбу. Можно было подумать, что он переживал сильную внутреннюю борьбу, глубокое нравственное волнение; больной заметил это.

— Вы страдаете, отец мой? — спросил он, прерывая себя.— Или вам нужно что-нибудь? В таком случае позовите Марианну... Увы, я должен еще много сказать, насколько я могу, я отдаляю ужасное признание... Будьте терпеливы, отец мой, умоляю вас!

— Продолжайте,— сказал священник.

— Этот человек глубоко образованный, говорил о нем Жак,— он знает свет с высших сфер до низших, древние языки и новейшие, историю, науки и искусства — он знает все. Это ходячая энциклопедия. И если бы я знал, что он может жить с тобою до совершенноголетия моих детей, я умер бы спокойно.

— Кто же помешает этому?

— Важность дел, которые его занимают и сущность которых такова, что с минуты на минуту он может быть вынужден удалиться не только на несколько лет, но и навсегда... Во всяком случае, если ему придется тебя оставить, я поручаю тебе позаботиться о его замене: у него есть сын, который готовит себя к духовной карьере...

— Извините меня,— сказал Доминик, вставая,— я не могу, я не должен слушать далее вашу исповедь.

— Почему же, отец мой? — спросил Жерар тревожным голосом.

— Потому что,— отвечал взволнованный монах,— потому что я вас знаю, а вы меня не знаете; потому что я знаю, кто вы, а вы не знаете, кто я.

— Вы меня знаете? Вы знаете, кто я? — вскричал больной с выражением величайшего ужаса.— Это невозможно!

— Ваше имя Жерар Тардьё — не так ли? Или просто Жерар?

— Да... Но вы, кто вы такой?

— Мое имя Доминик Сарранти.

Больной испустил крик ужаса.

— Я сын,— продолжал монах,— Гаэтано Сарранти, которого вы обвинили в убийстве и в краже, но который ни в чем не виноват, клянусь в этом.

Умиравший, приподнявшийся на своей постели, снова упал лицом в подушку и застонал.

— Вы видите,— сказал монах,— что это значило бы обмануть вас, слушая далее вашу исповедь: вместо того, чтобы слушать ее с милосердием священника, я буду слушать вас с ненавистью сына, отца которого вы оклеветали и обесчестили!

И, резко отодвинув свое кресло, доминиканец сделал движение к двери.

Но в третий раз он почувствовал себя остановленным за рясью.

— Нет, нет, нет! Напротив, оставайтесь! — кричал умирающий изо всех сил.— Оставайтесь!.. Провидение привело вас сюда... Оставайтесь! Бог хочет, чтобы прежде, чем умереть, я загладил то зло, которое сделал!

— Вы этого хотите? — спросил монах.— Будьте осторожны! Я ничего не желаю, но мне стоило громадных, нечеловеческих усилий сказать вам, кто я. Сумею ли я не воспользоваться случаем, который привел меня к вам?

— Скажите — провидение, мой брат! Скажите — провидение! — повторил умирающий.— О! Я отправился бы на край света, если бы я знал, где вас найти для того, чтобы принудить вас выслушать признание, ужасное признание, которое остается сделать мне!.. Я вас прошу, я вас умоляю, останьтесь!

Монах снова упал в кресло, обратил глаза к небу и тихо шептал:

— Боже мой! Боже мой! Дай мне силы...

XIV

ГДЕ СОБАКА ВОЕТ, ГДЕ ЖЕНЩИНА ПОЕТ

После того, что произошло, брат Доминик должен был сделать над собою громадное усилие, чтобы его лицо не выражало того волнения, которое он испытывал.

Мы уже сказали, когда старались представить читателю этого монаха, что его походка, выражение лица, манера говорить носили отпечаток глубокой и мрачной, но скрытой и безмолвной печали.

Причины этой печали, которые он не доверял никому, мы узнаем из исповеди Жерара Тардые или, лучше сказать, из рассказа о последних годах жизни этого человека, которого Ванвр и все окрестные деревни называли добрым, честным и благодетельным.

Он снова начал говорить слабым голосом, часто прерываемым рыданиями, вздохами и стонами:

— Что же касается моего состояния,— продолжал брат мой,— распределение его очень просто, и я думаю, что с той минуты, как я стал думать о смерти, я все предусмотрел. Вот копия моего завещания, которое лежит у нотариуса; я передам ее тебе; ты прочтешь, чтобы сказать, не забыто ли что-нибудь и не нужно ли что исправить. Я оставляю по миллиону каждому из детей; я желаю, чтобы, кроме необходимых затрат на их содержание и воспитание, все проценты с этих двух миллионов скапливались до их совершеннолетия. Твоей дружбе я доверяю наблюдать за этим, мой дорогой Жерар. Что же касается тебя, то, как я знаю простоту твоих вкусов, я оставляю тебе на выбор или сумму в сто тысяч экю серебром, или ренту в восемьдесят тысяч франков. Если тебе придет мысль жениться, то возьмешь кроме того, проценты с детского капитала или ренту в шесть тысяч франков. Если один из детей умрет, другой получит все; если оба умрут... то, так как у них нет родных, кроме тебя, ты наследуешь им. Я оставляю всем, кто у меня служил, знаки моей благодарности; тебе нечего будет беспокоиться. Я счел излишним назначить специальные суммы на воспитание детей; эти издержки будут определены тобою, без особенной щедрости, но и без излишней экономии. Но есть еще один пункт, на который я обращаю твое внимание: я прошу тебя не назначать моему другу Сарранти менее шести тысяч франков в год. Преданность людей, которые воспитывают наших детей, мне всегда казалась недостаточно вознагражденной, и, если бы я был министром народного просвещения во Франции, я хотел бы, чтобы наставники, которые проводят всю жизнь, формируя сердца и умы нового поколения, содержались не так, как лакеи, которые чистят наши платья!

Монах прикладывал свой платок уже не ко лбу, чтобы отирать пот, но ко рту, чтобы заглушить рыдания.

— Если один из моих детей умрет,— продолжал больной, объясняя все еще последнюю волю своего брата,— сто тысяч франков из состояния умершего должны быть отданы Сарранти; если оба умрут,— двести тысяч...

Доминик встал и бросился в кресло в углу комнаты, чтобы поплакать несколько минут на свободе.

Ему нужно было немного времени для того, чтобы победить свое волнение, и, оставив минутное уединение, он подошел медленным шагом к постели умирающего.

Он подошел к этому человеку с менее очевидным отвращением и спросил, не нужно ли ему что-нибудь.

— Брат мой,— отвечал больной,— дайте мне ложку этого укрепляющего эликсира, который стоит на камине. Я не хочу умереть до того, пока я не расскажу вам все разом.

Монах подал больному ложку эликсира; тот проглотил ее и, пригласив жестом Доминика занять прежнее место у своего изголовья, продолжал:

— Брат передал мне копию завещания, и я стал возражать против его щедрости относительно меня. Я говорил ему, что, привыкнув жить на тысячу пятьсот или тысячу восемьсот франков в год, я не нуждаюсь ни в таком большом капитале, ни в такой крупной ренте; он не хотел ничего слышать и прекратил все рассуждения, ответив мне, что брат человека, оставляющего двухмиллионное состояние своим детям, опекун, распоряжающийся за своих питомцев двадцатью тысячами франков ренты, которая может и удвоиться, не должен даже в глазах своих племянников иметь вид человека, жившего за их счет, как паразит... В то время, отец мой, я заслуживал звания честного человека и согласился бы не только потерять все то состояние, которое оставлял мне мой брат, но и мое собственное, если бы оно у меня было,— для того, чтобы спасти жизнь моего брата или продлить ее на несколько лет. К несчастью, болезнь была смертельна, и на другой день после этого разговора у Жака едва нашлись силы пожать руку... вашего отца,— сказал больной с усилием.— Я не буду описывать вам портрет г-на Сарранти, но позвольте мне сказать несколько слов о первом впечатлении, которое произвел он на меня. Никогда — я могу поклясться в этом перед Богом и вами,— никогда ни одно человеческое лицо не внушало мне большей симпатии и уважения. Честность — самая характерная его черта — вызывала доверие, и с первой же встречи каждый готов был открыть ему свои объятия и свое сердце!.. Вечером он поселился в доме по просьбе Жака, который заявил, что он желает закрыть глаза между двух друзей, то есть между Сарранти и мною. Сразу по приезде он вошел в мою комнату и сказал мне:

— Жерар, не считите дурным, что с первой минуты я обращаюсь к вам с просьбою оказать мне серьезную услугу.

— Говорите, сударь,— отвечал я ему,— уважение и

дружба, которые питает к вам мой брат, дают мне право сказать вам то, что сказал бы он сам: «Мое сердце и мой кошелек к вашим услугам».

— Благодарю вас,— отвечал ваш отец,— я буду действительно счастлив в тот день, когда вам понадобится испытать мою благодарность. Но услуга, которой я прошу у вас,— доказательство доверия, и поэтому я обращаюсь к вам. У нас так мало надежды сохранить надолго нашего бедного Жака, и я не могу обратиться к нему.

— Чем могу я оправдать ваше доверие и заменить моего брата? — спросил я.

— Мне поручено,— ответил Сарранти — одной особой, имя которой я не могу назвать, положить к нотариусу сумму в триста тысяч франков, которые я вожу с собой в чемодане. Эту сумму,— слушайте хорошенько,— я хочу только положить, а не пустить в оборот; мне нет дела, что она не принесет ничего, только бы в тот день, когда эти деньги понадобятся той особе, которая мне их доверила, я мог бы взять их по первому требованию.

— Ничто не может быть легче, и на этих условиях каждый день кладут к нотариусу более или менее крупные суммы.

— Благодарю вас, сударь. Теперь я уверен в этом пункте. Но эта сумма не может быть положена на мое имя, так как всему свету известно, что у меня ничего нет; она не может быть положена на имя вашего доброго брата, потому что с минуты на минуту Бог может призвать его к себе. Я желал бы, чтоб она была положена...

— На мое имя? — поспешил сказать я просто.

— Да, и вот услуга, которой я у вас прошу.

— Я желал бы, чтоб дело было серьезнее,— возразил я,— потому что то, чего вы у меня просите, собственно говоря, не услуга, а простое одолжение. Когда вы вздумаете положить эту сумму, вы мне скажите, я исполню ваше желание и лично передам вам расписку, чтоб вы могли в случае отъезда, внезапной смерти заменить меня, отправиться к нотариусу, как действительный собственник денег.

— Если бы деньги принадлежали мне,— сказал Сарранти,— я отказался бы от этой гарантии, которую я считаю совершенно излишней; но они не принадлежат мне и должны служить высшим целям. Я принимаю не только вашу услугу, но даже все гарантии, которые вы мне предложите для того, чтоб облегчить в нужную минуту получение наличных денег.

— Передайте мне эту сумму, и через час она будет положена у Генри.

Действительно, у Сарранти в чемодане было триста тысяч франков золотом. Мы сосчитали их, затем я запер их в шкатулку, дал расписку в условленной форме, велел запрячь лошадь и уехал в Корбейль.

Через полтора часа я вернулся домой.

Сарранти был у изголовья постели моего брата, которому становилось все хуже и хуже. Жак спрашивал обо мне два или три раза; положение его было отчаянное, и доктор не отвечал даже за ночь. Около двух часов утра он пожелал увидеть в последний раз детей; Гертруда, ухаживающая за ними, подняла их с постели и привела к нему.

Бедные малютки плакали, не отдавая себе полного отчета в своем несчастье. Они инстинктивно чувствовали, что что-то таинственное, мрачное и бесконечное вставало над ними — это была смерть.

Жак благословил детей, которые встали на колени около его постели; затем он поцеловал их и сделал знак Гертруде, чтобы она их увела. Дети не хотели уходить; слезы их превратились в рыдания, а рыдания в крики, когда их заставили оставить комнату. Это была очень печальная, разрывающая душу сцена...

Большой ослаб во второй раз. Священник боялся налить ему еще эликсира, который возвратил было силы страдальцу, и довольствовался на этот раз тем, что дал ему понюхать соли, действительно, этого оказалось достаточно.

Жерар открыл глаза, вздохнул, отер пот, покрывавший его лоб, продолжал:

— Через час после ухода детей брат умер. Агония его была тихая и, как он желал, он умер на моих руках... на руках двух честных людей; потому что до минуты смерти моего брата я не мог упрекнуть себя не только ни в одном дурном деле, но даже в дурной мысли. На другой день или, скорее, в тот же день рано утром детей удалили. Гертруда и Жан отвезли их в Фонтенбло, где они должны были провести два дня, и куда, отдав последний долг своему другу, за ними должен был отправиться Сарранти. Они спрашивали, почему им не позволяют поцеловать отца? Им ответили, что отец еще не проснулся; но тогда старший, который начинал немного понимать, что такое смерть, заметил:

— Нам уже раз говорили, что мама спит, нас уже уво-

дили однажды утром, и мы с тех пор не видали маму. Папа отправился за нею, и мы не увидим его больше никогда!

— О! В самом деле, бедные дети, зачем ваш отец оставил вас, и, в особенности, зачем отдал он вас в такие руки?..

И больной посмотрел на свои исхудалые руки, как леди Макбет смотрела на свою окровавленную руку, когда говорила: «О! Вся вода великого океана не могла бы вымыть эту маленькую руку!». Собравшись с силами, он продолжал:

— Мы занялись исполнением последнего долга, наложенного на нас смертью бедного брата. Он не сделал никакого распоряжения относительно погребения; мы похоронили его на кладбище в Вири. Погребение было такое, какое может быть в деревне, и на его открытой могиле я передал священнику, который молился за упокой его, тысячу франков для бедных, которым он всегда помогал.

Сарранти, как обещал, по выходе с кладбища отправился в Фонтенбло. Он должен был на другой или на третий день вернуться с детьми; но прежде чем расстаться, при мысли о том, кого мы потеряли, мы бросились в объятия друг друга...

— О! Простите мне, что я обвинил, оклеветал человека, которого я прижимал к моему сердцу,— вскричал больной, обращаясь к брату Доминику.— Но вы увидите, я был безумен, когда совершил это преступление, и, благодарение Богу, оно может быть заглажено!

Монах нетерпеливо ждал конца этой исповеди, которая, как признавал умирающий, должна была быть ужасна, так ужасна, что сам исповедуемый, как ни был он слаб, отдалял, насколько возможно, ее заключение. Священник попросил Жерара продолжать.

— Да, да,— прошептал тот,— но вот что и трудно,— продолжать! Путнику, сделавшему две трети своего пути по роскошным равнинам и плодородным долинам, позволительно остановиться в нерешительности на минуту, прежде чем вступить в смрадные болота и страшные пропасти!

Доминиканец, несмотря на все свое нетерпение, молчал и ждал.

Ожидание было не долгое; потому ли, что силы вернулись к больному или потому, что он, напротив, боялся, чтобы остальные силы не покинули его, но он заговорил опять:

— Я вернулся один в покинутый замок. Я был мрачен и печален; у меня был траур не только на платье, но и в сердце: траур по умершему брату и по сорока четырем годам чести, которая умирала! Я забыл бы дорогу в замок, если бы меня не направлял туда печальный вой Брезилия. Говорят, что собаки видят невидимую богиню, называемую смертью, и что, когда вся природа молчит при ее приходе, они одни приветствуют ее своим заунывным, пророческим лаем. Лай собаки мог заставить верить в справедливость этой мрачной легенды. Радуюсь возможности найти отголоски моей печали хоть в животном, я стремился к нему, как к человеческому существу, как к другу!

Но только Брезиль увидел меня, как бросился ко мне, насколько позволяла его цепь, с пылающими глазами, кровавым языком, оскаленными зубами. Я испугался этой ярости, не понимая ее; обыкновенно я не ласкал собаку, но и не обращался с ней никогда дурно. Она обожала брата и детей. Отчего же эта ненависть ко мне? Инстинкт превосходит иногда разум!

Я продолжал приближаться к замку. Там другие звуки поразили мое ухо: в этом доме, из которого только что вынесли труп, где жалобно выла собака, где мужчина вытирал еще свои глаза, голос женщины пел. Это был голос Орсола.

Возмущенный и желая заставить ее замолчать, я подошел к столовой, откуда, казалось, слышался голос. Через полуоткрытую дверь я увидел Орсола, одну, накрывающую завтрак и распеваящую на простонародном наречии басков циничную, безбожную, возмутительную в такую минуту песню: «Счастье принадлежит богам, которые оставляют людям удовольствие. Благословим же тех, которые уходят в небеса, и утешим сердца тех, которые остаются с нами на земле!»

Я не могу высказать вам, отец мой, всей глубины отвращения, которое возбудила во мне эта веселая песня, раздававшаяся в доме покойника. Желая, чтобы Орсола знала, что я ее слышал, я сказал ей:

— Орсола, вы можете убрать стол, я не голоден.

Я пошел в свою комнату и заперся. Орсола замолчала, но собака продолжала выть весь день и всю следующую ночь; она перестала выть только тогда, когда карета, привезшая детей, въехала во двор замка.

XV ОРСОЛА

— После смерти моего брата,— продолжал Жерар,— я сделался главой семьи и распорядителем состояния моих племянников. Я чувствовал себя в большом затруднении: у меня никогда не было более тысячи двухсот и полутора тысяч франков дохода, получаемого с небольшого родительского имения. Я невольно дрожал, когда пришлось иметь дело с громадными суммами в банковских билетах, когда я впервые увидел мешки золота, рассыпанного на моем столе, у меня закружилась голова. Но это чувство было совершенно естественное,— нисколько не преступное. У меня не было других желаний, кроме тех, к которым я привык в кругу, где я жил.

Г-н Сарранти начал заниматься воспитанием детей и дал мне несколько советов относительно употребления и оборота доходов. Первые дни прошли совершенно спокойно.

В замке жили только две женщины: Гертруда и Орсола. Гертруда, бывшая в двадцать лет кормилицей моей невестки, умершей на ее руках, стала в сорок пять лет нянькою ее детей; Орсола, как вы знаете, присвоила себе власть хозяйки в доме и считалась доверенной женщиной. Я говорил уже вам, отец мой, о том чувстве отвращения, которое возбуждала во мне эта женщина... Отчего происходило это? Кроме песни, которую она пела в день похорон моего брата, я не могу сказать против нее ничего: в ней не было ничего отталкивающего; напротив, она была красива... Только это нужно было рассмотреть, но стоило однажды рассмотреть ее, и взгляд, прежде равнодушно скользящий мимо, уже не мог оторваться от нее. Кроме того, в первый раз, когда я ее увидел, она была в мрачном, будто вдовьем костюме, который вовсе не делал ее привлекательной. Я заметил у нее только прекрасные глаза, очень белые зубы и ярко-красные, почти кровавые губы. Но после смерти брата, мало-помалу, неделя за неделей, она стала как бы выставлять напоказ свою крастоту. Прежде всего она сняла чепец и показала черные волосы, убранные в роскошные косы; затем золотистую, как колос в июне, шею, с которой сняла закрывавший ее воротник; потом стройную и гибкую талию в траурном платье из черной тафты, прекрасную ногу испанки, два ряда белых зубов, которые

она показывала, даже не улыбаясь, как будто ее губы были слишком коротки, чтобы закрыться.

Все эти последовательные перемены совершились в три месяца, совершились к величайшему удивлению всех обитателей замка, не подозревавших в грубой шерстяной куколке блестящей ночной бабочки, которая вышла из нее. Кроме того, для кого Орсола заботилась так о своем наряде? Этого никто не мог сказать. Она говорила с кем-нибудь только тогда, когда этого требовали ее обязанности по дому, и сидела в своей комнате все время, когда у нее не было дела. Вероятно, для самой себя! Наверное, это невинное кокетство не нравилось ее прежнему господину, и она хотела убедиться, будет ли так же строг ее новый господин. Ее новый господин был я!..

Позвольте мне рассказать о всех соблазнах этой женщины, которой я дал сорок лет, когда увидел ее в первый раз, и которая, сбрасывая мало-помалу свой наряд, казалось, сбрасывала вместе с ним и свои годы, так что по прошествии трех месяцев я дал бы ей не более тридцати лет. Это было моим единственным извинением в той позорной власти, которую это гнусное создание взяло, наконец, надо мною.

Я, как сказал уже вам, очень рано потерял мою жену, потерял после грустных лет брачной жизни. При моем крепком телосложении, южном темпераменте мои страсти могли временно умолкнуть, но должны были рано или поздно проснуться неизбежно. Много раз я ловил себя, засматриваясь на эту женщину; много раз в ее отсутствие я бывал удивлен, что мысль о ней приходит мне в голову... Что же касается Орсолы, то она, казалось, не выказывала мне другого внимания, кроме почтительности слуги к своему господину. Она приняла на себя уборку моей комнаты и комнаты г-на Сарранти, стараясь входить туда преимущественно во время завтраков и обедов и выдавая свое присутствие только особенной аккуратностью, которая доказывала, что она сама привыкла к чрезвычайной чистоте. Мы обыкновенно расходились по своим комнатам в девять часов вечера, и в десять, в большинстве случаев, все спали.

Однажды вечером, когда мне нужно было просмотреть счета банков и управителей имений — это было ночью в декабре 1818 года — я предупредил Орсолу о моем желании заниматься долго ночью и попросил ее, чтобы она велела принести дров в комнату. Она принесла дрова

сама, положила их на пол, поправила постель и, уходя, спросила меня:

— Вам больше ничего не нужно?

— Нет,— отвечал я, отворачиваясь от нее, потому что боялся, чтобы мои глаза не открыли желаний, которые она во мне возбуждала.

Она ушла, тихонько заперла за собою дверь, и я слышал, как она поднялась по лестнице и вошла в свою комнату, находившуюся над моей. Я сидел, задумавшись, не обращая внимания на то, что огонь угасал, и заметил это только тогда, когда холод начал пробирать меня.

Было бесполезно думать в эту ночь о работе: мысли мои были в другом месте. Я хотел сном прогнать желания, овладевшие мною, бросил вязанку дров в камин, лег, загасил лампу и постарался заснуть. И действительно заснул.

Прошло около часа после того, как я закрыл глаза, как вдруг проснулся, задыхаясь от дыма. Я вскочил с постели и закричал:

— Помогите! Пожар!

Но никто не приходил. Я хотел идти на черную лестницу, как вдруг в конце коридора увидел Орсолу, с распущенными волосами, в чем-то вроде пеньюара, который был просто длинной ночной рубашкой, босиком, со свечкою в руках. Она казалась привидением, которые существуют в древних замках или в развалинах монастыря. И в самом деле, в этой женщине было что-то похожее на владелицу замка, на аббатиссу, но более всего на демона!.. Она подошла ко мне.

— Вы звали на помощь? — спросила она.— Что случилось?

Я смотрел на нее пораженный.

— Пожар! — пробормотал я.— Пожар!

— Где?

— В моей комнате!

Она бросилась туда, не обращая внимания на дым.

— Э,— сказала она,— это пустяки. Это огонь в трубе. Помогите мне, сударь. Мы загасим его.

— Позовем людей загасить его.

— Это напрасно. Не будем будить никого: мы загасим сами. Я даже загашу одна, если вы не хотите помочь мне.

Я не позвал никого. В том настроении, в котором я лег, видение, явившиеся ко мне, было именно то, которого

я жаждал. Кроме того, она смело вошла в мою комнату, отворила окно, чтобы выпустить дым, сорвала простыни с моей постели, намочила их в лоханке и приложила их к отверстию очага, чем совершенно остановила движение воздуха.

Полчаса было достаточно для всей этой операции, в которой я помогал ей; но, правду сказать, более был занят черными волосами, белыми амами, круглыми плечами, просвечивавшими через пеньюар, чем пожаром, который к тому же был совершенно прекращен. Не прошло и получаса, как пол был вытерт, комната чиста, постель поправлена, и это фантастическое существо, которое казалось демоном, повелевающим стихиями, пропало.

Ночь, последовавшая за этим событием, была самая тяжелая в моей жизни!..

Я решил вознаградить это хладнокровие и преданность. На другой день, после завтрака, в то время когда она должна была убирать мою комнату, вошел туда и подошел к ней. Я поблагодарил ее и подал ей кошелек с двадцатью луидорами. Но она гордо отклонила кошелек. Я стал настаивать; она отвечала мне просто и непринужденно:

— Я только исполнила мой долг, сударь.

Я подумал, что, может быть, сумма была не достаточно велика, чтобы соблазнить ее, и, желая быть великодушным, взял все золото, которое было у меня в кармане и подал ей вместе с кошельком, но также безуспешно. Я спросил у нее причину отказа.

— Первую причину и самую главную я вам уже сказала,— отвечала она.— Я исполнила только мой долг, но кроме того, у меня есть и другая причина...

— Какая? — спросил я.

— Относительно я так же богата, как и вы, сударь.

— Как так?

— Мой прежний господин оставил мне тридцать тысяч франков, следовательно, полторы тысячи ливров дохода, а с этими деньгами на родине я могу жить, как королева.

— Но в таком случае,— спросил я,— отчего вы спросили такое небольшое жалование, когда я предложил вам назначить его?

— Также по двум причинам,— отвечала она.— Потому что я уже десять лет в этом доме, и мое величайшее желание было не оставлять его...

— Это первая причина, а вторая?

— Вторая? — сказала она, слегка покраснев. — Вторая — потому что с первого взгляда я почувствовала что что-то влечет меня к вам и что мне хочется поступить к вам на службу.

Я положил свой кошелек в карман, пристыженный, видя такие возвышенные чувства у женщины, на которую до тех пор я смотрел, как на служанку.

— Орсола, — сказал я, — до завтрашнего дня вы наймете женщину, которая будет делать здесь то, что делали вы обыкновенно; вы же будете только смотреть за прислугой.

— Зачем отказываете вы мне в удовольствии служить вам, сударь? Так-то вы меня благодарите?

Она сказала эти несколько слов самым естественным тоном.

— Хорошо, — сказала я, — вы будете продолжать служить мне, милая Орсола, потому что вы предполагаете, что эти услуги делают вам удовольствие. Но вы будете служить только мне одному. Жан будет служить г-ну Сарранти.

— Слава Богу! — ответила она. — Я согласна: у меня будет больше времени заботиться о вас.

Затем, так как моя комната была убрана, она просто и с достоинством вышла, не подозревая или, по крайней мере, не показывая вида, что оставляет меня удивленным ее деликатностью так же, как раньше оставляла меня пораженным ее красотой.

С этого дня моя участь была решена! Я принадлежал этой женщине. Она, со своей стороны, видя, что вместо того, чтобы приказывать ей как служанке я окружаю ее вниманием как женщину, делалась строже, по мере того, как я делался почтительнее. С тех пор, когда она была в доме, она говорила открыто, прямо и смело, обращаясь ко мне на нашем местном наречии всегда, когда представлялся случай. Теперь она едва говорила со мною, сделалась робкой, дрожала при первом слове, краснела при первом жесте. Подозревала ли она желанья, которые внушала мне, и притворялась, что их не знает? В это время я не мог еще ничего сказать и только позже узнал, какая великолепная актриса была эта женщина и с каким искусством шла она к своей цели.

Борьба продолжалась около трех месяцев. В это время случился день моих именин, и Гертруде пришла мысль устроить празднество. Вечером дети пришли к десерту с

великолепными букетами; сзади детей шел Сарранти; затем Жан и садовник пришли меня поздравить. Я поцеловал всех — детей, наставника и слугу, и именно потому, что думал, что Орсола тоже придет и что я поцелую ее, как других. Она пришла последняя, и я невольно вскрикнул, увидев ее.

На ней был наряд горных басков с красным платком на голове и с черным бархагным с золотом корсажем. Она сказала мне несколько слов на нашем наречии, пожелала мне долгой жизни и исполнения всех моих желаний. Я молчал, не находя слов, чтобы ответить ей, и только протянул руки, чтобы обнять ее; но она вместо того, чтобы подставить мне свои щеки, наклонила голову и подставила мне лоб, покраснев, как молоденькая девушка; рука ее дрожала в моей руке.

Никто в доме не любил Орсолы, кроме меня, который, может быть, больше желал обладать ею, чем любить; однако, несмотря на это нерасположение, никто не мог удержаться от похвал этой красоте, которой национальный костюм придавал своеобразную прелесть. Я чувствовал себя настолько взволнованным, что ушел в свою комнату, чтобы мое волнение не было замечено. Я сидел там уже несколько минут впотьмах, при слабом отблеске камина, как вдруг услышал шаги Орсолы, приближающейся к моей комнате, и когда дверь комнаты открылась, я увидел ее в ее восхитительном наряде, освещенную светом свечи, которую она держала в руке.

Она увидела меня и сделала движение, как будто не ожидала застать меня тут, но после минуты удивления она подошла к моей постели и, как делала обыкновенно, стала снимать одеяло, чтобы оправить постель...

— О, отец мой! Отец мой! — шептал больной. — С этой минуты началась моя преступная жизнь! С этой минуты Бог отвернулся от меня, и я принадлежу демону!..

Жерар опять упал на свои подушки, а доминиканец из боязни, чтобы эта исповедь не прервалась вместе с силами больного, не колеблясь, дал умирающему вторую ложку эликсира, чтобы который уже раз поддержать его силы.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

ВЛАСТЬ

На этот раз питье действовало медленнее. После минутного забытья больной пришел в себя, сделал над собою заметное усилие и продолжал:

— С этого дня Орсола приобрела надо мною такую власть, что я совершенно лишился всякой самостоятельности и через несколько дней принадлежал ей и душой, и телом. Я не имел более ни власти, ни охоты приказывать, а только слепо повиновался ей. И хоть бы раз осознал я всю унижительность этого положения! Хоть бы раз пришло мне в голову перегрызть опутавшую меня сеть! Но сеть эта казалась мне золотой, а уверенность, что я могу свободно жить в ней, не допускала во мне даже желания освободиться от нее!

Так прожил я года два в тюрьме, казавшейся мне замком, в этом аду, который был для меня раем. В опьянении от любви этой женщины я постепенно утрачивал все честные мысли и добродетельные наклонности. Если бы я знал, к чему все это приведет, то, может быть, постарался бы воспротивиться, но я шел вперед с закрытыми глазами, не имея понятия ни о дороге, по которой шел, ни о цели, к которой меня влекли.

Изредка мучали меня угрызения совести, но Орсола обладала способностью усыплять эти мимолетные пробуждения. Я жил как бы под влиянием могучих, неотразимых тайных чар, обаяние которых испытывали на себе в древности все несчастные, попавшие во власть волшебницы Цирцеи.

В искусстве любить эта женщина была истинной чародейкой. Ее ласки действовали как опьяняющий напиток, который постоянно восстанавливает и силу, и жаж-

ду. Из каких трав приготавливала она свое питье? Какие слова шептала над ним? В какой день месяца, в который час ночи варила она его и какого бога заклинала? Этого я не знаю, но я упивался этим напитком с восторгом. Опаснее всего было то, что она придавала моему рабству вид могущества, а моей слабости — вид силы. Она всецело забрала меня в свои руки, распоряжалась мной, как рабом; но мне все-таки казалось, что я владею всей силой воли, а она повинуется мне.

Когда Орсола поняла, что окончательно овладела мною, то дала мне это почувствовать не сразу. Она заставляла меня исполнять свои маленькие капризы, а сама как бы удивлялась, что я соглашаюсь на все ее требования, не имевшие, по-видимому, никакого смысла для нее самой.

Так прошло два года, после которых она почувствовала себя полной властительницей моей воли.

Впрочем, иногда, сознавая ее власть над собою, я спрашивал себя, какая могла быть цель у этой женщины? Мне было ясно, что она хотела стать моей женой. Но эта мысль не пугала меня. Наоборот, я считал ее лучше и выше себя. Она была тоже из крестьян, как и я. Правда, я был богаче ее, но я был обязан этим только случаю. Зато она была хороша и обязана этим только Богу. Я приносил в приданое деньги, а она... она сулила радость, счастье, главное — сластолюбие, которое я с некоторых пор считал единственной целью своей жизни.

Как только мне стала ясна ее цель, я еще больше покорился ей; я стал принадлежать ей не только телом, но и душой. Между прочим, я посвятил ее и в горе моего первого брака. Она слушала меня, видимо, с большим интересом, хотя и не воспользовалась этим случаем, чтобы намекнуть мне на возможность второго, более счастливого супружества. Эта скромность придала мне смелости и решимости: значит, она любила меня, одного меня, а не мое богатство, не положение, которое я мог ей дать, женившись на ней. Тогда я поделился с ней моими самыми дорогими надеждами, моими лучшими мыслями и, наконец, дал ей понять, что она может требовать от меня всего, чего захочет. Но она и тогда, казалось, не желала и не понимала именно того, что я счастлив ее целью.

Между тем, должен же был настать день, когда она испробует свою власть, когда она энергично выразит свои требования! И этот день настал!

Нашим садовником был старик, смотревший за садом замка лет тридцать или даже сорок. У него было человек двенадцать внучат и детей. Орсола начала каждый день мне на него жаловаться. По ее словам, не проходило дня, чтобы он не сделал ей какого-нибудь неприятного замечания или не ответил даже дерзостью. Наконец, после недели жалоб она попросила меня отказать ему от места. Это показалось мне до того несправедливым, что я попытался возразить ей и сказал, что никто, кроме нее, на старика не жалуется, и было бы безжалостно прогнать человека, который служил в доме целых сорок лет. Она настойчиво повторяла свою просьбу, но после вторичного моего отказа в продолжение двух дней запиралась в своей комнате. Меня она к себе не пускала, несмотря на все мои мольбы. Я был не в состоянии переносить разлуку с нею, ночью подошел к ее двери и сказал ей, что сделаю все, чего она хочет.

— А, слава Богу! — сказала она, даже не поблагодарив меня за жертву, которую я ей принес, и как бы не сознавая своей победы.

На другой день я сказал садовнику, что он может получить расчет и уехать. Несчастный старик, не приготовленный к такому удару, упал на скамейку и прошептал:

— Господи! А я надеялся умереть здесь!

Он заплакал.

Виктор и Леони, бегавшие за бабочками, увидели плачущего старика и принялись его расспрашивать. Дети очень любили его, он постоянно приносил им шелковичных червей, а Сарранти объяснял им их превращения. Старик готовил детям удочки для ловли рыбы, приносил первые спелые ягоды клубники с гряд и первые созревшие фрукты из оранжереи. Дети рассказали Сарранти, что я прогоняю их старого друга. Сарранти пошел тоже спросить старика и застал его в полном отчаянии.

— Только воров и убийц выгоняют так, — в слезах говорил бедняга. — А я ведь ничего не украл и никогда никому не делал никакого зла, — прибавлял он шепотом. — О! Я умру от стыда!

Сарранти, никогда не вмешивавшийся в домашние дела, пришел ко мне узнать причину моего поступка. К его великому удивлению, я считал это дело гораздо серьезнее, чем оно было на самом деле.

— Да, — сказал он, — раз у вас есть уважительные причины поступать именно так, значит, вы делаете хоро-

шо. Но следует громогласно объяснить это. Вы человек честный и рассудительный, никогда не поддадитесь минутному чувству и не поступите несправедливо.

После этих слов он вышел. Меня мучила совесть, и я отправился к Орсоле с тем, чтобы передать ей слова Сарранти.

— Хорошо,— сказала она.— Я думала, что вы твердо держитесь данного слова. Теперь вижу, что ошиблась. Не будем более говорить об этом!

— Но, дитя мое,— ответил я,— все будут осуждать меня за такую несправедливость.

— Кто это станет осуждать вас? Сарранти? Не все ли вам равно, что подумает о вас этот человек? Неизвестно даже, откуда он пришел и что замышляет. Я уже не раз повторяла вам: вы обнаруживаете свою волю только по отношению ко мне!

Через четверть часа, вполне уверенный, что поступаю как нельзя более справедливо, я отправился к садовнику, отнес ему причитающееся жалование, прибавил еще за целый месяц вперед и посоветовал немедленно оставить замок. Старик встал, пристально посмотрел на меня, точно хотел удостовериться, я ли отдаю ему подобное приказание.

— Сударь,— сказал он на этот раз уже без слез, беря причитающееся ему жалование и отодвигая от себя мою прибавку.— Я или виноват, или же прав. Середины тут быть не может. Если я виновен, вы имеете полное право прогнать меня, а я не могу взять прибавки. Если же я не виноват, тогда вы не правы, что выгоняете меня, и никакая прибавка не вознаградит меня за горе, которое вы мне причиняете.

Он повернулся ко мне спиной и прибавил:

— Прощайте, сударь. Вы скоро раскаетесь в вашем дурном поступке.

Я возвратился в замок, однако, уходя, слышал, как старик шептал:

— О, мои бедные, несчастные дети!

— Ну,— сказал я Орсоле,— ваше приказание выполнено.

— Мое приказание? Какое же это приказание я дала? — спросила она.

— Вы хотели, чтобы я выгнал садовника.

— Это правда,— сказала она, смеясь.— Но разве я даю здесь какие-нибудь приказания?

Я пожал плечами, так как не понимал ее каприза.

— А что он сказал? — спросила она.

— Он сказал,— ответил я, задыхаясь,— он сказал: «О, мои бедные дети!».

— Так что?..

— Так что теперь, первый раз в жизни, я чувствую угрызения совести...

— Раз вы их чувствуете, вы, такой справедливый, такой добрый, то это значит вы, по моему настоянию, совершили дурной проступок.

Я сидел в кресле, опустив голову; при последних словах я ее поднял. Орсола подошла ко мне, встала на колени и заговорила самым ласковым голосом:

— Друг мой,— сказала она,— прошу у тебя прощения за мою злость. Я хотела вернуть тебя, да ты уже ушел слишком далеко.

Я торжествовал.

— Нет, Орсола, вы не злая! — сказал я.

Но она упорно продолжала:

— Если бы я знала, что отъезд садовника будет вам так тяжел, я бы никогда не попросила вас об этом.

— Так вы согласны вернуть его? — спросил я живо.

— Конечно! Говорю вам, что мне жаль его так же, как и вам.

— Какая вы добрая, Орсола! — воскликнул я и бросился было бежать за стариком.

— Нет, я была причиной горя старика, значит, мне и следует исправить сделанное зло!

Заставив меня остаться в комнате, она побежала объявить садовнику новую милость. Это было все, чего она желала: старик, наверно, подумал, что я хотел прогнать его, а Орсола выпросила ему прощение.

В продолжение трех-четырёх лет жизнь текла по-прежнему тихо, мирно.

По природе я был человек воздержанный; я ел и пил только потому, что это было необходимо, а не потому, что оно доставляло мне удовольствие. Утомленный разгульной жизнью, я легко уступил желанию Орсолы и стал искать отдохновения и возбуждения сил в вине, в пьянстве. Водка и кирш сделались моими любимыми напитками. Утром можно было заметить по моим блуждающим глазам, в какой ужасной оргии я провел ночь, о которой у меня оставалось смутное воспоминание. Я помнил только, что Орсола постоянно жаловалась мне на гувернантку, как жаловалась перед тем на садовника. В опьянении я неоднократно обещал ей прогнать несчастную женщи-

ну, но, придя в себя, с ужасом вспоминал обещанное. Однажды утром, однако, Орсола навела разговор на эту тему.

— Вы уже давно дали мне обещание прогнать Гертруду и до сих пор не исполнили его. Что привязывает вас так к этой женщине?

Я был поражен. У меня не было никакого предложения прогнать Гертруду, кормилицу жены моего брата, так ласково заботившуюся о детях, которые очень любили ее. Поэтому я решительно отказал ей.

Тогда повторились прежние наговоры, жалобы. Каждую ночь под влиянием опьянения я обещал прогнать Гертруду на следующее же утро, но, протрезвев, отказывался.

Орсола снова заперлась в свою комнату. Но на этот раз я уже не сдался. Она сама пришла просить у меня прощения. Можете себе представить, с какой радостью я ее простил.

Эта выходка Орсолы совпала с двумя фактами, на которые я тогда не обратил внимания, но которые имели ужасные последствия. Накануне Жан попросил, чтобы я отпустил его на двое суток в Жуаньи, чтобы устроить свои дела, связанные с получением наследства, а утром Сарранти объявил нам, что ему необходимо пробыть в Париже два или три дня. Когда Жан и Сарранти ушли, во всем замке оставались только дети, Гертруда, Орсола и я. Я сообщил об этом Орсоле.

— Разве я не ваша слуга? — ответила она, улыбаясь.

Ночью ужин был накрыт по обыкновению в комнате Орсолы. Мы заперлись с десяти часов. Никогда вакханка так не вовлекала своего любовника в пьянство. Мне казалось, что я пью пламя, зажженное молнией ее глаз. Вдруг мне слышались какие-то стоны.

— Что это такое? — спросил я Орсолу.

— Не знаю... Подите, посмотрите.

Я попробовал было встать, но мне едва удалось сделать три шага, как я снова упал в кресло.

— Выпейте этот последний стакан, пока я схожу и узнаю, в чем дело.

Наступил момент, когда я мог делать только то, что мне приказывала Орсола. Когда я выпил стакан до последней капли, она встала и вышла.

Не знаю, сколько времени прошло с ее ухода. Я впал в сонливость и очнулся только тогда, когда почувствовал, что к моим губам опять поднесли стакан. Я узнал Орсолу.

— Ну что? — спросил я, смутно припоминая слышанные стоны.

— Гертруда очень больна, — сказала она.

— Гертруда... больна? — пробормотал я.

— Да, — сказала Орсола. — Она жалуется на спазмы в желудке и не хочет взять ничего из моих рук. Вы должны спуститься и сами заставить ее выпить хоть стакан сахарной воды.

— Отведи меня, — сказал я Орсоле.

Помню, я сошел с лестницы. Орсола провела меня в буфетную, заставила насыпать в стакан воды мелкого сахара и, толкнув меня в комнату больной, сказала:

— Снесите ей это и постарайтесь скрыть, что вы пьяны.

Действительно, я был в ужасном виде! Собрав все свои силы, я твердо подошел к кровати Гертруды.

— Милая Гертруда, — сказал я, — выпейте этот стакан сахарной воды, вам станет легче.

Гертруда с усилием протянула руку и выпила залпом.

— Тот же противный вкус! Доктора! Ради Бога, пошлите за доктором! Я уверена, что меня отравили!

— Отравили? — повторил я, с ужасом оглядываясь.

— О! Во имя неба! Во имя вашего бедного брата, доктора! Доктора!

Я вышел испуганный.

— Слышишь? — сказал я. — Она думает, что отравлена и просит вызвать доктора.

— Так что же, — сказала Орсола, — бегите в Морсан за доктором Ронсеном.

Это был старый доктор, изредка обедавший с нами, когда он практиковал неподалеку от замка.

Я взял шляпу и палку.

— Выпейте последний стакан вина, — сказала Орсола. — На дворе холодно, а вам нужно пройти добрых две версты.

Я выпил поднесенное мне питье, которое обожгло мне желудок, как будто я пил чистый спирт, и вышел из дома, прошел сад и очутился на дороге в Морсан. Едва отошел я на несколько шагов от калитки, как у меня страшно закружилась голова, я потерял сознание и упал на землю. Очнулся я уже на другой день утром в постели.

На мой звонок прибежала Орсола.

— Правда ли, что Гертруда умерла, или это мне только приснилось?

— Нет, это правда, — сказала она.

— Но,— уточнил я,— умерла от... отравления?
— Очень может быть.
— Как, это правда?! — воскликнул я.
— Да,— сказала Орсола,— только не говорите об этом: только я и вы давали ей есть и пить, так что подозрение может пасть на нас.
— Почему?
— Потому что люди очень злы.
— Наконец, должен же быть предлог подобного преступления! — испуганно сказал я.
— Найдут.
— И какой?
— Скажут, что вы избавились от гувернантки, чтобы вам было легче покончить с детьми, после которых наследство переходит к вам.
Я вскрикнул и спрятал голову под простыню...
— О! Несчастливая! — прошептал монах.
— Пойдите! Пойдите! — сказал умирающий.— Мы еще не дошли до конца... Только не перебивайте меня: я так слаб!..
Доминик продолжал слушать молча; грудь его высоко вздымалась, сердце болезненно ныло.

II ПАУК

Жерар передохнул и заговорил снова.

— Смерть Гертруды не возбудила никаких подозрений, но сильно огорчила всех. Особенно безутешны были дети. Орсола старалась заменить Гертруду, но дети боялись ее, а Леони и вовсе не могла ее видеть.

Сам я тосковал нестерпимо и пять или шесть дней сидел, запершись у себя в комнате. Сарранти вернулся и старался утешить меня. Он, кажется, вполне понимал чувство печали от потери такой доброй и верной служанки, но не мог понять, отчего меня мучила совесть. Между прочим, он посоветовал взять к детям другую женщину; но они не хотели, а я, боясь сопротивления со стороны Орсолы, ссылаясь на детей и не подыскивал никого, чтобы заменить Гертруду.

Орсола продолжала по-прежнему вести дом, как будто ничего не случилось. Раз я встретил ее в коридоре.

— Что бы вы сделали,— спросила она,— если бы вместо Гертруды умерла я?

— Если бы ты умерла, Орсола,— сказал я, чувствуя, как огонь ее глаз снова начинает жечь меня,— если бы ты умерла, я бы не перенес такой смерти!

— Ну, так как умерла не я,— сказала она,— то будем пользоваться жизнью!

Она с дьявольской улыбкой нагнулась ко мне и прибавила:

— Я буду ждать тебя сегодня ночью!

— Нет, ни за что! — говорил я самому себе.— Нет я не пойду!

— Отец мой,— продолжал умирающий,— естествоиспытатели рассказывают о подавляющем влиянии некоторых животных, между прочим, змей, которые заставляют птиц спускаться с ветки на ветку прямо к себе в пасть. Точно такое же влияние имела на меня эта женщина. Долго сопротивлялся я этому влечению, наконец, в одиннадцать часов, понял, что мне с собою не совладать и, как бы в чадугу, против собственной воли, прошел коридор и поднялся по лестнице. Наверху ожидала меня Орсола. Я уже говорил, что на следующий день после ночи, проведенной в оргии, я смутно помнил что делал, что говорил, что происходило со мной и что мне говорили. На другой день после этой ночи я помнил только слова Орсола о том, как хорошо и весело можно было бы жить на два или на три миллиона. Сделаться обладателем такого большого состояния я мог только после смерти детей моего брата. Неужели Бог может взять к себе этих двух чудных детей, благоухающих и свежих, как цветы и фрукты, между которыми они играли?.. Правда, скоростижная смерть Гертруды пугала меня. Когда начинали одолевать подобные мысли, я отправлялся к Сарранти, вступал с ним в разговор о посторонних вещах и постепенно переводил его на детей, умоляя его хорошенько присматривать за ними. А он и без того всей душой любил их и всегда отвечал мне:

— Будьте покойны, я никогда не оставлю их, если только высшая власть...

И он задумывался. Тогда мне казалось, что он догадывается, какое ужасное подозрение заставляет меня упрашивать его получше наблюдать за детьми.

Отец мой, нужно ли говорить вам о всей хитрости и низости Орсола, исподволь готовившей меня к мысли, что может произойти случай, который сделает меня владельцем всего богатства сирот? Странно! Между мной и

Орсолой никогда не было речи о свадьбе, а вся прислуга знала, как идут наши дела, и из желания угодить Орсоле называли ее госпожою Жерар. Даже дети взяли эту привычку. Они повторяли то, что слышали от взрослых. Действительно, ей очень хотелось сделаться моей женой, но она, видимо, ждала того момента, когда наши с нею жизни будут скованы цепями страшного злодейства!

Иногда мною овладевал такой ужас, что я выскакивал из своей комнаты и бежал без оглядки. Если я встречал детей, то бросался от них в сторону, если же мне попался на пути Сарранти, я снова умолял его хорошенько присматривать за детьми и прибавлял:

— Я ведь так люблю бедных детей моего Жака.

После этого я успокаивался, чувствовал себя сильнее, бодрее.

Но наступали ночи, и бесчеловечная Пенелопа своими жгучими поцелуями, своими желаниями и поразительным сладострастием опять разрушала все мои святые чувства. К стыду своему, я должен сознаться, что ей становилось с каждым днем все легче и легче разрушать все мои планы. Наконец, я дошел до того, что стал смотреть на имение моих племянников как на свое собственное, считать их деньги своими и даже раз сказал Орсоле:

— Когда я разбогатею, то куплю соседнее имение...

Кто же мог сделать меня богатым? «Случай», как говорила Орсола, «случай» должен был сделать меня наследником миллионов моих племянников...

При этих словах лицо умирающего до того изменилось, что монах, несмотря на желание поскорее узнать, чем кончится эта ужасная исповедь, счел нужным прервать его.

Рассказчик на минуту остановился, чтобы опять собраться с силами. Он, видимо, хотел поскорее закончить покаяние в грехах. Волнение его все возрастало, а голос ослаб до того, что Доминик, чтобы расслышать его, должен был почти касаться ухом его губ.

— Тут произошло одно событие,— опять заговорил Жерар,— которого я не желал. Девочка, Леони, была ребенком очень добрым, мягким, но страшно гордым. Она привыкла в Бразилии, откуда вернулась четырех лет, чтобы все ее приказания исполнялись покорными слугами немедленно и беспрекословно. После смерти Гертруды Орсола, ходившая за девочкой и не скрывавшая своей ненависти к ней, если и исполняла приказания девочки, то делала это небрежно и вообще обходилась

с ней грубо. Леони не раз жаловалась мне на это, но, заметив, что жалобы эти ни к чему не приводят, обратилась к Сарранти. Тот, со свойственной ему осторожностью, дал мне понять, что, несмотря на мою слабость к Орсоле, я должен внушить ей, что единственные и полные хозяева в доме — дети моего брата.

Однажды утром брат и сестра играли у бассейна, бросая туда камни и заставляя собаку доставать их. Орсола жаловалась на головную боль и повторяла, что ее раздражает лай собаки. Наконец, она крикнула детям, чтобы они перестали так играть и придумали бы другую игру, которая не заставляла бы собаку лаять. Дети не обратили на ее приказание внимания и спокойно продолжали забавляться.

— Берегись, Леони! — сказала Орсола девочке, которую особенно ненавидела.

— Чего? — спросила девочка.

— Заставишь меня спуститься! Если ты не перестанешь, я тебя высеку!

— Посмотрим! — ответила девочка.

— Ты сомневаешься? Ты мне не веришь? — сказала Орсола.— Подожди! Я сейчас доберусь до тебя!

Спустившись в сад, она побежала к бассейну и уже протянула руку, чтобы схватить девочку, которая ожидала ее, не отступая ни на шаг. Но в этот момент собака вцепилась ей зубами в руку. Орсола ужасно вскрикнула не столько от боли, сколько от злости. На ее крик прибежал Сарранти и увел детей, а садовник заставил собаку выпустить свою жертву.

Орсола пришла ко мне и показала окровавленную руку.

— Надеюсь, вы накажете племянницу и убьете собаку?

Может быть, я и исполнил бы ее просьбу, но Сарранти вмешался и удержал меня. Он сам видел все, что было у бассейна, по его мнению, Леони не была виновата, а собака, как верный слуга, заступилась за свою хозяйку, так что и ее убивать не следовало. Я удовольствовался тем, что запретил детям играть у бассейна, а собаку посадил в конуру. Орсола так легко отказалась от намерения отомстить, что это и удивило, и испугало меня. К тому времени, наконец, я понял, что она не прощает нанесенных ей оскорблений.

Одно происшествие, случившееся тогда в нашем доме, дало Орсоле возможность привести задуманный ею ужасный план в исполнение.

Была середина августа 1820 года. Сарранти, который обыкновенно вел суровый и праведный образ жизни, сделался вдруг до того эксцентричным, что привлек к себе внимание всех окружающих, — как соседей, так и прислуги замка.

Иногда ночами к нему являлись какие-то люди, и он уходил вместе с ними и пропадал по нескольку дней, уведомляя меня о своем отъезде только коротенькой запиской, которую обыкновенно оставлял у лакея Жана, сделавшегося его тайным поверенным. Причин своего внезапного исчезновения он мне никогда не сообщал, не говорил также, сколько времени продлится его отлучка.

Иногда он запирался у себя в комнате или в садовом флигеле со своими друзьями с раннего утра, отказываясь от завтрака, а иногда даже и от обеда.

Его стали часто встречать с людьми, одетыми в длинные синие дорожные сюртуки, увешанные орденами, и по манерам похожими на военных в штатском платье.

Орсола часто подслушивала у дверей его спальни, кабинета или садового флигеля. Ей хотелось узнать, о чем они совещаются. Отдельные слова, которые ей удалось уловить, могли натолкнуть ее на след, но так как между ними не было связи, то и воспоминания о них у нее скоро изглаживались. Чаше всего повторялись между ними имена Людовика XVIII и Наполеона, так что Орсола поняла, что речь шла о заговоре между военными, которые ставили целью уничтожить существующее правление и восстановить монархию. Помню, с какой дьявольской радостью сообщила мне Орсола сделанное ею открытие. Она ненавидела вашего отца за то, что он всегда принимал сторону детей. Я уверен, что она не задумалась бы выдать его полиции, если бы ее на занимал другой план и если бы она, со своей прозорливостью, не нашла в его замыслах что-либо полезное для себя, что могло послужить ее целям. Она ожидала дня, часа, возможности начать свои действия, как ждет ягуар, прижавшись к ветке, удобного момента, чтобы броситься на человека. В этом нетерпеливом и вместе с тем неукротимом создании было что-то, напоминающее змею и тигра.

Восемнадцатого августа Сарранти ночью ушел из замка и в записке, которую, по обыкновению, оставил мне, просил меня, чтобы я сам отправился к нотариусу в Корбейль за лежавшими у него на хранении тремястами тысячами франков, большую часть которых я должен был

постараться получить банковскими билетами. Утром я велел запрячь лошадь и поехал в Корбейль. У нотариуса не было банковских билетов, и мне пришлось взять деньги обратно так, как я их положил, т. е. золотом.

Днем Сарранти вернулся и попросил у меня позволения переговорить со мной наедине.

Я был у Орсопы.

— Сейчас сойду,— сказал я Жану.

— Почему вы не просите Сарранти прийти наверх? — спросила она.— Вам было бы здесь гораздо удобнее.

— Попросите господина Сарранти наверх,— сказал я Жану.

— Оставь нас, пожалуйста,— предложил я Орсопе, когда он ушел.

— У вас есть от меня тайны? — спросила она.

— Нет, но тайны Сарранти касаются только его, а не меня.

— С вашего позволения, господин Жерар, тайны господина Сарранти будут «нашими» тайнами, или он оставит их при себе.

С этими словами она не вышла, а заперлась в соседней комнате, откуда могла слышать весь разговор. Едва закрылась за ней дверь, как вошел ваш отец. Мне следовало бы увести его в другую комнату или в уединенную аллею парка, но я боялся последствий такого своевольства перед всесилием Орсопы. Сарранти вошел и спросил:

— Мы одни? Могу я говорить с вами вполне откровенно?

— Совершенно одни, друг мой,— ответил я поспешно.— Вы можете говорить совершенно свободно.

Жерар приостановился и, прежде чем продолжить свой рассказ, обратился к монаху.

— Знаете ли вы, что ваш отец хотел сказать мне, брат мой? — спросил он.— И должен ли я повторять вам это?

— Я не знаю решительно ничего,— ответил Доминик.— Когда отец покинул Францию, я был в семинарии. Он не успел даже проститься со мною. С тех пор я получил от него одно письмо, помеченное «Лахор». В нем он только успокаивал меня относительно своего здоровья и посылал мне деньги, в которых я нуждался.

— В таком случае я должен рассказать вам, каковы были намерения вашего отца, и членом какого заговора он был,— сказал умирающий.

ТАЙНА САРАНТИ

— Прежде всего, дорогой мосье Жерар,— заговорил ваш отец,— прошу вас верить, что все, что я скажу вам теперь, было известно брату вашему, Жаку, с первого же дня нашей встречи. Значит, поручая мне воспитание своих детей, он уже знал, что имел дело с заговорщиком.

Вы сами знаете, и как меня зовут, и откуда я родом. Я корсиканец и родился в Аяччо в один день с императором, которому посвятил всю жизнь мою. После его отречения в Фонтенбло я поехал за ним на остров Эльбу, а после битвы на Монт-Сен-Жане — на остров Святой Елены.

Когда-нибудь мир узнает, на какие муки был обречен человек, который держал в руках власть над всеми государствами поочередно, и голос истории станет палачом-мстителем над всеми его палачами.

С начала 1817 года, ни слова не говоря великому пленнику, я начал хлопотать о том, чтобы дать ему возможность бежать. Прежде всего я установил связь с одним американским судном, которое доставляло нам письма от бывшего короля Иосифа, жившего в то время в Бостоне. Но император остался крайне недоволен моим поступком и сам донес на меня губернатору.

— Отправьте его поскорее во Францию,— прибавил он,— а то этот молодец хочет выкрасть меня из такого рая, как Святая Елена.

Он во всех подробностях рассказал губернатору план своего побега, который я только что сообщил ему самому.

Единственную милость, которую он за это просил, была отсылка во Францию одного из преданнейших ему людей,— и в этом ему не отказали.

В бухте Джеймс стояло судно, готовое завтра же отправиться в Портсмут, и было решено, что меня отправят на нем.

Я был в истинном отчаянии. Мне думалось, что я прогневил императора. Вдруг генерал Монтолон передает мне приказ явиться к нему. Генерал сам провел меня в спальню. Наполеон дал ему понять, чтобы он ушел и оставил нас одних.

Я бросился на колени и молил великого пленника, чтобы он простил меня и не отсылал от себя. Он выслушал

меня до конца, не переставая добродушно улыбаться, потом взял меня за ухо.

— Дурень, ты дурень! — сказал он. — Ну, встань-ка!

Этот шуточный тон так не был похож на серьезную речь, которую я ожидал, что я совершенно растерялся и бессознательно встал на ноги.

— Я тебя простить не могу, — сказал император, — потому что мне пришлось бы прощать безграничную верность и слишком горячую преданность, а подобных вещей, глупый корсиканец, не прощают, — их только помнят всю жизнь.

— В таком случае, государь, ради самого Бога, не отсылайте меня отсюда! — вскричал я.

— Сарранти, — проговорил он, пристально глядя на меня, — пойми, что ты нужен мне во Франции.

— Это дело другое, государь, — сказал я, — и как бы мне ни хотелось остаться возле вас, я готов поехать туда хоть сейчас же!

— Выслушай меня спокойно, — проговорил Наполеон, — потому что дела, которые я хочу тебе доверить, — дела очень важные. Во Франции у меня есть сторонники...

— Еще бы, ваше величество! За вас — весь народ.

— Некоторые из моих старых генералов хлопочут о моем возвращении.

— О, государь, с какой радостью увидели бы мы вас опять на троне Франции! Ведь возвратились же вы с острова Эльба!

— В такой жизни, как моя, подобные страницы не повторяются, — покачивая головою, возразил император. — Кроме того, я начинаю думать, что для блага Вселенной было бы лучше, чтобы я умер здесь ... чтобы император народов сложил здесь голову, как Иисус на Голгофе... Это была бы смерть прекрасная, Сарранти, а я хочу и умереть хорошо.

Он сказал эти слова с таким же торжествующим видом, с каким подписывал мирные договоры Маренго и Аустерлица. На Святой Елене под гнетом унижения и горя он опять осознал свой гений.

— Так что же мне делать, государь? — спросил я. — Почему же не угодно вам позволить, чтобы я остался здесь и, как Симон, помогал вам нести ваш крест?

— Нет, Сарранти, повторяю тебе, мне нужен во Франции верный человек, который бы сказал тем из моих верных последователей, которые еще не продались ни Бурбо-

нам, ни иноземцам, чтобы они обо мне больше не думали.

— Но зачем же это, государь?

— Потому что я, как древние римские императоры, кажусь людям каким-то божеством, взирающим на них с высоты своего огненного неба. Ты поедешь к ним и от моего имени скажешь им: «Теперь вспоминайте об императоре только затем, чтобы знать, что он любит и ободряет вас. Но у него есть сын, которого чужие люди воспитывают, может быть, в ненависти к нему, а может быть, только в неведении о его делах. Так думайте только об этом сыне!»

— Да, да, государь, я передам им это!

— Но при этом ты должен прибавить: «Вы можете рисковать его детским покоем только в случае такого заговора, в успехе которого вы будете уверены».

— Государь, я передам и это!

— Объясните им, Сарранти, что в этом моя главная воля, мое политическое завещание. Скажите им, что я серьезно и раз и навсегда отказался от престола, но отказался только в пользу моего сына.

— Слушаю, ваше величество.

— И вот еще одно обстоятельство, которое может быть полезно для тех, кто захочет вырвать его из рук австрийцев. Слушай и запомни...

— Какое именно, государь?

— Сын мой живет теперь в одном лье от Вены, в замке, в котором сам я жил два раза. В первый раз это было в 1805 году после Аустерлица; во второй — в 1809 году после Ваграма. На этот раз я прожил там целых три месяца... Он живет в правом флигеле, который я тогда выбрал для своего частного жилого помещения... Странно!.. Но это может быть и так!.. Его спальня, может быть, устроена в той самой комнате, в которой спал и я... Вы это там хорошенько разузнайте...

— Слушаю государь.

— И нужно это вот почему: я очень любил тогда гулять рано по утрам, а иногда и поздно ночью по саду замка. Но для того, чтобы пройти туда, приходилось идти через аппартаменты и приемные, в которых вечно толпились придворные и просители. Чтобы избавиться от них, я устроил потайную дверь на лестницу, но делали ее не архитекторы, а мои гениальные офицеры. Она проделана в уборной комнате и замаскирована большим зеркалом. Стоит нажать один из выступов резьбы

в раме, она отпирается и открывается ход на лестницу, которая ведет в маленькую оранжерею, а оттуда — в сад. Так понимаешь, Сарранти? Сына моего стерегут, разумеется, и день, и ночь; но, может быть, ему удастся бежать через эту дверь, добраться до парка, где его станут ждать преданные люди, а оттуда с ними — на границу.

— Да, да, понимаю, государь!

— Вот тебе план замка Шенбрунн. Я начертил его сам сегодня ночью. Флигель, в котором я жил, нанесен здесь во всех подробностях: спальня, кабинет, уборная... Вот они, а вот и рисунок зеркала. Выпуклость, на которую надо нажать,— вот здесь. План этот подписан мною. Постарайся скрыть его от английских шпионов.

— Будьте спокойны, ваше величество. Им придется скорее убить меня, чем получить этот план.

— Нет, ты постарайся остаться жив и не выдать плана. Это будет гораздо лучше!.. Постой!.. Это еще не все...

Император достал из-под своей кровати шкатулку, в которой был миллион золотом, взял оттуда триста тысяч франков и дал их мне.

— Что прикажете мне сделать с этими деньгами? — спросил я.

— Я даю их, разумеется, не тебе, господин корсиканец! Я только доверяю их тебе, Цинцинат, доверяю на издержки по делу, а употреблять их ты будешь, как сам найдешь нужным. В руках дурака триста тысяч франков — пустяк, но в руках человека умного — это целый клад! Мою первую итальянскую кампанию я провел с двумястами тысячами экю, которые лежали в чемодане в моей карете, а приезжая в лагерь, я раздавал по четыре луидора каждому из генералов.

— Ваше величество, я могу поручиться вам за одно: деньги эти будут употреблены, разумеется, не гением, но зато человеком, несомненно, честным!

— Если бы тебе пришлось бежать... Это, Сарранти, запомни хорошенько!..

— Я слушаю, государь!

— Мне хотелось бы, чтобы в случае опасности ты бежал в Индию. Там в свите Рунджет-Сингха-Багадура, магараджи Лахора и Кашмира, ты встретишь одного из моих преданнейших слуг, генерала Лебастарда де Премон...

— Точно так, ваше величество.

— Я послал его туда в 1812 году, во время моей

войны с Англией, чтобы возбудить против нее Восток, как сделал это сначала в Египте. Ему не удалось ни возбудить второго восстания, ни создать для Рунджет-Сингха роли Типо-Сагиба. Между тем начались наши неудачи, и я упустил Индию из вида. Но, очутившись здесь, я получил от моего верного посла известие. Он поступил на службу к индийскому князю, но в душе остался моим преданным слугою. Если тебе придется бежать, Сарранти,— беги к той общей кормилице и воспитательнице рода человеческого, которую называют Индией. Деньги, которые у тебя, может быть, останутся от этих трехсот тысяч, раздели с Лебастардом пополам. Этот честнейший человек был небогат и, кажется, оставил во Франции маленькую дочку. Будь я еще императором, мне следовало бы самому позаботиться о ее воспитании... Так вот почему я донес на тебя, Сарранти, вот почему прогоняю тебя, вот почему прошу, чтобы тебя отослали обратно во Францию! И чем скорее, тем лучше,— понимаешь ли ты, злодей? Так пусть же с этой минуты не будет между нами ничего общего до тех самых пор, пока ты не очутишься там!

Он протянул мне руку, и я горячо поцеловал ее. На другой день я уехал.

Через некоторое время я очутился во Франции. Я знал, что мне, как и всем, приезжающим с острова Святой Елены, предстоит самый тщательный полицейский надзор.

Все знали, что я беден. Триста тысяч франков, которые были у меня, могли возбудить подозрение. Я разыскал вашего брата и рассказал ему о моем положении. Он выдал меня за воспитателя своих детей и посоветовал обратиться к вам, чтобы вы поместили мои триста тысяч франков. Что было между нами, вы уже знаете.

С тех пор, как я возвратился со Святой Елены, прошло уже четыре года, и я все жду возможности служить императору, как он сам того пожелает. Восстание уже подготовлено и организовано. Вспыхнет оно не сегодня — завтра. Назвать вам вождей его я не могу, потому что их тайна мне не принадлежит,— но могу вас уверить, что это одни из самых блистательнейших имен империи, и завтра они поднимут руку на восстановленное величие Бурбонов!.. Удастся нам или нет,— это ведает судьба... Если удастся,— бояться нам нечего, потому что тогда властителями будем мы; а не удастся,— нас ждет тот самый эшафот, на котором погиб Дидье. Вот поэтому-то

я и просил вас взять те триста тысяч франков от нотариуса обратно и, если можно, не золотом, а бумагами.

Если вы боитесь, что будете скомпрометированы, то я сегодня же напишу вам, что важные дела вынуждают меня расстаться с вами, и, если восстание не удастся, я стану спасаться, как сумею.

Если же, наоборот, вы захотите быть мне полезны до конца, то дайте мне Жана. Он человек честный и верный. Пусть завтра он весь день держит наготове двух оседланных лошадей и на каждую из них положит по мешку со стапятьюдесятью тысячами франков. По всей дороге до Бреста у нас есть друзья, которые нас спрячут. В Бресте я сяду на корабль и, по приказанию моего государя, уеду в Индию, в Лахор к генералу Лебастарду де Премон.

Вот все, что я хотел сказать вам, добрейший Жерар. Теперь жизнь моя в ваших руках. Не торопитесь отвечать мне. Я пойду теперь к себе привести свои дела в порядок, сожгу бумаги, которые могли бы компрометировать меня, а через четверть часа вернусь за вашим ответом.

Говоря это, он встал и затем ушел.

В то мгновение, когда за ним затворилась дверь, из соседней комнаты вышла Орсола. Само собою разумеется, что она слышала каждое слово нашего разговора.

Я знал, что она и Сарранти ненавидят друг друга, и совершенно приготовился к тому, что она не захочет ему помочь.

— Ты слышала, Орсола? — спросил я ее.

К моему величайшему удивлению, она тотчас же мягко ответила:

— Разумеется, и, по моему мнению, надо сделать то, о чём он просит.

— Как? — озадаченно спросил я.

— Очень просто. Я хочу этим сказать, что надо дать Жану двух лошадей и молить...

Она хотела сказать Бога, но запнулась и тотчас же поправилась:

— Надо молить черта, чтобы ему его дело не удалось, потому что никогда не представится нам лучшего способа сделаться миллионерами.

Я задрожал и побледнел.

— О! — вскричала она. — Я думала, что это дело решенное и что нам о нем и разговаривать нечего.

С некоторых пор она начала употреблять со мною по-

велительный, не терпящий возражений тон и теперь заговорила именно этим тоном.

— Вы должны побеспокоиться только об одном,— сказала она,— возьмите у него вашу расписку. Времени терять нечего. Я сейчас найду и pošлю его к вам, а остальное — мое дело.

Она повернулась и ушла.

Несколько минут спустя ко мне вошел Сарранти.

— Вы меня звали? — спросил он.

— Да.

— Значит, вы обдумали?

— Жан в вашем распоряжении, а завтра с рассветом в конюшне будут стоять две оседланные лошади.

Сарранти открыл свой портфель и достал из него какую-то бумагу.

— Вот ваша расписка на триста тысяч франков. Тем, что она в ваших руках, доказывается, что я получил их от вас, хотя они и лежат еще у нотариуса. Если мне не удастся попасть в Вирге, то я сообщу вам, попал ли я в плен, а если буду на свободе, то дам знать и то, куда доставить мне деньги.

Я взял расписку дрожащими руками. Лицо мое после разговора с Орсолой было все еще так бледно, что ваш отец заметил это и подумал, будто я боюсь помочь ему:

— Послушайте, дорогой Жерар,— сказал он,— обдумайте еще раз: ведь еще есть время отказаться от вашего обещания. Я могу сейчас же уйти из замка и никогда не возвращаться сюда больше. Перед уходом я напишу вам письмо, которое всякому докажет, что вы не принимали в моих планах ни малейшего участия. Скажите мне одно слово, и я откажусь от вашего обещания.

Я колебался. Но эта женщина до того овладела мною, что я мог делать только то, что она захочет.

— Нет,— сказал я,— это дело решенное, и изменять в нашем плане я ничего не стану.

Сарранти подумал, что я настаивал из преданности ему, и с чувством пожал мне руку.

— Меня ожидают в Париже,— сказал он.— Может быть, мне предстоит проститься с вами навсегда, а может быть, удастся попасть сюда, чтобы еще раз пожать вашу руку. Но, во всяком случае, верьте, что я останусь вам благодарен на всю мою жизнь.

Он обнял меня и ушел.

Вечером я ужинал, по обыкновению, с Орсолой. У меня не хватает духу сказать вам, что я ей обещал в чаду

опьянения и какое страшное злодейство порешили совершить мы с нею.

Одним словом, употребляя выражение Орсола, к утру 19-го августа 1820 года было решено, что в этот же вечер, несмотря ни на что, мы станем миллионерами.

IV

19-Е АВГУСТА 1820 ГОДА

Следующий день я провел в страшнейшем нервном возбуждении и, несмотря на все мое безразличие к политике, горячо молил Бога, чтобы восстание удалось, потому что мне казалось, что Орсола намеревалась совершить свое злодейство только в том случае, если Сарранти будет вынужден бежать.

До четырех часов вечера я считал буквально каждый удар маятника, и каждый из них мучительно отдавался в моем сердце. День проходил, а ничто необыкновенное не нарушало монотонной тишины нашего уединения.

Наконец, в четыре часа, когда мы собирались сесть обедать, я заметил, что приборов для детей на столе не было. Орсола решила, что они будут обедать отдельно.

Вдруг послышался конский топот. Я выбежал из столовой. Во двор на взмыленной лошади въезжал ваш отец. У подъезда, она свалилась с ног.

— Нам изменили... Продали... Донесли! Мне остается только бежать! — проговорил Сарранти. — Все готово?

— Да, все! — ответила Орсола.

Я между тем не мог выговорить ни слова. В глазах у меня стояло какое-то кровавое облако.

Сарранти подошел ко мне и сжал мою руку.

— Да, да, нас предали! — повторил он. — А восстание было так хорошо задумано и организовано!

Орсола позвала Жана, и тот подвел двух оседланных лошадей.

Языком своим я все еще не владел и только молча указал на них Сарранти.

— Бегите, бегите скорее! — твердила Орсола. — Теперь главное всего — ваша собственная безопасность!

Он вскочил на одну лошадь, Жан — на другую, оба направились по одной из окольных дорог в Орлеан.

— Отлично! — прошептала мне на ухо Орсола. — Садовник каждый вечер уходит ночевать к своему зятю в Морсан. Мы будем совершенно одни!

— Одни! — повторил я почти бессознательно.

— Да, одни! — подтвердила Орсола.— Одни, потому что как люди предусмотрительные, мы заранее позаботились избавиться от Гертруды.

Это слово «мы» напоминало мне о другом преступлении и сделало меня его сообщником. На лбу у меня выступил холодный пот. Я понимал, что теперь настал момент собрать все мои силы и начать борьбу. Но силы исцезли уже давно! Я уже давно привык не к борьбе, а к беспрекословной покорности.

— Ну, давай обедать,— сказала Орсола.— Теперь все дело в том, чтобы не упустить такого удобного случая. Подкрепимся и сделаем свое дело.

Я уже знал, что именно называла Орсола моим подкреплением. Она спаивала меня до такой степени, что я становился сам не свой, и мною овладевал какой-то демон безумия и насилия. В этих случаях Орсола обыкновенно подмешивала в мое вино какого-то зелья, от которого я совершенно терял рассудок. Читала ли она у Светония, что сестра Калигулы делала с ним то же самое, когда хотела толкнуть его на какое-нибудь преступление, или же просто в ней самой был инстинкт, открывший ей все пути к злодействам,— я не знаю.

В ночь смерти Гертруды я чувствовал совершенно такое же опьянение, смешанное с неистовством, какое овладело мною и после обеда 19 августа. Я встал из-за стола в восемь часов, когда уже начинало смеркаться. Единственно, что я помню, так этот голос, который беспрестанно повторял мне:

— Ты возмись за мальчика, а я расправлюсь с девчонкой.

Я едва держался на ногах и бессмысленно твердил:

— Да, да, хорошо, хорошо...

— Но прежде всего,— продолжал голос,— надобно устроить так, чтобы можно было свалить все на Сарранти.

— Да, да, на Сарранти! — повторял я.

— Ну, так пойдём же! — произнес голос.

Я почувствовал, что меня повели в кабинет, где стояло бюро, на котором я обыкновенно писал и в ящике которого лежали триста тысяч франков, привезенные мною от нотариуса для Сарранти. Орсола замкнула ящик на ключ, потом взяла клещи и сломала замок.

— Понимаешь?— спросила она.

Я продолжал смотреть на нее совершенно бессмысленно.

— Он украл у тебя деньги, которые ты получил от нотариуса; и, чтобы украсть их, взломал замок. Но в это время в кабинет вошли дети. Чтобы избавиться от свидетелей своего преступления, он убил их.

— Да, да, убил,— повторял я...

— Да ты понимаешь меня? — спросила Орсола, и сердясь на мою тупость, и радуясь, что довела меня до такого состояния.

— Понимаю!.. Только он станет отпираться...

— Да разве же он может сюда вернуться? Или разве поедут его разыскивать в Индию? Ведь после того, что его приговорят к смерти как заговорщика, как вора и как убийцу, он сюда и носа показать не посмеет.

— Не посмеет...

— Кроме того, мы будем миллионерами, а с такой силой чего на свете не сделаешь!

— Как же это мы будем миллионерами? — спросил я заплетающимся языком.

— А так, что я разделаюсь с девчонкой, а ты с мальчишкой,— ответила Орсола.

— Да, правда...

— Ну, пойдем вниз.

Помню, что я не хотел идти, если не по разуму, то по инстинкту, но она свела-таки меня с крыльца.

Дети сидели вместе и любовались закатом.

— Как странно! — проговорил я.— Мне кажется, что все небо в крови!

Дети увидели меня и подошли, держа друг друга за руку.

— Что, домой пора, дядя? — спросили они.

Голоса их показались мне такими странными, но отвечать им я был не в силах,— я задыхался.

— Нет, еще,— сказала Орсола,— поиграйте еще, мои милые...

— О! Этого я никогда не забуду,— продолжал умиравший.— Я и теперь вижу их, вижу розовенькое, свежее личико мальчика с его белокурыми кудрями и умные черные глаза девочки, которая пристально смотрела на меня, не смея спросить, отчего я так дрожу и шатаюсь?

В это время пробило восемь часов. Где-то невдалеке хлопнула калитка. То уходил садовник. Я осмотрелся. Орсола с нами не было. Я вздохнул свободнее. Мне хотелось взять детей на руки и убежать с ними. Вероятно, я так бы и сделал, но почувствовал, что один едва держусь на ногах. Кроме того, я еще невольно лепетал:

— Ах вы мои бедные, бедные дети!

Возле меня очутилась Орсола. В руках у нее было мое ружье.

— Вот вам ружье, сударь,— сказала она.

Она подавала его мне, но у меня не поднимались руки.

— Ах, дядя, ты на охоту идешь? — спросил Виктор.

— Да, у нас будут завтра гости, и дядя хочет убить штуки две или три кроликов,— ответила за меня Орсола.

— Так возьми и меня с собою! — просил мальчик. Я задрожал.

— Да бери же ружье! Трус! — прошептала Орсола. Я покорился.

— Дядя, голубчик, я буду стоять сзади за тобой и не стану шуметь,— продолжал упрашивать мальчик.

— Слышите вы, о чем он вас просит? — спросила Орсола.

Я взглянул на племянника.

— Так ты хочешь идти со мною? — спросил я.

— Да, дядя! Ты ведь сам обещал, что, если я не буду шалить, то возьмешь меня с собою.

— Это правда! — подхватила Орсола.— А ты был умницей, Виктор.

— Да, да! Если бы Сарранти был здесь, он, наверно, сказал бы вам, что очень мною доволен! — простодушно отвечал мальчик.

Дети еще не знали, что воспитатель уехал навсегда.

— Ну, вот видите, господин Жерар, он был умницей, и вы должны взять его с собой,— сказала Орсола.

— Если пойдет Виктор, то пойду и я,— объявила Леони.

— Нет, нет, не надо! — вскричал я.— И одного довольно!

— Слышите, что сказал дядя? — подхватила Орсола.— Пойдемте спать.

— Зачем же мне ложиться? — возразила девочка.— Я хочу лучше подождать, пока они вернутся, и лягу в одно время с братом.

— Да скажите же, наконец, этой девочке раз и навсегда, что она должна слушаться, а не твердить беспрестанно: «я хочу»!

— Ступай с Орсолой, Леони! — сказал я ребенку.

— А я ведь с тобою пойду, дядя? — спросил мальчик.

— Да, пойдем.

Он протянул мне ручку, но у меня не хватило духу прикоснуться к ней.

— Пойдем так, рядом,— сказал я.

— Нет, нет! Лучше идите вперед, Виктор,— посоветовала Орсола, уводя Леони, которая беспрестанно оглядывалась и кричала нам:

— Возвращайтесь скорее, дядя! Виктор, приходи скорее домой!

Я тоже оглянулся и видел, как девочка исчезла за дверью замка. С чувством какого-то глухого отупения я пошел вдоль берега пруда в парк. Виктор добросовестно исполнял приказ Орсола и шел шагов на двенадцать впереди.

Солнце уже село. Сумерки заметно сгущались, а в чаще парка было совершенно темно. По лбу у меня текли крупные капли пота, сердце билось так сильно, что я несколько раз останавливался.

Оба ствола моего ружья были заряжены. Перед этим целых две недели стояла невыносимая жара. Поговаривали, что в окрестностях бегают бешеные собаки. И вот из опасения, что они как-нибудь проберутся и к нам в парк, я и зарядил оба ствола своего ружья. Орсола знала об этом и потому принесла мне его. Мальчик продолжал идти впереди, следовательно, мне оставалось только приложиться и выстрелить.

Боже великий и беспредельно милосердный, ты заранее возмутил мою совесть против такого злодейства! Я прицеливался три раза или четыре, но каждый раз опускал ружье, не прикоснувшись к курку.

— Нет, не могу, не могу! — лепетал я.

Один раз, хоть и быстро опустил я ружье, Виктор оглянулся и заметил мое движение.

— Ай, дядя, что ты делаешь! — вскричал он.— Ты ведь сам говорил мне, что не следует целиться в кого-нибудь, даже шутя, потому что один мальчик так убил свою сестру.

— Да, да, мой милый! — подхватил я.— Я действительно хотел пошутить, но это было с моей стороны глупо.

— Понятно, что ты шутил,— сказал мальчик.— За что же тебе убивать меня? Ты ведь так любил нашего бедного папу.

Я вскрикнул. В мозгу точно сверкнула молния. Мне показалось, что я схожу с ума.

— Да, да, голубчик, я очень любил твоего папу,—

подтвердил я, закидывая ружье за плечо.— Пойдем-ка домой. Сегодня охотиться уже поздно.

— Как хочешь, дядя,— ответил Виктор, видимо, испуганный звуком моего голоса.

Я подошел к нему, взял его за руку и повел по лесу к замку. В душе я все надеялся, что приду туда вовремя и не позволю убить девочку. К несчастью, мы вышли на берег пруда и, чтобы попасть домой, нам нужно было обойти его кругом или переплыть в лодке.

— Поедем в лодке, дядя,— предложил Виктор.— Это очень весело!

Он прыгнул первый, я, шатаясь, вошел за ним.

Глубокий, как омут, пруд стоял неподвижно, точно зеркало, и светился в лучах взошедшей луны. Я схватил весла и принялся грести.

В эти минуты я думал только об одном: успеть вовремя, не допустить преступления и, что бы потом не было, твердо заявить Орсоле, что я на убийство не согласен.

Мы были уже почти на середине пруда, когда слышался ужасный крик. Я узнал голос Леони. В то же время в ночной тишине раздался лай собаки. Вероятно, Брезиль тоже услышал и узнал крик своей маленькой подруги.

Несколько минут спустя крик повторился, затем, еще и еще.

Я взглянул на Виктора. Он был бледен.

— Дядя,— пролепетал он,— ведь это Леони убивают.

Он встал и громко крикнул:

— Леони! Леони!

— Замолчи, несчастный! — проговорил я.

— Леони, Леони! — упрямо кричал мальчик.

Я бросился к нему с протянутой рукой. Он так испугался выражения моего лица, что хотел было броситься в воду, но, вспомнив, что не умеет плавать, упал на колени.

— Дядя, голубчик, не убивай меня! — лепетал он.— Я тебя очень, очень люблю! Я ведь никому не делал зла.

Я держал его за ворот.

— Дядя, милый, пожалей маленького Виктора!.. Ай!.. Помогите!.. Помогите!

Голос вдруг оборвался. Рука моя, как железная петля, сжала его горло. У меня кружилась голова, я почти терял сознание.

— Нет, нет! — твердил я.— Ты должен умереть, ты умрешь!

Он услышал и понял меня, потому что сделал страшное усилие, чтобы вырваться.

В эту минуту луна скрылась за тучей, и я очутился во тьме. Я все-таки еще закрыл глаза, чтобы не видеть того, что делаю.

Мне показалось, что собственной тяжести ребенка будет еще недостаточно, чтобы утопить его, я поднял его выше своей головы и со страшным размахом швырнул в воду.

Я схватил весла и хотел стремглав нестись к берегу. Но в это мгновение на поверхности воды показалась фигура ребенка. Он рыдал, кашлял и барахтался, силясь не утонуть... О, отец мой... Язык не поворачивается сказать! — простонал умирающий.— Я поднял весло...

— Изверг! — вскричал Доминик, вскакивая с ужасом и отвращением, с которым не мог совладать.

— Именно изверг! Ребенок пошел на этот раз ко дну окончательно, а выглянувшая из-за туч луна осветила лицо его убийцы...

Монах упал на колени и стал молиться, опустив голову на холодный мрамор камина.

В комнате воцарилась какая-то зловещая, мертвенная тишина.

Ее прервал хрип, вырвавшийся из груди умирающего.

— Умираю... отец мой!... — проговорил он со стоном.— Умираю! А для моей исповеди и для спасения чести вашего отца надо сказать еще много.

V

НОЧЬ, КОГДА РАЗВЕРЗЛАСЬ БЕЗДНА

При этом возгласе отчаяния монах вскочил на ноги, подбежал к постели, приподнял больного и дал понюхать соли.

Трудно было бы сказать, кто из них был бледнее,— духовник или умирающий.

Упадок сил продолжался долго и доходил почти до потери сознания. Наконец, Жерар сделал знак, что может продолжать, и Доминик снова сел у его изголовья.

— Я выпрыгнул из лодки,— заговорил он,— и побежал к замку. И крики девочки, и лай собаки уже смолкли.

Мне казалось, что слышались они из нижнего зала. Я окликнул Орсолу сначала несмело, потом громче, наконец, изо всей силы легких.

Вокруг было темно, и я ощупью пробрался в кухню. В очаге догорало несколько угольев, но и их слабого света было достаточно для того, чтобы увидеть, что здесь все было в порядке и на своих местах. Из кухни, все еще продолжая звать Орсолу, я прошел в людскую, но и там никого не было, а между тем мне казалось, что крики слышались именно оттуда.

Тогда я вспомнил, что за людской был чулан, и попробовал отпереть его, но что-то задерживало дверь изнутри так, что она подалась только после некоторого усилия. Я окрикнул Орсолу. Ответа опять не было.

При этом меня поразила одна вещь. При свете луны я увидел окно чулана, выходящее в сад, и оно оказалось разбитым. В то же время я задел за что-то ногою... Точно кто-то лежал на полу. По сырости плиты я догадался, что это труп, залитый кровью. Я ощупал его руками и убедился, что это был труп не ребенка... Так кто же это? Пятясь задом, я выбрался обратно в кухню, зажег спичку и с ужасным предчувствием вернулся в чулан.

Что же могло произойти здесь? На полу лежала мертвая Орсола. Растекшаяся вокруг нее кровь была ее кровью. Она вытекала из огромной раны, которая должна была причинить смерть почти мгновенно. Возле валялся огромный кухонный нож, упавший, по-видимому, из ее руки.

Моей первой мыслью было, что я помешался, и у меня начались галлюцинации. Но нет!.. Все это было настоящее, действительное — и кровь, и труп... и все это было — Орсола!

Тогда мне вспомнилось, что одновременно с криками ребенка раздался и лай собаки, и мне все стало ясно. Я подошел к разбитому окну, оглядел все вокруг и после этого для меня не оставалось уже никакого сомнения, по крайней мере, мне все казалось ясным, как день.

Орсола, возвратясь домой, заманила или силой затащила девочку в чулан и хотела там убить ее. Но Леони стала кричать от страха. Эти крики слышал и я. Брезиль боготворил девочку и понял, что ей грозит смертельная опасность. По всей вероятности, он со страшным усилием сорвался с цепи, одним прыжком разбил окно, очутился в чулане и схватил Орсолу за горло. Падая, она уронила свой нож.

Но куда же делись и ребенок, и собака? Ни той, ни другой не было ни видно, ни слышно. Мне же было необходимо найти их во что бы то ни стало.

Вид трупа Орсолы возбуждал во мне и ужас, и бешенство. Я вышел через наружную дверь чулана, которая была отперта и сквозь которую, вероятно, и прошла Леони. Я стал ее отыскивать, потому что моя собственная безопасность требовала, чтобы я убил ее, как убил ее брата.

Монах вздрогнул.

— Да, отец мой,— проговорил умирающий, который заметил это невольное движение,— в этом-то и заключается весь неотразимый фатум преступления. Убийца оказывается как бы в тисках железной руки и должен убивать потому, что уже раз убил.

Я с ружьем в руке бросился в главную аллею парка, сиюсья пронизать тьму глазами, заглядывая всюду, где мне слышался шум, принимая каждый прорвавшийся сквозь листву лунный луч за белое платье ребенка. В эти минуты я действительно обезумел от ярости, страха и вида крови. При каждом малейшем шуме я останавливался, звал Брезиля, прикладывая ружье к щеке и спрашивая:

— Леони, это ты?

Но ответа не было,— все оставалось мертвенно спокойно, парк был молчалив, как могила, и пуст, как бесконечность.

Вдруг я очутился на берегу пруда и в ужасе остановился. Волосы стали у меня на голове дыбом, я закричал каким-то совершенно нечеловеческим голосом и побежал прочь. Да, я именно бежал, а не шел,— бежал, как иступленный, ничего не сознавая и не видя.

Я пробегал так из одной аллеи в другую, от куста к кусту, должно быть, около часу. Но все было по-прежнему тихо, пусто и глухо, нигде не виднелось ни малейшего следа. Была минута, когда мне хотелось выстрелить, лишь бы услышать какой-нибудь звук в этой ужасающей, мертвенной тишине.

Наконец, совершенно обессиленный, обливаясь потом, я потерял всякую надежду найти следы собаки и ребенка и очутился перед замком, всего в ста шагах от пруда... Эта холодная, неподвижная, как бы замерзшая вода наводила на меня ужас. Я отвернулся, но глаза мои, против моей воли, снова останавливались на ней, как заколдованные. На берегу, как огромная уснувшая рыба, лежала лодка, а на траве валялось весло. Я не мог видеть всего этого и вошел в дом.

Пойти к телу Орсолы у меня не хватало духу, и я

пробрался в свою комнату... но и там окна были открыты, и через них виднелся пруд!.. Я подошел к одному из них и хотел запереть ставни, но когда нагибался, чтобы достать одну из створок, опять взглянул на пруд и замер!.. По берегу бродило какое-то животное, обнюхивая землю и как бы отыскивая какие-то следы... То был Брезиль! Чего мог он искать там?

Какое-то время он бежал вдоль берега, потом остановился на том месте, где мы с Виктором сели в лодку, поднял голову, потянул в себя воздух, громко завыл и бросился в воду. Странная и ужасная вещь! Он плыл по той самой черте, по которой прошла лодка, точно после нее остался видимый след! Когда он доплыл до того места, где я бросил ребенка в воду, то несколько мгновений повертелся вокруг него, затем нырнул...

Я напряженно, затаив дыхание, следил за каждым его движением и точно замер в этом состоянии.

Над тем местом, где нырнул Брезиль, вода колыхалась и пенилась. Раза два на поверхности появлялась его голова, и я слышал, как тяжело он переводил дыхание. В третий раз он всплыл, держа в зубах какую-то большую массу с неясными очертаниями, и усиленно поплыл к берегу, таща ее за собою.

Он вышел из воды и вынес свою ношу на траву. То был труп маленького мальчика.

— Это ужасно! — прошептал монах.

— Да! А понимаете ли вы, что было тогда со мною? — продолжал Жерар.— Ведь на моих собственных глазах бездна, точно перед страшным судом, изрыгала мою жертву! Я закричал от бешенства, схватил ружье и понесся с лестницы. Право, не понимаю, как я тогда не слетел и не разбился вдребезги! Когда я очутился на крыльце, группа деревьев заслонила от меня собаку и ребенка, и я стал подкрадываться к ним под этим прикрытием. Минуты через две я был от них шагах в тридцати. Брезиль тащил труп дальше от замка.

Я вспомнил, что в заборе был пролом. Верно, через него-то и убежала Леони, и туда же тащил пес и тело Виктора! Не заметь этого я случайно, проклятая собака донесла бы на меня!

Когда я вышел из-за деревьев, Брезиль выпустил ребенка и повернул ко мне свою голову со сверкающими глазами и огромной раскрытой пастью. Я слышал, как щелкали его страшные зубы.

Я уловил момент, когда он остановился в нерешитель-

тельности, броситься ли ему на меня или тащить ребенка к пролomu, и прицелился в него так, как целится человек, знающий, что от этого выстрела зависит его жизнь и смерть... Брезиль припал к земле, завыл и исчез в лесу. Я бросился за ним, рассчитывая догнать его и добить прикладом. Было очевидно, что он жестоко ранен, потому что при свете луны на траве виднелась темная и широкая полоса крови. Я шел по ней, как по следу, но, дойдя до леса, потерял ее из виду.

Тем не менее я бросился к пролomu. Он мог уйти через него, да через него же прошла и Леони. На одной из цепких ветвей висели даже клочки ее воротничка. Но куда же она делась? С тех пор, как она пробралась здесь, прошло больше часу. Дорога в Фонтенбло и Париж проходила на расстоянии не более одного лье отсюда. Но как мог я узнать, в какую сторону она свернула? Встретила ли она кого-нибудь и куда ее повезли? А что если, пока я разыскиваю ее, кто-нибудь придет в замок и увидит на лугу труп Виктора? Нет, прежде всего необходимо избавиться от этого трупа.

Только в эту минуту заговорило во мне чувство самосохранения. Ведь оставить труп в пруду — было истинным безумием! Утопленники всегда через несколько часов всплывают на поверхность! В сущности, даже хорошо, что Брезиль вытащил его! Нужно теперь похоронить его в каком-нибудь уединенном уголке сада, и тогда дело канет в вечность!

Я вернулся опять в парк через пролом, мимоходом сорвал с колючек клочок воротничка Леони и бегом бросился к пруду. Вдруг у меня мелькнула мысль, от которой закружилась голова. А что, если трупа на берегу уже не окажется? Что тогда? Где его искать?

Но, к счастью, он был там... К счастью! Понимаете ли вы весь ужас одной этой мысли!

— Да, ужасно, ужасно! — проговорил монах, у которого от этого рассказа шевелились на голове волосы.

Жерар помолчал, глубоко вздохнул и продолжал:

— Для того чтобы похоронить ребенка, мне нужна была лопата, но за то время, пока я ходил к пролomu, я так измучился опасением, что труп пропадет, что теперь не хотел больше расставаться с ним, закинул ружье за спину, подхватил труп на руки и пошел за лопатой к сараю, где старик Винцент прятал свои садовые инструменты. Я скоро нашел то, что мне было нужно; но сарай этот стоял в огороде, а я хотел закопать мальчика не-

пременно как можно дальше от огорода, в самой отдаленной части парка. Ради этого я должен был снова пройти через освещенный луной луг, с отвращением поглядывая на шедшую рядом со мною безобразную длинную тень человека с трупом ребенка на руках. Ноги его болтались впереди, голова повисла за моей спиной.

Я прибавил шаг и вошел в лес. Путь, который мне предстоит от часа моей смерти до часа страшного суда, наверно, не будет для меня так ужасен и мучителен, как этот ночной переход через мой собственный парк, под темной сенью вековых деревьев. Ноги подо мной подкашивались, грудь была до того сдавлена спазмом, что по временам мне приходилось останавливаться, чтобы перевести дыхание.

Вдруг я остановился, потом рванулся вперед, но что-то держало меня на месте. Я задрожал всем телом, голова закружилась, и в ней понеслись целые вереницы страшнейших видений. Мне казалось, что я умираю.

Наконец, я, сделав ужасное усилие, оглянулся. Белокурые кудри ребенка запутались в ветвях и задержали меня. Все это продолжалось не более секунды, но и в этот миг я видел, как над моей головой сверкнул нож гильотины. Я расхохотался ужасным, диким хохотом и изо всех сил дернул труп. Прядь волос его осталась на ветках, но я, не обращая на это внимания, пошел дальше.

Пробравшись сквозь густую чащу, я очутился в нескольких шагах от дерновой скамейки в таком глухом месте парка, что за все четыре года моей жизни в замке я бывал там не более двух раз. Я выбрал место фута в три длиной и принялся копать яму, рассчитывая, что окончу ее через час или полтора.

Да, но каков был этот час для меня, отец мой!.. Было около двух часов утра. В августе природа начинает пробуждаться именно около этого времени. Птицы начинают чирикать на деревьях, животные поднимаются в чащах на ноги. При малейшем шуме я оборачивался,— мне слышались чьи-то шаги. Пот лил с меня градом, дыхание вырывалось из груди с каким-то свистом. Я чувствовал, что наступает день.

Наконец, могила была готова. Так как она была не очень глубока, я опустил в нее тело ребенка вертикально, потом начал забрасывать его землю, изо всех сил притаптывая ее ногами, чтобы на поверхности не осталось бугорка. Вся земля все-таки в яму не вошла, и я разбросал

остатки ее в разных местах, поодаль от могилы. Потом нарезал пластов дерна и тщательно разложил его сверху, чтобы не было видно свежевскопанного места. Отойдя на несколько шагов и присмотревшись, я убедился, что от моего злодейства не осталось теперь и следа.

Солнце поднялось над горизонтом и залило своим светом вершину огромного дуба, под которым я стоял. В ветвях его, над моей головою, распевал соловей.

VI

КОНЕЦ ИСПОВЕДИ

Солнечный свет привел с собою и два страшных призрака дня: воспоминание и размышление. Я увидел солнце с тем же страхом, с каким смотрит человек, приговоренный к смерти, на тюремщика, который пришел сказать ему время казни.

Необходимо было на что-нибудь решиться. Но все существо мое обратилось в ужас, неуверенность, в какой-то мучительный хаос, и у меня никогда не хватало бы сил продумать план защиты, если бы он не был почти целиком заранее подготовлен Орсолой. Даже ее собственная смерть набрасывала на эту ночь еще больший оттенок таинственности и в особенности отдаляла всякое подозрение от меня. Все знали, до чего я любил эту женщину, и никому не могло прийти в голову, чтобы я сам был причиной ее смерти. Кроме того, собаку, наверное, найду где-нибудь мертвой, и труп ее будет тоже доказательством того, что я наказал ее за то, что она не смогла вовремя подоспеть на помощь любимым мною существам.

На мне не было ни малейших следов того ужасного свидетеля, которого не могут уничтожить никакие усилия, т. е. ни малейшей капли крови. Такими соображениями мне удалось себя несколько успокоить.

Единственной проблемой, которая меня тревожила, был побег Леони, хотя, если бы она даже и заговорила, то могла обвинять только Орсолу, а той уже не было в живых.

Я поднялся к себе в комнату, прибрал следы вчерашней оргии, выпил весь остаток вина в одной из бутылок, привел в порядок свою одежду и поспешно пошел к мэру. Это был добряк из мужиков, такой же ремесленник, как и я, которому именно эта общность занятий и внушала особенную симпатию ко мне.

Я рассказал ему басню, которую сочинили мы с Орсолой: будто бы дети исчезли, и исчезновение их и пропажа трехсот франков, которые я накануне взял у нотариуса, настолько совпадают с бегством Сарранти, что подозревать и в краже, и в убийстве можно только корсиканца.

— Несчастный мой отец! — прошептал Доминик.

— Да! — вскричал умирающий. — Небо уже достаточно наказало меня, и я сам возвращаю вашему отцу его честное имя! Ради этого вы должны простить меня. Без вашего прощения мне нечего надеяться даже на милосердие Божие.

— Продолжайте, — глухо проговорил монах.

— Чтобы объяснить, почему я доношу об этом ужасном происшествии так поздно, я рассказал, что вернулся накануне домой очень поздно, и, думая, что все уже спят, прошел прямо в свою комнату и лег спать без помощи прислуги. Наутро, когда я проснулся, меня удивило, что в доме так странно тихо. Я встал, оделся и, проходя через кабинет, заметил, что ящики моего бюро взломаны. Я пошел в комнату Орсолы, но там никого не было, в детской — тоже. Я начал кричать, звать и искать по всему дому. Наконец, в чулане я нашел труп Орсолы. По виду раны можно было заключить, что она задушена. Невдалеке, на лужайке лежал сорвавшийся с цепи Брезиль. В припадке безумного горя и гнева я схватил ружье и выстрелил в него, и он, раненный, убежал.

Мэр добродушно поверил всему этому, а мою бледность и сбивчивость рассказа объяснил моим испугом. Он всячески старался меня утешить, послал своего помощника за следователем, а сам пошел со мною в замок.

Само собой разумеется, что я постарался скрыть, на какую границу бежал Сарранти, так как больше всего в мире хотел, чтобы он никогда не возвратился во Францию.

Придя домой, я заперся в своей комнате, предварительно попросив мэра, чтобы, принимая во внимание мое горе, меня беспокоили как можно меньше. Добряк обещал устроить это и сдержал слово. Кроме того, в этот же день пришла весть о заговоре. Для меня она была в высшей степени необходима, на нее я рассчитывал заранее. Когда узнали, что Сарранти был одним из самых горячих и самых энергичных приверженцев бонапартизма, правительственные газеты тотчас же подхватили возво-

дившееся на него обвинение в воровстве и убийстве для того, чтобы бросить тень на всю партию. Даже полиция, если и имела какие-то сомнения, отказалась разыскивать настоящих преступников. В 1820 году бонапартистов так же охотно называли ворами и убийцами, как в 1815 году звали их разбойниками. А для правительства повод ослабить человека, возвратившегося со Святой Елены, где он жил вблизи императора, признав его преступником, был истинной находкой.

Таким образом, серьезно опасаться мне было нечего. Все подозрения пронесли мимо виновного и всей своей тяжестью обрушились на человека ни в чем не повинного. Да, я серьезно думаю, что, попадись тогда Сарранти в руки полиции, ему не миновать бы эшафота.

Монах встал. Он был бледнее белья умирающего. Мысль, что отец его мог погибнуть позорной смертью, со всеми признаками виновности, несмотря на свою полнейшую невинность, доводила его почти до сумасшествия.

— О, я знал, что он невиновен! — воскликнул он. — И, может быть, мне довелось бы видеть, как он умирал, даже если я бы не мог спасти его!.. Ах, какой же вы...

Он остановился.

Умирающий опустил голову. Он хотел, чтобы душевная боль этого человека целиком вылилась в горькие слова и чтобы после этого в сердце его осталось одно милосердие духовника.

— Да, и несмотря на ваше признание, которое вы сделали только мне, на имени моего отца все-таки навеки останется пятно позора, — сказал монах.

— Но ведь я же умираю! — пробормотал Жерар.

— Значит, вы разрешаете мне нарушить тайну вашей исповеди после вашей смерти? — вскричал Доминик.

— Да, да, откройте все! Ведь потому-то я и благодарил Бога за то, что он послал вас к моему смертному одру.

— О, отец, мой бедный отец! — проговорил монах, тяжело переводя дыхание. — Знаете ли вы, что, узнай он о том обвинении, которое на него возвели, он был способен возвратиться сюда, во что бы то ни стало и доказать свою невинность.

— Да, верю этому... Ну, так вот после моей смерти вы и напишите ему... Но только, ради Бога, не отравляйте последних минут моей жизни нестерпимым для меня ужасом!

Монах сделал успокоительный жест рукой.

— Пойдите,— продолжал Жерар.— Мне надо признаться вам еще в одной вещи. Верите ли,— должно быть, натура у меня какая-то чудовищная! — за все семь лет, которые прошли со дня того преступления, во мне ни разу не заговорило раскаяние. Нет, с этим чувством я, вероятно, спал бы спокойно, может быть, был бы даже счастлив. Но меня непрерывно мучил ужас суда и наказания! О, сколько бессонных ночей провел я, воображая, как введут меня в зал суда! Сколько раз сквозь все мои мольбы, слезы, стенания, слышалось мне страшное слово: «убийца!» Сколько раз чувствовал я прикосновение к шее холодных ножниц палача, которыми он обрезал мои волосы перед казнью! Сколько раз виделась мне вдаль, над головами толпы, два красных столба, между которыми сверкал грозный топор!

— Несчастный, несчастный человек! — проговорил Доминик, с жалостью глядя на живое олицетворение ужаса и в глубине души сознавая, что ужас мог породить в этом человеке и кровожадность.

— Вот поэтому-то я уехал из Вири и поселился в Ванв-ре, поэтому-то и стал заниматься благотворительностью.

При последних словах монах встрепенулся.

— Да, это правда, отец мой! Милостыня была покрывалом, под которым я таил свою залитую кровью одежду! Кто посмел бы заподозрить меня теперь, среди массы добрых дел, которые я совершал.

— Тот, кто к вам теперь приближается! — торжественно проговорил монах, указывая на небо.— Бог!

— Да, это я знаю,— согласился умирающий.— Тот, о ком люди вспоминают только перед смертью. Тот, кто видит кровь и под покрывалом, а лицо даже под маской. Но перед ним, отец мой, у меня будет два заступника: мой ужас и ваша невинность.

Несчастный не посмел даже упомянуть о своем раскаянии.

— Продолжайте,— сказал монах.

— Теперь мне остается договорить всего несколько слов. Я уже сказал вам, что единственным, что меня еще страшило, было исчезновение Леони. Я отправился в префектуру полиции и потребовал, чтобы были учинены самые строжайшие розыски, но они не привели ни к чему.

Одно время мне хотелось возвратиться в Вик-Дессо. Но там жил когда-то Сарранти, там родился его сын, там меня знали человеком бедным и могли из зависти

докопаться до источника моего богатства, и я отказался от этой мысли.

Чтобы убить время, я поехал путешествовать, прожил один год в Италии, другой — во Фландрии, но при каждом восходе солнца, который напоминал мне ужасный рассвет 20-го августа, я задавался одним и тем же вопросом: не нашли ли теперь во Франции каких-нибудь следов, которые вдруг, неожиданно восстанут против меня со всей силой неопровержимого доказательства? Я возвратился на родину, побывав в Бургони, потом в Оверни.

Однажды вечером, в хижине, в которой меня приютили, хозяева очень подробно рассказали мне жизнь одного богатого человека. Он был дворянин, родом из окрестностей Исеура. По причине какой-то ссоры он дрался на дуэли со своим другом и убил его. С этого дня он совершенно переменялся, продал свой замок, земли, стада, роздал свое состояние бедным и всячески старался забыть об убийстве, изнуряя себя трудом и добрыми делами. Конечно, он делал все это из раскаяния. Я сказал себе: «А ведь человек, который совершил бы настоящее, умышленное преступление, тоже мог бы отклонить от себя такой жизнью всякое подозрение. Буду и я из страха и осторожности делать то же, что он делал из раскаяния!».

Я вернулся из Парижа, подыскал себе этот дом и принялся за те дела, благодаря которым прослыл добрым человеком, с этой репутацией я и умру. Но после моей смерти добрая память обо мне будет в ваших руках. Принесите ее в жертву чести Сарранти. Похлопочите о его помиловании за участие в заговоре, я же позаботился о том, чтобы снять с него клеймо позора.

— Но разве кто-нибудь поверит свидетельствам сына в пользу преступного отца?

— Я предвидел это... Вот, потрудитесь взять этот ключ...

Жерар приподнялся, достал ключ из-под подушки и подал его монаху.

— Отоприте второй ящик бюро,— сказал он.— Там вы найдете свиток бумаги, запечатанный тремя печатями.

Доминик встал, открыл ящик и вынул из него свиток.

— Вот он,— сказал он.

— Надписано на нем что-нибудь?

— Да. «Это моя исповедь перед Богом и людьми,

и написана она мною затем, чтобы, в случае надобности, после моей смерти, можно было вскрыть и обнародовать ее».

Подписано: «*Жерар Гардые*».

— Да, так это он и есть. Здесь слово в слово написано все то, что я рассказал вам. Когда я умру, можете располагать ею, как захотите. Я освобождаю вас от обязанности хранить тайну исповеди.

Доминик с невольным движением радости прижал свиток к груди.

— А теперь, отец мой,— сказал умирающий,— не найдется ли у вас для меня несколько слов утешения и надежды?

Монах вернулся к постели медленно и торжественно. Лицо его, поднятое кверху, казалось, светилось каким-то отражением божества.

Он был в эту минуту олицетворением человеческого милосердия.

Умирающий как будто почувствовал приближение благодати и приподнялся на постели.

— Брат мой,— заговорил доминиканец,— может быть, для того, чтобы Господь простил вас, перед лицом его нужен гораздо более достойный покровитель, чем я. Но я, как человек, как священник и как сын, прощаю вас от глубины души своей. Молю Бога, чтобы он внял этим словам моим и ниспослал вам и свое помилование во имя Отца, который есть благодать, во имя Сына, который есть самоотречение, и во имя Духа, который есть вера.

Он положил на голову умирающего свою белую тонкую руку.

— Что должен я сделать еще? — спросил Жерар.

— Молитесь,— ответил монах.

Он сложил на груди руки и тихо вышел, моля, чтобы ему дано было унести с собою все, что было дурного и низкого в человеке, которого он только что напугивал в вечность.

А умирающий бросился лицом в подушки и остался неподвижен, будто душа уже покинула его истрадавшее тело.

VII

ЖЮСТЕН

Жюстен летел по дороге в Версаль к мадам Демаре.

Для тех из наших читателей, которым характер этого человека показался, может быть, недостойным того участия, с которым отнеслись к нему Сальватор и Жан Робер, заметим, что эта покорность, которая с первого раза казалась недостатком энергии, была, в сущности, одним из прекраснейших проявлений силы.

И действительно, никогда не следует смешивать движений материальных, физических, телесных с движениями духовными.

Человек, который воображает себя чрезвычайно деятельным, бегаёт, хлопочет, проходит по два лье в день пешком или в экипаже, делает, в сущности, гораздо меньше, чем человек, который, после десятилетней кажущейся неподвижности вдруг возвещает из глубины своего кабинета одну мысль, которая в состоянии перевернуть вселенную.

Поставьте такого апатичного с виду человека, как этот самый учитель, лицом к лицу с необходимостью, и вы увидите его во всеоружии и с геройской готовностью умереть во имя своего дела.

Точно таким признал бы его, разумеется, и каждый, кто увидел бы, как он мастерски управлял бешено-быстрой лошадейю Жана Робера, которая была, скорее, похожа на хищную птицу, уносящую свою добычу, чем на скакуна, покорного своему всаднику.

После часа такой бешеной скачки Жюстен остановился у дверей пансиона.

Он сделал пять лье немногим более, чем за час, так что, когда он спрыгнул с лошади и позвонил, было ровно восемь часов.

В доме все давно уже встали. Мадам Демаре была одна в своей спальне и заканчивала одеваться.

Жюстен послал сказать ей, что ему необходимо переговорить с нею, не теряя ни минуты.

Такое раннее посещение чрезвычайно удивило начальницу, и она велела ответить, что примет через четверть часа.

Но Жюстен велел передать ей, что дело, по которому он приехал, так важно, что не допускает ни одной минуты отлагательства, а потому он настоятельно просит, чтобы его приняли тотчас же.

Мадам Демаре была встревожена. Она надела капот и отперла дверь, чтобы войти в приемную; но Жюстен уже стоял у ее двери.

Он схватил ее за руку, ввел обратно в спальню и запер за собою дверь на ключ.

Начальница совершенно растерялась и только теперь подняла глаза на его освещенное утренним солнцем лицо. Ее так поразила и его смертельная бледность, и выражение мрачной энергии, которой она в нем никогда не замечала, что она громко вскрикнула:

— Господи! Да что же случилось?

— Несчастье и притом очень серьезное! — ответил Жюстен.

— С вами или с Миной?

— С нами обоими.

— Ах ты, Господи! Переговорить мне с ней или вы хотите видеться с нею сами?

— Да ее уж больше нет здесь!

— Как нет? Так где же она?

— Я не знаю.

Мадам Демаре смотрела на Жюстена Корби, как на сумасшедшего.

— Ее здесь нет, а вы не знаете, где она... Что это значит?

— Это значит, что ее украли сегодня ночью...

— Да вчера вечером я сама проводила Мину в ее комнату и оставила там с мадемуазель Сюзанной де Вальженез.

— Очень может быть, но теперь ее там нет.

— Ах ты, Господи! — вскричала Демаре, воздевая глаза и руки к небу. — Да уверены ли в том, что говорите?

Жюстен достал листок, который принес ему Баболен.

— Вот прочтите, — сказал он.

Мадам Демаре быстро пробежала записку глазами.

Она узнала почерк девушки, зашаталась и вытянула руки, чтобы удержаться.

Жюстен подхватил ее и усадил в кресло.

— Ах! Если это правда, то я должна на коленях просить у вас прощения за ваше горе! — проговорила она.

— Это правда, — подтвердил Жюстен, — но не станем падать духом, по крайней мере, до тех пор, пока не увидим, что помочь этому горю невозможно.

— Но что же делать? Что делать? — стонала она.

— Прежде всего нужно ждать, а до тех пор следить, чтобы никто не входил ни в комнату Мины, ни в сад.

— Ждать?! Кого или, может быть, чего?

— Полицейского агента, который будет через час здесь.

— Что? — с испугом спросила Демаре. — Сюда...? Полиция?

— Разумеется.

— Да ведь если здесь побывает полиция, все заведение мое погубло!

Этот эгоизм глубоко огорчил Жюстена.

— Но как же быть иначе, сударыня? — спросил он холодно.

— Если есть возможность, то избавьте меня от скандала.

— Я не знаю, что вы называете скандалом! — возразил Жюстен, нахмутив брови.

— Как, вы не знаете, что я называю скандалом? — вскричала начальница, всплескивая руками.

— Скандалом, сударыня, я называю то, что женщина, которой моя мать поручила свою дочь, требует, чтобы я молчал, когда я прошу ее об обратном.

Ответ был так меток, что мадан Демаре совершенно растерялась.

— Да, но после этого все матери отберут у меня своих дочерей, — проговорила она сквозь слезы.

— А я, сударыня, будь на месте вашего судьи, я приказал бы написать над дверьми вашего пансиона такую вывеску, которая отбила бы у каждого охоту даже заглядывать в него! — вскричал Жюстен, которого возмущал эгоизм этой женщины, которая, видя его тяжкое горе, тем не менее, думала только об интересах своего заведения.

— Но ведь вред, который вы мне нанесете, вашему горю не поможет.

— Это верно, но он принесет уже ту пользу, что с другими не случится того, что со мною.

— Ах ты, Господи! Ну, хоть ради той любви, которой я всегда окружала Мину, не губите меня!

— Ради того доверия, которое я всегда имел к вам, сударыня, не просите меня ни о чем!

В выражении лица Жюстена сказывалась такая непреклонная решимость, что мадам Демаре поняла: надеяться ей больше не на что.

Она вдруг проявила полнейшую покорность.

— Пусть будет по-вашему,— сказала она.— Я молча перенесу это испытание.

Жюстен кивнул головой, как бы говоря: это самое лучшее, что она может сделать.

Несколько минут оба молчали.

— Позвольте и мне предложить вам несколько вопросов,— сказала, наконец, мадам Демаре.

— Сделайте одолжение.

— Каким образом объясняете вы исчезновение Мины?

— Теперь я этого еще не знаю. Но полиция сообщит мне о результатах своих розысков.

— А вы уверены, что она исчезла против своей воли?

При этом оскорблении его невесты сердце Жюстена болезненно жалось.

— Как вы, женщина, которая знает ее целых шесть месяцев, можете предлагать мне подобные вопросы? — вскричал он.

— Я хотела сказать этим: уверены ли вы в ее любви?

— Да ведь вы читали ее письмо. Кого зовет она на помощь?

— Значит, ее увезли насильно?

— Без всякого сомнения.

— Но ведь это положительно невозможно! Окна запираются у нас очень крепко, а стены такие высокие... Наконец, Мина могла кричать.

— Да, но вы забываете, что лестницы есть для всяких окон и платки для всяких ртов.

— Были ли вы в комнате Мины?

— Нет, не был.

— Да ведь это первое, что вам следовало сделать!

Пойдемте туда сейчас же.

— Напротив! Прошу вас, не ходите туда!

— Однако ведь только там мы можем узнать точно, что ее там нет.

— Но это письмо...

— А что если по каким-нибудь темным соображениям, которых я, разумеется, не знаю, письмо это фальшивое и прислано вам нарочно, а Мина преспокойно пребывает в своей комнате.

Жюстена точно ослепило.

Он был до того сбит с толку всеми этими происшествиями, что даже эта безумная надежда была желанной гостьей его сердца, и он, вопреки совету Сальватора, решил пойти в отдельную комнату Мины.

Подойдя к ее двери, мадам Демаре тихонько посту-

чалась, но, не получив ответа, начала стучать сильнее, затем вовсе забарабанила. Ответа опять не было.

Она попробовала открыть дверь силой, но это ни к чему не привело, — комната была заперта изнутри.

Начальница предложила послать за слесарем, но Жюстен, которого это разочарование довело до прежней степени отчаяния, вспомнил советы Сальватора и наотрез отказался.

— Так пройдемте, по крайней мере, в сад и посмотрим, нельзя ли увидеть чего-нибудь сквозь окна? — сказала мадам Демаре.

— Вы забываете, что вход в сад теперь строго воспрещен! — сказал Жюстен.

— Даже мне?

— И вам, как всем остальным.

— Однако позвольте, я у себя в доме — хозяйка!

— Ошибаетесь, сударыня. Повсюду, куда вынужден проникнуть закон, хозяином делается он, и именем закона я запрещаю вам входить в сад.

Он запер дверь на два оборота ключа и положил его к себе в карман.

Мадам Демаре очень хотелось закричать, позвать на помощь, и, если представится надобность, выпроводить Жюстена даже при содействии полицейского комиссара; но она вовремя сообразила, что этот кроткий человек мог действовать с такой твердостью и уверенностью, только рассчитывая на сильную поддержку, а потому и воздержалась.

Жюстен стоял перед нею, опираясь на дверь.

— Долго вы думаете стоять здесь, как часовой? — спросила она.

— До тех пор, пока не приедут люди, которых я жду.

— Откуда же они явятся?

— Из Парижа.

— В таком случае, позвольте мне оставить вас здесь одного на несколько минут.

— Сделайте одолжение.

Жюстен поклонился.

Мадам Демаре вернулась в свою комнату, наскоро оделась, открыла окно и принялась смотреть на парижскую дорогу.

Приблизительно полчаса спустя она увидела карету, которая резко подкатила к пансиону и остановилась.

Из нее вышли двое мужчин: Сальватор и Жакаль.

Жакаль хотел позвонить, но дверь пансиона отвори-

лась сама собою или, вернее, ее отпер Жюстен, который по стуку экипажа догадался, кто приехал, и бросился им навстречу.

Сальватор тотчас заметил его бледность, взял его за руку и, дружески пожимая ее, проговорил:

— Полноте, успокойтесь, дорогой Корби. Поверьте, что в жизни есть много горестей и гораздо более ужасных, чем ваша.

Говоря это, он думал о том, что должна пережить Кармелита, когда придет в себя и узнает о смерти Коломбо.

VIII

ПОИСК НАЧИНАЕТСЯ

Жакаль узнал от Сальватора, что Жюстен — жених Мины. Он низко поклонился ему и почтительно спросил, входил ли кто-нибудь до них в сад и спальню девушки?

— Нет, никто, — ответил Жюстен.

— Вы в этом уверены?

— Вот ключ от сада.

— А где ключ от комнаты пропавшей особы?

— Она заперта изнутри.

— А! — протянул Жакаль.

Он достал табакерку, втянул носом огромную понюшку табаку и прибавил:

— Ну, вот сейчас мы все это и увидим.

Жюстен провел его в небольшую комнату, из которой можно было попасть и в сад, и во двор. Отсюда же начинался и коридор, который вел к комнате Мины.

Жакаль осмотрелся.

— А где начальница заведения? — спросил он.

В это мгновение вошла мадам Демаре.

— Я к вашим услугам, — сказала она.

— Это те господа, которых я ждал из Парижа, — отрекомендовал Жюстен.

— Было ли вам известно что-нибудь об исчезновении молодой особы до приезда этого господина? — спросил Жакаль, указывая на Жюстена.

— Нет, да я и теперь еще не уверена в том, что она исчезла. Мы еще не были в ее комнате, — ответила мадам Демаре, чуть не плача.

— Не извольте беспокоиться, мы сейчас туда войдем, — сказал Жакаль.

Он опустил свои очки, которые, по-видимому, скорее служили для прикрытия его глаз, чем для усиления зрения, пристально оглядел поверх них всю фигуру мадам Демаре, потом надвинул их на прежнее место и покачал головой.

Жюстен и Сальватор с нетерпением ожидали, чтобы он продолжал свой допрос.

— Не угодно ли вам будет войти в гостиную, — предложила мадам Демаре. — Там гораздо лучше.

— Очень вам благодарен, — отвечал Жакаль, еще раз оглядывая все, как хороший полководец, расположивший свой лагерь на самой выгодной позиции. — Но прежде всего, — продолжал он, — я попрошу вас хорошенько вникнуть во всю глубину ответственности, падающей на содержательницу пансиона, у которой пропала одна из воспитанниц, и советую вам хорошенько обдумать ваши ответы.

— О, могу вас уверить, что большего горя для себя я и представить не могла! — отвечала мадам Демаре, отирая слезы. — А что касается обдуманности моих ответов, то к чему это, если я стану говорить только одну правду.

Жакаль слегка кивнул головой как бы в виде одобрения и тотчас же спросил:

— В котором часу ложатся воспитанницы?

— Зимой в восемь.

— А надзирательницы?

— В девять.

— Но некоторые остаются и позднее?

— Да, одна, дежурная.

— И когда она ложится?

— Часов в двенадцать или в половине двенадцатого.

— А где она спит?

— На втором этаже.

— Значит, над комнатой мадемуазель Мины?

— Нет. Она спит в комнате, которая примыкает к дортуару и выходит окнами на улицу, а комната Мины выходит в сад.

— А где ваша квартира, сударыня?

— Моя комната выходит окнами тоже на улицу и примыкает к гостиной. Она на втором этаже.

— Так что ни одно из ваших окон не выходит в сад?

— Моя туалетная комната окнами в сад.

— В котором часу вы вчера заснули?

— Часов около одиннадцати.

А! — опять протянул Жакаль. — Теперь я обойду дом. Мосье Сальватор, пойдете со мною, а вы, мосье Жюстен, посидите здесь и постарайтесь занять вашу даму.

Молодые люди повиновались ему, точно он был генерал, а они солдаты его армии.

Мадам Демаре упала в кресло и зарыдала.

— Эта женщина тут не при чем, — пробормотал Жакаль, проходя по двору к калитке на улицу.

По чему вы это заключаете? — спросил Сальватор.

По ее слезам, — ответил Жакаль, — виноватые только дрожат, но никогда не плачут.

Сыщик принялся пристально осматривать дом.

Он стоял как раз на углу улицы и пустынного, но все-таки вымощенного переулка.

Жакаль пошел по этому переулку, как охотничья собака по следу дичи.

С левой стороны шагов на пятьдесят тянулась высокая стена пансионского сада, из-за которой виднелись вершин деревьев.

Жакаль пошел вдоль нее, всматриваясь с напряженным вниманием в каждую привлекавшую его мелочь.

Сальватор шел за ним.

Наконец, сыщик остановился и покачал головой.

— Прескверный переулок, особенно ночью! — проговорил он. — Их, кажется, и строят именно для всяких воров и похитителей!

Он пошел дальше и шагов через двадцать поднял кусочек штукатурки, очевидно, отвалившийся от карниза стены, затем второй, наконец, третий.

Несколько секунд он рассматривал их очень внимательно, потом тщательно завернул в платок и спрятал.

После этого он поднял еще кусочек и перебросил его через стену.

— Вы думаете, что они пробрались отсюда? — спросил Сальватор.

— А это сейчас увидим. Пойдемте обратно.

Они застали Жюстена и мадам Демаре на том же месте, на котором и оставили их.

— Ну, что? — спросил Жюстен.

— Наклевывается.

— О, ради Бога, говорите скорее!... Вы нашли какие-нибудь следы?

— Вы ведь, кажется, музыкант, значит, должны знать пословицу: «Не пляши скорее скрипки». На этот раз

скрипкой являюсь я. Идите за мною, только не обг-
няйте меня. Позвольте мне ключ от сада.

Жюстен подал ему ключ, прошел в коридор и оттуда
крикнул:

— Вот здесь дверь в комнату Мины.

— Хорошо, хорошо! Но всему своя очередь. Комнатой
мы займемся потом.

Жакаль отомкнул дверь в сад, остановился на пороге
и пристально оглядел пространство, которое ему пред-
стояло обследовать в подробностях.

— Хорошо,— сказал он,— но ходить здесь нужно
очень осторожно, как ходят домашние куры по полю.
Если вам хочется идти со мною, то идите, но так: впереди
всех — я, за мною — мосье Сальватор, за мосье Сальва-
тором — мосье Жюстен, а за ним — мадам Демаре. До-
говорились? Отлично!... Двинемся вперед.

Было очевидно, что он направляется именно к той
части стены, которую перед этим осмотрел снаружи. Тем
не менее он пошел сначала вдоль аллеи, которая пере-
секала сад по диагонали и описывала такой же угол,
какой составляли улица и переулок.

Прежде чем значительно удалиться от дома, он оста-
новился и поверх стекол очков взглянул на окна комнаты
Мины. Ставни их были заперты.

— Гм! — промычал он и пошел дальше.

На аллее, посыпанной желтым песком, не оказалось
ничего необыкновенного. Но пройдя шагов пять вдоль
стены. Жакаль остановился и, беззвучно рассмеявшись,
показал Сальватору кусочек известки, который сам пе-
ребросил из переулка и совершенно свежий след на ра-
батке.*

— Вот оно! — проговорил он.

Сальватор, Жюстен и мадам Демаре напряженно
всматривались в то, на что он указывал.

— Так, значит, вы думаете, что бедняжку похитили
отсюда? — спросил Сальватор.

— В этом нет ни малейшего сомнения.

— Ах, Господи, Господи! — лепетала мадам Дема-
ре.— Похищение из моего пансиона.

— Послушайте, мосье Жакаль,— проговорил Жю-
стен,— ради самого неба, скажите нам что-нибудь опре-
деленное.

* Рабатка (сад) — длинная гряда с цветами вдоль стен, доро-
жек.

— Определенное? — переспросил Жакаль. — Да посмотрите сами. Определеннее я ничего не знаю.

Пока Жюстен, нагнувшись, всматривался в след, Жакаль, убедившись в своей победе, достал табакерку и, набивая себе нос табаком, рассматривал землю поверх очков.

— Да что же вы в этом находите? — спросил, наконец, Жюстен с заметным нетерпением.

— Нахожу две глубоких ямки, соединенных прямой линией.

— Разве вы не видите, что это следы лестницы? — заметил Сальватор, обращаясь к Жюстену.

— Bravo! Разумеется! Совершенно верно.

— Хорошо, хорошо, продолжайте! — похвалил Сальватора Жакаль.

— Земля была сыра, — сказал тот. — Концы лестницы врезались в нее до первой ступеньки, да и ступенька вошла почти на целый дюйм.

— Теперь нам нужно узнать, сколько человек должно было встать на эту лестницу, чтобы заставить ее так глубоко врезаться в землю, — сказал Жакаль.

— Так, сосчитаем следы, — предложил Сальватор.

— О! Следы — дело очень неясное! Кроме того, два человека могут ступать в одно и то же место. У нас есть такие молодцы, которые всегда так скрывают свои следы.

— Да как же тогда сделать?

— Очень просто.

Жакаль очень любезно обратился к мадам Демаре, которая понимала из всего этого разговора ровно столько же, как если бы он велся на арабском языке.

— Сударыня, — сказал он, — есть у вас в доме переносная лестница?

— Есть, у садовника.

— А где она?

— Вероятно, в сарае.

— А где сарай?

— Вон там... Маленькое строение, крытое соломой.

— Стойте, оставайтесь на своем месте! Я принесу ее сам.

Жакаль ловко перепрыгнул расстояние метра в полтора, стараясь не наступить на пространство, на котором виднелось на песке и клумбах множество следов. На них он сначала, в соответствии со своей системой, кажется, не обращал никакого внимания.

Минуты через две он возвратился бегом с лестницей в руках.

— Прежде всего исследуем одну вещь,— сказал он и приставил нижний конец лестницы к следам.

— Хорошо! — продолжал он.— Из этого видно, что похитители, скорее всего, воспользовались той самой лестницей, которая теперь у нас в руках. Посмотрите: стойки и следы совпадают точь-в-точь!

— Но мне кажется, что все подобные лестницы делаются приблизительно одинаковой ширины,— заметил Сальватор.

— А эта шире обыкновенных. У вашего садовника, мадам Демаре, вероятно, есть ученик или, может быть, сын?

— Да, у него есть мальчик лет двенадцати.

— Ну, вот видите. Ему помогает мальчик, которого он, вероятно, учит своему ремеслу, поэтому и купил лестницу пошире, чтобы ребенок мог взлезать на нее одновременно с ним.

— Ради Бога, мосье Жакаль, станем заниматься одной только Миной! — взмолился Жюстен.

— Да мы только ею и занимаемся, только не прямо, а косвенно.

— Да, но это заставляет нас терять время.

— В подобных делах, сударь,— возразил сыщик,— время — вещь второстепенная. У нас на этот раз только два предположения: или похититель вашей невесты везет ее за пределы Франции и, значит, теперь так далеко, что нам его все равно не догнать, или же он прячет ее где-нибудь в окрестностях Парижа, и мы все равно не позже чем через три дня узнаем, где она.

— О, да услышит вас Бог, мосье Жакаль! Но вы сказали, что узнаете, сколько человек здесь было?

— Это я и делаю.

Жакаль прислонил лестницу к стене на расстоянии около метра от первого следа и стал подниматься по ней, останавливаясь на каждой ступеньке, чтобы посмотреть, насколько концы боковых стоек врезались в землю.

Когда он остановился на шестой ступеньке, оказалось, что концы врезались всего дюйма на три.

Взобравшись на половину лестницы, Жакаль окинул взглядом весь сад и заметил какого-то человека в пиджаке, который стоял, прислонясь к косяку коридорной двери.

— Эй! Поди-ка сюда, любезный! — крикнул он. — Ты кто такой?

— Я служу у госпожи Демаре в садовниках, — ответил тот.

— Сударыня, потрудитесь пойти удостовериться в личности этого человека и приведите его сюда тем же путем, которым пришли и мы.

Мадам Демаре покорно направилась к дому.

— Я уже говорил вам, а теперь повторяю, мосье Сальватор: эта женщина не причастна к похищению, — сказал Жакаль.

Начальница скоро возвратилась с садовником, который очень удивился, увидев в саду человека, да еще и распоряжающегося его лестницей.

— Работал ты вчера в саду, мой милый? — спросил Жакаль.

— Никак нет-с. Вчера был вторник масленой недели а в таких хороших домах, как у мадам Демаре, по праздникам не работают.

— Хорошо. А третьего дня?

— Ну, третьего дня был масленичный понедельник, а в этот день я всегда отдыхаю.

— Ну, а перед тем?

— Перед тем, значит, четвертого дня, было воскресенье.

— Значит, ты не работал в саду уже целых три дня?

— Да ведь я не о двух головах, сударь, — очень серьезно возразил садовник, — и в ад угодить не собираюсь.

— Хорошо. Это мне и было нужно. Значит, твоя лестница уже целых три дня стоит в сарае?

— Ну, не совсем, потому что вы на ней теперь стоите.

— Вижу, что это парень умный! — сказал Жакаль, — но могу поручиться, что похищениями он не занимается. Садовник вытаращил на него глаза.

— Теперь, мой милый, потрудитесь залезть сюда ко мне, — приказал сыщик.

Простодушный парень вопросительно взглянул на мадам Демаре, точно ища в ее глазах ответа на трудный для него вопрос: следует ли ему слушаться этого чудака.

— Делайте то, что вам говорят, — сказала хозяйка.

Садовник поднялся ступеньки на три.

— Ну, что? — спросил Жакаль у Сальватора.

— Вошла глубже, но все-таки еще не до ступеньки, — ответил тот.

— Сойди отсюда, мой милый,— приказал Жакаль садовнику.

Парень одним прыжком очутился на земле.

— Сделано-с! — объявил он.

— Заметьте, как он мало говорит,— сказал Жакаль.— Но все, что он скажет,— сказано кстати.

Садовник засмеялся. Это замечание польстило ему.

— Ну, теперь, мой милый,— продолжал Жакаль,— возьмите мадам Демаре на руки.

— Гм! — промычал садовник.

— Возьмите мадам Демаре на руки,— повторил Жакаль.

— Не смею! — ответил садовник.

— Да и не смейте, Пьер! — вскричала начальница.

Жакаль спустился на землю.

— Полезайте туда, где я стоял,— приказал он садовнику.

Пьер в два шага очутился на его прежнем месте.

Между тем Жакаль молча подошел к мадам Демаре, подхватил ее одной рукой за плечи, другой под колени и, прежде чем она успела понять в чем дело, поднял ее на воздух.

— Что с вами?! Что вы делаете! — закричала она.

— Предположим, сударыня, что я влюблен в вас и хочу вас похитить,— совершенно равнодушно ответил Жакаль.

— Вот так предположение! — заметил садовник.

— Да нет, как же это... Послушайте, милостивый государь! — кричала мадам Демаре, барахтаясь.

— Успокойтесь, сударыня! — продолжал Жакаль.— Наш друг Пьер заметил совершенно верно, это только предположение.

Он взял свою ношу поудобнее и стал подниматься с нею на лестницу.

— Пошла глубже! — крикнул Сальватор, глядя на нижние концы лестницы.

— А до ступеньки дошла? — спросил Жакаль.

— Нет еще.

— Ну, так нажмите ее еще вашей ногой.

Сальватор поставил ногу на вторую ступеньку.

— Теперь вошла точно так же, как тогда,— сказал он.

— Хорошо,— сказал сыщик.— Теперь полезем вниз.

Он сошел первый, поставил мадам Демаре на ноги, приказал Пьеру стоять неподвижно и вытащил лестницу из ямок, которые оставили ее концы.

— Любезнейший мосье Жюстен,— сказал он.— Я имею некоторые основания предполагать, что мадам Демаре несколько тяжелее мадемуазель Мины, а я несколько легче человека, который похитил вашу невесту, так что в этом отношении одно другое уравнивает.

— И вы из этого заключаете?..

— Что мадемуазель Мина похищена тремя людьми, из которых двое поднимали ее на лестницу, а третий придерживал эту самую лестницу ногой. Теперь нам остается узнать, кто были эти трое,— продолжал Жакаль.

— А! Понимаю! — вскричал садовник.— Сегодня ночью украли одну из наших воспитанниц!

Жакаль опустил очки на кончик носа и уставился поверх них на Пьера, потом, вдоволь насмотревшись на него, вернул их на прежнее место и, обращаясь к начальнице, наставительно сказал:

— Мадам Демаре, никогда не расставайтесь с этим человеком,— это истинное сокровище по разуму!

— А ты, мой милый,— продолжал он, обращаясь к садовнику,— возьми свою лестницу и отнеси ее на место. Она нам больше не нужна.

IX

КАРТИНА, КАЖЕТСЯ, ПРОЯСНЯЕТСЯ

Садовник подхватил лестницу и направился к сараю, а Жакаль, сдвинув очки на лоб, достал табак и принялся его нюхать, пристально рассматривая следы на земле.

Через несколько минут он вытащил из кармана складной нож с восемью тонкими лезвиями, отрезал от куста прутик и принялся вымерять им следы, делая на нем соответствующие заметки.

— Вот следы, которые идут от стены к окну и обратно,— говорил он.— Люди эти, по-видимому, очень хорошо знали пансионские обычаи и не считали нужным предпринимать особенных предосторожностей... Только вот...

Жакаль был, казалось, чем-то озабочен.

— Только вот странность,— продолжал он.— Все следы сходны между собою! Неужели все сделал один человек, а другие двое только ждали его.

— Сапоги действительно одинакового размера,— за-

метил Сальватор,— но принадлежали они не одному человеку, а двум.

— Неужели?! Из чего вы это заключаете?

— Из того, что гвозди под подошвами, которые отпечатались совершенно явственно, расположены неодинаково.

— А ведь и в самом деле! — вскричал Жакаль.— Совершенно верно! Через каждые два шага является сапог с левой ноги с гвоздями, расположенными в виде треугольника. Очевидно, что один из этих молодцов — франк-массон.

При этих словах Сальватор слегка покраснел.

Жакаль не заметил или сделал вид, что не замечает этой перемены в его лице.

— Кроме того,— продолжал Сальватор,— один из этих двух человек хромал на правую ногу. Вы, вероятно, замечаете, что правый сапог углублялся в землю с одной стороны больше, а с другой меньше.

— И это совершенно верно! — подтвердил Жакаль.— Разве вы были когда-нибудь сыщиком?

— Нет,— ответил Сальватор,— я слегка охотник, или вернее, когда-то был охотником.

— Постойте! — вскричал Жакаль.

— А что?

— Вот еще третий след и уже совершенно не похожий на прежние. Те широкие и неуклюжие, а этот узкий, стройный, изящный,— совершенный след аристократа или светского аббата!

— Аристократа, мосье Жакаль?

— Да! А почему вы ухватились именно за это предположение? Мне кажется, что на такое дело точно так же способен и аббат,— сказал Жакаль, никогда не изменявший своим вольтерьянским взглядам.

— Хотя вам это будет и неприятно, но ваше предположение едва ли оправдается.

— Это почему?

— Потому что времена аббатов Гонди прошли. Кроме того, теперешние аббаты верхом не ездят, а позади этих узких следов виднеются бороздки, очевидно, сделанные шпорами.

— И это верно! — вскричал Жакаль.— Клянусь честью, мосье Сальватор, вы ведете дело так ловко, точно это мастерство составляет вашу специальность.

— Дело в том, что я большую часть своей жизни действительно посвящаю наблюдениям.

— Ну, так помогите мне теперь осмотреть следы до окошка.

— Это-то уж совсем не трудно! — сказал Сальватор. Следы действительно вели прямо к окну.

Жюстен шел за сыщиком, не спуская с него глаз и не пропуская ни одного его слова. Он был похож на скупца, у которого украли сокровище, собиравшееся в течение очень долгих лет труда и лишений. Сам он уже потерял надежду вернуть его, но вдруг встретил более смелливых людей, которые напали на след похитителей.

Что касается мадам Демаре, то она была совершенно подавлена и ходила за ними почти бессознательно.

Дойдя до окна, следы стали проявляться гораздо явственнее.

— Кто это сказал мне, вы, мадам Демаре. или вы, мосье Жюстен, что хотели открыть дверь в комнату мадемуазель Мины? — спросил Жакаль.

— Да, мы хотели, — ответили оба в один голос.

— И оказалось, что она заперта изнутри на задвижку?

— Мина всегда запиралась по вечерам на задвижку, — сказала мадам Демаре.

— Значит, к ней вошли через окно, — заключил Жакаль.

— Гм! — проговорил Сальватор, — но ставня заперта, кажется, весьма основательно.

— Ну, отворить ставню дело вовсе не трудное! — возразил Жакаль.

Он поднял руку и попробовал открыть ее.

— Ого! — сказал он. — Да она не то что просто притворена, а заперта изнутри.

— Вот это, кажется, потруднее! — заметил Сальватор.

— А вы уверены, что дверь заперта на задвижку? — спросил сыщик у Жюстена.

— Я старался открыть ее изо всех сил.

— Да, может быть, она просто замкнута?

— Но шпингалеты тоже задвинуты, как сверху, так и снизу.

— Ти, ти, ти! — пропел Жакаль. — Ну, если и дверь, и окно заперты изнутри, то, значит, здесь работали люди очень ловкие!

Он еще раз рванул ставню.

— Я знаю только двух человек на свете, которые умеют входить и выходить через запертые окна и двери,

и если бы один из них не был в Тулоне, а другой в Бресте, я сказал бы, что это работа Робишона или Жибасье.

— А разве есть способ входить в запертые двери? — спросил Сальватор с удивлением.

— О! На свете есть способ выходить даже из таких мест, в которых вовсе нет выхода! Это доказал один из моих предшественников, Латюд. Но, к счастью, способы эти доступны не каждому.

Жакаль опять набил нос табаком и прибавил:

— Войдемте теперь в дом.

Он вошел первый и остановился против двери Мины.

— У вас должны быть вторые ключи от всех комнат, — сказал он, обращаясь к мадам Демаре.

— Да. Но только едва ли это принесет какую-нибудь пользу, потому что дверь заперта изнутри на задвижку.

— Это все равно. Потрудитесь принести ключ.

Минуты через две мадам Демаре вернулась с ключами.

— Извольте, — сказала она.

Жакаль воткнул ключ в замочную скважину и попробовал повернуть его.

— Второй ключ в замке с той стороны, — сказал он, — но замок не заперт на второй оборот. Это доказывает, что дверь запирали снаружи, — прибавил он, как бы про себя.

— Но, в таком случае как же могли воры, стоя с этой стороны, запереть задвижку, которая находится с той стороны, внутри комнаты? — спросил Сальватор.

— А вот сейчас мы вам это покажем. Это изобретение Жибасье, и за эту выдумку его сослали на галеры вместо десяти лет только на пять. Позовите-ка слесаря.

Пришел слесарь и открыл дверь...

Все хотели было войти в комнату Мины.

Но Жакаль резко остановил их.

— Тише! Тише! — крикнул он! — Все зависит от первого осмотра. Все наши открытия висят «на ниточке», — прибавил он, улыбаясь, точно в этом слове заключалась какая-нибудь особенно тонкая шутка.

Он вошел в комнату и осмотрел замок и задвижку.

По-видимому, этот первый осмотр не удовлетворил его.

Он снял очки, которые, в сущности, только ослабляли зоркость его рысьих глаз, еще раз пристально взглянул

на дверь и с торжествующей улыбкой схватил что-то большим и указательным пальцами.

— Ага! — радостно проговорил он.— Ведь я говорил вам, что все наше дело висит на ниточке! Ну, вот и сама эта ниточка!

Он показал всем присутствующим шелковую нитку, сантиметров в пятнадцать длиной, которая застряла между задвижкой и дверью.

— Вот ею-то дверь и заперли? — спросил Сальватор.

— Да,— ответил Жакаль.— Только в то время нитка эта была в целый метр длины, а это только обрывочек, на который воры не обратили внимания.

Слесарь смотрел на него, ничего не понимая.

— Вот так штука! — проговорил он.— Я думал, что умею отпирать замки на все лады на свете, а оказывается, что я с моим умением — глупее малого ребенка.

— Очень рад, что могу выучить вас еще чему-нибудь новому! — сказал Жакаль.— Вот сейчас увидите, как это делается. На ручку задвижки надевают нитку, сложенную вдвое. Используют при этом непременно шелковую нитку, потому что она и крепче, и удобнее всякой простой, и длинна она должна быть настолько, чтобы концы ее выходили на другую сторону запертой двери. Итак, вы запираете дверь, берете оба конца нитки, натягиваете их, нитка двигает задвижку и та запирается. После этого вы натягиваете нитку, и дело кончено. Но при этом иногда случается, что нитка защемятся между дверью и задвижкой и обрывается. Тогда является Жакаль и говорит: «Если бы этот дьявол Жибасье не был теперь «на даче», я готов был бы держать пари, что это его работа!».

— Можем мы теперь войти в комнату, мосье Жакаль? — спросил Жюстен, почти не обращавший внимания на это объяснение, несмотря на всю его ценность для науки.

— Да, да, входите, милейший мосье Жюстен,— ответил сыщик.

Все вошли в спальню девушки.

— А! — вскричал Жакаль.— Вот след шагов от двери к постели и от постели к окну!

Он осмотрел кровать и стоявший возле нее столик.

— Так! — продолжал он.— Барышня легла в постель и читала письма.

— Это мои! — вскричал Жюстен.— О, дорогая Мина!

— После этого она потушила свечку,— продолжал

Жакаль,— и до этих пор все шло хорошо и спокойно.

— Из чего вы заключаете, что она потушила свечку сама? — перебил Сальватор.

— А вот видите? Светильник и до сих пор пригнут как будто от дуновения, а, судя по его направлению, видно, что дуновение было произведено со стороны кровати. Однако, возвратимся несколько назад. Не угодно ли вам, мосье Сальватор, посмотреть на это вашими охотничьими глазами?

Сальватор нагнулся.

— Ого! — протянул он.— Вот это уже новость: это след женщины!

— А что я вам говорил, мой любезнейший господин Сальватор? «Ищите женщину!» Ну, и что? Прав ли я был? Итак, вот след женщины... И притом женщины энергичной, которая ступает не только на носок, а прямо на каблук и всю подошву!

— Прибавьте к этому, что она еще и кокетлива,— сказал Сальватор.— Она шла по дорожкам сада, боясь запачкать ноги. Заметьте: вот следы ее — песчаные, без малейшей примеси грязи.

— О! Господин Сальватор! — вскричал сыщик.— Да ведь это истинное несчастье, что вы не посвятили себя нашему делу! Скажите только слово, и я с радостью сделаю вас своим помощником! Стойте на месте!

Жакаль выбежал в сад, прошел по песчаной аллее вплоть до того места, где стояла лестница, и вернулся.

— Так и есть! — сказал он.— Женщина вышла из дома, прошла по аллее, постояла у лестницы и вернулась по той же дороге, по которой пришла. Теперь я могу подробно рассказать вам, как все это было. Если бы я сам был участником этого дела, то и тогда не мог бы быть более уверенным, чем теперь.

Все тесно столпились вокруг него.

— Мадемуазель Мина пришла в свою комнату в обычное время,— начал он.— Она была грустна, но спокойна и легла в постель. Вы видите, что постель едва измята. Улегшись, она стала читать письма и плакала... Вот и ее платок. Он скомкан и влажен от слез.

— Дайте, дайте его мне! — сказал Жюстен порывисто

Не ожидая ответа Жакаля, он схватил его и прижал к губам.

— Итак, она легла, читала и плакала,— продолжал Жакаль.— Но так как вечно читать и плакать невозмож-

но, она захотела спать и потушила свечу. Вопрос о том, заснула ли она или нет, не составляет для нас ни малейшей важности. Все дело в том, что после того, как свеча погасла, произошло следующее: в дверь постучались...

— Кто же? — спросила мадам Демаре.

— А! Сударыня! Вы хотите слишком многого! Кто? Может быть, я скажу вам сейчас даже и это. Во всяком случае, это была женщина...

— Как, это женщина? — озадаченно прошептала мадам Демаре.

— Ну, да,— женщина, девушка, мать, сестра... Словом «женщина» я хотел только определить пол этого лица. Итак, женщина постучалась в дверь, а Мина встала и открыла ей.

— Но разве она стала бы открывать, не зная, кто к ней стучится? — снова перебила мадам Демаре.

— Да кто же вам говорит, что она этого не знала?

— Но особе, ей незнакомой, она все-таки не открыла бы.

— Разумеется? А подружке?... О, мадам Демаре, неужели мне нужно еще говорить вам, что в пансионатах бывают подружки, в которых скрываются самые непримиримые и беспощадные враги? Итак, она отперла подружке. За этой подружкой шел человек в красивых сапогах со шпорами, а за ним человек в сапогах, подбитых гвоздями в виде треугольника. А как обыкновенно ложилась мадемуазель Мина?

— Я вас не понимаю,— сказала мадам Демаре, к которой обратился Жакаль с последним вопросом.

— Я хочу знать, что она надевала на ночь?

— Зимой — рубашку и большой пеньюар.

— Хорошо. Ей набросили на губы платок, закутали в шаль и в одеяло,— вон в ногах кровати ее башмаки и чулки, а на стуле — юбки и платье,— и в т виде вынесли ее через окно.

— Через окно? — переспросил Жюстен.— А почему не через дверь?

— Потому что тогда пришлось бы проходить по коридору и был риск наделать шуму и разбудить кого-нибудь. Да из окна было гораздо проще передать девушку человеку, который ждал в саду. Наконец, вот вам доказательство того, что ее вынесли именно через окно, хотя и окно, и ставни заперты отлично.

Жакаль указал на большую дыру на кисейной занавеске.

веске. Было несомненно, что кто-то хватался за нее и вырвал целый кусок.

— Итак, девушку вынесли через окно и переправили через стену. После этого особа, оставшаяся в саду, отнесла лестницу на место, возвратилась в дом, заперла изнутри ставни и окно, а посредством шелковой нитки заперла дверь на задвижку и пошла спать.

— Да, но ведь она выходила из дортуара и возвращалась в него, ее должны были видеть.

— А разве у вас здесь нет больше ни одной воспитанницы, имеющей отдельную комнату?

— Есть. Только одна.

— Ну, так это ее и дело. Милейший мосье Сальватор, женщина найдена.

— Как? Вы думаете, что подруга Мины была причиной ее похищения?

— Я не говорю причиной, а соучастницей, и не предполагаю, а смело утверждаю это.

— Сюзанна? — вскричала мадам Дюмаре.

— И поверьте мне, что это было именно так! — подтвердил Жюстен.

— Но почему могло вам прийти в голову что-нибудь подобное?

— По той антипатии, которую я к ней почувствовал с первого же раза, как ее увидел. Верите ли, это было какое-то предчувствие, что через нее мне грозит великое горе! И с той самой минуты, как мосье Жакаль заговорил о женщине, мадемуазель Сюзанна не выходила у меня из головы. Обвинять ее я, разумеется, не смею, но подозревать — подозреваю. Ради Бога, позовите ее сюда!

— Нет, — возразил Жакаль, — звать ее сюда мы не станем, а лучше пойдем к ней сами. Не угодно ли вам, сударыня, проводить нас в комнату этой особы.

Мадам Демаре потеряла перед Жакалем всякую способность возражать и покорно пошла вперед.

Комната мадемуазель Сюзанны находилась на нижнем этаже и примыкала к коридору.

— Постучитесь, — тихо сказал Жакаль начальнице.

Она постучала, но ответа не было.

— Может быть, она пошла на перемену в одиннадцать часов. Позвать ее сюда?

— Нет, — ответил Жакаль. — Лучше зайдем сначала в ее комнату.

— Да ключа-то в двери нет.

— Так ведь у вас есть вторые ключи от всех дверей.

— Ах, да!

— Ну, так сходите за ключом, но если встретите мадемуазель Сюзанну, не говорите ей ни слова о том, что про нее думают.

Мадам Демаре сделала знак, что на нее могут положиться, и пошла вниз.

Через несколько минут она возвратилась с ключом и подала его Жакалю. Дверь открыли.

— Господа,— сказал сыщик,— подождите меня в коридоре. Достаточно и того, что туда войдем мы с мадам Демаре.

Когда они очутились в комнате Сюзанны, он спросил:

— Куда она прячет свою обувь?

— Вот здесь,— ответила начальница, указывая на небольшой шкаф.

Жакаль подошел к нему, взял с полки пару ботинок из голубого ластика и осмотрел их.

Подошвы были почти сплошь покрыты слоем желтого песка, которым была посыпана аллея.

— Ходят ваши воспитанницы в огород? — спросил Жакаль.

— Нет,— возразила начальница,— он выходит в уединенный переулок, и хотя не отгорожен от сада, но мы строго запрещаем воспитанницам ходить туда.

— Хорошо,— сказал Жакаль.— Теперь я знаю все, что мне нужно. А как вы думаете, где теперь мадемуазель Сюзанна?

— Да, по всей вероятности, на перемене, во дворе.

— Которая из комнат выходит окнами во двор?

— Гостиная.

— Так отправимся туда, сударыня.

Жакаль вышел в коридор, а мадам Демаре заперла за ним дверь опять на ключ.

— Ну, что? — спросили Жюстен и Сальватор в один голос.

— Да, кажется, теперь и женщина в наших руках,— сказал Жакаль, старательно набивая нос табаком.

Х

ВАЛЬЖЕНЕЗЫ

Все молча вошли в гостиную.

Гостиная, действительно, выходила окнами во двор, и сквозь них были видны все воспитанницы, высыпав-

шие из дому насладиться хотя бы и бледными лучами зимнего солнца.

Молодая девушка, значительно выше ростом, чем все остальные, прогуливалась поодаль, особняком.

Жакаль окинул весь двор одним взглядом, и одинокая фигура бросилась ему в глаза.

— Не эта ли мадемуазель Сюзанна, вон там в липовой аллее? — спросил он.

— Да, это она, — ответила мадам Демаре.

— Так позовите ее сюда.

— Только не знаю, пойдет ли она.

— То есть, как это вы не знаете?

— Да так, не знаю.

— Почему же ей не прийти?

— Сюзанна — девушка очень гордая.

— Во всяком случае, позовите ее, а если она не пойдет, я сам схожу за нею.

Мадам Демаре вышла на балкон и махнула девушке рукою.

Сюзанна точно не видела ее.

— Если она слепая, то, может быть, еще не оглохла, — заметил Жакаль.

Девушка оглянулась.

— Будьте так любезны, дитя мое, придите сюда, — сказала начальница. — Вас здесь спрашивают.

Сюзанна направилась к балкону, но медленно и с чрезвычайно презрительным видом.

Таким образом, Жакаль и Сальватор имели достаточно времени, чтобы рассмотреть ее.

Что касается Жюстена, то он был знаком с нею уже давно.

— Странно, — проговорил Сальватор, — я как будто где-то уже видел ее.

— А что вы о ней думаете? — спросил Жакаль, который рассматривал девушку поверх своих очков с не меньшим любопытством, чем Сальватор.

— Даю руку на сожжение, что она злая! — ответил тот.

— Ну, я своей руки на сожжение не дам, потому что класть руки на огонь дело вообще опасное, — сказал Жакаль, — но, тем не менее, вполне разделяю ваше мнение. Губы поджатые, тонкие, глаза красивые, но жесткие. Теперь она встревожена, и, посмотрите, какое у нее нехорошее выражение лица.

В это время Сюзанна вошла на балкон и остановилась перед мадам Демаре.

— Вы, кажется, оказали мне честь позвать меня? сказала она таким тоном, который следовало перевести словами: «Вы, кажется, осмелились позвать меня».

— Да, дитя мое,— ответила начальница.— Здесь есть особа, которая желает поговорить с вами.

Сюзанна прошла мимо нее в зал.

Увидев Жюстена с двумя незнакомыми людьми, она слегка вздрогнула, но лицо ее не изменилось ни на йоту.

— Дитя мое,— лепетала между тем мадам Демаре, видимо, встревоженная злобой, которая сверкнула в глазах воспитанницы,— вот этот господин желает предложить вам несколько вопросов.

Она указала на Жакаля.

— Вопросы? Мне? — презрительно переспросила девушка.— Но я вовсе не знаю этого господина.

— Он представитель власти! — поспешно объяснила начальница.

— Представитель власти? — повторила девушка.— А мне что до властей за дело?

— Успокойся, Сюзанна,— ласково проговорила мадам Демаре.— С вами хотят поговорить о Мине.

— Ну, и что же дальше?

Жакаль нашел, что настал его черед вмешаться в разговор.

— Что дальше, сударыня? — сказал он.— А то, что мы желаем узнать некоторые подробности о мадемуазель Мине.

— Относительно ее я могу сообщить вам только то, что знает и этот господин,— она указала на Жюстена.— То есть то, что однажды вечером он нашел ее в поле, во ржи, привел к себе, воспитал и хотел на ней жениться. Но из Руана пришли какие-то вести от какого-то неизвестного отца и вследствие этого их свадьба не состоялась.

Жакаль смотрел на это существо, очевидно, бывшее средоточием всевозможных пороков, с каким-то своеобразным восторгом, и каждое сказанное ею слово только увеличивало в нем это чувство.

— Нет, сударыня, мы хотели спросить вас не об этом, а кое о чем другом,— сказал он.

— Если о чем-то другом, то обратитесь с расспросами к самой мадемуазель Мине, потому что я сказала вам все, что знаю.

— К сожалению, мы не можем воспользоваться вашим советом, хотя с виду он и хорош.

— Это почему? — спросила Сюзанна.

— Потому что мадемуазель Мину похитили сегодня ночью.

— О! В самом деле? Бедная Мина! — произнесла девушка таким насмешливым тоном, что Жюстен вскрикнул, а Сальватор нахмурил брови.

Жакаль, которого этот ответ тоже, очевидно, возмутил, подал молодым людям знак, чтобы они молчали.

— А мне думалось,— продолжал он,— что вы, как ее ближайшая подруга, можете дать нам некоторые сведения именно относительно этого обстоятельства.

— Очень ошибаетесь! — возразила Сюзанна.— Мне нечего сказать вам, потому что я ровным счетом ничего не знаю о каких-либо подробностях исчезновения моей ближайшей подруги, как ничего не знала до сих пор о том, что ее здесь уже нет.

— Мадемуазель,— вмешался Сальватор,— подумайте о том горе, которое переживают из-за этого жених и две женщины, которые привыкли считать эту девушку дочерью и сестрой!

— Я вполне понимаю горе этого господина и его семейства и от души сочувствую им, но что же мне делать? Мы расстались с Миной вчера вечером, в половине девятого, в то время, когда она шла в свою комнату, и с тех пор я ее больше не видела. Не это ли и нужно вам было узнать от меня, господа?

— Такой тон вовсе не подобает девушке ваших лет, мадемуазель,— строго проговорил Жакаль, отстегивая сюртук и показывая конец своего форменного шарфа,— а в особенности, если такая молоденькая девушка стоит перед представителем закона.

— Так почему же вы сразу не сказали мне, что вы полицейский комиссар? — проговорила Сюзанна с поразительной наглостью.— Тогда я стала бы и говорить с вами как с полицейским комиссаром.

— Ну, да пока оставим это,— перебил ее Жакаль.— Скажите, как вас зовут, ваше звание и положение в обществе.

— Значит, это формальный допрос? — спросила девушка.

— Да, сударыня.

— Как меня зовут? Сюзанна де Вальженез. Кто я такая? Дочь его светлости маркиза Дениса Рене де Вальженеза, пэра Франции, племянница господина Людовика-Клемана де Вальженеза, кардинала при римском

дворе и сестра графа Лоредана де Вальженеза, лейтенанта гвардии. Мое общественное положение? Я наследница полумиллионного дохода. Вот и все, что я считаю нужным ответить вам.

Эти слова были произнесены с истинно царственным презрением, которое произвело на каждого из слушателей совершенно разное впечатление, за исключением совершенно отупевшей мадам Демаре.

Жюстен понял все бессилие скромного учителя перед таким земным величием и задрожал.

Сальватор сделал шаг вперед и не то с любопытством, не то с угрозой повторил:

— Сюзанна де Вальженез!

— Мадемуазель Сюзанна де Вальженез! — проговорил и Жакаль тоном человека, который чуть-чуть не наступил на змею и вовремя отпрянул.

Он медленно спрятал свой шарф, застегнулся и задурился.

Это раздумье кончилось тем, что он очень низко поклонился и кротко произнес:

— Извините, мадемуазель, но я, право, не знал...

— Да, да, я понимаю! Вы не знали, что я дочь моего отца, племянница моего дяди и сестра моего брата. Но теперь вы это знаете и постарайтесь не забывать.

— Я в истинном отчаянии, что должен был сделать нечто для вас неприятное,— продолжал Жакаль.— Но умоляю вас винить в этом не меня, а печальные и тяжелые обязанности, которые налагает на меня род моей службы!

— Хорошо,— сухо ответила Сюзанна.— Я постараюсь забыть о вас. И это все, о чем вы хотели спросить меня?

— Да, мадемуазель. Но позвольте мне еще раз повторить вам, что я в отчаянии от того, что обидел вас, и высказать надежду, что вы не станете мстить мне за то, что я исполнял лишь то, что на меня возложило правительство.

— Повторяю, что постараюсь забыть про вас.

И, никому не поклонившись, Сюзанна вышла из зала, однако, не в сад, а в коридор и оттуда — в свою комнату.

Жакаль проводил ее униженным поклоном.

Жюстен едва сдерживал желание задушить ее, потому что теперь он был более, чем когда-либо, уверен, что Сюзанна содействовала исчезновению его невесты.

Сальватор подошел к нему и взял его за руку.

— Молчите! — проговорил он.— Ни с места! Ни одного движения, ни одного жеста!

— Ведь все погибло!

— Ничуть! Не погибло ничего, пока я говорю вам: «Надейтесь, Жюстен»! Я знаю Вальженезов и повторяю вам: ничто не погибло,— только не забудьте имени Жибасье.

Он подошел к Жакалю и сказал:

— Кажется, нам теперь больше нечего здесь делать?

— Да, да, совершенно верно,— в смущении заговорил тот, закрывая глаза своими очками.— Я тоже думаю, что больше мы здесь ничего не узнаем...

— Да,— согласился Сальватор.— Кроме того, и узнали мы уже достаточно.

Жакаль сделал вид, что не слышал этого замечания и подошел к мадам Демаре, которая стояла, уже окончательно растерявшись от оборота, какой приняло дело.

— Честь имею всепочтительнейше откланяться,— проговорил он.

Заметив, что никто не следит за ним, он подошел к ней еще ближе и тихо прибавил:

— Умоляю вас передать мадемуазель де Вальженез, что я в совершеннейшем отчаянии и молю ее думать, что встречи нашей как бы вовсе и не было! Вы понимаете меня?

— Как бы вовсе и не было! Понимаю вас,— повторила начальница совершенно машинально.

Жакаль еще раз поклонился ей и сделал Жюстену и Сальватору знак, чтобы они пошли за ним.

Сальватор, очевидно, решил отыскать Мину и помимо Жакаля, а о внезапной метаморфозе этого человека составил себе мнение, которое не считал, однако, нужным высказывать. Но Жюстен отнесся к делу иначе. Он ни за что не хотел упустить из виду следа, который мог повести его к Мине.

Как только они очутились на улице, он подошел к Жакалю и сказал ему:

— Мне нужно поговорить с вами, мосье Жакаль.

— Что вам угодно, мосье Жюстен? — спросил сыщик.

— Сколько мне помнится, вы начали дело с того, что сказали: «Надо искать женщину»! Потом объявили: «Женщина в наших руках»! и закончили тем, что «Женщина эта — мадемуазель Сюзанна»?

— Разве я говорил все это? — с удивленным видом спросил сыщик.

— Да, вы сказали все это, и я только повторяю ваши собственные слова.

— Должно быть, вы ошибаетесь, мосье Жюстен.

— Мосье Сальватор — свидетель.

Жакаль взглянул на Сальватора такими глазами, точно хотел сказать ему: «Вы меня понимаете, так избавьте меня от него!»

Но Сальватор, хотя и понимал его, но извинять был не намерен, а потому и заговорил совершенно беспощадно.

— Что касается меня,— сказал он,— то если и мне не изменяет память, мосье Жюстен повторяет ваши слова совершенно правильно. Вы сами говорили, что мадемуазель Сюзанна содействовала похищению Мины.

— Эх! — проговорила Жакаль, вытягивая губы.— Подобных вещей говорить никогда не следует до тех пор, пока не докажешь! Ну, если я сказал, что она содействовала... то, значит, я сказал глупость!

— Да вы и обвинили-то ее первый! — вскричал Жюстен.— Разве вы не помните, что говорили о ней в комнате бедной Мины.

— Вы выражаетесь неправильно, мосье Жюстен! Подозревать — еще не значит обвинять.

— Значит, теперь вы ее даже и не подозреваете?

— Говоря точнее, я за целых тысячу миль от всякого подозрения. Бедное невинное создание! Сохрани меня Бог подозревать ее.

— Ну, а как же теперь насчет ее тонких губ, дерзких глаз и нехорошего выражения лица? — издевался Сальватор.

— Да, издали она мне показалась именно такой! Ну, а как взглянул поближе,— вижу, что выходит совсем другое: губки — преграциозные, глаза — гордые, а выражение лица — такое возвышенное, благородное!

Но видя, что Жюстен не намерен довольствоваться всем этим и хочет настаивать на первом мнении, которое он высказал о Сюзанне, еще не зная, что она — мадемуазель де Вальженез, Жакаль счел за лучшее вскочить в свою карету.

— Заходите, заходите ко мне, мосье Жюстен! — говорил он, захлопывая дверцу.— Лучше всего сегодня же вечером. Я, как только приеду, пушу в дело всех своих и надеюсь, что сообщу вам радостные вести!

— Теперь отправляйтесь домой, Жюстен,— сказал Сальватор, дружески пожимая руку несчастного учите-

ля.— Я даю вам слово, что ровно через сутки сообщу вам все, чего вам следует опасаться и на что надеяться.

Увидя, что Жакаль заперся в карете, он подошел к ней и крикнул:

— Что же это вы делаете, мосье Жакаль? Вы меня привезли сюда, вы обязаны доставить и обратно! Кроме того,— прибавил он, усаживаясь рядом с сыщиком и снова запирая дверцу,— мне нужно еще поговорить с вами о Вальженезах.

— В Париж! — крикнул кучеру Жакаль, которому, очевидно, было бы приятнее ехать одному.

Лошади пошли крупной рысью.

Между тем Жюстен тихо брел домой пешком. Все происшедшее в это утро давило его какой-то нестерпимой тяжестью и даже обещание Сальватора сулило мало надежды.

XI

ВСЕ ЛИ РАВНЫ ПЕРЕД ЗАКОНОМ?

Жакаль забился в один угол кареты, Сальватор устроился в другом.

Лошади бежали быстро.

Несмотря на фразу, которую Сальватор сказал, садясь в карету, он не решился прерывать хода размышлений сыщика и только молча наблюдал за ним. Жакаль, поднимая глаза, каждый раз встречал его насмешливый, почти презрительный взгляд.

Наконец, дошло до того, что всякий разговор стал казаться сыщику сноснее этого взгляда.

Он несколько раз поднял и опустил свои очки, несколько раз понюхал табак, откашлялся и заговорил первый.

— Вы, кажется, сказали, что хотите поговорить со мною о Вальженезах, милейший мосье Сальватор? — произнес он.

— Я хотел спросить вас, почтеннейший мосье Жакаль, что именно заставило вас так быстро изменить ваше мнение об этой девочке... Или, выражаясь точнее...

— Перестаньте! Мы здесь с глазу на глаз... Вы человек умный, а не какой-то бешеный влюбленный...

— А кто вам это сказал?

— По крайней мере, вы влюблены не в эту похищенную героиню... Значит, у вас не было причины потерять голову, и вы в состоянии понять...

— Да, я все отлично и понял.

— Что же именно?

— То, что вы испугались, милейший мосье Жакаль.

— Да, да, каюсь, признаюсь! — проговорил сыщик, у которого хватало, по крайней мере, мужества признаться в своей слабости.— Верите ли, я до того струсил, что когда она назвала себя по имени, меня принялась трепать лихорадка.

— А мне всегда думалось, мосье Жакаль, что первый параграф свода законов гласит: «Перед законом все люди равны».

— Видите ли, любезнейший мосье Сальватор, во всех кодексах и сводах этот параграф печатается с такой же основательностью, с какой короли пишут: «Мы, Карл, милостию Божиею, король Франции и Наварры». Людовик XVI тоже пользовался этой фразой, а ему перерезали горло. Уж какая же милость Божия в том, что произошло на площади Революции 21-го января 1793 года в четыре часа пополудни?

— Отлично! И поэтому, когда вам пришлось обвинить девушку, которую вы уже заранее считали способной на всякое преступление, в соучастии в похищении другой девушки, вы струсили и вообразили себя удушенным в тюрьме, как Туссен Лувертюр или Пишегрю?

— Не шутите с этим, мосье Сальватор! Даю вам честное слово, что мне вспомнились оба этих человека...

— Значит, эти Вальженезы люди действительно очень могущественные?

— Еще бы! Прежде всего сам маркиз, который в большой милости у короля, потом кардинал, который состоит при папе, наконец, этот лейтенант...

— Который состоит, вероятно, при самом сатане? — подхватил Сальватор.— А! Теперь понимаю! Кроме того, не вяжется ли вся эта серия с каким-нибудь обществом?

Жакаль пристально посмотрел на Сальватора.

— Как же! Как же! Ведь маркиз один из покровителей Сент-Ашейль и еще в последнюю процессию он нес знамя. Не так ли?

Жакаль закивал головой.

— Как это странно! — продолжал Сальватор.— А я все думал, что иезуиты не больше, как сонное видение «Конституционеля».

— О-о-о! — протянул Жакаль тоном человека, который хотел бы сказать: «О, какое вы бедное, наивное дитя!».

— Так что вы серьезно думаете, что схватиться с этими людьми было бы опасно? — спросил Сальватор.

— Знаете вы басню про горшок глиняный и горшок железный?

— Знаю.

— Ну, так вот и объясните ее себе.

— Но ведь глава фамилии умер лет шесть тому назад и не оставил детей, так что все состояние перешло к брату.

— Это значит, что он никогда не был женат, — пояснил Жакаль.

— Ах, да! Теперь припоминаю! Ведь там была еще какая-то история о незаконном сыне, которого нужно было или усыновить, или признать законным, но которому не сделали ни того, ни другого!..

Жакаль искоса взглянул на Сальватора.

— Да вы-то каким образом все это знаете? — спросил он.

— Эх, Господи! — возразил комиссионер. — Да в нашем ремесле, как бы человек рассеян ни был, он все-таки, даже поневоле, узнает очень многое. Я, например, одно время носил письма одной дамы к некоему Конраду де Вальженезу, который жил тогда именно в том отеле, в котором живет теперь маркиз.

— Верно, верно! — подтвердил Жакаль.

— Да и вообще, кажется, это история весьма темная?

— Да, только не для всех, — возразил сыщик с видом глубочайшего самодовольства.

— А, понимаю! Только не для тех, кто сумел «найти женщину»? — подхватил Сальватор.

— Ну, на этот раз, в виде редкого исключения, женщины тут никакой не было.

— А что же там было? Вы сами понимаете, мосье Жакаль, что если знал человека молодым, красивым, здоровым и богатым, а он вдруг возьми да и исчезни, так поневоле хочется узнать, что с ним такое случилось.

— Это совершенно верно, тем более, что я могу сказать о нем почти что все.

— Ну, вот: «почти что»? Это так похоже на много-точие. Уж не ходили ли и вы в знаменитой процессии Сент-Ашейля?

— О! Черт возьми! Нет! Нет! — вскричал Жакаль. — Я сам боюсь иезуитов! Я им покровительствую и пользуюсь за это их взаимными услугами, подчас даже слушаю их, но любить их не люблю! Я вам сказал «почти что»,

потому что в нашем деле не всегда можно сказать все, что знаешь.

— А еще и потому, что не всегда знаешь все, что хотелось бы знать? — прибавил Сальватор со свойственной ему утонченной насмешкой.

— Ну, так слушайте же, — сказал Жакаль, поглядывая на своего собеседника через очки. — Я расскажу вам все, что знаю, а потом вы подскажете мне то, чего я не знаю.

— Хорошо! Идет!

— Идет! Глава фамилии де Вальженезов, маркиз Карл Эмануил де Вальженез, пэр Франции и владелец огромного состояния, которое наследовал от одного дяди с материнской стороны, никогда не хотел жениться, и это его пристрастие к холостой жизни все приписывали его привязанности к юноше-красавцу, которого звали сначала просто Конрадом, а потом постепенно привыкли называть и Конрадом де Вальженезом.

— А разве это не было его настоящей фамилией?

— Не совсем. Этот красавец-юноша был плодом греха юности маркиза, который до того любил его, что даже, кажется, и видел только его глазами.

— Но если он любил его до такой степени, то как же он решился оставить все свое состояние брату, племяннику и племяннице, а его довести до такой нищеты, что он, говорят, умер чуть ли не с голоду?

— Вот это случилось именно потому, что отец любил его чересчур. Ведь вы, верно, знаете пословицу: «Крайность всегда вредна»?

— Да, мне тоже казалось, что несчастный маркиз, который умер, если не ошибаюсь, скоропостижно, любил этого молодого человека беспредельно, — сказал Сальватор.

На этот раз Жакаль оглядел его уже из-под очков.

— Он до того был к нему привязан, — продолжал он, — что эта привязанность и погубила юношу.

— Я не совсем вас понимаю.

— Это очень просто. Есть, видите ли, два способа усыновлять незаконных детей. Первый и простейший состоит в том, что, когда ребенка записывают в мэрии, отец объявляет себя его отцом, а если что-нибудь помешает ему сделать это в то время, то он может впоследствии подписать акт признания у нотариуса. Но при этом он уже не имеет права оставить ему свое имя и все состояние, а только имя и одну пятую часть своего иму-

щества. Второй способ гораздо труднее. Человек должен дождаться, когда ему минет пятьдесят лет, и тогда только может совершить акт усыновления у нотариуса, а раньше этого возраста такое признание незаконного ребенка законным воспрещается. Зато при этом вы можете оставить усыновленному не только ваше имя, но и все ваше состояние. Маркиз де Вальженез предпочел этот второй способ и в тот день, когда ему минуло пятьдесят лет, позвал нотариуса. Они заперлись в кабинете, составили акт, но в ту самую минуту, когда маркиз взял перо, чтобы подписать документ, его разбил паралич.

— То есть, когда именно: когда он брал перо, чтобы подписаться, или тогда, когда он подписался и хотел положить его на место? — спросил Сальватор.

На этот раз Жакаль совсем сдернул свои очки и посмотрел на него в упор.

— Черт возьми! — вскричал он. — Если вы знаете это, мосье Сальватор, то знаете больше, чем я и все остальные, потому что все дело именно в том — был или не был подписан этот документ. «Вот в чем весь вопрос», как сказал Гамлет. Что же касается самого маркиза, то он и прожил после первого удара еще целых три дня, но не мог сказать по этому поводу ни слова по той простой причине, что ни разу не приходил в сознание.

— Послушайте, мосье Жакаль, — сказал Сальватор. — Теперь мы здесь с глазу на глаз, и вас никто не услышит. Скажите мне по совести: что вы сами об этом думаете?

— Я думаю, что семейство было, может быть, несколько сурово в отношении бедного мосье Конрада, — ответил Жакаль, видимо, избегая прямого ответа.

— Несколько сурово! — повторил Сальватор. — Вот достойный ответ! Если акт, как, по крайней мере, говорит нотариус, действительно подписан не был, то какое им было дело до незаконнорожденного мальчишки?

— Да, но ведь всем и каждому было известно, что этот юноша сын маркиза Эммануила, — заметил Жакаль.

— Совершенно верно! — подхватил Сальватор. — Но ведь, если бы они признали хотя бы это, им пришлось бы отдать ему одну пятую часть состояния маркиза, а это ни больше, ни меньше, как два миллиона. Следовательно, гораздо выгоднее было отрицать все, сделаться наследниками пэрства и миллионов, а незаконнорожденного выгнать. Они так и сделали: незаконнорожденного выгнали. Не правда ли, мосье Жакаль?

— А он, как кажется, сумел выйти от них с большим

достоинством,— подхватил сыщик,— оставил им и своих лошадей, и экипажи, и банковые билеты, и унес, как рассказывают даже его враги, только две тысячи франков, которые накануне выиграл в экарте*.

— Ну, не думаю, чтобы молодой человек, который привык жить так, как жил мосье Конрад, сумел долго просуществовать на какие-нибудь две тысячи! — заметил Сальватор.

— И очень на этот раз ошибаетесь! — возразил Жакаль.— Мы, охранители общественного спокойствия, всегда зорко следим за этими разорившимися сынками знатных фамилий и знаем точно, что с этими двумя тысячами франков он прожил целых пятнадцать месяцев, всячески пытаясь зарабатывать свой хлеб честным трудом. Человек он был прекрасно образованный и пробовал давать уроки английского и немецкого языков, музыки и рисования, но ему, бедняге, не повезло, занятий не оказалось нигде. Наконец, он убедился в том, что ему остается только два исхода — или поступить в содержание, или покончить с собой. Тогда он пошел к Лепажу, купил пистолет, который потом признал даже человек, продавший его ему, и решился разыграть последний акт комедии своей жизни. Он съездил в Тюильри, на Елисейские поля и в Булонский лес, чтобы проститься с прежними товарищами и любовницами, возвратился оттуда через улицу Сен-Оноре, зашел в церковь Сен-Рош, а оттуда отправился на улицу Бюффона, где нанимал довольно убогую комнатку...

— Ну, и очутившись в этой комнатке, что же он сделал? — спросил Сальватор.

— Да, разумеется, то же самое, что сделали Коломбо и Кармелита. Он написал длинное письмо, только не своим друзьям, потому что у него их не было, по крайней мере, не стало с тех пор, как его выгнали из отеля на улице Бак, а полицейскому комиссару того участка. В этом письме он описывал все, что выстрадал за эти пятнадцать месяцев, чтобы остаться честным человеком, свою борьбу с нуждой, невозможность продолжать ее дальше и свою решимость разmozжить себе череп. Окончив это письмо, он лег в постель, прочел несколько страниц из «Новой Элоизы» и прострелил себе голову.

* Экарте — старинная азартная карточная игра двух лиц.

— Клянусь честью, вы рассказываете так подробно, как настоящий очевидец, мосье Жакаль! — вскричал Сальватор.

— О, с моей стороны в этих подробностях нет ни малейшей заслуги! — ответил сыщик. — Самоубийства составляют мою специальность, и я же составлял и протокол о самоубийстве мосье Конрада.

— В самом деле?

— Да.

— Значит, вам и обязан этот несчастный молодой человек теми последними заботами, которые ему были оказаны в форме констатирования его смерти?

— Да это констатирование не представляло ни малейшего затруднения. Он выстрелил в себя в упор. Одну половину лица разнесло вдребезги, другую обожгло до неузнаваемости, так что и признали-то его, скорее, по письму, чем по лицу, которое распознать было уже невозможно.

— Вальженезам, вероятно, тоже дали знать об этой ужасной катастрофе?

Я сам отвез к ним эту весть вместе с копией протокола.

Ну, и что же? Ведь это должно было произвести на них чрезвычайно глубокое впечатление?

Да, именно — чрезвычайно глубокое и радостное.

— Понятно! Ведь существование этого молодого человека должно было постоянно тревожить их.

— Они попросили меня позаботиться о похоронах и выдали мне пятьсот франков на издержки.

— О, какие благородные родственники! — заметил Сальватор.

— Кроме того, они пожелали, чтобы я принес им также и копию со свидетельства о похоронах и смерти.

— И надеюсь, что вы сделали и это, мосье Жакаль?

Да, могу сказать, что сделал вполне добросовестно. Я сам проводил покойника до кладбища Пер-Лашез, велел при мне опустить гроб в могилу и положить над нею плиту с красивой надписью «Конрад», а потом поехал сказать маркизу, что он может быть спокоен до самого дня воскресения мертвых и увидится со своим племянником только в долине Иосафатовой.

Так что, теперь вся семья в этой уверенности спит спокойно? — спросил Сальватор.

— Да чего же им теперь бояться?

Это, конечно, так, но ведь случаются же на свете и вещи необыкновенные.

— А что же может, по-вашему, случиться?

— Однако, мы уже в Ба-Медоне! Будьте так добры, мосье Жакаль, прикажите остановиться.

Жакаль дернул за шнурок.

Кучер осадил лошадей.

Сальватор открыл дверцу и вышел.

— Извините,— сказал ему Жакаль,— но вы не ответили на мой последний вопрос.

— На какой же?

— Относительно того, что может случиться.

— Это о Конраде?

— Да.

— Может оказаться, например, что он вовсе не умер, и, следовательно, не намерен ждать дня воскресения мертвых и свидания с маркизом де Вальженезом в долине Иосафатовой... Однако до свидания, мосье Жакаль!

Сальватор захлопнул дверцу, а сыщик сидел в карете, растерявшись настолько, что забыл, куда ему надобно ехать, так что комиссионер вынужден был сам крикнуть кучеру:

— На Иерусалимскую улицу!

ХII

СОБРАТЬЯ — ВРАГИ

В то время как Жакаль, усердно набивая нос табаком, чтобы прояснить свои смешавшиеся мысли, неся к Парижу, Сальватор пошел к Жану Роберу, в дом умерших.

Это было именно в тот момент, когда Кармелита только что пришла в себя, а ни на минуту не покидавшие ее трое подруг решились приступить к трудному делу — рассказать ей все, что произошло.

Доминик всего за четверть часа перед тем уехал в Пеноель с телом Коломбо.

Людовик дал самые обстоятельные наставления относительно ухода за нею и собирался отправиться домой на улицу Нотр-Дам.

Жан Робер ожидал только Сальватора, чтобы вернуться в город вместе с ним.

У Людовика болела голова и от бессонной ночи, и дневных тревог, и он решился дойти до Парижа пешком.

Расстояние от Ба-Медона до улицы Сен-Оноре представляет, действительно, не более чем прогулку.

Медленно проходя по Ванвру, Людовик вдруг увидел

возле одного дома человек пятьдесят мужчин, женщин и детей. Все они стояли на коленях и громко молили Бога, чтобы он, хотя бы чудом, даровал исцеление доброму мосье Жерару, которого священник пошел уже причащать.

Зрелище было довольно редкое. Людовик подошел к самой огорченной из групп и спросил:

— О чем это вы плачете, друзья!

— Ах, сударь! Наш благодетель, отец родной умирает,— ответили ему.

Людовик вспомнил, что действительно приходили за Домиником звать его, чтобы он пришел исповедовать умирающего.

— Ах, да! — сказал он.— Это господин Жерар.

— Уж истинным другом всех несчастных был этот человек! — говорили в толпе.

— Что, он уже скончался?

— Нет еще. Только после того, как он поговорил с одним монахом, он так ослабел, что теперь священник из Медона его причащает.

При этих словах многие опять принялись рыдать.

Под маской скептицизма, которой обыкновенно прикрывался Людовик, в нем таилась женская чувствительность. Искренние слезы трогали его до глубины души.

— А сколько лет больному? — спросил он.

— Да не больше пятидесяти.

— Ведь это уж истинное наказание Божье за наши грехи,— сказал один из крестьян.— Этакий хороший человек умирает совсем молодым, а другие, злые, живут, точно им и веку нет.

— Это правда,— согласился Людовик.— В пятьдесят лет умирать еще рано; особенно, если человека все любят, как этого Жерара.

Несколько минут он стоял в раздумьи.

— А можно будет взглянуть на вашего больного? — спросил он наконец.

— Да вы уж не доктор ли? — спросили и его вместо ответа.

— Да, доктор.

— Из Парижа?

Людовик невольно улыбнулся.

— Да, да, доктор из Парижа,— сказал он.

— Так идите к нему поскорее, сударь! — заторопил его один из крестьян.

— Вас послал к нам сам Бог! — вскричала одна из женщин.

Толпа в одно мгновение охватила его тесным кругом. Одни умоляли его, другие прямо толкали, так что он почти против собственной воли очутился в доме.

Оказалось, что огорченные поселяне стояли не только на улице перед домом, но и в вестибюле, и на лестнице, и во всех комнатах, вплоть до самой спальни больного. Повсюду было от них тесно. Но при словах: «Доктор из Парижа! Доктор из Парижа!» они расступались и пропускали Людовика.

Исповедь была окончена, умирающий причастился, и звон колокольчика известил об этом всех присутствующих.

Когда появился хор детей и священник со святыми дарами, Людовик преклонил колени вместе с поселянами. Вслед за тем он встал и очутился в комнате больного.

Жерар был не один. В головах его кровати стоял человек лет пятидесяти с седыми усами и с орденом Почетного легиона в петличке. Он с видимым интересом следил за изменениями в лице умирающего.

Людовик и кавалер Почетного легиона, очутившись лицом к лицу, вопросительно оглядели друг друга, как бы пытаясь отгадать, с кем предстоит иметь дело, но так как это оглядывание не привело ни к чему положительному, Людовик решился заговорить первым и со всей почтительностью, которая подобает молодому человеку, обращающемуся к старику, тихо спросил:

— Вы брат больного?

— Нет, — ответил человек с седыми усами, продолжая рассматривать Людовика, — я его доктор.

— А я имею честь быть вашим собратом, — сказал Людовик, кланяясь.

Человек с седыми усами нахмурился.

— Ну, настолько, насколько двадцатилетний юноша может быть собратом человека, который провел двадцать лет на полях битвы и пятнадцать у постелей больных, — заметил он.

— Извините, — сказал Людовик, — значит, я имею честь говорить с господином Пиллоу?

Доктор выпрямился.

— Кто сказал вам мое имя, милостивый государь? — спросил он.

— Я узнал его очень просто, — ответил Людовик, — и оно было окружено массой самых лестных отзывов. Случай привел меня к двум молодым людям, которые хотели покончить с собой в Ба-Медоне. Я тотчас же

потребовал на помощь еще кого-нибудь из докторов. Мне назвали вас. Я послал за вами, но у вас ответили, что вы у господина Жерара.

— Ну, а ваши больные? — спросил военный доктор, несколько смягчаясь под влиянием вежливости Людовика.

— Мне удалось спасти только одного, а если бы вы были там, то очень может быть, что и другой остался бы в живых.

— А возвращаясь из Ба-Медона, вы слышали, что здесь есть больной и зашли сюда?

— Я никогда не позволил бы себе такой смелости, — возразил Людовик, — но бедняки, которые плачут здесь у дверей, втолкнули меня сюда почти насильно. Глубокою горе всегда радо ухватиться даже за самую ничтожную надежду, поэтому простите их, доктор, за это самоуправство, а вместе с ними простите и меня.

— Да мне нечего и некого прощать. Я очень рад вашему приходу, потому что один ум хорошо, а два — еще лучше! Жаль только, что в данном случае о в мире уже не может помочь делу.

Он нагнулся, еще понизил голос и прибавил:

— Этот человек не выживет.

Как ни тихо были сказаны эти слова, больной как бы услышал их и глухо застонал.

— Тише! — проговорил Людовик.

— Это почему?

— Потому, что слух сохраняется у умирающего человека дольше всех остальных чувств, и больной слышал то, что вы сейчас сказали.

Пиллоу покачал головой с видом сомнения.

— Так, по-вашему, надежды нет? — спросил Людовик, пригибаясь к самому его уху.

— Через два часа он скончается, — ответил Пиллоу.

Людовик ухватил его за руку и указал на больного, который начал метаться на постели.

Военный врач тряхнул головой, точно хотел сказать:

— Он может делать все, что ему угодно, но умереть он все-таки должен.

— Сегодня утром я еще надеялся поддержать его хоть на одни сутки, — объяснил он, — но какой-то осел вбил ему в голову фантазию исповедоваться. По правде сказать, он нуждался в этом менее, чем кто-либо на свете. Я знаю его с самого его переселения в Ванвр и могу смело сказать, что этот человек самой возвышен-

ной нравственности. Он пробыл целых три часа, запершись с каким-то монахом, и, вот полюбуйтесь, в каком положении он остался после его душеспасительной беседы! Ох, уж мне эти попы, монахи. Иезуиты! И подумать только, что это все возвратил нам тот самый император, которому мы обязаны столькими прекрасными вещами!

— А какой болезнью страдает господин Жерар? — спросил Людовик.

— Э, да самой обыкновенной! — ответил Пиллоу, пожимая плечами с таким видом, будто на свете и существовала всего только одна болезнь.

Людовик улыбнулся. По этому определению он узнал одного из сторонников Бруссе, который, однако, злоупотреблял воззрениями великого учителя.

Но ему тотчас же пришло в голову, что здесь вся жизнь человека зависит от того, что попала в руки невежды или фанатика, и улыбка исчезла с его лица. Он незаметно пожал плечами и оглядел старика с видом человека, который решил держаться настороже.

— Под словом болезнь «обыкновенная» вы, вероятно, разумеете гастрит? — спросил он.

— Да, разумеется! — согласился старый врач. — Здесь в этом не может быть ни малейшего сомнения. А лучше всего — осмотрите его сами.

Людовик подошел к кровати.

Больной лежал в полнейшем изнеможении. Дыхание было тяжело и шумно, грудь вздымалась мучительно высоко.

Людовик долго всматривался в его лицо.

Оно было мертвенно бледно, с желтоватым оттенком. Конечности были влажны и холодны, на лице и голове выступил холодный пот.

По одним только этим внешним признакам Людовик понял, что болезнь серьезная; но, тем не менее, не видел еще неизбежности смерти, на которой настаивал Пиллоу.

— Вы очень страдаете? — спросил он.

При этом вопросе, заданном незнакомым голосом, как бы сулившим надежду, Жерар открыл глаза и повернул голову.

Людовика поразила жизненная сила, прорывающаяся в глазах умирающего и вовсе не соответствующая общему истощению всего остального тела. Белки глаз были желты, черты лица искажены, лицо мертвенно, но глаза, или вернее, зрачки были живы и ясны.

— Покажите-ка мне ваш язык, — сказал Людовик.

Жерар открыл рот и высунул язык. Он оказался обложенным бело-желтым налетом с прозеленью.

Теперь Людовик уже не сомневался в своем деле и невольно взглянул на старого врача, как бы говоря ему: «Разве же вы не видите, что это вовсе не гастрит?!».

Но тот в своей самоуверенности был так спокоен, что не обратил на этот взгляд ни малейшего внимания.

Людовик принялся осматривать грудь.

— Больно вам? — спросил он, слегка нажимая на нее.

— Нет, — ответил Жерар.

— Как? Даже когда я нажимаю довольно сильно?

— Мне тогда только легче дышится.

Людовик опять обернулся и снова взглянул на старика вопросительно-укоризненным взглядом.

Но тот по-прежнему не обратил на него внимания.

Людовик улыбнулся. Теперь он был уверен, что Жерара лечили совершенно не от той болезни, которой он страдал.

Он подошел к старику и спросил, как давно длится болезнь.

Пиллоу обстоятельно рассказал ему, как Жерар бросился в фонтан сада, чтобы спасти ребенка, какие последствия это для него имело, и затем очень охотно отвечал на все вопросы молодого человека.

— Ну, и что же? — спросил он шутливо, когда Людовик замолчал.

— Почтительнейше благодарю вас за сообщенные мне сведения! — ответил тот. — Теперь я знаю все, что мне было нужно.

— И что же именно вы знаете?

— Знаю, какой именно болезнью страдает этот больной.

— Да и узнать-то это было не трудно, потому что я с того и начал, что сказал вам это.

— Совершенно верно. Но дело в том, что взгляды наши на этот предмет расходятся.

— Что вы хотите этим сказать?

— Не найдете ли вы более удобным пройти со мною в соседнюю комнату. Мы можем утомить больного нашим разговором.

— Ах, нет, ради Бога, не уходите! — взмолился Жерар, собрав все свои силы.

— Успокойтесь, друг мой, — проговорил Пиллоу, — я обещал вам, что не оставлю вас, и сдержу свое слово.

Доктора подошли к двери. Людовик отворил ее.

На пороге столкнулись с сиделкой.

— Через пять минут мы вернемся, — сказал ей Людовик, — а до тех пор, чего бы у вас ни просил больной, не давайте ему ничего.

Марианна взглянула на Пиллоу, как бы спрашивая, следует ли ей исполнять это приказание?

— Да, да, так и сделайте! — сказал старик. — Этот господин воображает, что спасет больного.

Он ожидал, что Людовик станет возражать ему, но тот, к величайшему его удивлению, не сказал ни слова, а только посторонился и пропустил его вперед с той почтительностью, которую воспитанный юноша должен иметь к преклонным летам.

ХIII

ЛЮДОВИК ПРИНИМАЕТ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ

Доктора остановились в прихожей.

Трудно было бы подыскать более живое и типичное олицетворение науки и рутины.

— Теперь потрудитесь мне сказать, мой юный друг, зачем вы привели меня сюда? — сказал Пиллоу.

— Прежде всего затем, чтобы не утомлять больного нашим разговором, — ответил Людовик.

— Цель весьма основательная, потому что он человек умирающий.

— Тем основательнее не говорить этого в его присутствии, если вы в этом уверены.

— Да вы, кажется, думаете, что люди нашего поколения — сплошь дрянные бабы, в то время как в вашем — одни молодцы?! — вскричал бывший главный хирург. — Я был помощником Ларрея, государь мой, и присутствовал при том, когда храброму Монтебелло отнимали обе ноги. Перед операцией доктора целых пять минут спорили между собою, следует ли сделать ампутацию или оставить его умереть так, не мучая понапрасну? И вы, может быть, воображаете, что они говорили все это тихонько, в тайне от больного? Ничуть не бывало, государь мой, — он сам толковал с ними, точно дело шло о ком-то совершенно постороннем. Я и до сих пор слышу, как он крикнул, точно подавал команду войску: «Вперед!» — «Да уж режьте, режьте, черт возьми!»

— Очень может быть, что на поле битвы, где докторам приходится иметь дело с двадцатью тысячами раненых одновременно, им действительно некогда принимать с ними те предосторожности, за которые вы удостоили наше поколение прозвища «бабье», — возразил Людовик, — но здесь мы ведь не на поле битвы, а господин Жерар вовсе не маршал Франции, каковым был храбрый Монтебелло. Напротив, этот человек глубоко потрясен своим положением. Мне даже кажется, что он ужасно боится смерти, и что ужасы, которые наполняют его воображение, действуют на него разрушительнее самой болезни.

— Кстати, о болезни! Если не ошибаюсь, вы, кажется, сказали, что не согласны с моим взглядом? Что же вы о ней думаете?

— Что вы ошибаетесь, леча от гастрита.

— То есть, как это я — ошибаюсь?

— Ошибаетесь, предполагая, что г-н Жерар страдает гастритом.

— Да я этого вовсе не предполагаю, милостивый государь, а прямо утверждаю это!

— А я нахожу, что у него соверш другая болезнь.

— Что же у него, по-вашему? Вы, вероятно, предполагаете...

— Я тоже не предполагаю, а утверждаю...

— Ну, хорошо: утверждаете, что у г-на Жерара...

— Не гастрит! Я имею честь уже в третий раз повторять вам это.

— Так что же у него, черт возьми, если не гастрит?

— Простая пневмония, — холодно сказал Людовик.

— Пневмония! Вы считаете это пневмонией?

— Разумеется! Ничем иным это и быть не может.

— Может быть, вы станете также утверждать, что можете и спасти его?

— Что касается этого, то утверждать я не могу, но надеяться осмеливаюсь.

— А нельзя ли узнать, какое это чудодейственное средство вы намерены ему прописать?

— С вашего позволения, почтеннейший коллега, я об этом еще подумая.

— Это что же еще значит? Вы просите у меня позволения спасти моего старого друга?

— Я прошу позволения лечить вашего пациента.

— Даю вам это позволение сто, тысячу раз! Дай Бог только, чтобы это к чему-нибудь привело. Но если

хотите послушать моего совета, лучше не рассчитывайте на то, что он проживет дольше, чем до завтрашнего рассвета.

— В таком случае я все-таки рискну сделать невозможное,— сказал Людовик, не изменяя прежнему тону почтительной вежливости.

Старик не понял деликатности молодого врача и принял его слова за признак нерешительности и сомнения.

— Вы выразились совершенно верно,— сказал он,— это дело невозможное.

— Теперь позвольте спросить, чем вы пользовали его до сих пор, почтеннейший коллега? — продолжал Людовик.

— Я сделал ему два кровопускания, поставил пиявки на желудок и посадил его на строжайшую диету.

По лицу Людовика скользнула улыбка, но вызвана она была, скорее, состраданием к больному, чем насмешкой над сильно распространенной тогда модой на пиявки и диету.

Доктора еще продолжали свое совещание, когда несколько человек поселян, с нетерпением ожидавших свершения чуда над своим благодетелем, вошли в прихожую.

— Ну, что? Лучше ему? — спрашивали они перебивая друг друга.

Старый хирург так привык, что его осыпали подобными вопросами каждый раз, когда он выходил от Жерара, что подумал — и теперь они обращены к нему.

Но, увы! Если переменчива волна, то женщина еще переменчивее ее! Но в мире есть нечто, еще переменчивее и волны, и женщины — это толпа.

Так и теперь один из поселян, наиболее энергично настаивавших на том, чтобы Людовик шел к больному, на ответ старого доктора: «Мы сделаем все, что возможно сделать!» грубо крикнул ему:

— Да мы не у вас и спрашиваем!

Несомненно, что почтенный помощник знаменитого Ларрея, присутствовавший при том, как отрезали ноги храброму Монтебелло, сделал тоже несколько горьких умозаключений по поводу непостоянства толпы, но, к сожалению, он прибавил к ним искреннее пожелание, чтобы исполненная самомнения наука молодого доктора потерпела поражение и чтобы им обоим пришлось делить то презрение поселян, которое падало теперь на него одного.

Другой крестьянин обратился прямо к Людовику.
— Ну, что? — спросил он. — Как вы его нашли? Очень плохо?

— Нет никакой надежды? — спросил другой.

— Друзья, — ответил им Людовик, — пока больной еще не умер, всегда следует надеяться, если не на доктора, то на силы природы. Господин Жерар, слава Богу, еще жив.

Толпа загудела одобрительными восклицаниями.

— Значит, вы спасете его? — спрашивало голосов двадцать.

— Я употреблю на это все мои усилия, — отвечал Людовик.

— Ах, спасите, спасите его! — кричали ему со всех сторон.

При этих криках Марианна приотворила дверь спальни.

— Что там такое? Что за шум? — спросил у нее больной с усилием. — Неужели нельзя дать мне хоть умереть спокойно?

— Да вы вовсе и не умрете, — ответила сиделка.

— Как не умру? — оживляясь, спросил больной.

В потухавших глазах его сверкнул луч надежды.

— Да так уж, не умрете. Молодой доктор, который недавно пришел, сказал мужикам, что, может быть, спасет вас.

— А! «Может быть!» — простонал Жерар, снова падая на подушки. — Но, во всяком случае, Марианна, умоли его, чтобы он не уходил! Пусть останется здесь, ради самого Бога.

Это усилие снова окончательно истощило его. Он остался лежать совершенно неподвижно, и единственным признаком, что он еще жив, было неровное колыхание его груди да со свистом вылетавшее из нее дыхание.

— Господа! — крикнула Марианна. — Хозяину худо! Он, кажется, кончается!

Людовик стремительно вошел в спальню и пощупал пульс больного.

— Это пустяки, — проговорил он, — простой обморок вследствие непосильного напряжения! Мужайтесь, не падайте духом, господин Жерар.

Больной тяжело вздохнул.

Марианна, стоя у дверей, всеми силами старалась не впустить толпу в спальню.

— Надеюсь, вы не ограничитесь только тем, что скаже-

те больному: «Мужайтесь, не падайте духом»,— заметил старый хирург.— Ведь пропишете же вы ему что-нибудь.

— Дайте мне бумаги, чернила и перо,— сказал Людовик, обращаясь к сиделке,— я выпишу рецепт.

Все бросились разыскивать вещи, которые он спрашивал.

Больной, у которого слова «может быть» снова отняли всякую надежду, беспомощно метался по кровати и своими просительно сжатыми руками лучше, чем всякими речами, выражал мольбу:

«Ради самого Бога, дайте мне умереть спокойно!»

Но никто уже не думал о той мучительной кончине, которую мог причинить ему весь этот шум, так всем хотелось, чтобы он остался жить.

Людовику добыли все, что ему было нужно, и он начал разыскивать место, где бы можно было написать несколько слов; но все столы оказались заставлены всевозможными банками, склянками, блюдами и флаконами.

Крестьяне, заметив растерянность доктора, наперебой предлагали ему кто свою спину, кто колени.

Наконец, Людовик наткнулся на одну более других подходящую спину, употребил ее вместо стола и написал рецепт.

— Пошлите это сейчас же в аптеку,— сказал он сиделке.

Не успел он договорить эти слова, как рецепт вырвали у него из рук, и между крестьянами поднялась возня, так как каждый хотел быть полезен своему умирающему благодетелю.

Наконец, драгоценный лоскуток бумаги очутился в руках какого-то хромого, который, усиленно ковыляя, со всех ног понесся в аптеку.

— Послушайте, матушка,— сказал Людовик сиделке,— сейчас вам принесут микстуру. Давайте ее господину Жерару через каждые полчаса по половине ложки. Слышите? Не чаще, чем через полчаса и не больше, чем я сказал.

— Хорошо-с! Через каждый полчаса по половине ложки?

— Да, да, верно!.. А мне необходимо отправиться в Париж!

Больной вздохнул так тяжело и горько, точно в эту минуту расставался с последней надеждой на жизнь.

Людовик услышал этот вздох и понял, что за ним таилась страстная, отчаянная мольба о спасении.

— Съездить в Париж мне необходимо, но часа через три я вернусь узнать, какое действие произвела микстура,— сказал он.

— И вы уверены, что она его спасет? — проворчал старый хирург.

— Сказать, что я в этом уверен, значило бы выразиться слишком смело, почтенный коллега. Вы лучше, чем кто-либо другой, знаете, что человек никогда не смеет быть в чем-нибудь уверен, но...

Людовик еще раз взглянул на больного.

— Но я надеюсь,— закончил он.

Это слово вызвало новый одобрителный ропот в толпе.

В это же время больной снова приподнялся на своей постели.

— Через три часа? — переспросил он.— Хорошо. Только постарайтесь не опоздать!

— Обещаю вам, что не опоздаю.

— Благодарю вас. Я стану считать каждую минуту до вашего прихода,— сказал больной, отирая со лба холодный пот, который со стороны каждый признал бы за предсмертный.

Людовик вышел вместе со старым хирургом, пропустил его в дверях впереди и вообще оказывал ему перед толпою все знаки глубочайшего уважения.

Он направился прямо к Парижу, отыскивая фиакр, кабриолет, карету, словом, какой бы то ни было экипаж, который мог бы доставить его на место скорее, чем его усталые ноги.

Старый хирург шел рядом с ним, и его душа кипела жаждой мести, а зубы были крепко сжаты.

Людовику казалось неуместным заговорить первому, хотя бы даже для того, чтобы проститься.

Это тягостное молчание двух собратьев по профессии прервал хромой, спешно ковылявший из аптеки.

Он остановился перед докторами и, подавая Людовику склянку, спросил:

— Это, господин доктор?

— Да, да, это самое,— ответил тот, встряхивая бутылку и разглядывая ее на свет.— Скажи, пожалуйста, сиделке, чтобы она непременно делала именно так, как я ей сказал.

Эта встреча послужила Пиллоу предлогом для начала разговора.

— Может быть, вы думаете, милейший коллега, что

я не знаю, что именно заключается в этой склянке? — спросил он.

— Разве я имею право думать о вас что-нибудь подобное? — возразил Людовик.

— Ведь это слабительное?

— Совершенно верно.

— Еще бы! Что же, кроме слабительного, можно дать в случае, который вы предполагаете.

— Послушайте, почтеннейший коллега, — сказал Людовик, — я настолько уважаю вашу опытность, что, право, хотел бы ошибиться, если бы с моей стороны это не значило желать смерти больному.

Говоря это, он оглядывался во все стороны, но не видя никакого экипажа, свернул на проселочную тропинку поперек поля, которая должна была, по-видимому, скорее довести его до города.

Между тем, старика так интересовало действие прописанной микстуры, что он тотчас же после ухода Людовика возвратился в дом Жерара и уселся у его изголовья, хотя больной и смотрел на его появление не без ужаса.

Такая поспешность со стороны доктора весьма изумила крестьян, продолжавших толпиться в доме и у подъезда; но еще больше удивила она сиделку, которая знала, что, если посылали за доктором Пиллоу, то ждать его приходилось очень долго, а теперь вдруг он явился сам, без всякого приглашения и притом почти вслед за тем, как вышел из дома больного. Тем не менее, старик не дал себе труда объяснить ей основных причин своего появления.

Он попытался было расспрашивать Жерара о самочувствии, но тот из недоверия или по действительной слабости отказался отвечать ему.

За неимением лучшего, старик обратился к сиделке.

— Ну, что Марианна, — спросил он, — как идут дела?

— Ах, очень плохо, господин доктор, — ответила та.

— Давали вы ему эту удивительную микстуру?

— Давала.

— Ну, и что же? Как она действовала?

— Плохо! Очень плохо, господин доктор!

— Ну, а все-таки, как же именно?

— Рвало его, господин доктор.

— А! Я так и знал! Ну, да, к счастью, я за это не отвечаю, и если он умрет, то отправил его на тот свет не я.

— Это так, господин доктор, да ведь к смерти-то приговорили его все-таки вы.

— Ну, разумеется, я, черт возьми! Без этого уж нельзя! А то ведь вдруг больной взял бы да и умер! Тогда вы же пришли бы к доктору и сказали: «Вот он и умер, а вы об этом никого и не предупредили!» Ведь от этого могла бы пострадать честь медицины!

— И так бывает, — согласилась Марианна, — но если бы больной выздоровел, то честь медицины выиграла бы еще больше.

В таких медико-философских рассуждениях доктора и сиделки прошло около полчаса.

Вскоре приехал Людовик.

Он вошел именно в тот момент, когда доктор Пиллоу, вероятно, на том основании, что наука не щадит даже собственных детей, — глядя на Жерара, которого только что вырвало, жалобно приговаривал:

— Ах, погиб он, погиб!

Людовик услышал это причитание, но, не обращая на него внимания, прямо подошел к больному, внимательно посмотрел на него и пощупал его пульс.

После минуты наблюдения, — минуты, которую тяжело пережили и его честное сердце, и старый эгоист-хирург, — он поднял голову.

Пиллоу и сиделка не спускали с него глаз и тотчас же заметили, что на лице его выражается полнейшее удовлетворение.

— Все идет отлично! — проговорил он.

— Как это — отлично? — с удивлением переспросил Пиллоу.

— Ну да, пульс усилился.

— А! И вы заключаете из этого, что ему лучше?

— Разумеется.

— Но, странный вы молодой человек, — ведь его вырвало!

— Вырвало? — переспросил Людовик, взглядывая на Марианну.

— Понимаете вы теперь, что он погиб?

— Напротив, — спокойно возразил Людовик, — из этого я только больше убеждаюсь в том, что он спасен.

— И вы беретесь отвечать за жизнь моего лучшего друга? — вскричал старый Пиллоу.

— Ручаюсь за нее моей собственной головой, — ответил Людовик.

Старик схватил шляпу и вышел с выражением лица

математика, которого принялись убеждать, что дважды два пять, а не четыре.

Людовик написал другой рецепт и отдал сиделке.

— Вот что, матушка,— сказал он.— Вы слышали, что я взял на себя ответственность и, вероятно, знаете, что это значит на нашем докторском языке. Ну, так постарайтесь же, чтобы все мои распоряжения исполнялись в точности, и тогда господин Жерар будет спасен.

Умирающий радостно вскрикнул, схватил руку молодого человека и, прежде, чем тот успел отдернуть ее, прильнул к ней губами.

Но почти вслед за тем лицо его исказилось выражением нестерпимого ужаса.

— А монах-то, монах! — прошептал он, точно подкошенный, падая на подушки.

XIV

ЧЕЛОВЕК С ФАЛЬШИВЫМ НОСОМ

Людовик и Петрюс расстались у дверей убогого трактира. Людовик отправился в Медон проводить Шант-Лиля, а Петрюс пошел на свой сеанс.

Но прежде, чем повести рассказ о приключениях молодого художника, необходимо поближе взглянуть на его собственную личность.

По наружности это был красавец, поражающий природным изяществом фигуры и движений, которое ставило его в ряд с утонченнейшими аристократами. Но он так ненавидел всех этих сынков знатных родов, которых прозвали так, вероятно, в отличие от тех людей, которые представляют собой лишь сынов собственной деятельности, что стыдился даже своего внешнего сходства с ними и тщательно скрывал его.

Он одевался неряшливо, чтобы скрыть красоту своего стана, бравировал всякими пороками, чтобы замаскировать свои природные достоинства. Жан Робер сказал ему в день или, вернее, в ночь знакомства совершенно верно: он прикидывался скептиком, кутилой и развратником, чтобы скрыть от окружающих, насколько он был наивен.

В сущности же, это было юное, честное, невинное и увлекающееся сердце двадцатипятилетнего юноши-артиста.

Тем не менее, мысль о маскараде и об ужине принадлежала именно ему.

Утром этого дня он спокойно вышел из дому, а около двенадцати часов вернулся очень озабоченным.

Жан Робер обещал прочесть ему в этот же день первый акт своей новой трагедии, но он мысленно послал его весьма далеко. Людовик хотел заняться его несколько запущенным здоровьем, но он послал его еще дальше, чем Жана Робера.

Вообще, он был так расстроен и странен, что друзья скоро заметили это; но когда они стали его расспрашивать, он смело глянул им в глаза и проговорил:

— Я — расстроен и грустен? Да, вы, кажется, оба с ума сошли!

Молодые люди попробовали было настаивать, чтобы он признался, что с ним; но каждый раз, как они заводили об этом разговор, он под каким-нибудь предлогом уходил в самый дальний угол своей мастерской.

Наконец, они довели его своими расспросами до того, что он рассердился и объявил, если они станут приставать к нему еще, то он выскочит в окно, чтобы посмотреть, погонятся ли они за ним и тогда.

Людовик предположил, что у него припадок белой горячки и ему следует пустить кровь. Петрюс вспылil окончательно, отпер окно и предупредил, что при первом их слове исполнит свою угрозу.

При этих словах он как истинный бретонец из Сен-Мало, привыкший лазать по совершенно отвесным стенам и самым узким карнизам, так перегнулся через оконную раму, что друзья невольно вскрикнули.

Петрюс громко расхохотался, что еще более удивило Людовика и встревожило Жана Робера.

— Да что с тобой? — спросили они в один голос.

— А то, что я вижу перед собой самую лучшую модель для карикатуры Шарле или для героя романа Поля де Кока, какую только можно встретить в такой бешеный день, как вторник масленицы.

— Это где же?

— Да вот посмотрите. Я ведь не эгоистичен.

Людовик и Петрюс вместе выглянули в окно.

Вход в мастерскую художника был с улицы Уэст; но окна ее выходили на эспланаду * Обсерватории и там по аллее Обсерватории расхаживал странный субъект, которого Петрюс предназначал для карандаша Шарле или для пера Поля де Кока.

* Эспланада — зд широкая улица с аллеями посредине.

То был человек, скорее, маленького, чем высокого роста, скорее, толстый, чем худощавый, одетый в черное и с тросточкой в руках. Он уныло брел по аллее.

Сзади он представлял из себя почти круглую фигуру, в которой, впрочем, не было ничего необыкновенного.

— Да что же ты находишь в нем такого смешного? — спросил Жан Робер.

— Человек как человек, — заметил Людовик, — только, кажется, с невралгией правой ноги.

— Ну, вот и ошибаешься, — он вовсе не человек как человек, а представляет из себя нечто особенное! — вскричал Петрюс. — И в доказательство этого признаюсь тебе, что мне хотелось бы быть таким, как он.

— Так скажи, в чем именно ты ему завидуешь? — проговорил Жан Робер. — Если это нечто такое, что можно купить, я побегу к нему, мы сторгуемся, дело будет в шляпе.

— В чем я ему завидую? Во-первых, он один, и у него не висят на шее двое друзей, которые меня изводят; во-вторых, мне скучно, а он забавляется.

— Напротив, он повесил нос, как висельник! — возразил Людовик.

— Этот-то забавляется? — спросил Жан Робер.

— Да, в лучшем виде!

— Ну, с виду на то не похоже! — сказал Людовик.

— А я утверждаю, что в душе этот человек хохочет во все горло! Хотите, я сейчас докажу вам это?

— Хорошо, смотрите, что будет, — сказал Петрюс.

Он приложил руки к губам в виде трубы и громко крикнул:

— Эй, послушайте! Господин, который гуляет по аллее!

Маленький человек в черном был в аллее один, понял, что этот окрик мог относиться только к нему, и оглянулся.

Писатель и доктор расхохотались тем же гомерическим смехом, которым за минуту до этого удивил их Петрюс.

Гуляющий оказался человеком лет пятидесяти с огромным картонным носом посреди лица.

— Что вам угодно, сударь? — спросил он.

— Ничего, государь мой, решительно ничего! — ответил Петрюс. — Мы уже видели все, что нам было нужно.

Он обернулся к друзьям.

— Признаюсь, если смотреть на него сзади, он кажет-

ся очень серьезным, а если взглянуть спереди, оказывается очень забавным,— сказал Жан Робер.

— Я предложу академии решить, какой болезнью страдает человек, который расхаживает в черных брюках, в черном сюртуке, в круглой шляпе и с накладным носом? — объявил Людовик.

— И что же? Ты, вероятно, назначишь за это приличную премию? — презрительно спросил Петрюс.

— Подожди,— сказал Жан Робер,— сегодня Петрюс в ударе и легко разгадает, он тебе это и даром скажет.

— Сомневаюсь! — возразил Людовик.

— А может быть, он видит в нем что-нибудь и побольше одного фальшивого носа.

— Но что же из этого, если он увидит на нем еще и фальшивый тупей? *

— О, Боже! К чему повел Колумба вид надутого ветром паруса? К чему повело Ньютона упавшее яблоко? К чему повел Франклина удар молнии в летучую змею? — вскричал Петрюс с напускным энтузиазмом, что составляло одно из выражений комизма в ту эпоху.— Все это повело людей к открытию правды!

— Послушай,— сказал Жан Робер,— один философ, которого я, к сожалению, не знаю, сказал, что если человек откроет какую-нибудь истину и сохранит ее только для себя, то это значит, он дурной гражданин. Ну, так поведай же нам скорее истину, которую ты открыл, Петрюс.

Петрюс был именно в одном из тех припадков нервного возбуждения, когда возможность говорить приносит облегчение.

— Хорошо, жалкие слепцы! — сказал он.— Знайте же, что под накладным носом этого человека я вижу всю его жизнь.

— Прекрасно! Продолжай, продолжай! — подхватил Людовик.

— И эту историю я расскажу вам.

— Тише! Слушайте, слушайте! — вскричал Жан Робер на манер английского парламентаря.

— У этого человека есть жена, которая для него нестерпима и жизнь ведет такую же нестерпимую. Доброжелательные соседи сообщили ему, что его дети родились не от него. На этом основании привратник дома,

* Тупей — старинная прическа, взбитый хохол волос на голове.

в котором он живет, смотрит на него насмешливо, когда он выходит, и печально, когда он возвращается. У него есть всего один-единственный друг и именно тот, которого обвиняют в непримиримой вражде к нему. Эта клевета основана или, если хотите, она ни на чем не основана. Он все это знает и имеет доказательства. Но, тем не менее, он продолжает пожимать руку своего друга,— или врага, если хотите,— играет с ним каждый вечер в домино, приглашает его раз в неделю обедать, поручает ему провожать свою жену на первые представления, называет его: «Мой милейший, мой дорогой, мой любезнейший» и вообще употребляет самые нежные слова, а в сущности ненавидит, проклинает его, готов бы был съесть его сердце, как Габриэль де Вержи съела сердце своего любовника Рауля. Но к чему же разыгрывает он эту комедию? К чему поощряет жену и ее поклонника? Он делает это потому, что он мудрец и желает в своем доме спокойствия, которого ему не видать бы как своих ушей, если бы он не закрывал глаз и открыл рот. Он мудр, как Сократ, и вообще тихий, благонамеренный гражданин.

— Но есть же у него, по всей вероятности, и какие-нибудь радости? — спросил Жан Робер, стараясь поддержать юмористическое воодушевление друга. — Ведь нашел же он среди мрачной Сахары своего супружества какой-нибудь оазис, какой-нибудь чистый источник, к которому ходит освежаться и набираться новых сил для того, чтобы брести дальше по горячему песку супружеской пустыни?

— О, да, разумеется! — ответил Петрюс. — Ведь человек не может быть ни совершенно счастлив, ни совсем уже несчастлив. Ведь и в каждой тени есть проблески света, как в порывах ветра Рейсдаля и в бурях Жозефа Верне. Да, и у этого человека, как и у всех смертных, есть свои тайные радости. И можете вы угадать, в чем они состоят? Нет и тысячу раз нет. Но я скажу вам это. Невыразимое наслаждение этого человека, о котором он тайно мечтает в продолжение целых трехсот шестидесяти черных дней, состоит в том, чтобы надеть в масленичный вторник накладной нос. Пользуясь правами обычая, он идет по своему кварталу с уверенностью, что его никто не узнает, и оскорбляет злых соседей, которые оскорбляли его самого. Он верит в свою неузнаваемость особенно смело с тех пор, как наткнулся в прошлом году на свою жену, которая ехала в карете с любовником. Они

видели его, но не поспешили даже опустить штору. Этот человек не уступит своих вторников за двадцать тысяч,— в эти дни он царь Парижа, который ходит по своему городу инкогнито, и сегодня вечером, когда он вернется домой, а жена станет спрашивать его, как он провел день, он ничего ей не скажет, а только взглянет на нее с состраданием, думая о тех удовольствиях, которые он испытывал в течение шести или семи часов. Итак, уважайте этого человека,— продолжал Петрюс,— уважайте его и завидуйте ему, потому что он веселится и забавляется, тогда как вы даже в дни общего веселья похожи: Людовик — на доктора, который только что отравил Веселость, а ты, Жан Робер, на могильщика, который только что отвез ее на кладбище Пер-Лашез.

— Если ты так ему завидуешь, так за чем же дело стало,— заведи себе тоже фальшивый нос,— предложил Людовик.— Ты ведь можешь точно так же, как и он, интриговать прохожих и уверять всех соседей по кварталу, что их жены обманывают.

— Не подбивай меня на это, Людовик.

— Не уговаривай безумного проявлять свое безумие,— сказал Жан Робер.

— Говорят, что безумие — мать разума,— наставительно произнес Петрюс,— а это доказывается тем, что человек, бывший безумцем в молодости, становится мудрецом в старости, и, наоборот, люди, благоразумные в молодости, становятся безумцами в старости. Так что имейте в виду, что ожидает вас обоих. Вы стоите, сами того не подозревая, на пути к разврату, к которому поведет вас ваша теперешняя мудрость. Не так поступали отцы наши — в молодости они были молоды и стары в летах преклонных. Они не считали недостойным себя справлять все праздники вообще, а масленичный вторник в особенности. Но вы, двадцатипятилетние старцы, разыгрывающие Манфредов и Вертеров, вы презираете невинные удовольствия предков. В дни карнавала вы не пойдете на улицу! Напротив, вы бежите, запираетесь у меня, который — черт возьми! — еще скучнее, мрачнее и кислее вас самих!

— Bravo, Петрюс! — вскричал Людовик.— Клянусь честью, ты переубедил меня, и в доказательство этого и я намерен сделать тебе другое предложение.

— А именно?

— Оденемся все трое в эти костюмы шутов и пойдем в таком одеянии шататься по самым скверным местам Парижа.

— Согласен! — сказал Петрюс, — мне необходимо развлечься. А ты, Жан Робер, с нами?

— Невозможно! Я обедаю на улице Сент-Аполен, а вечер должен провести в одном семейном доме. Следовательно, прошу меня уволить.

— Хорошо, но с одним условием.

— С каким это?

— Только сделай милость, не отказывайся и не ломайся.

— Даю слово вести себя, как в играх, — сделаю все, что мне придется делать.

— Видите ли, мне очень интересно знать, ошибся ли Петрюс относительно человека с фальшивым носом. Ты должен подойти к нему и спросить: «Как вас зовут? Кто вы? Чего вы ищете?» А мы станем ждать тебя здесь.

— Хорошо, — сказал Жан Робер.

Он взял шляпу и вышел. Минут десять спустя он вернулся.

— Ловко я попался, нечего сказать! — вскричал он.

— А что? Он тебе ничего не ответил?

— Напротив! Он сказал мне, что зовут его Жибасье, что он бежал с каторги и что теперь ожидает одного господина, который должен ему дать тысячу экю за одно дельце, которое он устроил сегодня ночью.

Все трое громко расхохотались.

— Ну, вот видишь, — сказал Людовик Петрюсу, — это совсем не то, что ты говоришь.

— Это из чего ты заключаешь?

— У буржуа не хватило бы остроумия на такой ответ.

Они оделись и вышли на улицу, расхваливая находчивость человека с фальшивым носом.

Результатом этого предложения Петрюса и были все приключения, составляющие начало нашего рассказа.

XV

ВАН ДЕЙК С УЛИЦЫ УЭСТ

Кроме поразительной красоты и изящества, наружность Петрюса имела еще одну особенность, которая сразу делала его человеком, заметным в толпе. Особенность эту составляло чрезвычайное сходство с Ван Дейком... При взгляде на него невольно приходил в голову вопрос, какова женщина, перед которой преклонится этот баловень природы, а в воображении возник

кал прелестный образ маркизы Бриньольской, прославленной столькими портретами работы гениального фламандца.

Но Петрюс довольно долго сохранял свободу своего сердца, которое имело право быть требовательным в выборе своего божества. Один случай, однако, неожиданно решил это дело.

Однажды, возвращаясь домой по довольно пустынной улице Уэст, на которой была и его мастерская, Петрюс увидел, что перед дверью дома, в котором он жил, остановилась роскошная карета. Она пронеслась мимо него с быстротою вихря, но гербы на ее дверцах были сделаны так четко и ярко и таких размеров, что он все-таки успел рассмотреть их. То была голова мавра в настоящую величину, над нею княжеская корона и девиз: «*Adsit fortior!*» (Пусть явится кто-нибудь более храбрый).

Когда карета остановилась, сидевший на козлах лакей в синей с серебром ливрее соскочил на землю, открыл дверцу, и из нее вышла молодая женщина поразительно изящной и аристократичной наружности.

Вслед за нею, тяжело опираясь на руку лакея, появилась старуха лет шестидесяти.

Девушка остановилась, закинула голову назад и, повидимому, не найдя того, чего искала, обернулась к кучеру и спросила:

— Уверены ли вы, что это № 92?

— Точно так, ваше сиятельство, — ответил тот.

Дом Петрюса был под № 92.

Увидев, что дамы вошли, художник перешел улицу и, входя в дом, слышал, как младшая из них спрашивала у привратницы:

— Здесь живет мосье Петрюс Гербель?

Гербель была фамилия Петрюса.

Консьержка была буквально ослеплена великолепием обеих дам и роскошью мехов, в которые они были закутаны.

— Точно так, сударыня, — ответила она, почтительно приседая, — только теперь их дома нет.

— В какое же время можно его застать? — продолжала девушка.

— Утром-с, часов до двенадцати, а то и до часу, — сказала консьержка. — Да, впрочем, вот они и сами, — прибавила она, увидев художника, который был на целую голову выше обеих посетительниц.

Они обернулись, а Петрюс снял шляпу и почтительно раскланялся.

— Вы господин Петрюс Гербель? — спросила старшая довольно дерзко.

— Я, — холодно ответил художник.

— Мы хотим заказать портрет, — продолжала старуха тем же тоном, — возьметесь вы его сделать?

— Это мое ремесло, сударыня, — ответил Петрюс чрезвычайно вежливо, но еще холоднее прежнего.

— Хорошо. Так когда же вы думаете начать? Долго это будет? Много сеансов вам нужно? Говорите скорее: мы совсем замерзли.

Молодая девушка, которая все время не говорила ни слова, заметила резкость тона старухи и сдержанность Петрюса. Она подошла к нему и спросила:

— Скажите, пожалуйста, портрет, который был на последней выставке под № 309, вашей работы?

— Да, моей сударыня, — ответил Петрюс, смущаясь и от ее красоты, и от мягкости голоса, которым был задан вопрос.

— Если не ошибаюсь, то был ваш собственный портрет? — продолжала она.

— Совершенно верно, — сказал художник, краснея. Мне хотелось бы иметь мой портрет в таком же роде: мне чрезвычайно понравились в нем сочетания цветов. У меня уже есть около десяти моих портретов. Их делали по заказу мамы или тети, но я недовольна ни одним из них. Не согласитесь ли вы попробовать угодить такой капризной особе, как я? — прибавила она, улыбаясь.

— Постараюсь и даже сочту это для себя за великую честь.

— За честь? — вмешалась старуха. — Почему же это может составить для вас честь?

Потому, что портрет особы такой красоты и такого положения, как мадемуазель Ламот Гудан, достоин сделать только знаменитый художник.

— Ах, так вы знаете, кто мы? — проворчала старуха.

— По крайней мере, знаю фамилию мадемуазель, — ответил Петрюс.

— Я ведь уже сказала вам, что я капризна и требовательна, но забыла прибавить, что я, кроме того, еще и любопытна.

Петрюс поклонился с видом человека, вполне готового удовлетворить это любопытство.

— Скажите, как вы узнали, кто я такая? — продолжала девушка.

— По дверцам вашей кареты.

— Ах, по нашему гербу? Разве вы знаток геральдики?

— Ведь мне приходится иметь с нею дело почти ежедневно. А какой же исторический живописец может не знать, что после взятия Константинополя и вплоть до Берг-оп-Зоома Ламот Гуданы были на всех полях битв и нигде не нашли того, кого вызывают своим девизом.

Этот так прямо высказанный дифирамб ее красоте и происхождению заставил девушку вспыхнуть.

Тщеславие старухи было тоже польщено, и она взглянула на художника весьма милостиво.

— В таком случае,— сказала она с любезностью, которой почти нельзя было ожидать при ее высокомерии,— теперь нам остается только назначить час и дать вам наш адрес.

— Час соблаговолите избрать сами,— ответил Петрюс с той вежливостью и предупредительностью, к какой его обязывала перемена в ее тоне,— а что касается адреса княжны Ламот Гудан, то каждый знает, что ее дворец стоит на улице Плюме напротив отеля Монтморен и рядом с отелем графа Абриаля.

— Хорошо, значит, завтра в двенадцать часов,— проговорила девушка и снова покраснела.

— Завтра в двенадцать часов я буду к вашим услугам,— ответил Петрюс с низким поклоном.

Дамы уселись в карету и уехали, а Петрюс пошел в мастерскую.

От природы он был человек безукоризненно честный, но это нисколько не помешало ему солгать девице Ламот Гудан самым наглым образом.

Он сказал, что никто не может не знать адрес дворца Ламот Гуданов, а, между тем, сам совершенно не знал этого всего два месяца тому назад.

Мало кто из парижан, за исключением обитателей предместий Сен-Жака и Сен-Жермена, знает ту часть бульвара, которая идет от Гренельской заставы до вокзала и, таким образом, тянется по левому берегу Сены к югу. Это пространство засажено четырьмя рядами деревьев и устлано дерном, и для человека, желающего предаться одиноким размышлениям или вдвоем побродить по тенистым аллеям, оно представляет самый подходящий уголок.

Некоторые женщины, не любящие азываться на

публичных гуляньях и выходящие из своего затворничества только в церковь, были прельщены этим уединением и приходили сюда летними вечерами подышать чистым воздухом, и перед юношами, забирающимися сюда с книгами, как бесплотные тени, проносились прелестные фигуры знатных обитательниц Сен-Жермена.

К числу этих женщин, и притом к прелестнейшим из них, принадлежала та самая девушка, которую мы уже два раза встречали в течение этого рассказа: в первый раз у постели Кармелиты, во второй — в доме, где жил Петрюс, а именно девица Регина де Ламот Гудан, дочь маршала Бернара Ламота Гудана.

Петрюс увидел ее в первый раз за шесть месяцев перед ее приездом к нему с заказом. Это было в один из прекрасных летних вечеров.

Петрюс одиноко брел по дороге, усаженной четырьмя рядами деревьев, и, глядя на горизонт в стороне бульвара Инвалидов, любовался красками солнечного заката. Вдруг в конце аллеи появились две верховые фигуры, несшиеся, очевидно, наперегонки.

Петрюс посторонился, чтобы пропустить их; но как быстро ни пронеслись они мимо него, он все-таки успел рассмотреть их лица.

Девушка, созданная по образу Дианы-охотницы, была одета в амазонку цвета небеленного полотна. На голове у нее была серая шляпа, сзади которой развевалась зеленая вуаль. Во всей фигуре было нечто, напоминающее прекрасную Диану Вернон, созданную для всеобщего восторга воображением Вальтера Скотта, и чудную Эдмею, которую так неподражаемо изобразила Жорж Санд.

Гордая поза, в которой она сидела на своем резвом черном коне, и властная энергия, с которой она им управляла, с первого взгляда обнаруживали в ней искусную наездницу, а разговор, который она поддерживала со своим кавалером, несмотря на бешенный галоп, доказывал, что она и смела, и способна на большое самообладание.

Спутником ее был старик лет шестидесяти или шестидесяти пяти, плотный, величавый, одетый в верховой костюм из зеленого сукна, в белые лосины и глянцевитые французские сапоги. На голове у него была большая черная войлочная шляпа, из-под которой развевались волосы, напоминающие своей стрижкой моду времен Директории. Даже и не глядя на несколько разноцветных ленточек в петлицах его казакина, можно было с первого

взгляда догадаться, к какому классу общества он принадлежал. Густые брови, жесткие усы, спускавшиеся ниже подбородка, и несколько резкое выражение лица обличали привычку повелевать, в нем сразу можно было признать одно из тогдашних военных светил.

Они пронеслись мимо Петрюса, как легкое видение, и если бы через полчаса не возвратились снова, он мог бы остаться в уверенности, что видел призрак прекрасной средневековой владелицы замка, которая спешила обратно в склеп своих предков в сопровождении отца или какого-нибудь престарелого паладина.

Петрюс вернулся домой и сел за работу; но работа — женщина ревнивая и не допускает человека до себя, если он подходит к ней с челом, еще пылающим от лобзаний соперницы.

На этот раз соперницей работы являлась встреча Петрюса с незнакомкой амазонкой, его мечты о ней.

Напрасно брался он за палитру, напрасно, стоя перед мольбертом, заставлял себя водить кистью по полотну, — образ прекрасной амазонки стоял перед ним неизменно, туманил мозг, застилал глаза, опускал руку.

Почти целый час продолжалась эта борьба с прекрасным видением, но, наконец, он пересилил себя и принялся работать. Можно было подумать, что он победил, но, в сущности, он остался побежденным.

На полотне, перед которым он стоял, был изображен раненый, распростертый на песке рыцарь-крестоносец. Над ним сострадательно склонилась арабская красавица. Поодаль — группа черных невольников, которые, видимо, удивлены тем, что она, вместо того, чтобы злорадно добить неверного пса, приподняла его голову и послала раба за водой. Фигура рабыни со шлемом рыцаря в руке виднеется на втором плане у фонтана, осененного тремя пальмами.

Эта картина показалась Петрюсу аллегорией его жизни. Ведь и сам он был тоже рыцарем, раненным в тяжелой житейской борьбе, а каждый художник — своего рода крестоносец, совершающий тяжкий поход в Иерусалим искусства. А эта незнакомая амазонка, только что встреченная им, — разве не была она похожа на прекрасную фею, которую зовут Надеждой и которая появляется из своего водяного грота каждый раз, как труд превышает силы человека, и брызгает с кончиков своих чудных пальцев и вьющихся волос, как Венера—Афродита, живо-творной росой на чело утомленного путника.

Это уподобление показалось ему до того живым и верным, что он схватил нож и в несколько мгновений уничтожил головы девушки и крестonosца, а вместо них нарисовал себя и амазонку.

После этого он не видел прекрасную амазонку целых четыре месяца и даже не искал встречи с нею. Но тот случай, который свел с нею в мае, устроил так, что он встретил ее в январе в одно пасмурное, снежное утро.

Она ехала в закрытой коляске и была одета во все черное. Возле нее сидела какая-то старуха и, по-видимому, спала.

Карета направилась с Бульвара Инвалидов в аллею Обсерватории, затем возвратилась обратно и несколько раз проехала таким образом туда и назад.

Наконец, на углу Бульвара Инвалидов и улицы Плюмэ она исчезла окончательно.

Петрюс понял, что предмет его мечтаний живет именно там.

В одно утро он закутался в большой плащ и стал под воротами одного из домов улицы Плюмэ, чтобы дожидаться возвращения знакомого экипажа, который только что пронесся мимо него.

Около часу пополудни карета остановилась перед тем самым отелем, расположение которого Петрюс описывал в предыдущей главе с такой точностью.

Следовательно, говоря, что адрес Ламот Гуданов известен всем и каждому, современный Ван Дейк солгал самым наглым образом, потому что не прошло еще месяца с тех пор, как сам он даже не подозревал о существовании этого отеля.

Едва ли стоит говорить о той радости, которую доставило молодому художнику посещение феи. Он давно уже был от нее в безумном восторге; но она все казалась ему чем-то неземным, неосязаемым. Теперь он знал ее, говорил с нею, ему предстояло провести в ее обществе много часов.

Не подлежит сомнению, что, будь старуха, приехавшая с нею, слепа и глуха, Петрюс слетал бы в мастерскую и принес бы молодой княгине целые десятки уже совершенно готовых или еще неоконченных портретов, потому что уже целые шесть месяцев все женские фигуры на его картинах поражали сходством с красавицей Региной де Ламот Гудан.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	5
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	140
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	226
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ	301

Литературно-художественное издание. Роман в 2-х томах

Александр Дюма (отец)

МОГИКАНЕ ПАРИЖА

Том I

Редакторы Ю. Трофимов, В. Ефремов

Художник В. Змеев

Художественный редактор М. Бруня

Технический редактор З. Кушниренко

Корректор В. Дячишина

Сдано в набор 08.10.91. Подписано в печать 10.07.92.

Формат бумаги 84 × 108/32. Бумага тип. № 2.

Гарнитура литературная. Печать высокая.

Усл. печ. листов 21,00. Уч. изд. листов 23,00.

Тираж 100 000 экз. (1-й завод: 1—50 000 экз.). С 41. Заказ 255.

АО «Concordia» — «Vesta». Ассоциация «Concordia» — А. Т.

277005, Кишинев, ул. Ал. Влахуцэ, 11/4

Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13



The image shows a decorative book cover with a gold background. A white grid pattern of thin lines covers most of the surface. The grid is bordered by a decorative edge consisting of small black diamonds and dots. In the center of the grid is a large, stylized black monogram, possibly 'FZ', with white highlights and a drop shadow effect.

18